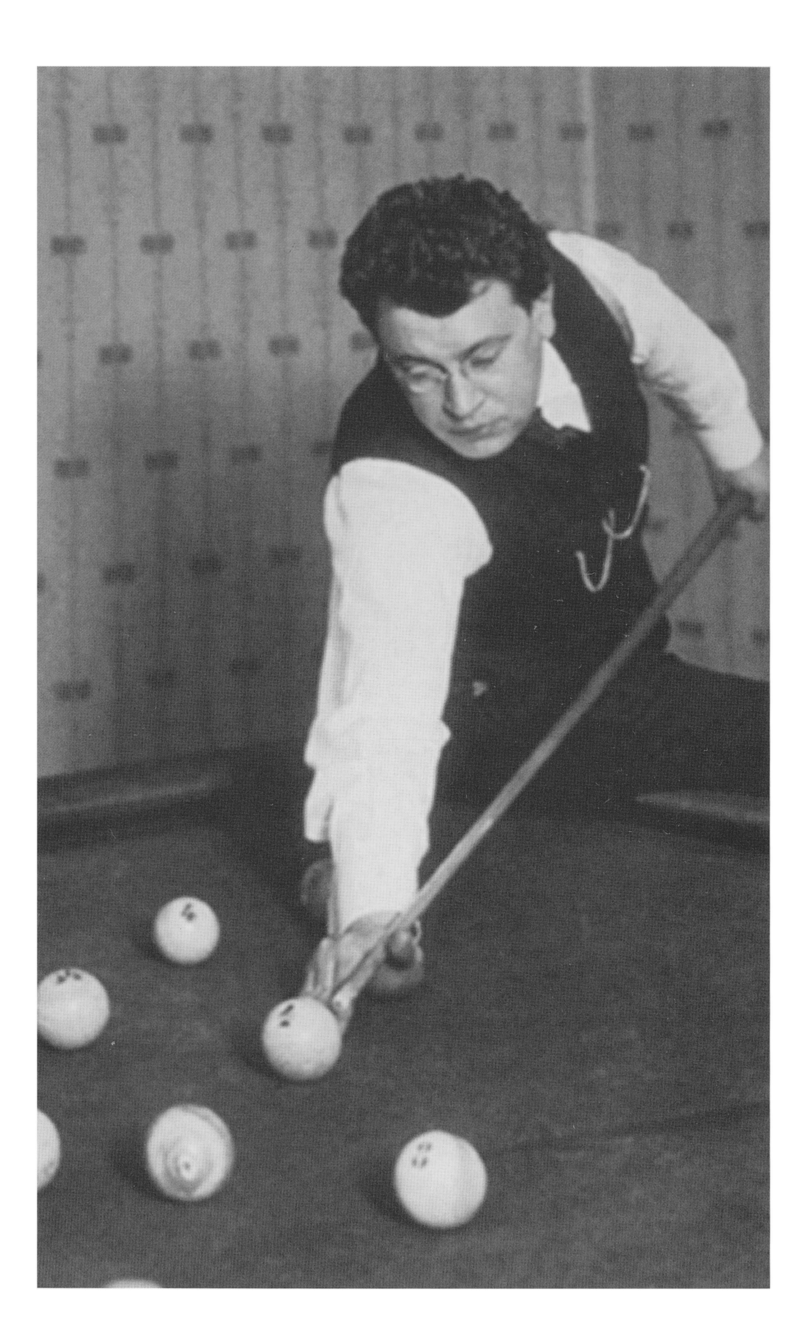


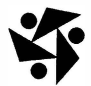
СОЧИНЕНИЯ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



АРКАДИЙ

АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

В ДНИ СОДОМА И ГОМОРРЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Дмитрий
Сечин

Москва, 2017

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста: *Д.Е. Сечин, М.Ю. Гоголин*
Послесловие *В.Д. Миленко*
Комментарии *М.Ю. Гоголин*

На фронтисписе:
Аркадий Аверченко за игрой в биллиард.
Санкт-Петербург. Не позднее 1912 г.

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 10. В дни Содома и Гоморры / Сост., подгот. текста: Д.Е. Сечин, М.Ю. Гоголин; послесл. В.Д. Миленко; коммент. М.Ю. Гоголин. – М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2017. – 606 с.
ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
ISBN 978-5-904962-60-9 (Т. 10)

В десятый том собрания сочинений Аркадия Аверченко входят сборник «Чудеса в решете» (1915), фрагменты из альманаха «Энциклопедический словарь» / Вестник знания «Нового Сатирикона» (1917), а также публикации писателя 1917–1918 гг. из журналов «Новый Сатирикон», «Барабан» и др. Значительная часть материала переиздается впервые.

ISBN 978-5-904962-60-9 (Т. 10)
978-5-904962-11-1 (Общ.)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1

© Д.Е. Сечин, М.Ю. Гоголин, составление, подготовка текста, 2017
© В.Д. Миленко, послесловие, 2017
© М.Ю. Гоголин, комментарии, 2017
© И. Шиляев, оформление, 2017
© Издательство «Дмитрий Сечин», 2017

Посвящается памяти
Станислава Степановича Никоненко,
не дожившего до выхода этого тома

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
(1915)





Отдел I. ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

ЭХО ЦЕРКВИ ФЕЛИЧЕ

Однажды летним вечером мы с приятелем сидели за столиком в саду и, попивая теплое красное вино, глазели на открытую сцену.

Дождь, упорно стучавший по крыше веранды, на которой мы сидели; необозримое снежное поле не занятых никем белых столиков; ряд самых замысловатых «номеров», демонстрировавшихся на открытой сцене; и, наконец, живительное теплое бордосское — все это настраивало нашу беседу на самый глубокомысленный, философический лад.

Прихлебывая вино, мы дружно цеплялись за каждое пустяковое обычное явление окружающей нас жизни и тут же, сблизив носы, принимались его рассматривать самым внимательным образом.

— Откуда берутся акробаты? — спросил мой приятель, поглядывая на человека, который только что уперся рукой в голову своего партнера и немедленно же поднял вверх ногами все свое затянутое в лиловое трико тело. — Ведь просто так, зря, они же акробатами не делаются. Почему, например, ты не акробат или я не акробат?

— Мне акробатом быть нельзя, — резонно возразил я. — Мне рассказы нужно писать. А вот почему ты не акробат, я не знаю.

— Да и я не знаю, — простодушно подтвердил он. — Просто не приходило в голову. Ведь когда в юности предназначаешь себя к чему-нибудь, то акробатическая карьера как-то не приходит в голову.

— А вот им же — пришла в голову?

— Да. Действительно, это странно. Так иногда хочется пойти за кулисы к акробату и расспросить его — как это ему вздумалось сделать карьерой ежевечернее влезание на голову своему ближнему.

Дождь барабанил по крыше веранды, официанты дремали у стен, мы тихо беседовали, а в это время на сцене уже появился «человек-лягушка». Был он в зеленом костюме с желтым лягушечьим брюхом и даже с картонной лягушечьей головой. Прыгал, как лягушка, и вообще ничем от обыкновенной лягушки, кроме размера, не отличался.

— Вот возьми — человек-лягушка. Сколько их, таких «человеков-чего-нибудь», бродит по свету: человек-страус, человек-змея, человек-рыба, человек-каучук. Спрашивается: как всякий такой человек мог добраться до решения — сделаться человеком-лягушкой? Осенила ли его эта мысль сразу, когда он мирно сидел на берегу тинистого пруда, наблюдая действия просто-лягушек... Или эта мысль постепенно, исподволь росла в нем и крепла.

— Я думаю — сразу. Осенило.

— А может быть, у него с детства было стремление к лягушечьей жизни и только влияние родителей удерживало его от этого ложного шага. Ну, а потом... Эх, молодость, молодость! Потребуем еще одну, хорошо?

— Молодость?

— Бутылку. А это кто, в клетчатом пальто с громадными пуговицами, в рыжем парике? Ах, эксцентрик! Заметь, у них уже есть свои освященные временем приемы, традиции и правила. Например — эксцентрик должен быть непременно в рыжем парике. Почему? Бог его знает! Но это хороший клоунский тон. Затем — появляясь на сцене, он никогда не сделает ни одного целесообразного поступка. Все его жесты и шаги должны быть явно бессмысленны, обратно пропорциональны здравому смыслу. Чем бессмысленнее — тем больший успех. Погляди: ему нужно закурить папиросу... Он берет палочку, трет ее о лысину — палочка зажигается. Он закуривает папиросу, а горящую палочку прячет в карман. Теперь ему нужно погасить папиросу. Как он это делает? Берет сифон содовой воды и пускает струю на тлеющую папиросу. Кто в действительной жизни зажигает

спички о голову и гасит папиросу с помощью сифона? Он хочет расстегнуть пальто... Как он это делает? Как другие люди? Нет! Он вынимает из кармана громадные ножницы и отстригает ими пуговицы. Смешно? Ты смеешься? А знаешь, почему люди смеются, глазея на это? Психология их такова: о боже, как глуп этот человек, как он неуклюж!.. А вот я не такой, я умнее. Я зажгу спичку о спичечную коробку и расстегну пальто обычным способом. Тут просто звучит замаскированная молитва фарисея: благодарю тебя, Господи, что я не похож на него.

— Бог знает, что ты такое говоришь...

— Да уж верно, брат, верно. Жаль, что над этим никто не задумывается... Ну, вот посмотри: его партнер хочет его брить... Взял ведро с мыльной водой, привязал его салфеткой за горло к стулу, а потом нахлобучил ему ведро с мылом на голову и бьет, торжествуя победу, по его животу кулаками и ногами. Смешно? Публика смеется... А что, если бы привести сюда старушку-мать этого рыжего с ведром на голове; она, вероятно, и не знает, чем занимается ее сын, ее дитя, которого она укачивала на коленях, тихо целуя розовые пухлые губки, гладя шелковистые волосики, прижимая младенческий теплый животик к своей многолюбящей материнской груди... А теперь по этому животику какой-то зеленощекий парень молотит своими ножищами, а с пухлых губок, измазанных краской, стекает мыльная пена, а шелковистых волосиков нет — вместо них ужасные красные волосища... Каково это матери? Заплачет она и скажет: Павлик мой, Павлик... На то ли я тебя растила, холила. Дитя мое! Да что же это ты с собою сотворил такое?!..

— Во-первых, — категорически заявил я, — ничто не помешает этому рыжему, если он действительно встретит свою мать, заняться какой-нибудь другой, более полезной деятельностью, а во-вторых — ты, кажется, выпил вина больше, чем нужно.

Приятель пожал плечами.

— Во-первых, этот парень уже ничем другим заняться не может, а во-вторых, я выпил вина не больше, а меньше, чем нужно, — в подтверждение чего могу тебе связно и толково рассказать одну действительную историю, которая подтвердит мое «во-первых».

— Пожалуй, — согласился я, — подавай свою историю.

— Эта история, — сказал он торжественно, — подтверждает, что человек, который привык стоять на голове, не может уже стоять на ногах, и человек, который избрал себе профессию лягушки, не может быть ничем другим, кроме лягушки, — ни директором банка, ни мануфактурным приказчиком, ни городским деятелем по выборам... Лягушка останется лягушкой. Ну, вот:

История итальянского слуги Джустино.

Как тебе известно, а, может быть, как тебе неизвестно, я исколесил всю Италию вдоль и поперек. Признаться тебе — я люблю ее, эту грязную, лживую, надувательскую Италию. Как-то раз, шатаясь по Флоренции, попал я во Фьезоле — этакое мирное идиллическое местечко, без трамваев, шума и грохота.

Я зашел во дворик маленького ресторанчика, присел к столику и, заказав какую-то курицу, закурил сигару.

Вечер теплый, ароматный, настроение у меня прекрасное... Хозяин терся-терся около меня, очевидно, собираясь что-то спросить и не решаясь, однако наконец решился и спросил:

— А что, прошу извинения, не нужен ли синьору слуга?

— Слуга? Какой слуга?

— Обыкновенный, итальянский. Синьор, видно, человек богатый, и ему, вероятно, нужно, чтобы кто-нибудь ему служил. У меня есть для синьора слуга.

— Да на кой дьявол мне слуга? — удивился я.

— Ну как же. Разве можно жить без слуги? Всякий барин должен иметь слугу.

Признаться, мне это соображение никогда не приходило в голову.

«— А ведь в самом деле, — подумал я. — Отчего бы мне и не иметь слуги? В Италии я еще проброжу долго, а человек, которому можно взвалить на шею разные мелкие хлопоты и дрязги, очень бы меня облегчил»...

— Ладно, — говорю. — Покажите вашего слугу.

Привели... Парень здоровый, коренастый, с ласковой улыбкой и предобродушным выражением лица.

Потолковали мы пять минут, и в тот же вечер я увез его во Флоренцию. Со следующего дня и началась моя трагедия.

— Джустино! — сказал я утром. — Почему ты не почистил мне ботинок?

— О, синьор! Я не умею чистить ботинок, — заявил он с искренним огорчением.

— Какой же ты слуга, если не умеешь делать такого пустяка! Сегодня же возьми урок у чистильщика сапог. А сейчас свари мне кофе.

— Синьор! Осмелюсь заявить, что я не знаю, как варить кофе.

— Смеешься ты надо мной, что ли?

— О, нет, синьор... не смеюсь... — печально пробормотал он.

— Ну а телеграмму сдать на почту ты сумеешь? Запаковать чемодан, пришить к пальто пуговицу, побрить меня, приготовить ванну — сумеешь?

И снова прозвучало грустное:

— Нет, синьор, не сумею.

Я скрестил на груди руки.

— А что же ты умеешь, скажи на милость.

— Будьте ко мне, синьор, снисходительны... Я почти ничего не умею.

Во взоре его светилась тоска и искреннее страдание.

— Почти?! Ты говоришь «почти»... Значит, что-нибудь ты умеешь делать?

— О, синьор! Да, умею, но это, к сожалению, вам не нужно.

— Да что же это такое?

— О, не расспрашивайте меня... Мне даже неловко сказать...

— Почему? А вдруг это мне понадобится...

— Нет, нет. Клянусь святым Антонием — вам это никогда не понадобится...

— Черт знает что! — подумал я, опасливо на него поглядев, — может быть, он до этого был разбойником и резал в горах проезжий народ. Тогда, действительно, он прав, — это мне никогда не понадобится...

Однако милое простодушное лицо Джустино самым наглядным образом опровергало это предположение.

Я махнул рукой — сам заварил кофе, сдал на почту корреспонденцию и вечером приготовил себе ванну.

На другой день я поехал во Фьезоле и зашел в тот самый ресторанчик, хозяин которого таким подлым образом подсунул мне «слугу».

Я уселся за стол — и снова появился кланяющийся, извивающийся хозяин.

— Эй вы, — поманил я его пальцем. — Что это за чертова слугу вы мне подсунули, а?

Он приложил руки к сердцу.

— О, синьор! Он прекрасный человек — добрый, честный и непьющий...

— Да что мне в его честности, когда он палец о палец ударить не может. Именно — не может... Не «не хочет», а «не может». Вы говорили — я господин и мне нужно слугу; а подсунули мне господина, у которого я играю роль слуги, потому что нет такой вещи, которую бы он мог сделать.

— Простите, синьор... Он может кое-что сделать и очень хорошо даже... Но это вам совсем не нужно.

— Что же это такое?

— Да уж я не знаю — говорить ли? Не хочется хорошего парня конфузить.

Я ударил кулаком по столу.

— Да что вы все, черт побери, — сговорились, что ли!! Он умалчивает о своей бывшей профессии, вы тоже скрываете... Может быть, он железнодорожный вор или морской пират!!

— Сохрани Боже! Он служил по церковному делу и ничем дурным не занимался.

Криком и угрозами мне удалось вытянуть у хозяина всю историю.

Удивительная история, глупейшая история.

Надо тебе сказать, что вся Италия — от больших городов, как Рим, Венеция, Неаполь, — до самых маленьких — живет исключительно туристами. Туристы — это та «обрабатывающая» промышленность, которой кормится вся Италия. Все направлено к уловлению туриста. Их серенады в Венеции, развалины в Риме, грязь и шум Неаполя — все это во славу форестьера, во имя его кошелька.

Каждый город, каждый квартал в городе имеет свою достопримечательность, которая за две лиры, за лиру, за мецца-лиру показывается всякому шалому любопытствующему путешественнику.

В Вероне показывают могилу Джульетты, в соборе св. Марка место, где на коленях стоял Фридрих Барбаросса или еще кто-то... История, живопись, скульптура, архитектура — все идет в ход.

Есть в северной Италии городишко — такой маленький, такой скверный, что его даже и на картах стыдятся указывать. Даже не городишко, а нечто вроде деревни.

И вот деревушка эта стала чахнуть. От чего может чахнуть итальянская деревушка? От бестуристья.

Есть турист — сыты все, нет туриста — ложись и помирай.

И все население деревушки со скорбью и тоской видело, как каждый день мимо них проносились поезда, битком набитые туристским мясом; останавливались на минуту и, не выкинув ни одного англичанина или немца, мчались дальше.

А на следующей станции половина туристов выползала с поезда и шла осматривать городок, который сумел обзавестись собственной достопримечательностью: церковью, в которой был кто-то убит или замурован, или к стене прикован; показывали и кинжал убийцы, и замурованное место, и цепи — что кому больше нравилось. А может, никого там и не убивали — итальянцы большие мастера соврать, в особенности с корыстной целью.

И вот однажды разнеслась по всей округе чудесная весть: что в той деревушке, о которой я говорил раньше, после перестройки церковного купола появилось эхо, которое повторяет звук не раз и не два раза, как это иногда случается, а восемь раз.

Конечно, праздный, бездельный турист валом повалил на эту диковину...

Действительно, слух оправдался: эхо честно, аккуратно повторяло каждое слово восемь раз.

И вот «эхо деревни Феличе» совершенно забило «замурованного принца городка Санта-Клара».

Двенадцать лет это продолжалось: двенадцать лет лиры и мецца-лиры лились в карман граждан деревни Феличе... И вот на тринадцатый год (несчастливый год!) разразился страшный скандал: компания богатейших американцев с целой гирляндой разодетых дам приехала посмотреть «эхо деревни Феличе». И когда эта пышная компания вошла в скромную церковку — эхо было, очевидно, так поражено блеском и роскошью компании, что в ответ на крик одной дамы «Гудбай!» повторило это слово пятнадцать раз...

Самый главный американец сначала изумился, потом возмутился, потом расхохотался, а затем вся компания, не

слушая протестов церковной администрации, бросилась отыскивать эхо... Обнаружили его в замаскированном ширмой уголке на хорах, и когда вытащили «эхо», оно оказалось широкоплечим добродушным парнем — короче говоря, моим слугой Джустино.

Две недели вся Италия, прочтя о случае с «эхо Феличе», держалась за животики; потом, конечно, об этом забыли, как забывается все на свете.

Деревушка Феличе впала в прежнее ничтожество, а Джустино — эхо Феличе — за свою неуместную щедрость лишился места, на которое поступил еще мальчишкой — и, как человек, кроме эха ничего не умевший, очутился на мостовой.

Всякому человеку хочется есть... Поэтому Джустино стал искать себе место! Он приходил в какую-нибудь деревенскую церковь и предлагал:

— Возьмите меня на службу...

— А ты что можешь делать?

— Я могу быть эхо. Очень хорошая работа... От 8 до 15 раз.

— Эхо? Не требуется. Мы кормимся плитой, на которой раскаялся однажды Борджия; человек на ней пролежал ночь, а нашим предкам, нам и потомкам нашим — на всю жизнь хватит.

Усталый, брел он дальше.

— Эхо хорошее, церковное! Не нужно ли? Отчетливое исполнение, чистая работа.

— Нет, не надо.

— Да почему? Турист эхо любит. Взяли бы меня, а?

— Нет, неудобно... То полтораста лет не было эха в церкви, а то вдруг — на тебе — сразу появилось.

— А вы купол перестройте.

— Будем мы из-за тебя купол перестраивать... Иди себе с Богом.

Он бы умер с голода, если бы я его не взял себе в слуги.

* * *

Я долго молчал, размышляя о судьбе несчастного Джустино, потом спросил:

— Что же с ним сталось?

— Промучился я с ним год. Все не хватало духу выгнать. И когда я, взбешенный его манерой варить кофе, в котором было на треть бензину, кричал: «сегодня же забирай свои вещи и проваливай, бездарный негодяй!» — он прятался в соседнюю комнату и оттуда я слышал очень искусное эхо моих слов: «бездарный негодяй... дарный негодяй... и-й негодяй... негодяй... дяяй... яяя...»

Это все, что умел делать несчастный, искалеченный своей ненормальной судьбой парень.

— Где же он теперь?

— Выгнал. Что с ним, не знаю. Впрочем, недавно мне в Пизе говорили, что в одной близлежащей деревушке есть церковь, в которой замечательное эхо, повторяемое восемь раз. Весьма возможно, что мой горемыка-слуга снова попал на свои настоящие рельсы...

ПИРАМИДА ХЕОПСА

Начало всей этой истории почему-то твердо врезалось мне в память. Может быть, именно потому я имею возможность, ухватившись за этот хвостик, размотать весь клубок до самого конца.

Приятно, очень приятно следить со стороны за человеком, который в простоте душевной уверен, что все звенья цепи его поступков скрыты от чужого взгляда и потому он — вышеупомянутый человек — простодушно и бесстыдно распускается пышным махровым цветком.

Автор — большой любитель таких чудесных махровых цветков.

Итак, хватаю эту историю за самый хвост:

Четыре года тому назад мне пришлось прожить целую неделю в квартире Новаковича — того самого, который однажды зимой уверил всех, что может проплыть в воде шесть верст, а потом, когда я, поймав его летом в Севастополе, заставил проделать это — Новакович отказался под тем предлогом, что какой-то купальщик плюнул перед тем в воду.

Несмотря на такие странные черты своего характера, Новакович был, в сущности, хорошим человеком, веселым, жизнерадостным, и я не без удовольствия прожил у него эту неделю.

Как-то после обеда, уходя из дому, мы измыслили забавную мистификацию: напялили на мольберт пиджак и брюки Новаковича, набили это сооружение тряпками, увенчали маской, изображавшей страшную святочную харю, и, крадучись, ушли, оставив дверь полуоткрытой.

По уходе нашем было так:

Первой вошла в комнату сестра Новаковича; увидев страшное существо, стоявшее перед ней на растопыренных ногах, нахально откинувшись назад, она с пронзительным криком отпрянула, шарахнулась вместо двери в шкаф, набила себе на виске шишку и уже после этого кое-как выбралась из комнаты.

Второй сейчас же вбежала горничная с графином воды, который она несла куда-то. От ужаса она уронила графин на пол и подняла крик.

Третьим пришел швейцар, приглашенный перепуганными женщинами. Это был человек, которого природа наделила железными нервами. Подойдя к молчаливому, жутко неподвижному незнакомцу, он сказал: «Ах ты, сволочь паршивая», размахнулся и ударил по страшной харе. После этого полетевший на пол и буквально потерявший голову незнакомец был освежеван, выпотрошен и водворен по частям на старое место: скелет поставили в угол, мясо и кожу повесили в платяной шкаф, ноги задвинули под кровать, а голову просто выбросили...

Четвертым и пятым пришли мы с Новаковичем. В зависимости от темперамента и общественного положения мы были названы: «веселыми баринами», «выдумщиками, вечно придумающими что-нибудь этакое...» и, наконец, «идиотами».

Графин мы компенсировали веселым ужином, в котором участвовали несколько графинов, и тем вся история окончилась. Впрочем, что я такое говорю — окончилась... Она только началась.

* * *

Прошло три недели.

Сидя в уголке гостиной на одном шумном вечере, я услышал и увидел следующее. Новакович подошел к одной группе остривших и рассказывавших анекдоты мужчин — и сказал:

— Ну что этот ваш анекдот о купце! Старина матушка. Его еще Ной Каину и Авелю в Месопотамии рассказывал. А вот я вам расскажу факт, случившийся со мной...

— Ну, ну?

— Однажды вечером, недели три тому назад, я устроил у себя в комнате чучело человека — из мольберта, ботинок, костюма и святочной маски... Устроил, значит, и ушел... Ну-с — заходит зачем-то моя сестра в эту комнату... Видит эту штуку, ну... и вы сами понимаете! Бросается вместо дверей в шкаф — трах головой! Кровь ручьем! Падает в обмороке. На шум вбегает горничная, а у нее в руках, можете представить, дорогой фарфоровый кувшин. Увидела лежащую хозяйку, увидела кровь, увидела этакого неподвижного страшного дядю, бросила дорогой фарфоровый кувшин на пол — да вон из комнаты. Выбежала на переднюю лестницу, а по лестнице как раз швейцар поднимается с телеграммой в руках. Бросается она на швейцара, сбивает его с ног, и катятся они вниз по лестнице!! Ну, кое-как с оханьями и проклятиями встают, поднимаются, объясняются, швейцар берет револьвер, идет в комнату, приотворил дверь, кричит: «Сдавайся!» — «Не сдамся!» — «Сдавайся!» — «Не сдамся!..»

— Виноват, — перебил Новаковича один из слушателей, очень изумленный. — Кто же это мог отвечать ему: «Не сдамся!»? Ведь человек-то ваш был сделан из мольберта и тряпок?..

— Ах, да... Вы спрашиваете, кто отвечал: «Не сдамся!»? Гм... да. Это, видите ли, очень просто: это сестра моя отвечала. Она как раз очнулась от обморока, слышит, что кто-то кричит из другой комнаты: «Сдавайся!» — да и подумала, что это товарищ разбойника. Ну и ответила: «Не сдамся!» Она у меня храбрая сестренка; вся в меня.

— Да... Бывает. Что же дальше?

— Что? Швейцар из револьвера прямо в грудь нашему чучелу: бах! Тот на пол — бац. Бросились, а там одни тряпки. Сестра со мной потом два месяца не разговаривала.

— Почему два месяца? Вы же говорите, что это произошло всего три недели тому назад.

— Ну, да! Что ж такое... Уже три недели не разговаривает, да я думаю, еще недель пять не будет разговаривать — вот вам и два месяца.

— Ах, так... Да... Бывает. Странная, странная история.

— Я же вам говорю! А вы им там какой-то анекдот о купце рассказываете!..

* * *

Прошел год...

Однажды большая компания собралась ехать на Иматру.

Были и мы с Новаковичем.

Когда ехали в вагоне, то расселись так, что я сидел через две скамейки от Новаковича.

Видеть я его не видел, но голос слышал, Новакович говорил:

— Я нахожу вашу историю с привидением конокрада банальной. Вот со мной однажды случилась история — так история!

— Именно?

— Взял я однажды как-то в прошлом году да и соорудил у себя в комнате чучело разбойника — из мольберта, пиджака, брюк и ботинок. Привязал к руке нож... большой такой, острый... и сам ушел. Заходит зачем-то в комнату сестра — видит эту ужасную фигуру... Бросается вместо дверей в бельевой шкаф — трах! Дверка вдребезги, сестра вдребезги... Бросается она к окну... Трах! Распахнула она его, да с подоконника — прыг! А окно-то в четвертом этаже... После этого вбегает горничная, а в руках у нее на подносе дорогой фарфоровый сервиз еще екатерининских времен... От деда остался. Ему теперь и цены нет. Сервиз, конечно, вдребезги, горничная тоже... вылетает на лестницу, падает на швейцара, который с околоточным и двумя городовыми поднимался по лестнице кому-то повестку вручать, и вся эта компания, можете себе вообразить, летит, как этакий бульденеж — с лестницы вниз. Крик, визг, стоны. Потом поднялись, расспросили горничную, подошли все к таинственной комнате... Конечно, шашки наголо, револьвер наголо... Пристав кричит...

— Вы, говорили «околоточный», — кротко поправил Новаковича один из слушателей.

— Ну, да, не пристав, а помощник пристава. Это все равно что околоточный... Он после в Батуме был приставом... Ну-с, кричит, значит, пристав в дверь: «Сдавайся!» — «Не сдамся!» — «Сдавайся!» — «Не сдамся!».

— Кто же это отвечал приставу: «Не сдамся?». Ведь в комнате было только чучело...

— Как только чучело? А сестра?

— Да сестра ведь, вы говорите, выскочила из окна четвертого этажа.

— Ну, да... Так вы же слушайте! Выскочить-то она выскочила, да зацепилась платьем за водосточную трубу. Висит у самого окна, вдруг слышит: «Сдавайся!» Думает, разбойник кричит, ну, конечно, девушка храбрая, с самолюбием: «Не сдамся!» Хе-хе... «Ах, — говорит пристав, — так ты так, мерзавец?!. Не сдаваться? Пали в него, ребята!» Ребята, конечно: бах! бах! Чучело-то мое упало, но за чучелом стоял старинный столик красного дерева, как говорят, из загородного шале Марии Антуанетты... Столик, конечно, вдребезги. Зеркало старинное вдребезги!.. Входят потом... Ну, конечно, сами понимаете... Ужас, разгром... Спросите сестру, она вам расскажет: когда бросились к чучелу, так глазам не хотели верить — так было все хорошо прилажено. Сестра потом от нервной горячки померла, пристава в Батум перевели...

— Как же вы говорите, чтобы мы сестру спросили, а потом сообщаете, что она умерла?

— Ну, да. Что ж такое. Она и умерла. А зато другая сестра есть, которая при этом была и все видела...

— Где же она теперь?

— Она? В Восьмипалатинске. За члена Судебной палаты замуж вышла.

С минуту помолчали. Да-с. История с географией!

* * *

...Недавно, войдя в гостиную Чмутовых, я увидел возбужденного Новаковича, окруженного целым цветником дам.

— ...Полицеймейстер во главе наряда полиции подходит к дверям, кричит: «Сдашься ты или нет?» — «Не сдамся!» — «Сдашься»? — «Не сдамся!» «Пли, ребята!» Пятьдесят пуль! как одна — вдребезги! «Сдаешься?» — «Не сдамся!» — «Пли! Зови пожарную дружину!! Разбивай крышу! Мы его сверху возьмем! Выкуривай его дымом — взять его живым или мертвым!!» В это время возвращаюсь я... Что такое? Во дворе пожарная команда, дым, выстрелы, крики...

«Виноват, г. полицеймейстер, — говорю я, — что это за история такая?» — «Опасный, говорит, бандит засел в вашей комнате... Отказывается сдаться!» Я смеюсь: «А вот, говорю, мы его сейчас»... Иду в комнату и выношу чучело под мышкой... С полицеймейстером чуть удар не сделался: «Это что за мистификации, — кричит. —- Да я вас за это в тюрьме сгною, шкуру спущу!!» — «Что-о? — отвечаю я. — Попробуй, старая калоша!» — Ш-штоссс?! Выхватывает шашку — ко мне! Ну, я не стерпел, развернулся... Потом четыре года крепости пришлось...

— Почему же четыре! Ведь это было года три назад?..

— А? Ну да, что ж такое... Три года и было. Под манифест попал.

— Ну, да... разве что так.

— Именно так-с!!

А когда мы с ним вышли из этого дома и, взявшись дружески под руку, зашагали по тихим залитым луною улицам, он, интимно пожав мой локоть, сказал:

— Сегодня, когда ты вошел, я им одну историю рассказывал. Ты начала не слышал. Изумительнейшая, прелюбопытнейшая история... Однажды устроил я в своей комнате из мольберта и разных тряпок подобие человека, а сам ушел. Зашла зачем-то сестра, увидела...

Я не мог дальше сдерживаться.

— Послушай, — сказал я. — Как тебе не стыдно рассказывать мне ту самую историю, которую мы же с тобой и устроили... Неужели ты не помнишь? И драгоценных сервизов не было, полицеймейстера не было, пожарных не было... А просто горничная разбила графин для воды, потом позвала швейцара, и он сразу разобрал на кусочки все наше произведение...

— Постой, постой, — приостановился Новакович. — Ты о чем это говоришь? О той истории, которую мы с тобой подстроили? Ну, да-а!.. Так это совсем другое! То действительно так было, как ты говоришь, а это было в другое время. А ты, чудак, думал, что это то же самое? Ха-ха! Нет, это было даже на другой улице... То было на Широкой, а это на Московской... И сестра была тоже другая... младшая... А ты думал?.. Ха-ха! Вот чудак!

Когда я взглянул на его открытое, сиявшее искренностью и правдивостью лицо, я подумал: я ему не верю, вы ему не поверите... Никто ему не поверит. Но он — сам себе — верит.

* * *

И строится, строится пирамида Хеопса до сих пор...

АМЕРИКАНЕЦ

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова. Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

— Драсти.

— Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

— А вы откуда будете?

— На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

— Верстов восемь будет отселева...

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

— Ничего вам не потребуется?

— А что?

— Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

— Да ты кто такой?

— Арендатель, — солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

— Эту землю арендуешь?

— Так точно.

— Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

— Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, — ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

— Да что ж ты тут... грибы собираешь, ягоды?

— Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

— Вот чудак, — удивился Стрекачев. — Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

— А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должон хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места, один бурелом да сухостой.

— Так с чего ж ты живешь?

— Дачниками кормлюсь.

— Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

— Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

— Врешь ты все, дядя, — недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

— Нам врать нельзя, — возразил мужичонка. — Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?

— Что?

— Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

— Ну?

— Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

— Кого?!!

— А это мы вам сейчас скажем — кого...

Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость... Долго что-то соображал.

— Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому уже пять дён, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым-дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам, кроме гувернанки, профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоящие. А вот Огрызкиной-госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную

Агашу подсунул такой, что — отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки — мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

— Черт тебя разберет, что ты говоришь, — рассердился охотник.

— Действительно, — согласился мужичонка. — Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

— У кого?

— А у дачников.

— Вот у тех, что за рекой?

— Зачем у тех? Те ежели бы узнали — такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

— Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!

Мужичонка почесал затылок.

— Экой ты непонятный! Как да что... Посадишь барина в яму — ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже — на всякий скус потрафют — рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина... Мало ли.

— Ты что же, значить, — сообразил Стрекачев, — купальщиц на своей земле показываешь?

— Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

— Вот каналья, — рассмеялся Стрекачев. — Как же ты дошел до этого?

— Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены... Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить — гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется,

под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе... Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и брондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как значит, я во всю фигуру на берегу объявился — они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

— Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

— Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл — прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы... — живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:

— А хорошо видно?

— Да уж ежели с биноклем, прямо вот — рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, — памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

— Ну, ты скажешь тоже, — ухмыльнулся конфузливо охотник. — А вдруг увидят оттуда?

— Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст, а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин... попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)... всего и разговору на рупь шестьдесят!

— Это еще что за расчет?!

— Расчеты простые, ваше благородие: огрызкинская госпожа теперь купается — дама замечательная, сами извольте взглянуть — рупь, потом Дрягина с дочкой — на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь оне и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было...

— А ну-ка... ты... того...

— Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз... Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться... Пивка не прикажете ли холодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то... Извольте взглянуть.

Смеркалось...

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

— Сколько с меня?

— Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

— Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

— Помилуйте-с... Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтиннике у нас завсегда идет, да Дрягины — я уж мелюзги и не считаю, — да Синяковы трое с бабушкой, да...

— Ну, ладно, ладно... Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

— Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..

И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

— А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши окромчеловские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!

РЕЗНАЯ РАБОТА

Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной.

В операционной кипит работа.

— Зашивайте, — командует профессор. — А где ланцет? Только сейчас тут был.

— Не знаю. Нет ли под столом?

— Нет. Послушайте, не остался ли он там?..

— Где?

— Да там же. Где всегда.

— Ну где же?!!

— Да в полости желудка.

— Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!

— Придется расшить.

— Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.

— А ланцет-то?

— Бог с ним, новый купим. Он недорогой.

— Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.

— Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?

— Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.

— Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега... Странное затвердение. А ну-ка... Ну вот! Так я и думал... Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите — нашлось.

— А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались... Зашивайте!

— А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?

— Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания — оставлять у больных внутри всякую дрянь.

— Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.

— Расшивать?

— Ну, из-за катушки... стоит ли?

— Я к тому, что марля... в животе...

— Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.

— Рассосалась?

— Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.

— Да что вы!

— Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки — и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет — так сразу, как сапожник, пьян.

— Чудеса!

— Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом, дома уже, потрет руки, скажет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит — опять: «Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку!..» Через час — лыка не вяжет. Так пил по мере надобности... Совсем как верблюд в пустыне.

— Любопытная исто... Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!

— Гм... да... Заговорился. Ну все равно, раз разрезал — поглядим: нет ли там чего?..

— Нет?

— Ничего нет. Странно.

— Рассосалось.

— Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли... Где мой портсигар?

— Да тут он был, недавно только держали. Куда он закатился?

— Неужто портсигар зашили?

— Оказия. Что же теперь делать?

— Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался!

— Есть?

— Нет. Пусто, как в кармане банкрота.

— Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?

— Неужели всех и распарывать?

— Много ли их там — шесть человек! Порите.

....

— Всех перепороли?

— Всех.

— Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы, — как вас? — ложитесь!

— Да я...

— Нечего там, — не «да я»... Ложитесь. Маску ему. Считайте.

— Да я...

— Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.

— Ну? Есть?

— Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?

— Да я...

— Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда...

— Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги... Со счетом из башмачного магазина.

— Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.

— Что вы! Он у меня в кармане...

— Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску...

— Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.

— Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.

— Да я...

— Следующий! — бодро кричит профессор. — Очистите стол. Это что тут такое валяется?

— Где?

— Да вот тут, на столе.

— Гм! Чей-то сальник. Откуда он?

— Не знаю.

— Сергей Викторович, не ваш?

— Да почему же мой?! — огрызается ассистент. — Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.

— Ах ты ж, Господи, — вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.

— Молодой человек! Сальничек обронили...

— Это разве мой?

— Больше ничей, как ваш.

— Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить... Вы вставьте его обратно!

— Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?

— Нет, я только зашивался.

— Я у вас не забыл своего портсигара?

— Ей-богу, в глаза не видал... Зачем мне...

— Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!

— Есть?

— Что-то такое нащупывается... Какое-то инородное тело. Дайте нож!

— Ну?

— Постойте... Что это? Нет, это не портсигар.

— Бумажка какая-то... Странно... Э, черт! Видите?

— Ломбардная квитанция!

— Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М.К.» Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился...

— Хе-хе, вот тебе и рассосался.

— Оборотистый молодой человек!

— Одессит, не иначе.

— Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?

— Нет.

— Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.

— Ваш подать?

— А то чей же?

— Тут нет никакого сюртука.

— Чепуха! Тут же был.

— Нет!.. Неужели?..

— Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?

— Нет ее...

— Только что была тут!

— Не зашили ли давеча ее в одессита?!

— Неужели рассосалась?..

— Ну и денек!..

ДРАМА В СЕМЬЕ БЫРДИНЫХ

В богатых апартаментах графа Быдрина раздался болезненный стон.

С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд — взгляд помешанного — блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.

— Да, это так, — глухо произнес он. — Сомнений быть не может!

Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.

* * *

Графиня Бырдина — красавица роскошного телосложения — лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.

Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, а волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.

Вот какова была графиня Бырдина!

* * *

Как вихрь, ворвался несчастный граф в будуар жены.

— Полюбуйтесь! — со стоном произнес граф (они не забывались, даже когда были с глазу на глаз, и называли друг друга всегда на «вы»). — Полюбуйтесь. Читали?!

— Что такое? — привстала встревоженная графиня. — Какое-нибудь несчастье?

— Да уж... счастьем назвать это трудно! — горько произнес граф.

Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:

— «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».

Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.

Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно...

С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный, достойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди.

И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».

— Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!! О, не покидай меня!

Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.

— О, не гляди так! — простонала графиня... — Ну, хочешь, уйдем от света! Я последую за тобой куда угодно.

— Ха-ха-ха! — болезненно рассмеялся граф — «куда угодно»... Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О, Боже! Как тяжело!!

— Послушай... — робко прошептала графиня. — А может быть, все обойдется...

— Обойдется? — сардонически усмехнулся граф. — Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?

— О, да! — вырвалось у графини.

— Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшую из моды, как шляпка на голове свояченицы усть-сысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?

— О, не презирай меня, — зарыдала графиня. — Я постараюсь, я... я сделаю все, чтобы похудеть...

Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.

* * *

Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное расстроенное лицо.

— Граф! — вскричала она. — Ваша супруга...

— Увы! — глухо произнес граф.

Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:

— Вы! На вас вся надежда! Помогите...

После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:

— Выход один: вашей жене нужно похудеть.

— Но как? Как?

— Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать...

— Хорошо, — произнес граф, и мучительная, страдальческая складка залегла на челе его. — Будет исполнено. Я люблю ее, но... будет исполнено!

* * *

В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:

— Подвинься, чего тут разлеглась!

— Граф! — кротко сказала жена. — Опомнитесь!..

— Я уже сорок лет, как граф, — сурово прорычал граф. — Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.

Графиня тихо заплакала.

— Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, а не висеть на шее у мужа.

— Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода... зачем же мне работать?

— Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.

— Граф!?!!..

— Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.

Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:

— Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово... не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!

— Граф!!

— Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать пить, а вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов — все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!

Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.

— О, моя бедная! О, моя любимая, — шептали его побледневшие уста. — Для нашего общего блага делаю я это.

Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.

* * *

Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась...

Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.

— Григорий, барин у себя?

— А черт его знает, — отвечал Григорий, сплевывая на ковер. — Что я, сторож ему, что ли?

— Григорий! Вы пьяны?

— Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.

— Ульян! Степан! Дорофей! Возьмите Григория — он пьян.

— Сдурели вы, что ли, матушка, — наставительно сказал старый с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную. — Кричит тут, сама не знает, чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не попало.

Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.

— Это еще что такое?! — взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. — Вон отсюда!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!

И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам...

Он писал:

«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».

«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».

— Хорошие они обе, — печально прошептал граф. — Обе хорошие — и баронесса, и княгиня. — Но что же делать, если в них пудов по пяти с лишком.

А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу.

— Скелетик мой, — нежно прошептал он.

* * *

Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.

Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала...

Строки гласили:

«Как быстро меняется в наше время всесильная царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин — и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Ave, modes et robes[1] для полных женщин!!»

— Все погибло! — простонал граф. — Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, а они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет ее прекрасное пышное тело... Увы мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось 2 недели... Что скажут?!

Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро отточенную бритву...

* * *

Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?

Графское это хрипение, графская кровь, графские руки... И недаром поэт писал: «Погиб поэт, невольник чести»...

Спи спокойно!

* * *

На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валаньсеном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми и за то, что погубила мужа, и за то, что не модная.

* * *

Кладбище мирно дремлет... Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками:

— Дурак ты, мол, дурак!..

---

[1] Ave, modes et robes *(лат, фр.)* – Да здравствуют моды и платья.

ОТЧАЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

...Поезд тронулся.

Мы поместились трое в ряд на мягком вагонном диване: я у окна, мой приятель Незапяткин посредине, а по правую его руку — какой-то неизвестный нам человек с быстрыми черными глазами, потонувшими в темно-синих впадинах.

Одет он был в черный сюртук, а на шее было намотано такой неимоверной длины кашне, что шея, голова и плечи напоминали гигантскую катушку ниток.

Едва поезд тронулся, как я вынул из кармана журнал и, примостившись поближе к окну, погрузился в чтение.

— Как мы мало заботимся о своем здоровье, — заметил вдруг незнакомец, обернувшись ко мне с самым приветливым видом.

— А что?

— Да вот, например, вы читаете... Знаете ли вы, что чтение в вагоне поезда, находящегося в движении, — гибель для глаз.

— Ну, уж и гибель!

— Вот-вот! Все вы, господа, так рассуждаете... Мне говорил один немецкий ученый профессор, что чтение в вагоне — это яд для человеческого глаза. Лучше, говорил он, сразу взять и выжечь свои глаза кислотой, чем губить их в несколько приемов. Ужас!

— Да в чем же тут вред?

— А как же. Как вам известно, хрусталик глаза состоит из светлой бесцветной жидкости, находящейся в особом резервуаре. И вот если вы напрягаете хрусталик, то находящаяся в нем жидкость в связи с колебательными движениями вагона начинает постепенно высыхать... А в связи с этим высыханием начинает съеживаться и коробиться резервуар; яблоко глаза делается не круглым, упругим и плотным, как теперь, а вялым и мягким, будто бурдюк, из которого вылили вино. И вот однажды утром вы просыпаетесь и — простите за дешевый каламбур — вдруг видите, что ничего не видите. Вот вы сейчас, например, ощущаете некоторую сухость в глазу?

— Да... Как будто... Немножко.

— Ну вот!.. Начинается... Извольте видеть.

Он замолчал. Я быстро перелистал журнал, сразу увидел, что чтение там было неинтересное, и поэтому, свернув его в трубку, положил на верхнюю полочку.

— Разрешите мне посмотреть ваш журнал, — попросил незнакомец.

— Пожалуйста! Только почему вы-то будете портить себе глаза?

— Ах, я в этом отношении совершеннейший безумец. Так расстраивать себе здоровье, как я, может только самоубийца. Однажды мне дали кокаин, и что же! Я стал его глотать чуть не чайными ложками. В Самаре я купался прошлым летом в проруби, а в Петрограде мне случалось пользоваться папиросами, вынутыми из кармана умершего чумного.

Незапяткин всплеснул руками.

— Господи, какой ужас! Кровь холодеет.

— Еще бы. Конечно, есть опасности явные и есть тайные. Вот, например, вы сидите у окна. Знаете ли вы, что сквозь невидимые простым глазом щели в раме все время тянет тоненький, как комариное жало, сквозняк, который, как стальная иголочка, впивается в легкие. Легочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки, кровохарканье и...

— Что ж делать, — с бледной неискусно сделанной улыбкой возразил я. — Кому-нибудь все равно приходится сидеть у окна.

— Да давайте я сяду, — простым тоном, каким вообще говорят геройские вещи, сказал незнакомец.

— Однако, ваши легкие...

— Э! Мне ли жалеть их... Однажды в Константинополе я два дня пробродил во время жестоких морозов в одном пиджачке. В Астрахани познакомился с одним заклинателем змей... Ну да чего там говорить! Идите на мое место.

Мы пересели.

— Ну, знаете, — покачивая головой в такт движению вагона и обращаясь к незнакомцу, заметил Незапяткин. — Он мой приятель, я знаю его с детства, люблю его, но и я бы не стал так рисковать своей шкурой за другого.

— Э! Стоит ли говорить об этом, — махнул рукой незнакомец.

Подсел поближе к окну, развернул мой журнал и погрузился в чтение.

II

Езда в вагоне без чтения — очень скучная штука. Незнакомец читал, а мы с Незапяткиным клевали носом, изредка перебрасываясь ленивыми отрывочными фразами.

— Когда будем в Тифлисе?

— Э! Еще не скоро.

— Время-то как тянется.

— Да уж.

— Душно в вагоне.

— Да.

— Всюду зима, а тут весна.

— Это верно.

— Смотри, какие деревья.

— Да. Большие.

Дочитав журнал, незнакомец вернул его мне, зевнул и сладко потянулся.

— Эх, поспать бы теперь!..

Он посмотрел на Незапяткина и сказал:

— Это самая подлая дорога в России.

— Почему?

— Почти каждый день столкновения поездов.

— Что вы говорите! Почему же в газетах не пишут?

— Скрывают. Вы сами понимаете... Гм! Да. Сколько жертв!

— Жуткая вещь! — заметил Незапяткин, с тревогой поглядывая на меня.

— А еще бы!

— Самое скверное то, — сказал незнакомец, — что вагоны понастроены этакими закоулочками. Вот так, как мы сидим, случись столкновение — пиши пропало!

— Почему?

— А как же! Смотрите: наши коленки почти упираются в стенку вагона. Представьте себе, на нас налетел поезд! Сейчас же стена соседнего вагона хлопает по нашей стене, а наша стена по нашим собственным коленям. Давление в несколько сот атмосфер.

— А что же... случится? — тихо спросил Незапяткин, поглядывая на стенку вагона широко открытыми глазами.

— Как что? Ноги ваши от удара моментально вонзаются в ваш живот, выдавливают оттуда печень, кишки, и вы складываетесь, как подзорная труба. Да-с, знаете... Неприятно почувствовать собственную берцовую кость в том месте, где определено природой быть только легким и сердцу.

Мы, подавленные, молчали.

— Таз, конечно, вдребезги. В куски. И самое ужасное, что с этого рода увечьями живут еще по три, четыре дня.

— Ну, а предположим, — спросил Незапяткин, — если пассажир в момент столкновения стоял в коридоре? Опасность для него такая же?

— Ничего подобного! Вы сами понимаете, что опасны не боковые стенки, а передняя и задняя. Я знал в Новоузенске одного человека, который, единственный из сотни, остался жив только потому, что бродил во время крушения по коридору вагона. Семенов его фамилия. Электротехник.

Мы с Незапяткиным молча поглядели друг другу в глаза и без слов поняли один другого.

Посидели для приличия еще минуты три, а потом я сказал:

— Совсем нога затекла. Пройтись, что ли.

— И я, — вскочил Незапяткин. — Пойдем покурим.

III

Когда мы вышли в коридор, Незапяткин сказал, подмигнув:

— А ловко я это насчет курения ввернул. Так-то просто было неудобно выйти. Он мог бы подумать: трусы, мол. Испугались. Верно?

— Конечно.

— А у него, однако, дьявольские нервы. Действительно, сознавать, что каждую минуту тебя может исковеркать, зажать, как торговую книгу в копировальном прессе — и в то же время хладнокровно рассуждать об этом.

— Посмотри-ка, что он делает?

Незапяткин пошел взглянуть на нашего сумасброда и, вернувшись, доложил:

— Лежит чивой-то на диване с закрытыми глазами.

— Давай станем тут. Ближе к середине.

— А симпатичный он. Верно?

— Да. Милый. Такой... предупредительный.

Чем дальше, тем душнее было в вагоне. Чувствовалось приближение юга.

— Что, если мы откроем окно? — прервал я. — В степи такая теплынь.

— Не открываются окна. Вагон еще на зимнем положении.

— Постой... А вот это окно! У него, кажется, эта задвижка еле держится. Ну-ка, потяни.

— Ножичком бы. Не увидит никто?

— Ничего. Потом скажем, что нечаянно.

Рама с легким стуком упала — и нам в лицо пахнула сладкая прохлада напоенной ранними весенними ароматами степи.

— Какой воздух! Чувствуешь? Вот что значит Кавказ!

— Бальзам!

Мощные горы рисовались вдали легкими туманно-голубыми призраками. Лаской веяло от теплого воздуха и жирной пахучей земли.

...Часа два простояли мы так, почти не разговаривая, разнеженные, задумчивые. Сзади нас раздался голос:

— Что это вы тут делаете?

Наш сосед по дивану стоял за моей спиной.

— Чувствуете, какой воздух? — спросил я.

— Да. Попробую-ка и я открыть другое окошечко.

— Нет, — возразил Незапяткин. — Все окна заделаны по зимнему положению. Это единственное.

— Вот он, Кавказ-то! — задумчиво заметил незнакомец. — Красивый, экзотический, как змея-пифон, но и ядовитый, как эта змея! Так же могущий ужалить.

— Почему?

— Кавказ-то? Ведь это разбойничья страна. Вот вы, например, стоите у окна, тихо беседуете, и вдруг из-за того камня — бац! Пуля в висок, и вы без крика валитесь на пол.

— Кто же это... может?

— Ясно как день: туземцы. Да вот вчера в газетах... не читали газет?

— Нет.

— Ну как же. Таким точно образом стоял еврей, настройщик роялей, у открытого окна. «Свежим воздухом дышал...» Бац! И не пикнул. Айзенштук фамилия.

— Да за что же, Господи!

— Абреки. Это у них молодечество. Кто больше пассажиров настреляет, тот большим уважением в ауле пользуется. Кто меньше десятка уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдет.

— Черт знает что! Закроем окно, Незапяткин,

— А позвольте-ка, я рискну, — хладнокровно сказал незнакомец, облокачиваясь на узенький подоконник. — Послушайте... если меня тяпнет пуля... возьмите мои вещи и отошлите в Тифлис на Головинский проспект, 11 — Михайленко.

Никогда я до сих пор не видел, чтобы завещания составлялись с таким самообладанием и быстротой.

Для очистки совести мы попытались уговорить нашего сумасброда отойти от рокового окна, но он был непреклонен.

IV

Выходя в Тифлисе из вагона, мы наткнулись на высокую красивую даму, встречавшую нашего сумасброда.

— Ну, как доехал? — спросила она, целуя его.

— Замечательно. Пока попадаются такие поразительные спутники, как эти двое (он указал на нас), по русским железным дорогам еще можно ездить.

Усаживаясь на извозчика, Незапяткин сказал мне:

— Слышал? Говорит — поразительные... Мы ему, наверное, тоже понравились? Как ты думаешь?

Я пожал плечами:

— А чем же мы плохи?

ПЕРВЫЙ АНЕКДОТ ОБО МНЕ

Недавно я с ужасом прочел два анекдота об известных людях.

Первый был о покойном генерале Драгомирове.

Вот он — буквально:

«Как известно, Драгомиров отличался остроумием и находчивостью.

Один знакомый как-то спросил его:

— Что бы вы сделали, если бы завтра получили известие, что турки перешли границу и находятся уже под Киевом?

Ни слова не говоря, Драгомиров снял с пальца дорогое обручальное кольцо с великолепным бриллиантом и сказал знакомому:

— Наденьте это кольцо себе на ногу.

— Но это невозможно! — отвечал, вскрикнув, удивленный знакомый.

— Вот так же невозможно, чтобы турки осмелились напасть на Россию, — хладнокровно ответил покойник.

Эта манера резко и прямолинейно, не стесняясь ничем, говорить то, что он думает, создала ему много врагов, чего нельзя сказать об окружающих».

* * *

Второй анекдот такой:

«Покойный поэт Минаев отличался замечательным искусством говорить экспромты.

Вот один из лучших его экспромтов, сказанных на похоронах известного в то время железнодорожного строителя М., отличавшегося всем известной слабостью к слабому полу, который имел несколько побочных семейств, кроме прямого.

Именно, увидев погребальную колесницу с трупом покойника, он сказал находившемуся тут же актеру Б., большому любителю кутнуть и приятелю начинавшего входить в моду Достоевского:

О, человече! Был ты глуп —
Теперь лежит пред нами труп.
Покойся, милый прах, до радостного утра,
Пока червяк не съел твое все нутро.

Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в свое время множество врагов».

* * *

Выше я сказал, что прочел эти два анекдота с ужасом.

Действительно — вдумайтесь в смысл всей этой полуграмотной чепухи: вплетает ли она новые лавры в чудесные венки, которыми увенчаны оба «известных покойника»?

И, прочтя эти бессмысленные строки, я, по ассоциации, призадумался над своей будущей судьбой. Действительно:

вчера в одной из газет перед моим именем я впервые увидел пряное, щекочущее слово: «известный».

Странное слово... Странное ощущение...

Итак, я — «известный».

Неужели?

Я человек по характеру очень скромный и никогда не думал о себе этого... Ну — пишу. Ну — читают.

Но чтобы все это было до такой степени — вот уж не представлял себе!

И тут же я понял, какую громадную ответственность налагает на меня это слово.

— Действительно, когда я был неизвестный — пиши как хочешь, о чем хочешь и когда хочешь, ешь, как все люди едят, ходи в толпе, толкаясь, как и другие толкаются, и если на твоем пути завязалась между двумя прохожими драка, ты можешь остановиться, полюбоваться на эту драку или даже, в зависимости от темперамента, принять в ней деятельное участие, защищая угнетенную, по твоему мнению, сторону.

А в новом положении с титулом «известный» — попробуй-ка!

Когда ешь — все смотрят тебе в рот. Вместо большого куска откусываешь маленький кусочек, мизинец отставляешь, стараясь держать руку изящнее, и косточки от цыпленка уже не выплевываешь беззаботно на край тарелки (скажут — некрасиво), а, давясь, жуешь и проглатываешь, как какой-нибудь оголодавший сеттер.

Съешь лишний кусок, все глазеющие скажут — обжора.

Покажешься под руку со знакомой барышней — развратник.

Заступишься в уличной драке за угнетенного, все закричат: буян, драчун! («Наверное, пьян был!.. Вот они, культурные писатели... А еще известный! Нет, Добролюбов, Белинский и Писарев в драку бы не полезли»).

И, благодаря этому, столько народа, заслуживающего быть битым, остается небитым, что нравы грубеют и жизнь делается еще тяжелее.

Наибольшая же трагедия — это те анекдоты о моем уме, находчивости и сообразительности, которые будут рассказываться и приводиться в газетах (отдел «смесь») после моей смерти...

Воображаю:

«Известный (раз другие писали, могу же и я написать?) писатель Аркадий Аверченко отличался дьявольской сообразительностью и находчивостью.

Один знакомый спросил его:

— Кто, по-вашему, выше — Шекспир или Гете?

— Мой портной Кубакин, — отвечал остроумный писатель.

— Почему? — изумился ничего не подозревавший знакомый.

— Потому, — улыбнулся покойник, — что он чуть не трех аршин росту.

Такими язвительными ответами покойный юморист нажил массу врагов среди сильных мира сего».

* * *

Конечно, никто из нас не застрахован от таких «анекдотов», но я сделаю слабую попытку застраховаться от них.

Именно: я решил записывать сам все те будущие анекдоты, которые должны печататься после моей смерти.

Для начала позволяю себе привести один анекдот-факт обо мне, имевший место не более месяца тому назад.

Пишу его уже в готовом, обработанном виде, чтобы безграмотные компиляторы не исказили его, не лишили его тех немногих достоинств, которые, я надеюсь, отыщет в нем благосклонный читатель.

Из воспоминаний о покойном Аверченко.

Как известно, покойный писатель любил в хорошую минуту весело подшутить над своим ближним, что доставляло ему много врагов и тайных недоброжелателей.

Приводим следующий случай, правдивость которого могут удостоверить многие, пережившие бедного безвременно погибшего писателя...

Однажды, будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут еще сутки, то всем придется голодать.

Один актер, сидевший около, стал подтрунивать над Аверченко и, в конце концов, заявил:

— Ведь завтра нам всем уже придется бросать жребий — кому из нас быть съеденным... Что вы скажете,

Аркадий Тимофеевич, если жребий падет на вас и мы вас съедим?..

— Что я скажу? — ответил, улыбаясь, симпатичный покойник. — Я скажу, что в таком случае рискую *очутиться в дураках*.

В тот момент никто не понял этого загадочного ответа, но в последние годы он детально разъяснен комментаторами писателя.

* * *

Вот, читатели, единственный пока анекдот обо мне.

Нравится анекдот или нет — это другой вопрос, но что он правдив — за это ручаюсь.

Приятно быть более предусмотрительным, чем такие умные люди, как генерал Драгомиров и поэт Минаев.

КАК ЖЕНИЛСЯ ПАНАСЮК

I

— Будете?

— Где?

— На вечеринке у Мыльникова.

— Ах, да. Я и забыл, что нынче суббота — день обычной вечеринки у Мыльникова.

— Ошибаетесь. Сегодня вечеринка у Мыльникова именно — не обычная.

— А какая?

— Необычная.

— Что же случится на этой вечеринке?

— Панасюк будет рассказывать, как он женился.

— Подумаешь — радость. Кому могут быть интересны матримониальные курбеты Панасюка?..

— С луны вы свалились, что ли? Неужели вы ничего не слышали о знаменитой женитьбе Панасюка?

— Не слышал. А в чем дело?

— Я, собственно, и сам не знаю. Слышал только, что история потрясающая. Вот сегодня и услышим.

— Что ж... Пожалуй, пойду.

— Конечно, приходите. Мыльников говорит, что это нечто грандиозное.

II

После этого разговора я все-таки немного сомневался, стоит ли идти на разглагольствования Панасюка.

Но утром в субботу мне встретился Передрягин, и между нами произошел такой разговор:

— Ну, что у вас нового? — спросил я.

— Да вот сегодня бенефис жены в театре. Новая пьеса идет.

— Значит, вы нынче в театре?

— Нет. У меня, видите ли, тесть именинник.

— Ага. У тестя, значит, будете?

— Нужно было бы, да не могу. Должен провожать нынче начальника. Он заграницу едет.

— Чудак вы! Так вы бы и сказали просто, что провожаете начальника.

— Я его не провожаю. Я только сказал, что надо было бы. А, к сожалению, не смогу его проводить.

— Что же вы, наконец, будете делать?!

— Вот тебе раз! Будто вы не знаете!.. Да ведь нынче Панасюк у Мыльникова будет о своей женитьбе докладывать.

— Тьфу ты, господи! Решительно вы с ума сошли с этим Панасюком. Что особенного в его женитьбе?

— Это нечто гомеровское. Нечто этакое шекспировское.

— Что же именно?

— Не знаю. Сегодня вот и услышим.

Тут же я окончательно решил идти слушать Панасюка.

III

У Мыльникова собралось человек двадцать. Было душно, накурено. Панасюка, как редкого зверя, загнали в самый угол, откуда и выглядывала его острая лисья мордочка, щедро осыпанная крупными коричневыми веснушками.

Нетерпение росло, а Панасюк и Мыльников оттягивали начало представления, ссылаясь на то, что еще не все собрались.

Наконец гул нетерпеливых голосов разрешился взрывом общего негодования, и Панасюк дал торжественное обещание начать рассказ о своем браке через десять минут, независимо от того, все ли в сборе или нет.

— Браво, Панасюк.

— Благослови тебя Бог, дуся.

— Не мучай нас долго, Панасюченочек.

Тут же разнеслась среди собравшихся другая сенсация: рассказ Панасюка будет исполнен в стихах. Панасюка засыпали вопросами:

— Как? Что такое? Разве ты поэт, милый Панасюк? Отчего же ты до сих пор молчал? Мы бы тебе памятник поставили! Поставили бы тебя на кусок гранита, облили бы тебя жидким чугуном — и стой себе на здоровье и родителям на радость.

— Я, господа, конечно, не поэт, — начал Панасюк с сознанием собственного достоинства, — но есть, господа, такие вещи, такие чудеса, которые прозой не передашь. И в данном случае, по-моему, человек, испытавший это, если даже он и не поэт — все-таки он обязан сухую скучную прозу переложить в звучные стихи!!!

— А стихи действительно звучные? — спросил осторожный Передрягин.

— Да, звучности в них немало, — неопределенно ответил Панасюк. — Вот вы сами услышите...

— Да уж пора, — раздался рев голосов. — Десять минут прошло.

— Рассказывайте, Панасюк!

— Декламируй, Панасище.

— Извольте, — согласился Панасюк. — Садитесь, господа, все — так удобнее. Только предупреждаю: если будете перебивать — перестану рассказывать!

— О, не томите нас, любезный Панасюк. Мы будем тихи, как трупы в анатомическом театре.

— И внимательны, как француз к хорошенькой женщине!

— Панасюк, не терзайте!

— Начинаю, господа. Тихо!

IV

Панасюк дернул себя за угол воротника, пригладил жидкие белые волосы и начал глухим торжественным голосом:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом
Жил на даче я в Терновке,
Повинуясь капризу судьбы-плутовки.
Как-то был там вечер темный,
И ошибся дачей я...
Совершил поступок нескромный
И попал в чужую дачу, друзья.
Вижу комнату я незнакомую...
Вдруг — издали шаги и голоса!!
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, а в руке у него двустволка...

....

Резкий звонок в передней перебил декламацию Панасюка на самом интересном месте.

Панасюк болезненно поморщился и недовольно сказал:

— Ну вот, видите, и перебили. А говорили, что больше никого не будет...

Вошел запыхавшийся Сеня Магарычев.

— Не опоздал я? — крикнул он свежим с мороза, диссонирующим с общим настроением голосом.

— Носят тебя черти тут по ночам, — недовольно заметил Мыльников. — Не мог раньше прийти?! Панасюк уже давно начал.

— Очень извиняюсь, господин Панасюк, — расшаркался Магарычев. — Надеюсь, можно продолжать?

— Я так не могу, господа, — раскапризничался Панасюк. — Что же это такое: ходят тут, разговаривают, перебивают, мешают...

— Ну, больше не будем. Больше некому приходить. Ну пожалуйста, милый Панасюк, ну, мы слушаем. Не огорчайте нас, дорогой Панасюк. Мы так заинтересованы... Это так удивительно, то, что вы начали.

— В таком случае, — кисло согласился Панасюк — я начну сначала. Я иначе не могу.

— Конечно, сначала! Обязательно!

V

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом
Жил на даче я в Терновке,
Повинуясь капризу судьбы-плутовки.
Как-то был там вечер темный,
И ошибся дачей я...
Совершил поступок нескромный
И попал в чужую дачу, друзья.
Вижу комнату я незнакомую...
Вдруг — издали шаги и голоса!!
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, а в руке у него двустволка...

....

Мы все затаили дыхание, заинтересованные развязкой этой странной истории, как вдруг мертвую паузу прорезал свистящий шепот экспансивного Вовы Туберкуленко:

— Вот в этом месте ты, глупый Магарычев, и перебил чтение!.. Видишь?

Панасюк нахмурил свои бледные брови и поднялся с места.

— Ну господа, если вы каждую минуту будете перебивать меня, то тогда, конечно... я понимаю, что мне нужно сделать: я больше не произнесу ни слова!

— Черт тебя потянул за язык, Туберкуленко! — раздались возмущенные голоса. — Сидел бы и молчал!

— Да что же я, господа... Я только заметил Магарычеву, что он перебил нас на этом самом месте:

«Входит хозяин, а в руке у него двустволка»...

— Нет, больше я говорить не буду, — угрюмо проворчал Панасюк. — Что же это такое: мешают.

— Ну Панасюк! Милый! Алмазный Панасюк. Даем тебе торжественное слово, что свиньи мы будем, базарные ослы будем, если скажем хоть словечко... Мертвецы! Склепы! Гробы!

— Так вот что я вам скажу, господа: если еще раздастся одно словечко или даже шепот — ну вас! Ни звука от меня больше не добьетесь.

— Читай, драгоценное дитя. Декламируйте, талантливый Панасюк. Мы умираем от нетерпения.

VI

И снова начал Панасюк:

— Как я женился...

Он благополучно прочел первые десять строк... Когда начал одиннадцатую, нахмурил предостерегающе брови и подозрительно поглядел на Туберкуленку и Магарычева.

Наконец дошел до потрясающего места:

И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, а в руке у него дву... ствол...

Туберкуленко повел бровями и погрозил украдкой Магарычеву пальцем: тот смешливо дернул уголком рта и сделал серьезное лицо.

— Не буду больше читать, — сказал Панасюк, вставая с побледневшим лицом и прыгающей нижней челюстью. — Что же это такое? Издевательство это над человеком?! Инквизиция?!

Все были искренно возмущены Туберкуленкой и Магарычевым.

— Свиньи! Не хотите слушать — уходите!

— Господа, — вертелся сконфуженный Туберкуленко. — Да ведь я же ничего и не сказал. Только когда он дошел до хозяина с двустволкой...

— Ну?!

— Я и вспомнил, что он уже два раза доходил до этого места. И дальше ни на шаг!

— Ну?!

— Так вот я и испугался, чтобы и в третий раз кто-нибудь не перебил его на «хозяине с двустволкой».

VII

Почти полчаса пришлось умолять Панасюка снова начать свою захватывающую повесть о том, как он женился. Клялись все, били себя в грудь, гарантировали Панасюку полное спокойствие и тщательное наблюдение за неспокойным элементом.

И снова загудел глухой измученный голос Панасюка:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом...

Все слушатели скроили зверские лица и свирепо поглядывали друг на друга, показывая всем своим видом, что готовы задушить всякого, который осмелился бы хоть вздохом помешать Панасюку.

По мере приближения к знаменитому месту с залезанием под кровать лица всех делались напряженнее и напряженнее, глаза сверлили друг друга с самым тревожным видом, некоторых охватила даже страшная нервная дрожь... А когда бледный Панасюк бросил в толпу свистящим тоном свое потрясающее: «...Входит хозяин, а в руке у него двустволка»... — грянул такой взрыв неожиданного хохота, что дымный воздух заколебался, как студень, а одна электрическая лампочка мигнула, смертельно испуганная, и погасла. Панасюк вскочил и рванулся к дверям...

Десятки рук протянулись к нему; удержали; вернули; стояли все на коленях и униженно ползая во прахе, молили Панасюка начать свою поэму еще один раз: «самый последний разок; больше не будем даже и просить»...

— Господа! — кричал Передрягин. — Дети мы, что ли, или идиоты какие-нибудь? Неужели мы на десять минут не можем быть серьезными? Ведь это даже смешно. Как дикари какие-то!! Все мы смертельно хотим дослушать эту удивительную историю — и, что же? Дальше 12-й строки не можем двинуться.

— Если бы ему перевалить только через хозяина с двустволкой, — соболезнующе сказал кто-то, — дальше бы уже пошло как по маслу.

VIII

Долго уговаривали Панасюка, долго ломался Панасюк. Наконец начал с торжественной клятвой, что «это в самый, самый последний раз»:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу...

Каменные лица были у слушателей; мертвым покоем веяло от них.

...Вижу комнату я незнакомую,
Вдруг — издали шаги и голоса!
И полез под кровать я, как насекомое...

Сжатые губы, полузакрытые глаза ясно говорили, что обладатели их решили лопнуть, но выдержать то страшное давление, то ужасное желание, которое распирало каждого.

Это были не люди — это были мраморные статуи!

...Входит хозяин... а в руке у него... двустволка...

Статуи заколебались, часть их обрушилась на пол, катаясь в судорогах леденящего кровь смеха, часть бросилась к Панасюку, но он оттолкнул протянутые руки и, замкнувшись сам в себя, закусив губу, молча вышел.

* * *

Эта история на другой день разнеслась по всему городу.

И с тех пор никому, никогда и нигде бедный Панасюк не мог рассказать «историю о том, как он женился» — дальше знаменитой фразы:

...Входит хозяин, а в руке у него двуствол... ха, ха!

Ха-ха-ха-ха-ха!

Отдел II. ОКРУЖАЮЩИЕ НАС

ОКРУЖАЮЩИЕ

Один человек решил жениться.

Мать.

— Я женюсь, — сказал он матери. Подумав немного, мать заплакала. Потом утерла слезы. Сказала:

— Деньгами много?

— Не знаю.

— Ну, хоть так, тряпками-то — есть что-нибудь? Серебро тоже понадобится, посуда. А то потом хватишься — ни ложечки, ни салфеточки, ни тарелочки... Все покупать нужно. А купчишки теперь так дерут, что приступу ни к чему нет. Обстановку в гостиной, я думаю, переменить нужно, эта пообтрепалась так, что принять приличного человека стыдно. Перины есть? Пуховые? Не спрашивал?

И не спросила мать:

— А любит тебя твоя будущая жена?

Любовница.

— Я женюсь, — сказал он любовнице.

Любовница побледнела.

— А как же я?

— Ты постарайся меня забыть.

— Я отравлюсь.

— Если ты меня хоть немножко любишь, ты не сделаешь этого.

— Я? Тебя? Люблю? Ну, знаешь ли, милый!.. Кстати, мне сегодня Сергей Иваныч три раза по телефону звонил. Думаю весной поехать с ним на Кавказ.

Помолчав, спросила:

— Что ж она... богатая?

— Кажется.

И с облегченным сердцем подумала:

— Ну, значит, он меня оставляет из-за денег. Кажется, что это не так обидно.

И не спросила любовница:

— А любит тебя твоя будущая жена?

Горничная.

— Я женюсь, — сказал он горничной.

— А как же я? Меня-то вы оставите? Или искать другое место?

— Почему же? Вы останетесь.

— Только имейте в виду, барин, что ежели вас двое, то жалованье тоже другое. Во-первых, около женщины больше работы, а потом и мелкой стирки прибавится, то да се. Не иначе, пять рублей прибавить нужно.

Даже в голову не пришло горничной задать своему барину простой человеческий вопрос:

— А любит вас ваша будущая жена?

Прохожий.

У прохожего было такое веселое, полупьяное, располагающее к себе лицо, что собиравшийся жениться человек улыбнулся прохожему и сказал:

— А я, знаете, женюсь.

— И дурак.

Растерялся собиравшийся жениться:

— То есть?

— Да уж будьте покойны.

И, нырнув в толпу, не догадался спросить этот прохожий...

— А любит вас ваша будущая жена?

Друг.

— Я женюсь, — сказал он своему другу.

— Вот тебе раз!

После некоторого молчания сказал друг:

— А как же я? Значит, нашей дружбе крышка?

— Почему же? Мы по-прежнему останемся друзьями.

И только тут задал друг вопрос, который не задавал никто:

— А любит тебя твоя будущая жена?

Взор человека, собиравшегося жениться, слегка затуманился.

— Не знаю. Думаю, что не особенно...

Друг, что-то соображая, пожевал губами.

— Красивая?

— Очень.

— М-да... Н-да... Тогда конечно... В общем, я думаю: отчего бы тебе и не жениться?

— Я и женюсь.

— Женись, женись.

* * *

Холодно и неуютно живется нам на белом свете. Как тараканам за темным выступом остывшей печи.

ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА

I

Когда на Макса Двуутробникова нападал прилив откровенности, он простодушно признавался:

— Я не какой-нибудь там особенный человек... О нет! Во мне нет ничего этакого... небесного. Я самый земной человек.

— В каком смысле — земной?

— Я? Реалист-практик. Трезвая голова. Ничего небесного. Только земное и земное. Но психолог. Но душу человеческую я понимаю.

Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал:

— Плакали? От меня ничего не скроется... Я психолог. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия.

— Вам бы только все выгода и удовольствие, — покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос.

— Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек. Я земной.

— Да? А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни.

Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максу.

— Скажите, Мастаков — пара для моей Лиды или не пара?

— Мастаков-то? Конечно, не пара.

— Ну вот: то же самое и я ей говорю. А она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете, — грешный человек, — пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять — и ухом не ведет.

— Ну знаете... Это смотря какие стороны выставить... Вы что ей говорили?

— Да уж будьте покойны — не хорошее говорила: что он и картежник, и мот, и женщины за ним бегают, и сам он-де к женскому полу неравнодушен... Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.

— Мамаша! Простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать!! Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами, этими его пороками вы втрое крепче привязали ее сердце!! Мамаша! Простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически.

— Да я думала ведь, как лучше.

— Мамаша! Хуже вы это сделали. Все дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь — мот, картежник... Да ведь это красиво! В этом есть какое-то обаяние. И Германн в «Пиковой даме» — картежник, а смотрите, в каком он ореоле ходит... А отношение женщин... Да ведь она теперь, Лида ваша, гордится им, Мастаковым этим паршивым: «Вот, дескать, какой покоритель сердец!.. Ни одна перед ним не устоит, а он мой!» Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком... Вот я наговорю так наговорю! И глядеть на него не захочет...

— Макс... Милый... Поговорите с ней.

— И поговорю. Друг я вашей семье или не друг? Друг. Ну, значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где?

— У себя. Кажется, письмо ему пишет.

— К черту письмо! Оно не будет послано!.. Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим.

II

— Здравствуйте, Лидия Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А я зашел к вам поболтать. Давно видели моего друга Мастакова?

— Вы разве друзья?

— Мы-то? Водой не разольешь. Я люблю его больше всего на свете.

— Серьезно?

— А как же. Замечательный человек. Кристальная личность.

— Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают... И мама, и... все. Мне это так тяжело.

— Лидочка! Дитя мое... Вы простите, что я вас так называю, но... никому не верьте! Про Мастакова говорят много нехорошего — все это ложь! Преотчаянная, зловонная ложь. Я знаю Мастакова, как никто! Редкая личность! Душа изумительной чистоты!..

— Спасибо вам... Я никогда... не забуду...

— Ну, чего там! Стоит ли. Больше всего меня возмущает, когда говорят: «Мастаков — мот! Мастаков швыряет деньги куда попало!» Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется! Душу из него вымотает. От извозчика пар идет, от лошади пар идет, и от пролетки пар идет. А они говорят — мот!.. Раза три отойдет от извозчика, опять вернется, и все это из-за гривенника. Ха-ха! Хотел бы я быть таким мотом!

— Да разве он такой? А со мной когда едет — никогда не торгуется.

— Ну что вы... Кто же осмелится при даме торговаться?! Зато потом, после катанья с вами, придет, бывало, ко мне — и уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный!

— А я и не думала, что он такой... экономный.

— Он-то? Вы еще не знаете эту кристальную душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего и своего, говорит, не упущу. Ему горничная каждый вечер счет расходов подает, так он копеечки не упустит. «Как, говорит, ты спички поставила 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они 23 стоили?

Куда две копейки дела, признавайся!» Право, иногда, глядя на него, просто зависть берет.

— Однако он мне несколько раз подносил цветы... Вон и сейчас стоит букет — белые розы и мимоза — чудесное сочетание.

— Знаю! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах покупал.

— Почему же в разных?

— В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да еще выторговал пятнадцать копеек. О, это настоящий американец! Воротнички у него, например, гуттаперчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно — с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю: «Вот это будет муж, вот это отец семейства!» Да... счастлива будет та девушка, которая...

— Постойте... Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему...

— Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили?

— Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какая гадость!

— Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка (простите, что я называю вас Лидочкой), — страшные дуры.

— Ну уж и дуры.

— Дуры! — стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. — Спрашивается: чем им Мастаков не мужчина? Так нет! Всякая нос воротит. «Он, говорит она, неопрятный. У него всегда руки грязные». Так что ж, что грязные? Велика важность! Зато душа хорошая. Зато человек кристальный! Эта вот, например, изволите знать?... Марья Кондратьевна Ноздрякова — изволите знать?

— Нет, не знаю.

— Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет: «Никогда я больше не поцелую вашего Мастакова — противно». — «Это почему же-с, скажите на милость, противно? Кристальная, чудесная душа, а вы говорите — противно?...» — «Да я, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползет...» — «Сударыня! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло», — и слышать не хочет глупая баба! — «У него,

говорит, и шея грязная». Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и все будет в порядке! — «Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелую». За сто не поцелуешь, а за двести, небось, поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши.

— Макс... Все-таки это неприятно, то, что вы говорите...

— Почему? А по-моему, у Мастакова ярко выраженная индивидуальность... Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-то благородный протест.

— А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные...

— Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. Я в календаре читал.

Макс, взволнованный, помолчал.

— Нет, Мастакова я люблю и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий Муций Сцевола, который руку на сковороде изжарил.

— Страдание? Разве Мастаков страдает?!

— Да. Мозоли. Я ему несколько раз говорил: почему не срежешь? «Бог с ними, не хочу возиться». Чудесная, детская, хрустальная душа...

III

Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала с затаенным вздохом:

— Мастаков твой звонит. Тебя к телефону просит...

— Почему это мой? — нервно повернулась в кресле Лидочка. — Почему вы все мне его навязываете?! Скажите, что не могу подойти... Что газету читаю. Пусть позвонит послезавтра... или в среду — не суть важно.

— Лидочка, — укоризненно сказал Двуутробников, — не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую, ароматную душу!

— Отстаньте вы все от меня! — закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку. — Никого мне, ничего мне не нужно!!!

Двуутробников укоризненно и сокрушенно покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв ее под руку, шепнул:

— Видал-миндал?

— Послушайте... Да ведь вы чудо сделали!! Да ведь я теперь век за вас молиться буду.

— Мамаша! Сокровище мое. Я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтораста рублей. А у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы...

— Да господи! Да хоть все полтораста!..

И, подумав с минуту, сказал Двуутробников снисходительно:

— Ну ладно, что уж с вами делать. Полтораста так полтораста. Давайте!

РОКОВОЙ ВОЗДУХОДУЕВ

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

— С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

— А почему же вас не познакомить? — спросил я удивленно.

Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

— Эх! — простонал он. — Жалко женщину.

— Почему?

— Ведь ты ее любишь?

— Ну... конечно.

— И она тебя?

— Я думаю.

— Что ж ты теперь наделал?

— А что?!

— Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий... Неужели еще добавлять надо?

— Бог знает, что ты говоришь, — нервно сказал я. — Какие страдания?

— Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и... что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас...

— Да что с ней случится?!!

— Влюбится.
— В кого?!
Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня.
— Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.
— Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?
Удивился он:
— Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну, рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?
— Ну, может быть, она и будет исключением.
Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль:
— Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением... Но — увы! Исключения попадаются только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.
— Пожалел бы ты ее, — попросил я.
Он пожал плечами.
— Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!
— Но, может быть... Если вы не будете встречаться...
— Да ведь она меня уже видела?
— Видела.
— Ну, так при чем тут не встречаться?
Лицо мое вытянулось.
— Действительно... Втяпались мы в историю.
— Я ж говорю тебе!
Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:
— Воздуходуев!
— Ну?
— Если не ее, то меня пожалей.
В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.
— Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это — тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.
— Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

— Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка, с раз и навсегда удивленными серыми глазами.

— Анна Лаврентьевна! — встал ей навстречу Воздуходуев. — Отчего вы не пришли ко мне?

— Я? К вам? Зачем?

— Женщина не должна спрашивать: «зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

— Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того, ни с чего.

— Слабеет, — шепнул мне Воздуходуев. — Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким металлическим тоном:

— Я живу: Старомосковская, 7. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты.

— Видал? — нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. — Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей... А вот, поди ж ты!

— Неужели придет?!

— Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но по мере приближения назначенного часа — роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, 7» — эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу — и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

— Воздуходуев! Ты безжалостен.

— Что ж делать. Мне ее жаль, но... Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. (Он горько, надтреснуто засмеялся.) Аттила, бич Божий.

— Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

— Отчасти наружность, — задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. — Ну, лицо, конечно, взгляд.

— У тебя синее лицо, — заметил я с оттенком почтительного удивления.

— Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.

— Бритье?

— Женщины.

— Воздуходуев!.. Ну не надо губить мою жену, ну пожалуйста.

— Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

— Ах! — вздохнул я наконец. — Если бы я пользовался таким успехом...

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело — с каждым выпитым стаканом.

— Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

— Ну конечно!

— У женщин?

— Да.

— Не пожелал бы я тебе этого.

— Беспокойно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно:

— Мой успех у женщин. Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью... Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств... Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала, да — хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

— Никто не является? — сочувственно спросил я.

— Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном

«Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня, да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка... И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод — а вот, поди ж ты! Не везет. Умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно — прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что «вы, мол, едва только прикоснетесь к руке — я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти». А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, говорит, к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу»... Смешные они все. Давеча и твоя жена — «От вас, говорит, исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует»...

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха, и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду, льнущих к нему женщин...

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

МАТЕРИНСТВО

В 4 года.

Две крохотные девочки сидят на подоконнике, обратившись лицами друг к другу, и шепчутся.

— Твоя кукла не растет?

— Нет... Уж чего, кажется, я ни делала.

— Я тоже. Маленькая все, как и была. Уж я ее и водой потихоньку поливала и за ноги тянула — никаких гвоздей!

— Каких гвоздей?

— Никаких. Это дядя Гриша так говорит: пусто — и никаких гвоздей!..

Серафима, сидящая слева, угнетенно вздыхает:

— А живые дети растут.

— Весело! Сегодня дите два аршина, завтра сто — весело!

— Когда выйду замуж, будут у меня детишки — одна возня с ними.

— Симочка, — шепчет другая, глядя вдаль широко раскрытыми глазами. — А сколько их будет?

— Пять. У одного будут черненькие глазки, а у другого зелененькие.

— А у меня будет много-много дитев!

— Ну, не надо, чтобы у тебя много! Лучше у меня много.

— Нет, у меня! У одного будут розовые глазки, у другого желтенькие, у другого беленькие, у другого красненькие.

Зависть гложет сердце Симочки:

— А я тебя ударю!

Дергает свою многодетную подругу за волосы. Плач. Святое материнство!

В 12 лет.

— Федор Николаич! Вы уже во втором классе? Поздравляю.

— Да, Симочка. Вы говорили, что когда я чего-нибудь достигну, вы... этого... женитесь на мне. Вот... я... достиг...

— Поцелуйте мне... руку... Федор Николаич.

— Симочка! Я никогда не унижался с женщинами до этого, но вам, извольте, — я целую руку! Мне для вас ничего не жалко.

— Раз вы поцеловали, нам нужно пожениться. Как вы смотрите на детей?

— Если не ревут — отчего же.

— Слушайте, Федор Николаич... Я хочу так: чтобы у нас было двое детей. Один у меня от вас, а другой у вас от меня.

— Я бы, собственно, трех хотел.

— А третий от кого же?

— Третий? Ну, пусть будет наш общий.

— Одену я их так: мальчика в черный бархатный костюмчик, на девочке розовое, с голубым бантом.

— Наши дети будут счастливые.

— В сорочках родятся.

— И лучше. Пока маленькие — пусть в сорочках и бегают. Дешевле.

— Какой вы практик. А мне все равно. Лишь бы дети.

Святое материнство!

В 18 лет.

Разговор с подругой:

— Симочка! Когда ты выйдешь замуж — у тебя будут дети?

— Конечно! Двое. Мальчик — инженер с темными усиками, матовая бледность, не курит, медленные благородные движения; девочка — известная артистка. Чтобы так играла, что все будут спрашивать: «Господи, да кто же ее мать? Ради Бога, покажите нам ее мать». Потом я ее выдам замуж... За художника: бледное матовое лицо, темные усики, медленные благородные движения, и чтобы не курил.

Святое материнство!

В 22 года.

— Я, конечно, Сережа, против детей ничего не имею, но теперь... когда ты получаешь сто сорок да сестре посылаешь ежемесячно двадцать восемь... Это безумие.

— Но, Симочка...

— Это безумно! Понимаешь ты? До безумия это безумно. Постарайся упрочить свое положение, и тогда...

Святое материнство!

В 30 лет.

— Сережа! Мне еще 27 лет, и у меня фигура, как у девушки... Подумай, что будет, если появится ребенок? Ты не знаешь, как дети портят фигуру...

— Странно... Раньше ты говорила, что не хочешь плодить нищих. Теперь, когда я богат...

— Сережа! Я для тебя же не хочу быть противной! Мне двадцать седьмой год, и я... Сережа! Одним словом — время еще не ушло!

Святое материнство!

В 48 лет

— Доктор! Помогите мне — я хочу иметь ребенка!!! Понимаете? Безумно хочу.

— Сударыня. В этом может помочь только муж и Бог. Сколько вам лет?

— Вам я скажу правду — 46. Как вы думаете, в этом возрасте может что-нибудь родиться?

— Может!

— Доктор! Вы меня воскрешаете.

— У вас может, сударыня, родиться чудесная, здоровенькая, крепкая... внучка!..

ПРОФЕССИОНАЛ

На скачках или в театре — это не важно — бритый брюнет спросил бородатого блондина:

— Видишь вот этого молодого человека с темными усиками, в пенсне?

— Вижу.

— Это Мушуаров.

— Ну?

— Мушуаров.

Лошадь ли пробежала мимо, или любимая актриса вышла на сцену — не важно, но что-то, одним словом, отвлекло внимание друзей, и разговор о Мушуарове прекратился.

И только возвращаясь со скачек или из театра — это не важно — бородатый блондин спросил бритого брюнета:

— Постой... Зачем ты мне давеча показал этого Мушуарова?

— А как же! Замечательный человек.

— А я его нашел личностью совершенно незначительной. Что ж он, сыворотку против чумы открыл, что ли?

— Еще забавнее. Пользуется безмерным, потрясающим успехом у женщин!

— Действительно. При такой тусклой наружности — это замечательно.

— Непостижимо.

— Загадочно.

— Таинственно.

— И ты не знаешь тайны этого безумного успеха?

— Совершенно недоумеваю.

А у Мушуарова, действительно, была своя тайна. Скушав за своим одиноким столом суп, котлеты и клюквенный кисель, Мушуаров с зубочисткой в левом углу рта поднимается с места и — сытый, отяжелевший — лениво бредет в кабинет; усаживается удобнее в кожаное кресло, поднимает голову, будто что-то вспоминая (очевидно, номер одного из многих телефонов), и, наконец, нажав кнопку, цедит сквозь торчащую в зубах зубочистку:

— Центральная? Дайте, барышня, 770 — 17. Благодарю вас.

— Кто говорит? — доносится издалека свежий женский голос.

— Вы, Екатерина Николаевна? Здравствуйте, Екатерина Николаевна. Здравствуйте...

Странно: в голосе его звучит самая неподдельная хватающая за душу печаль.

— Мушуаров? Здравствуйте. Что скажете?

— Что скажу? Скажу, что вы должны быть нынче вечером у меня. Слышите? Я так хочу.

— Послушайте... Опять за старое? Ведь я вам уже сказала, что не люблю вас, и, право, удивляюсь...

— Екатерина Николаевна, — тихо, с какой-то странной сдержанностью отчеканивает Мушуаров. — Конечно, всякий волен поступать, как ему заблагорассудится, и я даже смотрю на это дело так: всякий имеет право умертвить другого человека, если, конечно, душа его молчит и ему не страшно принять кровавый грех на эту душу...

— Кто кого умерщвляет? Что вы такое говорите?

— Слово «умерщвляет» я употребил в фигуральном смысле, но это почти так...

Он делает долгую паузу. Эта пауза леденит сердце Екатерины Николаевны. Ей кажется, что Мушуаров в этот момент подпер голову рукой и погрузился в мрачные мысли.

Однако пауза делового Мушуарова не пропадает даром: он успевает взглянуть на часы, поправить отстегнувшийся брелок и бросает в корзину для бумаг какой-то скомканный конверт, неряшливо белевший на ковре.

— Да... Итак — прощайте, Екатерина Николаевна... Довольно. Я решил вам сказать об этом потому, что думаю — вам так будет легче.

— О чем сказать? Я вас не понимаю.

— Не понимаете? — криво усмехается в трубку Мушуаров. — Вы меня всю жизнь не понимали... А сейчас у меня к вам одна просьба: ради Бога, не ходите ко мне на панихиду, не провожайте меня на кладбище — терпеть не могу всей этой пошлятины.

— Мушуаров!!! — тонкой струной болезненно звенит голос невидимой Екатерины Николаевны. — С ума вы сошли? Что вы такое говорите!!

— Екатерина Николаевна, — горько смеется Мушуаров, — телефон многие ругают, но вот вам одно из его преимуществ: вы со мной говорите, слышите сейчас мой голос, но удержать меня от того, что я задумал, изменить мое решение — вы не можете! Когда вы повесите трубку, то через пять минут...

Голос его срывается от волнения; он вынимает из жилетного кармана часы, хлопает крышкой раза два у самой телефонной трубки и, закусив губы, говорит со стоном:

— Слышите вы это щелканье курка? Мой маузер чует кровь и щелкает зубами, как голодный волк перед кровавым пиром!..

— Мушуаров, милый... Ради Бога, одну минутку, — доносится издалека торопливый, испуганный голос. — Подождите, не вешайте трубку... Дайте мне честное слово, что вы не повесите трубку, пока меня не выслушаете...

— Хорошо, — соглашается Мушуаров. — Ради того чувства, которое теперь уносит меня в неведомый мир, я выслушаю вас.

— Мушуаров, голубчик! Подумайте только, — что вы хотите сделать?.. Жизнь так прекрасна...

— Без вас? Ха-ха-ха! Вы меня смешите, Екатерина Николаевна. Нет уж — что там и говорить...

— Мушуаров! Еще одну минутку... Вы ради меня не должны делать это с собою! Подумайте, какой вы готовите мне ужас, какая предстоит мне страшная жизнь... Жить с сознанием, что на твоей совести смерть человека... Пожалейте меня, Мушуаров!

— О, Екатерина Николаевна! К чему такие громкие слова? Через две-три недели ваши терзания утихнут, а через год-два вы и думать позабудете, что где-то, когда-то жил

такой серый, незаметный человечек Мушуаров, который умер потому, что любил. Что я вам такое? Кустик при дороге, мимо которого проходит путник по своим делам; смял путник своей ногой этот кустик и даже не заметил своего поступка...

— Мушуаров! Вы не сделаете этого.

Горько смеется Мушуаров.

— Ну, не будем об этом говорить, Екатерина Николаевна. Довольно. У меня лежат две ваши книги. Мои родственники потом, конечно, не откажутся выдать их вам... Что еще? Да! Я вам проиграл на пари цветы, не успел послать — извините меня... Прощайте, Екатерина Николаевна... Не поминайте лих...

— Постойте!!! Мушуаров!!! Ах, как вы меня мучаете...

— А вы думаете, мне легко?

— Одну минутку!!! Чего вы от меня хотите?

— Я? От вас? Бог с вами. Ничего я от вас не хочу. Да-а... А, в сущности, какое это странное чувство... Через пять-шесть минут...

— Постойте!!! Ведь вы просили, чтобы я к вам... приехала?

— Екатерина Николаевна! Не будем говорить о том, что невозможно!

— Ну... а если бы я... приехала?..

— К чему? Приедете, чтобы сказать, что вы ко мне равнодушны? Нет, зачем же. Я насиловать вашу волю не хочу. Я не такой. Итак — прощ...

— Одну минутку, сумасшедший!!! Ну а если мне просто хочется вас видеть — можно к вам приехать?

— Что ж... приезжайте.

— И вы даете мне слово, что до моего приезда... вы... не выкинете никакого... безумства...

— Ха! Ха! Вы хотите сделать осужденному маленькую отсрочку? Что ж... Спасибо за милосердие.

— Мушуаров, Мушуаров... Что вы со мной делаете!..

Пауза.

— Мушуаров... Через час я буду у вас.

— Дворянская, второй дом от угла, парадная дверь, третий этаж, дверь налево. Я сам вам открою.

Где-то далеко от Дворянской (второй дом от угла) мечется сердобольная женская душа; как подстреленная охотником

птица, мечется женщина, натыкаясь на стулья и двери, в поисках шляпы, кофточки, боа... Нужно торопиться, потому что бог знает что может произойти от ее промедления на Дворянской, второй дом от угла.

А на Дворянской происходит вот что:

— Марья! — кричит Мушуаров, поднимаясь с кресла. — Приготовь самовар, купи конфект, тех, знаешь, что я давеча говорил, да груш купи, что ли... яблок. А сама потом проваливай, куда хочешь.

— «Проваливай», — ворчит на кухне обиженная Марья. — Сам бы ты лучше провалился. И ведь поди ж ты, — мозгляк, кажется, такой, что и глядеть не на что. А баба к нему прямо стеной идет. Слово он такое знает, что ли, али что?..

У Мушуарова впереди еще час. Делать нечего, а настроение хорошее. Надо дать исход живым силам, буйно бродящим внутри.

— Марья-а-а!

— Чего кричите? Тут я.

— Дай мне рубашку.

— Уходить думаете?

— Не твое дело. Постой... Какую же ты мне рубашку даешь... ночную? Дура! мне нужно с твердыми манжетами.

— Вот извольте. Чистенькая.

— Бестолочь! Ты мне грязную дай. Которую я давеча надевал.

— Эва! Да ведь она грязная.

— Ой! Что это за женщина! Она меня в могилу сведет. Если ты так глупа, то исполняй мои приказания буквально! Возьми из грязного белья ту сорочку, которую я снял вчера, и принеси мне. Поняла? На одну минуту! Потом унеси. Поняла?

Со вздохом бредет Марья на кухню. Приносит сорочку.

— Где левая манжета? Вот эта? Хорошо, что ты еще в стирку ее не вздумала отдать. Где тут карандашом записано? А, вот! 237—542. А теперь забирай свою дурацкую рубашку и проваливай.

— Центральная? Алло! Дайте, барышня, 237—542. От всего сердца спасибо. Это кто у телефона?.. Горничная? Позови, голубушка, барыню. Скажи, Мушуаров просит. Постой, постой... Ты так и скажи: «просит, дескать, к теле-

фону господин Мушуаров, и что они, мол, будто не в себе. Будто, мол, что-то случилось». Поняла?

Ждет Мушуаров. Берет из вазочки остро отточенный карандаш, начинает рисовать человека с неуверенным профилем и глазом, похожим на французскую булку.

— Алло! — слышит он. — Что такое случилось, Мушуаров? Чем вы так взволнованы?

— Ничего особенного, — говорит Мушуаров, часто и тяжело дыша, — Ничего, ничего... Только я хотел спросить: нет ли у вас случайно револьвера?

— Револьвера? Нет, не имеется. А вам на что?

— Да так, знаете. Воры, может быть, залезут, так я... в них... Впрочем, лучше не расспрашивайте, нет! Не нужно ничего у меня спрашивать...

— Успокойтесь, я не любопытна. Это все, что вы хотели у меня спросить? Ну, всяких вам благ.

— Постойте, Вера Петровна... Я у вас еще что-то хотел спросить...

— Ну?

— У вас случайно нет опиума? Или кусочка цианистого калия?

— Тоже для воров? Послушайте, Мушуаров... Ведь это же не крысы, которых можно травить мышьяком. Подумайте, вам нужно сначала поймать вора, потом связать его, потом всунуть ему в рот цианистый калий — сколько возни!..

Из трубки вылетает целый сноп серебристого смеха. Мушуаров болезненно морщится.

— К чему вы... так? Нехорошо смеяться над человеком, который...

Он делает паузу, отпивая из стакана чай и снова взглянув на часы. Издалека спрашивают:

— Который... что?

— Которого вы, может быть, больше не увидите.

— В Австралию уезжаете?

— Нет, — глухим голосом отвечает Мушуаров. — Но вы мне вчера сказали, что вы любите другого и что я для вас нуль. Остальное — поймите.

— Голубчик, Мушуаров... Но что же делать, если это так?!

— Пожалуйста! Пожалуйста! Я ведь ничего и не говорю. Но только... я сам не знаю, почему я к вам позвонил. Мне так хотелось в последний раз услышать ваш голос...

— В пос-лед-ний раз? Эй, эй, вы! Дядя! Да вы не думаете ли из-за меня стреляться?

— Вера Петровна! И вы говорите об этом — таким тоном?

— Извините, если я вас обидела. Ну, давайте поговорим, как следует. Вы хотите из-за меня стреляться?

— Да... Вера... Петровна... К чему эта глупая скучная волынка, называемая жизнью, если вы не хотите быть моей?

— Так если же я вас не люблю. Ну, что же мне делать? Посудите сами!

— Что ж... Склоняюсь перед судьбой. Значит, так уж у меня на роду написано. Ну... Не поминайте лихом...

— До свидания, милый...

— Послушайте! Вера Петровна... И неужели вам меня ни капельки не жалко?

— Ну, как не жалко. Жалко. Только я думаю, что вы этого не сделаете.

— Вера Петровна... Ровно в 12 часов ночи одним глупцом с пробитым пулей виском станет на нашей нелепой планете меньше.

— Вы это решили категорически?

— Да!

— И ничто не изменит вашего решения?

— Да!

— Печально. В таком случае, прощайте. Все-таки — желаю вам одуматься.

— Нет! Одуматься? Ха-ха! Что Мушуаров решил — это свято! Завтра меня не будет в живых.

Он молчит, судорожно дыша. После некоторой паузы говорит тихо, разделяя слоги:

— Прощайте. Не поминайте лихом...

Склонив голову, ждет ответа.

— Алло! Я говорю — про-щай-те... Не поминайте лих... Вера Петровна! Вы у телефона? Алло! Барышня! Почему вы разъединили? Что? Там трубку уже повесили? Не может быть!! Дайте туда звонок. Алло.

— Вера Петровна?..

— Да, это я, Мушуаров. Что вы еще хотели сказать?..

— Нас разъединили.

— Нет, это я сама повесила трубку. Вы что же, еще что-нибудь хотите сказать?

— Да. У меня одна к вам просьба...

— Пожалуйста. Если смогу...

— Одна к вам просьба: не приходите ко мне на панихиду и не провожайте на кладбище... Это такая пошлятина — эти все разговоры, пересуды... Обещаете?

— Обещаю.

— Ну... пр... прощайте. Благослови вас Господь.

— Мерси. Всех благ.

Слышен стук повешенной трубки. Мушуаров долго сидит, ошеломленный. Проводит рукой по лбу.

— Вот дрянь-то! Кто бы мог ожидать? Шел почти наверное и — на тебе! Ну и черт с ней. Однако это плохо, что так вышло. Завтра смеяться еще будет, другим расскажет... Гм!..

Долго ходит по своему кабинету Мушуаров, потирая лоб и бормоча невнятные слова...

Наконец решительно подходит к столу, придвигает лист толстой почтовой бумаги. Пишет:

«Вера Петровна. Как странно: был я болен и вдруг сразу будто выздоровел, будто прозрел... Я вас любил... Боже ты мой, как я вас любил! Жизнь без вас казалась мне пучиной мрака... Вы мне казались идеальной женщиной, светлым лучом, ангелом доброты и ласки... И, не получив вашей любви, я решил умереть. Мое решение было бесповоротно, и о нем я сказал вам, думая, что так для нас обоих будет легче. Я сказал вам... И на что же я наткнулся — я, уже приговоривший себя к смерти?!! На издевательство, смех, холодное, ледяное равнодушие влюбленной в себя эгоистки... И подумал я: из-за такой женщины — умирать? Из-за такого черствого сухаря, не способного на высокий подъем души, лишать себя жизни? Нет! Она не достойна этого! И я решил жить, убив свою любовь и взрастив на ее месте холодное полупрезрительное равнодушие... Нет! Не ради вас Мушуаров расстанется со своей безумной жизнью. Вот о чем я нынче продумал всю ночь и о чем сейчас, измученный этой бессонной ночью, пишу. Прощайте. Когда-то ваш —

Спиридон Мушуаров»

....

В передней раздался звонок.

— Пришла? — подумал Мушуаров, заклеивая письмо. — То-то же. Все-таки, как-никак, а процентов шестьдесят на этом деле очищается...

ИСПОВЕДЬ, КОТОРАЯ ОБЛЕГЧАЕТ

...После заутрени решили идти разговляться к Крутонову.

Пошли к нему трое: два — веселые, оживленные, Вострозубов и Полянский, — шагали впереди, а сзади брел третий — размягченный торжественной заутреней, задумчивый, какой-то внутренне просветленный.

Фамилию этот третий носил такую: Мохнатых.

Когда пришли к Крутонову, поднялась сразу веселая суета, звон стаканов, стук ножей и вилок...

И опять трое были оживлены, включая и хозяина, а Мохнатых по-прежнему поражал своим задумчивым, растроганно-печальным видом.

— Что с тобой такое делается, Мохнатых? — спросил озабоченный Крутонов, разливая в стаканы остатки четвертой бутылки.

— Эх, господа, — со стоном воскликнул Мохнатых, опуская пылающую голову на руки. — Может быть, это единственный день, когда хочется быть чистым, невинным, как агнец, — и что же! Никогда так, как в этот день, ты не чувствуешь себя негодяем и преступником!

— Мохнатых, что ты! Неужели ты совершил преступление? — удивились приятели.

— Да, господа! Да, друзья мои, — простонал Мохнатых, являя на своем лице все признаки плачущего человека. — Как тяжело сознавать себя отбросом общества, преступником...

Хозяин разлил по стаканам остатки пятой бутылки и дружески посоветовал:

— А ты покайся. Глядишь, и легче будет.

По тону слов хозяина Крутонова можно было безошибочно предположить, что в этом совете не заключалось ни капли альтруистического желания облегчить душевную тяжесть приятеля Мохнатых. А просто хозяин был снедаем самим земным, низшего порядка любопытством: что это за преступления, которые совершил Мохнатых?

Разлил остатки шестой бутылки и еще раз посоветовал:

— В самом деле, покайся, Мохнатых. Может, мы тебя и облегчим как-нибудь.

— Конечно, облегчим, — пообещали Вострозубов и Полянский.

— Дорогие вы мои, — вдруг вскричал в необыкновенном экстазе Мохнатых, поднимаясь с места. — Родные вы мои. Недостоин аз, многогрешный, сидеть среди вас, чистых, светлых и вкушать из одной и той же бутылки пресветлое сие питие. Грешник я есмь, дондеже не...

— Ты лучше по-русски говори, — посоветовал Полянский.

— И по-русски скажу, — закричал в самозабвении Мохнатых: — И по-французски, и по-итальянски скажу — на всех языках скажу! Преступник я, господа, и мытарь! Знаете ли вы, что я сделал? Я нашему директору Топазову японские марки дарил. Чилийские, аргентинские, капские марки я ему дарил, родные вы мои...

Крутонов и Вострозубов удивленно переглянулись...

— Зачем же ты это делал, чудак?

— Чтоб подлизаться, господа, чтобы подлизаться. Пронюхал я, что собирает он марки, — хотя и скрывал это тщательно старик! Пронюхал. А так как у него очищается место второго секретаря, то я и тово... Стал ему потаскивать редкие марочки. Подлижусь, думаю, а он меня и назначит секретарем!

— Грех это, Мохнатых, — задумчиво опустив голову, сказал хозяин Крутонов. — Мы все работаем, служим честно, а ты — накося! С марочками подъехал. Что ж у него марочек-то... полная уже коллекция?

— В том-то и дело, что не полная! Нужно еще достать болгарскую выпуска семидесятого года и какую-то египетскую с обелиском. Тогда, говорит, с секретарством что-нибудь и выгорит.

— И не стыдно тебе? — тихо прошептал Крутонов. — Гнусно все это и противно. Марки-то эти можно где-нибудь достать?

— Говорят, есть такой собиратель, Илья Харитоныч Тпрундин, у которого все что угодно есть. Разыщу его и достану.

— Омерзительно, — пожевал губами Крутонов. — Семидесятого года болгарская-то?

— Семидесятого. Горько мне, братцы.

— Ну что ж, — пожал плечами Вострозубов. — Ты нам признался, и это тебя облегчило. Если больше никаких грехов нет...

— Нету грехов? У меня-то? — застонал Мохнатых. — А банковская операция с купцом Троеносовым — это что? Это святое дело, по-вашему?

— Постой, — тихо сказал Вострозубов, беря Мохнатых под руку и отводя его в сторону. — Ты им этого не говори, они не поймут. А я пойму. Вот — выпей и расскажи.

— И расскажу! Все расскажу!! Ничего не потаю. Пьянствовали мы недавно с купцом Троеносовым. Он и давай хвастаться своей чековой книжкой. «Видал, говорит, книжку? Махонькая, кажется? Корова языком слизнет — и нет ее!! А большая, говорит, в ней сила. Тут я, говорит, проставлю цифру, тут фамилию — и на тебе, получайте. Хоть десять тысяч, хоть двадцать тысяч!» Хвастался этак-то, хвастался, да и заснул. А я возьми с досады да и выдери один листочек...

— Мохнатых?! — с негодованием вскричал Вострозубов. — Неужели...

И снова громко застонал Мохнатых.

— Да! Да! Каюсь ради великого праздника! Три тысячи вывел я на листочке, подписал «И. Троеносов» — благо он как курица пишет — и в ту же неделю получил. Тошно мне, братцы, ой как тошно!!

— Куда же ты их девал, несчастный?

— А я пошел в другой банк да на текущий счет все три тысячи и положил. Вот и чековая книжечка, вроде Троеносовской.

— Какая грязь! Покажи... Книжечку.

— Вот видишь... Тут сумма и число ставится, тут фамилия...

— Неужели ни на одну минуту, Мохнатых, совесть не схватила тебя за сердце, не ужаснулся ты?... А фамилия получателя разве тут не ставится?

— Ни-ни! На предъявителя. Понимаешь, как удобно. Предъявил ты чек, и расписок никаких с тебя не берут — пожалуйста! Получил из кассы и иди домой.

— Гм!.. Смешные, ей-богу, эти банкиры. Покажи-ка еще книжечку... Значит, ты сначала выдрал такой листочек, а потом уже подписал купцову фамилию.

— Ну конечно! Ох, тошнехонько мне, братцы!

— Выпей, преступная твоя душа. Вон там твой стакан, на окне... Ну, теперь бери твою книжку. Да спрячь подальше. А то, брат, знаешь, нетрудно и влопаться... Так все три тысячи, значит, у тебя и лежат?

— Все лежат, — вскричал кающийся Мохнатых, ударяя себя в грудь. — Ни копеечки не трогал!

— Н-да... Ну, ничего. Бог тебя простит. По крайней мере, теперь ты облегчился...

Полянский уже давно ревниво следил за интимным разговором Мохнатых с Востроэубовым.

Подошел к нему, обнял дружески за талию и шепнул:

— Ну что, легче теперь? Нету больше грехов?

Тоскливо поглядел на него Мохнатых.

— Нету грехов? Это у меня-то? Да меня за мой последний грех повесить мало! Братцы! Вяжите меня! Плюйте на меня! Я чужую жену соблазнил!

— Какая мерзость! — ахнул Полянский, с презрением глядя на Мохнатых. — Хорошенькая?

— Красавица прямо. Молоденькая, стройная, руки, как атлас и целуется так, что...

— Мохнатых! — сурово вскричал Полянский, — не говори гадостей. И тебе не стыдно? Неужели ты не подумал о муже, об этом человеке, которого ты так бесчеловечно обокрал?!.

— Жалко мне его было, — виновато пролепетал Мохнатых, опустив грешную голову. — Да что же делать, братцы, если она такая... замечательная...

— Замечательная?! А святость семейного очага?! А устои? Говори, как ее зовут.

— Да зачем тебе это... Удобно ли?

— Говори, развратник! Скажи нам ее имя, чтобы мы молились за нее в сердце своем, молились, чтобы облегчить ее и твой грех... Слышишь? Говори!

— Раба божия Наталья ее зовут, — тихо прошептал убитый Мохнатых.

— Наталья? Бог тебя накажет за эту Наталью, Мохнатых. А по отчеству?

— Раба божия Михайловна.

— Михайловна? Какой позор... Не спрашиваю ее фамилии, потому что не хочу срывать покрывала с тайны этой несчастной женщины... Но спрошу только одно: неужели

у тебя хватало духу бывать у них дома, глядеть в глаза ее мужу?!

— Нет... Я больше по телефону... Уславливался...

— Еще хуже!! Неужели раскаяние не глодало тебя?! Неужели этот номер телефона, ужасный преступный номер, не врезался в твою душу огненными знаками?! Не врезался? Говори: не врезался?

— Врезался, — раскачивая головой, в порыве безысходного горя прошептал Мохнатых.

— Ты должен забыть его! Слышишь? То, что ты делал — подло! 27—18?

— Что, номер? Нет... Хуже! Больше!

— Еще хуже? Еще больше? Какой же?

— 347-92.

— Ага... Наталья Михайловна... Так-с. Как же ты подошел к ней? Каким подлым образом соблазнил эту несчастную?..

— А я просто узнал, что за ней ухаживал Смелков. Встретил ее да и рассказал, что Смелков всюду хвастается победой над ней. Выдумал. Ничего Смелков даже и не рассказывал... А она возмутилась, прогнала Смелкова... Я и стал тут утешать ее, сочувствовать.

— Трижды подло, — рассеянно заметил Полянский, описывая что-то карандашом на обрывке конверта.

— Все грехи? — спросил Крутонов, разливая в стаканы остатки восьмой бутылки и набивая рот куличом. — Во всем признался?

— Кажется, во всем.

— Ну, вот видишь. Легче теперь?

— Кажется, легче.

— Ну, вот видишь! Говорил я, что мы тебя облегчим... И облегчим!

— Конечно, облегчим, — серьезно и строго подтвердил Вострозубов.

— Камень с души снимем, — пообещал Полянский.

— Все камни снимем! Камня на камне от твоих грехов не останется.

— Я пойду домой, родные, — попросился раскисший Мохнатых. — Спаточки мне хочется.

— Иди, детка. Иди. Бог с тобой. Если еще будут какие грехи — ты нам говори. Мы облегчим...

И умягченный, обласканный, облегченный, пошел Мохнатых домой, с тихой нежностью прислушиваясь к веселому, радостному звону пасхальных колоколов.

КУСТАРНАЯ РАБОТА

На глухой улице южного городка стоял дом с садом, принадлежащий Ивану Авксентьевичу Чеботарёнку.

Мой приятель, столичный художник Здолбунов и я — мы гостили у тароватаго Чеботарёнка весь май месяц и часть июня.

Хорошо было. Цвела сирень, цвела акация, цвело все, на что только падали жаркие поцелуи солнца, и все мы ходили, как полупьяные.

В день именин хозяина, вечером, когда луна залила серебристо-зеленым светом сирень в саду и тополя, я ушел от гостей в свою комнату, бросился на кровать и долго лежал так, часто и сильно дыша ароматом щедрой сирени, доносившимся из открытого выходившего в сад окна.

Хорошо было. Я в этот момент никого не любил и, вообще, в это время никого не любил, но чувствовал, что скоро полюблю сильно, сокрушающе и что эта любовь будет счастливая, долгая. Запах сирени может многое рассказать, если в него как следует вникнуть.

За окном раздался голос моего приятеля, художника:

— Вот тут скамеечка есть. Тихо, безлюдно, и сирень безумствует кругом. Сядем, Марья Николаевна.

Женский голос поправил:

— Какая я вам Марья Николаевна?! Я Ольга Николаевна. Неужели вы еще не запомнили?

— Я-то не запомнил?! Таковский я, чтобы не запомнить? Нет, я запомнил, но только вам больше идет имя — Маруся. Марья Николаевна.

— Да уж вы сумеете вывернуться, знаю я вас.

— Какие у вас холодные руки, Ольга Николаевна.

— А вы откуда знаете?

— Да я одну из них взял.

— Зачем же вы это делаете? Оставьте, не надо.

— Почему не надо? А может быть, я хочу поцеловать вашу руку.

— Это совсем лишнее.

— Нет, не лишнее. У вас красивые руки, Марья Ник... Ольга! Ольга Николаевна!!

— Ну уж нашли тоже красоту. Вероятно, всем женщинам говорите одно и то же.

— Если бы все женщины были похожи на вас, я бы говорил им то же самое.

— А что же, я разве не такая женщина, как другие?

— Вы? Вы особенная. В вас есть что-то такое... что-то, знаете, такое...

— Ой, руке больно. Не жмите.

— Ну, ничего. Я ее поцелую, все и пройдет.

— Знаете, почему я держу вашу левую руку, а не правую?

— Почему?

— Левая ближе к сердцу.

— Так вы говорите — какая я?

— Вы? Особенная какая-то.

Пауза. Потом раздался притихший голосок Ольги Николаевны:

— Странно. Это говорите не вы первый.

— Ну, вот видите! Какие у вас красивые плечи.

— Оставьте. Ну, так что же во мне особенного?

— В вас есть какое-то обаяние. Меня влечет к вам. Ведь мы познакомились только нынче за обедом, а мне кажется, будто мы с вами знакомы давно-давно.

— Какой вы странный.

— Да... Меня все находят странным. Я не такой, как другие.

— А какой же вы?

— Какой? Да, знаете, долго говорить. Но только вы меня не должны бояться.

— Почему у вас такая рука холодная?

— Сердце горячее.

Долгая пауза.

— Виктор Михайлович!

— Ну?

— О чем вы так глубоко задумались?

— Что? Эх!.. Не стоит говорить. Нет. Нельзя. Не расспрашивайте.

— Наверное, о какой-нибудь из ваших многочисленных симпатий?

— О, Марья Николаевна... Как вы далеки от истины!

— Ольга я Николаевна! Какая я вам Марья Николаевна?! С кем вы меня путаете?..

— Это я нарочно назвал вас Марьей Николаевной, чтобы посмотреть, ревнивая ли вы!

— Да уж вы сумеете вывернуться. Вас на это не взять.

И своеобразная гордость прозвучала в голосе Ольги Николаевны. Будто она уже начала гордиться своим собеседником.

— Так о чем же вы так задумались?

— О чем? Вернее — о ком.

— Ну, о ком?

— Нет, зачем, Мар... Ольга Николаевна! Лучше не говорить... Скажу только одно: ваше имя надолго запечатлеется в моем сердце, как что-то милое, дорогое и сладко-печальное.

— Ну, не надо быть таким... Ей-богу, вы странный. Так о ком же вы думали?

— Сказать? А вы не рассердитесь?

— Нет. Почему же?

— Вот если вы меня поцелуете, тогда скажу.

— С какой же стати я вас буду целовать! Нельзя. Я замужем.

— Серьезно?!

— Конечно.

Пауза.

— Ну, так что ж такое, что вы замужем?

— Как что? Вот, ей-богу... Какой вы странный.

— Жизнь меня сделала странным, милая Оля.

— Не смейте меня так называть.

— Хорошо, Оля. Не буду.

— То-то. Так о ком же вы думали?

— О вас.

— Интересно знать, что же вы обо мне думали?

— Я думал: сколько вы счастья можете дать тому человеку, который вас полюбит.

— Наверное, всем женщинам говорите то же самое.

— Я?! Нет. Чего мне! Только вам и говорю.

— Отчего вы такой печальный, Виктор Михайлович?

— У меня жизнь печально сложилась, Оленька.

— Бедный мой, бедный; ну, дайте, я вас по головке поглажу. Оставьте. Пустите! Не смейте меня целовать! Я кричать буду!

Лежа у себя на кровати, я нервно насторожился, вот сейчас раздастся пронзительный крик.

Крика не было. Тишина, на секунду прерванная звуком поцелуя, царила за окном.

— Слушайте, если вы будете так себя вести — я уйду.

— Ну не надо уходить.

— Да уж я знаю вас — вы умеете женщин уговаривать. Дайте слово, что больше этого не будет.

— Чего?

— Вот этих... поцелуев...

— Дам слово... С одним условием — чтобы завтра вы пришли ко мне. Я покажу вам свои рисунки. Вы любите искусство?

— Страшно!

— Ну, вот видите. Вы такая чуткая, понимающая и вдруг заброшены в эту глушь. Я понимаю, каково вам приходится. У вас красивая душа. Так придете?

— Я приду с одним условием: дайте мне слово, что вы не позволите себе ничего лишнего.

— Лишнего? Что вы, Оленька?! За кого вы меня принимаете. Ничего лишнего. Будет самое необходимое.

— Ну, пойдемте отсюда... А то ушли и пропали... — даже неприлично. Только послушайте... Виктор Михайлович... Вы, наверное, меня не уважаете. Только сегодня познакомились, а мы уже с вами... и целовались...

— Ольга Николаевна! Разве можно говорить о каком-то там уважении, если налицо любовь! Разве можно заботиться о каком-то насморке, если у человека брюшной тиф?

— Да уж я вас знаю... Вы умеете красиво говорит... Ну, идите вперед, а я с другой стороны выйду.

Через полчаса Здолбунов, насвистывая что-то, зашел в мою комнату.

— Ты тут? Что это ты делаешь в одиночестве?

— Здолбунов! Я все слышал, о чем ты говорил с Ольгой Николаевной.

Он засмеялся.

— Стыдно подслушивать, дитя мое.

— Знаешь, Здолбунов... я записал весь ваш разговор. Почти дословно. Не хочешь ли прочитать?

Он взял из моих рук бумажку и внимательно прочел ее.

— А ведь, ей-богу, недурно.

— Это? Недурно?! Здолбунов! Ты, который читаешь рефераты по искусству, ты, который имеешь жену — чуткого, тонкого, умного человека, ты, который...

— «О ты, Катилина»! Успокойся, милый. Запомни мудрые слова человека Здолбунова: на кита ходят с гарпуном, а на пескаря достаточно примитивнейшего крохотного стального крючка. Крючка кит даже не заметит, гарпуном пескарь будет раздавлен, как букашка. Все на свете разумно, и Марья Николаевна...

— Ольга!!

— Ну, Ольга. И Ольга Николаевна получит если и не мое уважение, то мою краткосрочную любовь.

— Да уж вы, мужчины, умеете говорить. На это вас взять, — засмеялся я.

А в окно врывался сладкий, ласковый запах сирени и все оправдывал, и все оправдывал, и все оправдывал.

Отдел III. ТЕ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ НА НЕРВЫ

ПРИЕЗЖИЙ СЕЛЬДЯЕВ

Посвящ. Ник. Серг. Шатову.

Я прислушался... Из передней донесся голос моей горничной:

— Барин дома, но очень занят.

Другой голос приветливо согласился.

— Ага... Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается. Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть...

— Да барин занят. Пишет.

— Ну вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть...

— Барин сказал, что его отрывать нельзя.

— Да я и не оторву. Ей-богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.

— А они сказали, что никого не будут принимать.

— Ну да. Вообще. А я Сельдяев.

Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.

— Не знаю уж, как и быть.

— Вы только скажите ему, что я из провинции.

Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом. Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки в карманы, отрывисто спросил:

— Что?

— Мамочка! — закричал он, умиленный. — Не узнает! Вот смехи-то... Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого... Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.

Он привлек меня к себе, а горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.

— Простите, не узнаю, — пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.

— Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекцию, а я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чихалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то... Кинематограф открывает в Армавире.

— Что вы говорите! — деликатно поразился я. — Это неслыханно! Кто бы мог подумать... Эх, Чихалин, Чихалин... Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы... Садитесь.

— Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.

Я поглядел на Сельдяева, взглянул на неоконченную рукопись. Первый все равно не отстанет, вторую все равно окончить не удастся.

— Пойдем, — сказал я.

— А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.

— Что вы! Тут работы часа на два.

— Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе... Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?

— Пойдем.

Мы оделись и вышли.

— Вот это Невский проспект, — сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.

Однако лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.

— Невский?.. Так, так. Далеко тянется?

— Верст десять!

Я опять искоса взглянул на него.

— Десять? Так. Но это в обе стороны?

«Нет, — подумал я, — улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!»

— Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?

— Нет, зачем же, — пожал он плечами. — Собор как собор.

— Ну, не скажите... Колонны-то все-таки... Видали, какие?

— Да, серые. Сто штук будет?

— Что вы, — сказал я и хотел добавить: «меньше» но потом решил ошеломить его.

— Больше! Около трехсот.

— С каждой стороны или в общем?

Я резко повернулся:

— Пойдем.

Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:

— Исаакиевский собор. Полтораста миллионов обошелся.

Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:

— С землей или без земли?

— А это вот Нева. Видите?

Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.

— Это вот Нева и есть?

— Нева. Кажется, что не широка, а на самом деле обман зрения: пять верст!

Никакого изумления не отпечатлелось на его лице.

— Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая, — задумчиво опершись о перила, промямлил он.

— Вода? Страшно ядовитая. На один кубический сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.

— Так, так. А эта штучка там торчит — что это такое?

— Где?

— Вот эта. Кривая какая-то.

— Это — Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах). Хорошая «штучка»!.. Одна постройка обошлась полтораста милл... (все равно!) миллиардов.

— Все-таки, он металлический?

— А вы какой же хотели?

— Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.

Я призадумался.

— Когда кессоны устанавливали, около трех тысяч народу погибло.

Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:

— Ну, на такой большой мост неудивительно, что столько народу пошло.

Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.

Были впереди еще — музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда. Но — что это все Сельдяеву? Я решил не церемониться с ним.

* * *

Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице, я указал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:

— Самый знаменитый дом в Петрограде.

— А что?

— Здесь Пушкин написал своего «Евгения Онегина».

— Пушкин? — переспросил Сельдяев. — Александр Сергеевич?

— Да.

— Он тут что же... всегда жил или так только... для «Онегина» поселился?

— Специально для «Онегина». Заплатил за квартиру двадцать тысяч.

Печать холодного равнодушия лежала на каменном лице Сельдяева.

— Вы что же думаете, — сурово спросил я, — что прежние 20 тысяч все равно что теперешние? Теперь это нужно считать в 50 тысяч!

— Гм... да! А он за «Онегина»-то много получил?

Я бухнул:

— Около трехсот тысяч.

— Ну, тогда, значит, — рассудительно заметил Сельдяев, — ему можно было за квартиру такие деньги платить.

Мы молча зашагали дальше.

— А вот этот дом видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.

— Это сколько ж народу?

— Да около так... пятидесяти человек.

Он осмотрел фасад и спросил:

— В один день?

— А то как же?

— Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?

— Из мести. Они съели его любимую невесту.

Сельдяев качнул головой.

— Людоеды, что ли?

— Нет!! — отрезал я, дрожа от негодования. — Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.

— Рублей?

— Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте — 9 рублей 60 копеек.

— Английские фунты?

— Да! Да!

Он улыбнулся краешком рта.

— Гм! Просвещенные мореплаватели...

* * *

— Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.

— Овчарка? — спросил он, оглядев фасад.

— Черт ее знает!! Недавно захожу я сюда, а она сидит за столом и спрашивает какого-то парня:

«Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Гороховой улицы?» Так парень на колени: «Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами».

— Да, да, — сказал Сельдяев, шумно вздыхая. — Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает, потом кошку... тоже. Показывали... которая разговаривает...

Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказал, хлопнув его по плечу:

— Так слушайте, что же дальше! Собака, значит, к нему: «А, так ты сознаешься?!» — «Так точно. Только вот что, ваше высокородие: так как говорим мы глаз на глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, а вы меня отпустите...» И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: «Куда мне они... Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще... Есть у тебя рублей пятьдесят наличными — так дай. Тогда черт с тобой, иди куда хочешь». — «Тридцать пять есть!» — «Ну ладно, давай, да сережки-то не здесь сбывай, а где-нибудь в Берлине или Дрездене!» Опустила деньги в карман, да прочь со стола.

Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.

— Да откуда ж у нее карман?

— Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье 11 рублей с полтиной.

Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:

— Ну, а что тут у вас, вообще, в Петрограде интересного?

— Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?

Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось.

— Да ведь я вам и забыл сказать: вот будете поражены... Ерыгина помните?

— Не помню.

— Ну как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях, — и переезжает туда... Не чудак ли?.. Что вы на это скажете?!

И он залился закатистым смехом.

— Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! — воскликнул я и вслед за ним залился смехом.

Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

К подъезду большого коммерческого банка подъехал господин средних лет, незначительной наружности...

Когда он, среди потока других клиентов банка, проходил через стеклянный, монументального вида турникет, то приостановился около усталого, отупевшего от бессмысленной работы швейцара и медлительно, с некоторой раздумчивостью, совсем не вязавшейся с происходившей кругом суетой, спросил швейцара:

— Много народу, небось, у вас бывает в день?

— Много, — отвечал швейцар, вертя турникет.

— И всякого, значит, пропустить надо... Работа, нечего сказать. Тут, небось, и о себе-то чтобы подумать — нет свободной минуты.

— Где там!

— Тяжелая работа. Семейный?

— Семейный.

— Так-с, — пожевал губами господин. — Для семьи, значит, приходится добывать. И дети есть?

Швейцар с некоторым удивлением ответил:

— Двое.

— Мальчики, девочки?

— Мальчик и девочка.

— Ну, дай им Бог доброго здоровьица. Пока до свиданья. Иду, брат, деньги по переводу получать. Сто двадцать пять рублей. Директора у вас хорошие?

— Ничего, директора хорошие. Сюда пожалуйте.

— Пойду, пойду... Не буду отвлекать тебя от дела.

* * *

— Скажите, мальчик, где тут у вас по переводам получают?

— У третьей колонны, налево.

Проворный мальчишка в коричневой куртке с золочеными пуговицами хотел прошмыгнуть мимо, но посетитель задержал его и, снисходительно улыбнувшись, сказал:

— Небось, вам, мальчик, уже надоели все эти вопросы?.. Вот, думаете вы, как это просто, и надпись есть: «получение по переводам», а все спрашивают, справляются. Сколько жалованья получаете?

— Восемь рублей.

— Ну что ж, — задумавшись, решил посетитель, — все-таки родителям подмога. У родителей живете?

— У родителей, — с важным видом пискнул мальчишка, втайне польщенный такой содержательной беседой.

— Ну, ну. Это хорошо. Вы старайтесь.

* * *

Посетитель подошел к барьеру и, облокотившись на него, закивал головой заведующему оплатой переводов.

— Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как банковские дела? Подвигаются? Ничего? Все благополучно?

— Благодарю вас, ничего. У вас что? Перевод?

— Да, знаете... Хотелось бы получить. Жена-то у меня живет в Кременчуге, ну а мне тут и понадобились деньги. Я ей и пишу: «Лиза, дескать, вышли немного, чтобы...»

— Хорошо, хорошо. Позвольте ваш перевод.

— Вот он — видите. Тут и сумма обозначена, и число, и от кого, и что — все есть. Женаты?

— Что?

— Вы-то, я спрашиваю, женаты? Или в холостяках все еще маячите? Теперь как-то меньше стали жениться...

— Паспорт с вами? — тоскливо спросил заведующий переводами, поглядывая на кучку клиентов, толпившихся за спиной добродушного посетителя.

— Паспорт? А зачем? Ведь я сам пришел. Если бы мой слуга пришел, или там брат, или кто-нибудь, вообще, из хороших знакомых — тогда я понимаю. А так — зачем же?

— Простите, без паспорта мы не можем выдать.

— Вы меня ошеломляете. Объясните мне, почему такое странное правило?

— Да видите ли что... Мало ли что...

— Совершенно с вами согласен, — ответил посетитель. — Но вы были бы правы, если бы дело шло о какой-нибудь большой сумме... Ну, там — пять или десять тысяч... А тут? Какие-то сто двадцать пять рублей...

— Да, но раз такое правило, я, как ответственное лицо, не могу рисковать.

— Милый! Да разве же я не согласен!? Зверь я, что ли?! Бегемот какой-нибудь? Я согласен! Но тут, изволите видеть, есть одно маленькое «но»... Вы, конечно, ответственное лицо, но — вы слышите это «но»? — но никто не имеет права делать из вас машину, бессловесный рычаг какой-то. Вы должны рассуждать! Как же вы должны рассуждать в данном случае? А так: вот пришел человек получать по переводу 125 рублей, а паспорта-то у него и нет. Жулик он или не жулик? Украл он этот перевод или честно получил от жены по почте? Прежде всего посмотрите на мое лицо! Всмотритесь в мои глаза! Могут быть такие глаза у жулика? Нет! Это первое. Второе: жулик бы не действовал так просто, как я: простите, мол, паспорта не захватил, прошу выдать просто так, на доверие. Жулик к доверию никогда не обратится! Да он вам, батенька, тысячу документов подделает, паспорт украдет да подсунет, но о доверии даже и не вспомнит! Теперь — третье: жулик не будет получать такую маленькую сумму, не будет рисковать из-за какой-то сотни с лишком. Затем, заметьте: жулик для вашего усыпления всегда выведет не круглую сумму, а какую-нибудь самую заковыристую: 352 рубля 17 копеек, 937 рублей 91 копейка!

— Простите, вы задерживаете публику.

— Вот-то чудак человек! Да не я задерживаю публику, а вы меня задерживаете! Подумаешь, велика важность — 125 рублей. Да я, может быть, такую сумму в один раз в ресторане оставлял.

— Нет, без паспорта мы выдать не можем.

— Так-с. Значит, я, по-вашему, жулик?

— Я этого не смею сказать, но раз существует правило — я не могу рисковать...

— Эх вы! А прелесть риска для вас ничто? Сейчас видно, что вы не спортсмен! Риск должен захватывать, должен кружить голову!.. Не дадите? Ну, хотите, я вам дам честное слово, что перевод мой и что тут нет никакого подвоха? Ну? Вот — смотрите.

Посетитель положил руки на грудь и сказал проникновенным голосом:

— Клянусь вам и даю честное слово, что перевод мой...

— О, Господи! Неужели вы не понимаете простых вещей?! — застонал чуть не плачущий служащий. — Не могу я, поймите! Если бы еще тут был кто-нибудь из ваших знакомых, который подтвердил бы...

— За этим только и остановка?! Вы бы так и сказали. Вот давайте познакомимся, и дело с концом. Позвольте представиться: Тимофей Николаевич Двоеруков, помещик. Очень рад. Вас как зовут?

— Меня зовут Василием Николаевичем, — полусердито, полусмеясь проворчал служащей. — Но это все равно ни к чему не поведет!.. Какое же это знакомство, если я вас совсем не знаю?!

Посетитель поглядел на служащего опечаленными глазами...

— Спасибо, спасибо вам, Василий Николаевич, за такое отношение... Значит, я, по-вашему, жулик? Бог вам простит это, Василий Николаевич. Но я утверждаю, что когда вы познакомитесь со мной ближе, вы поймете меня и оцените... Что вы делаете сегодня вечером? Завернули бы ко мне, я тут недалече на проспекте живу... Попили бы чайку, погуторили...

— Спасибо, но у меня... совсем нет времени. И умоляю вас — не задерживайте очереди. Смотрите, какой хвост образовался благодаря вам.

— Хвост большой, — задумчиво сказал Тимофей Николаевич, оглядываясь. — Так что же мне делать, дорогой Василий Николаевич?.. Посоветуйте. Бросьте этот сухой официальный тон, так гармонирующий с деловой суетой, мраморными колоннами и щелканьем счетов. Посмотрите на меня ласково, ведь вы же человек и я человек... Неужели завет Христа, что все люди — братья... Эх, Господи! Солнца бы сюда побольше! Ласки побольше.

Служащий потер горячую голову и пролепетал, обессиленный:

— Пойдите, попросите директора. Если он согласится...

— Спасибо, Василий Николаевич. Вот это человеческое отношение! Куда идти-то? Направо?

* * *

Войдя в кабинет директора, убранный со строгой, чисто деловой роскошью, Тимофей Николаевич приостановился у письменного стола и огляделся:

— Какое у вас тут строгое настроение. Воображаю, как бы на меня посмотрели, если бы я в этой обстановке затанцевал гопака... Страшно у вас тут, холодно. А я к вам, Яков Матвеич, по делу. Я уже узнал, как вас зовут — не удивляйтесь. А моя фамилия Двоеруков, Тимофей Николаич. Душевно рад. Работаете все, хлопочете? Солидное у вас учреждение, богатое. Женаты?

— Чем могу служить? — с некоторым изумлением спросил директор. — Мне доложили, что вы по делу.

— Конечно, конечно. «Дела, дела», как сказал какой-то поэт. Слушайте: один ваш служащий меня прямо смешит. Такой смешной.

— Не знаю, кто так вам смешон?.. Служащие у нас хорошо воспитаны, вежливы...

— Эх, милый Яков Матвеич! Да от ихней вежливости-то ледком несет, холодом ледовитым! Ты мне ласку дай, а не вежливость! Ты психологом будь! Гляди на человека и рассуждай: «Жулик он или нет?» А он так безо всякого рассуждения, как машина, прямо режет: «Не могу дать деньги по переводу без вашего паспорта! Правило такое»! А если я забыл паспорт! А если его у меня украли. Эх, Яков Матвеич! У банка вон оборот (я давеча на стенке читал) ежегодно 240 миллионов! А банк 125 рублей боится дать. Ну, предположим даже, что я жулик! Предположим...

— Простите... Мы не можем нарушать правила...

— Вот-с! Вот-с я вас уже и поймал, многоуважаемый, достойнейший Яков Матвеич!.. Да ведь я же исключение! Поймите вы — я исключение на двух ногах!

Директор тыльною частью руки вытер пот со лба и вежливо сказал:

— Но поймите, что раз бывают злоупотребления...

— Хорошо-с! Понимаю! Но поглядите на меня! Вдумайтесь в меня. Вот я встану в профиль, анфас. Что вы видите? Отрытое, простодушное лицо, платье от недурного портного, бриллиант на пальце — настоящий, ей-богу. А тон? Тона ведь не подделаешь. И при этом — только 125 рублей. Ну какой бы, даже самый глупый, жулик подделывал, воровал чек на 125 рублей? Да согласитесь вы, достойнейший Яков Матвеич...

— Хорошо, — с легким стоном согласился директор. — Я распоряжусь. Вам выдадут.

Он позвонил.

* * *

Получив деньги, Тимофей Николаевич пожал Василию Николаевичу руку и приветливо сказал:

— Так если надумаете когда вечером — милости просим. Вот вам карточка с адресом. А если и Яков Матвеич когда надумает вместе с вами — очень буду обрадован. Прощайте, Василий Николаевич, прощайте, Сергей Петрович, всего вам хорошего, Василий Николаевич, — не забывайте!

ЧЕХОВИАНЕЦ

Память Антона Павловича Чехова для всех нас священна.

Поэтому с благоговейным чувством в годовщину его кончины возлагаем на дорогую могилу венок.

Увы — венок терновый.

Впрочем, Антон Чехов слишком русский писатель, чтобы мог надеяться на пошлейший лавровый венок.

Русским писателям терновые венки более сродни. Итак:

I

— Г. редактор! Вас спрашивают.

— Кто?

— Говорит: Чеховьянец. Должно, из армян.

— Да что ему нужно? Чем занимается?

— Я спрашивал. Говорит: Чеховьянец.

— Странное занятие. Пригласите его.

Вошедший господин вынул из кармана коробочку, открыл ее и последовательно разложил передо мной измятую, довольно грязную салфетку, две обгорелых спички, кусочек сахару и велосипедный билет за № 14121, выданный двинскому мещанину Терентию Иванову.

— Вот.

— Что это?

— Не купите ли?

Я внимательно осмотрел разложенные богатства.

— Видите ли что... Я предпочитаю покупать спички неиспользованными, оптом, так... не менее целой коробки сразу. Сахар я приобретаю по знакомству, необгрызенный и, кроме того, стремлюсь, чтобы он был без желтых пятен. Покупка тоже оптовая: два-три фунта... Билет этот более полезен велосипедисту Терентию Иванову, чем мне — не велосипедисту и не Терентию Иванову. И, наконец, салфетка носит на себе очень заметный светлый знак из букв и орнамента: «Золотой Якорь». Ну какой же я, посудите сами, Золотой Якорь?!

— Ничего вы не понимаете, — сурово оборвал меня посетитель. — Я чеховианец.

— Ага... Ну что, как у вас на Кавказе... все спокойно?

— На кой дьявол нам с вами Кавказ?! Я там никогда и не был!

— Простите, но ваша фамилия...

— Это моя профессия! Посудите сами: раз есть пушкинианцы — почему не быть чеховианцам?

— Допустим. Ну? Что вам нужно?

— Купите у меня эти вещи для Чеховского музея. Замечательные реликвии. И недорого: пара спичек по 15 рублей — вместе уступлю за 25, сахар; ну, это... я сам на него смотрю сквозь пальцы. Три-пять рублей совершенно предовольно за этот увражик. Салфеточка — вещь диковинная. На ней, так сказать, отпечатлелись типично чеховские черты. А велосипедный билет?.. О, это вы должны у меня с руками оторвать.

Хорошо было бы оторвать ему руки даже без этого билета. Но, признаться, велосипедный билет меня заинтриговал.

— Что же это за билет?

— А вы на фамилию обратили внимание?

— Ну да. Иванов.

— То-то и оно. Прообраз знаменитой чеховской драмы.

— Это что же... Чехов своего «Иванова» и писал с этого... велосипедиста Терентия Иванова?

— Нет, но фамилия! Замечаете — фамилия? Одна и та же. Родственники Терентия рассказывали мне, что гениальный писатель долго не мог остановиться на каком-нибудь названии своей пьесы, пока не познакомился с Терентием. Тут его и осенило! Взял и назвал: Иванов. Просто и мило. Этот билет был семейной реликвией, пока нужда не заела семью Ивановых. Тут-то я и подвернулся. Купил совсем за гроши: полтораста. Дайте нажить четвертной. Отдам за 175.

— Спички тоже относятся к билету?

— Нет, спички особо. Однажды был сильный ветер. Могучие деревья гнулись как тростинки; и вот Антон Чехов, желая закурить трубку...

— Полно вздор говорить. Чехов не курил не только трубки, но даже папирос.

— Курил! Ей-богу, верьте совести — курил. Только он стеснялся родных. Нежная, деликатная натура — не хотел никого огорчать. Тончайшая организация... Впрочем, спички я могу уступить и за две красненьких. Но очень хорошие спички.

— На что они мне, — усмехнулся я. — Если бы еще были необгорелые...

— Варвар! — хлопнул он меня салфеткой по плечу, кокетливо сощурясь. — Вандал! Спички, которые держали чеховские пальцы!.. Вот сахар я не навязываю — хотите — берите, хотите — нет. Всего-то ему и цена — пять целковых.

— А в лавке берут 17 копеек за фунт.

— Нет!.. И это называется культурный человек! И это называется писатель! Редактор! Знаете ли вы, что однажды в Москве незабвенный творец «Романа с контрабасом» пил кофе, и хозяйка наложила в чашку столько сахару, что он усмехнулся своей ласковой, немного задумчивой улыбкой и сказал: «Ого! Сахару слишком много. Приторно!». Заметьте, какая чуткая организация, не выносящая ничего

лишнего, никаких преувеличений: «Приторно!». Хотите, я вам запишу этот случай? Или сами запишите... Только не забудьте эти чудесные, так рисующие Чехова слова: «Ну и навалили же вы сахару! Чуть сами туда не сели!». Какой истинно «чеховский» сарказм, какая ирония. Каждое слово алмаз. Вы только вслушайтесь в эту расстановку слов: «Ну и напихали же вы сюда сладости! Как чашка не лопнет! Вас только заставь Богу молиться!..» Это чудесное словечко «моление». Берете?

— Что?

— Сахар.

— Ну его.

— Странно. Неужели и салфетка для вас пустой звук? Видите, какая?

— Да. Грязная.

— Святая грязь! Однажды проникновенный творец «Лошадиной фамилии» ел у себя в Мелихове кисель. И вдруг ложкой как тяпнет по тарелке!..

— Зачем? — изумился я.

— Это у него бывало. Задумается, а потом вдруг рассмеется своим мелодичным смехом неизвестно чего, да ложкой по тарелке — хлюп! Так и тут. Ну, кисель весь на белые брюки фонтаном. Покойный Тихонов присутствовал при этом — можете проверить. Что тут был за переполох — нельзя себе представить! Брюки-то восемь, а то и все десять рублей стоили. Все оцепенели прямо. А он, как ни в чем не бывало, схватил со стола салфетку, да и давай чистить брюки.

— Странно, — поднял я брови. — Вы говорите, что дело происходило у него в имении, а на салфетке написано «Золотой Якорь».

— Извините, — сурово перебил он. — Память великого бытописателя сумерек священна, и не нам ее загрязнять. Утверждали же, что Некрасов слишком счастливо играл в карты. Неужели и мы, подобно этим гробокопателям, бросим тень на великую могилу?!

— Чем же вы можете доказать, что эта салфетка именно чеховская?

— Pardon!! А пятна?

— Ну, пятна... Пятна вы и сами могли сделать.

— Pardon!! Я бывший офицер, и если превратности судьбы заставили меня... то я, вообще, прошу... Знаете, не того!.. Мировые на это смотрят очень серьезно. И потом, вы говорите абсурд! Ну, предположим, я сделал пятна на салфетке... А спички? А сахар? Я их тоже сделал? Значит, я должен, по-вашему, открыть спичечный и сахарный заводы?! За кого вы меня принимаете? За графа Бобринскаго? За Лапшина?!!

— Если вы будете кричать, я велю вас вывести...

II

Усталым взглядом посмотрел он на меня.

— Ну, хотите за все двадцать пять рублей? Ведь, салфетка одна, если даже она и не чеховская, — на худой конец полтора рубля стоит. А спички! А сахар! А велосипедный билет прообраза Иванова?!

— Не надо, говорят вам. Вот если бы у вас были какие-нибудь личные воспоминания о Чехове...

— Есть! Чего же вы молчали?..

— О чем?

— Вот, например, один памятный разговор с ним. Однажды он рассказывал, как хотел открыть лотошный клуб и как все уже было сделано, да администрация запретила.

— Чехов? Лотошный клуб?!

— Что вас так удивляет? Покойник любил азарт и не прочь был поднажить деньгу. «Веришь ли, Ероша... (Это я. Ерофеем меня зовут.) Веришь ли, — говорит, — Ероша, запретили мне лотошный клуб. Кому вред? Ну, проигрывали бы нудные, сумеречные людишки (какая четкость слога! Узнаете Чехова?), проигрывали бы — и черт с ними! Все равно, так или иначе, а и мы и они ноги протянут. Так хоть, по крайности, мы-то поживем в свое удовольствие».

— Это он так говорил?

— Он.

— Чехов?

— Ну да.

— Вам?

— Угу.

— А при этом свидетели были?

— Что вы! Разве можно такие интимные вещи говорить при посторонних!

— Гм... да. Впрочем, это не имеет никакого отношения к литературе. А нам нужны литературные воспоминания о Чехове.

— Есть.

— О чем?

— О пьесе «Чайка». Однажды мы с ним сидели на скамейке в Таганроге. Он и говорит: «Хорошо бы выпить чаю сейчас. С лимончиком». И такая при этом чеховская, немного рассеянная улыбка. Я говорю: «Как будет женский род от слова: „чай"?»

«Как же, — отвечает удивительный создатель „Средства от запоя", — очень просто! „Чайка" будет от слова чай». И задумался. Потом прошептал: «Чайка! Это идея. Это красиво. На четыре акта хватит!». Вынул записную книжку, записал. Так и создалась «Чайка».

— А свидетели были при этом разговоре?

— Были. Тихонов был.

— Что вы все — Тихонов да Тихонов. Тихонов умер.

— А я при чем, что он умер? Так берете воспоминания?

— Нет.

— Более чем странно. А чеховские вещи берете?

— Нет.

— Так-с. Стоило только, чтобы прошло несколько лет со дня смерти — и уже забыт! И уже никому не интересен! Забвен от людей! Ну, давайте за все десять рублей.

— Не дам.

— Ну, пять!

— Нет.

— Что ж... и рубля жалко? Ведь салфетка новехонькая. Ее только, ежели выстирать...

— Рубль я дам. Но только салфетку забирайте. Не нужно.

— Вот за это мерси! И сахарок я уж возьму. А спички и билет — ваши. Будем считать спички по двугривенному, а билет за шестьдесят.

Когда он уходил, я вышел его провожать.

— О, не затрудняйтесь, — замахал он руками.

— Нет, почему же. Тут, кстати, висит мое пальто.

— Что ж из этого следует? — прищурился он.

— Да то, что я слишком скромен для всего этого. Чеховианцем вы можете быть, а аверченковианцем вам делаться не следует.

— Подождем! — загадочно сказал он, уходя.

И неизвестно было, чего он хотел ждать: того ли, чтобы я сделался известным, того ли, чтобы прислуга когда-нибудь оставила парадную дверь открытой?

Бедный Чехов! Десять лет тому назад тебя привезли в вагоне для устриц, и нынешние «юбилейные» дни проходят под тем же нелепым знаком нелепой устрицы.

САМОНОВЕЙШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

I. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова

— Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство.

Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? Стыдно врать, девушка. Такая молодая и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит.

Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего... Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается.

— Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете, и я пишу. Помешал? Пишете? Ну, ничего. Отдохнете. Вам же и полезно — вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало, гулять больше. А работа не уйдет. Посидим, поболтаем... Ну, расскажите что-нибудь о себе... Голова болит? Это от работы.

Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик, и готово!

Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был. Сто печатных листов, полтораста.

Послушайте, Антоша... (вы позволите мне вас так называть?) Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь... Роман, что ли. А то так — что же...

Ведь физиономии не видно! Пишет, пишет человек, а физиономии и нет.

Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но, милый мой! Нужно же идти вперед.

Да! Был со мной вчера случай — совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штуки хорошо делаете. Вот — изобразите: еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы — хлоп! А на земле лужи после дождя. Шляпа — прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу — хлоп! В это время одна барыня и проходи мимо. Я ее грязью из лужи — хлоп! Все платье! Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку!.. Собака — удирать, барыня орет, я чищу шляпу — шум, гам. У вас это хорошо выйдет.

Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах, да... Простите. И забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать.

Чуть не забыл! Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью. А я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил: «Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни, Чехову — Деревянкин». Вы замечаете эпическую простоту последних слов?

Кто такой Чехов? Не нужно объяснять — все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять — все знают.

А вы напишите так на карточке: «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни — от певца сумерек. Деревянкину — Чехов». Понимаете? Наоборот.

Неудобно? Почему неудобно? Странно... Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критика называет. Пишите, пишите. Вот вам перо.

Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверно, своей болтовней? Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть еще пять минут? Посижу, посижу.

Ну, что бы вам еще такое рассказать? Кстати! Тема у меня есть для вас... я вам дам только канву, а уж вы там... размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки... И появляется на горизонте молодой человек Островерхов! Понимаете? Ну, влюбляются... А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать... Но та на него — нуль внимания, пуд презрения — спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось, — обобрал ее Драбантов и бросил! Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас... Вы уж эту коллизию распутайте сами. Что? Ах, я и забыл, что нельзя курить... Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да, да. «Просят не курить». Ну, не буду. Докурю и брошу.

А анафемская это штука — туберкулез. У нас один учитель чистописания... Куда же вы? Послушайте!..

Ушел... Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих «имен». Слушай, Глаша! Как? Катя? Все равно. Послушай, Кэтти, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим... Наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага... Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату...

— Антонеско! Здесь вы? Ишь ты, куда забрался... Что это вы удрали так сразу? Ну, да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии... Вы полежите, а я около вас посижу... Поболтаем... Скажите, что такое вышло с вашей «Чайкой»? Говорят, прежестоко провалилась... Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон когда у меня провалились в Останкине «Зовы женского сердца» — что-ж, я страдал или нет? Нет! Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок-Ухватовым, что до сих пор на шее два шрама... Водевиль мой «Ах, ах, Матреша, что же это такое?» — так освистали, что до сих пор в ушах шум... Нет, пьесы это — чепуха! Нужно роман писать...

Что? Голова болит? Я вам еще не надоел своей болтовней? А? Что? Почему же вы молчите? Послушайте!

Я спрашиваю: я вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну ладно. Посидеть еще две минуты, вы говорите? Ну, посижу.

Ах, да! Еще одна тема у меня для вас есть... Что? И тут нельзя курить? Почему? Тут же нет плаката! Ну, извините. Не знал. Не буду. Докурю и брошу.

Куда же вы? Антон Павлыч! Антонелли! Антонио!.. Ушел... Вот непоседа!

Послушай, Миликтриса Кирбитьевна! Где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага! Спасибо.

— Послушайте, вы, чудачина... Что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, а у вас чахотка... Вот оригинал: сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка...

— О чем я, бишь, начал тогда? Ах, да! Тема для вас есть. Как раз в вашем духе... Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал... Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую... Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки!..

— Что это вы? Заснули? Послушайте... А зачем же лицо руками закрывать... Плачет! Вот чудак... С чего это вы! Ведь мужик же не умер, а пошел себе, как ни в чем не бывало, по своим делам... Вот чувствительная душа-то! Плачет... Ну, успокойтесь, Антонио, Антонаки! Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте... Я вам не надоел, а? Вы скажите... Если надоел, я уйду.

Молчит... Вот чудак-то! Антуан! Чего же вы молчите? Я спрашиваю — надоел я вам? А? Оригинал! Как я его своим мужиком расстроил... Молчит, а слезы по лицу текут...

— Антонеско! Куда ж вы! Господи! Опять ушел... Прямо даже обидно.

— Повар, послушайте... Эй, как тебя... Красная рубаха! Вы не повар? А кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлыч?

На конюшню?.. Что только этот человек может выкинуть! Где его там найти, кучер?

А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди! Нет? А тут? За мешками? Нет?

Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху... Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую!

— Антоша! Ты здесь? Ишь ты, шельмец... Забрался и молчит. Где ты тут? Ишь ты, как в сено зарылся...

Опять плачет! Что с ним такое? Ну, успокойся, Антонадзе! Неужели тебя история с дочками Булкина так расстроила? Ишь, заливается! Что это, в самом деле, у тебя за сумеречное настроение?.. Пойдем отсюда, милый... Тут нехорошо, сыро, холодно... Я тебя уложу дома в постель, попою чем-нибудь, посижу около тебя. Ну, пойдем! Эй, Никита. Принимай снизу барина... Лови — бросаю! Гоп!

II. Певец сумерек

(Воспоминания друга покойного — Егудиила Деревянкина)

Десять лет...

Десять лет прошло со дня смерти певца сумерек, а он будто сейчас живой стоит перед нами. С покойным писателем я был хорошо знаком. Правда, таланты у нас были разного характера: я — весь в солнце, в красивой яркой жизни, Чехов — умеренный, бледный, весь в блеклых полутонах...

Эта антитеза запечатлена даже самим Чеховым в надписи к его портрету, подаренному мне в одну из наших долгих бесед с покойником. Вот эта надпись:

«Певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца сумерек. Деревянкину — Чехов».

Как сейчас, помню тот светлый для меня день, когда я получил этот портрет...

Писатель работал: писал какой-то новый рассказ, но, узнав, что я приехал, моментально отложил работу.

Он очень любил такие неожиданные наезды друзей.

Бывало, сидит и слушает приятеля с каким-то загадочным выражением лица.

И серьезный же был человек — редко услышишь его смех: все больше мрачное настроение... Да оно и не удивительно: страшная болезнь подтачивала организм великого певца сумерек, о чем он знал из слов близких ему людей.

Особенно запомнилось мне одно посещение... Именно то, когда я получил от Чехова портрет с такой ценной для меня надписью.

Я долго тогда просидел у него... Писатель был в каком-то угнетенном состоянии духа, но долго не отпускал меня, и когда я собирался уходить, — все упрашивал: «Посидите еще пять минуточек». Однако вместо пяти минуточек мы провели в задушевной беседе несколько часов.

Тут же, помню, я дал ему сюжет его знаменитого рассказа «Дама с собачкой»...

Маленькая подробность — на стене висел двусмысленно составленный плакат: «Просят не курить».

Я говорю «двусмысленно составленный», потому что все-таки было неясно: можно в конце концов курить или нет?

Поэтому я несколько раз вынимал папиросу, но Чехов всегда в шутливой форме указывал на плакат, и я поспешно бросал окурок.

Мы долго потом смеялись над моей рассеянностью.

Вообще, в пылу разговора Чехов совершенно забывал, где он и что с ним.

Он был способен в задушевной беседе повести собеседника на мезонин, потащить его в сарай и даже очутиться в конце концов на сеновале, как это и было однажды...

И вот — милая чеховская шутливость: на сеновале он вдруг, среди разговора, так зарылся в сено, что я насилу его нашел.

И так он мог шутить среди тяжелого, «нудного», как он любил говорить, настроения, среди приступов жесточайшего кашля.

В это посещение я прожил у дорогого друга три дня, из которых большую часть провел у его постели (он тогда занемог и слег)...

И эта шутка с сеном была его лебединой песней. При моих последующих посещениях он уже не шутил, а угрюмо молчал, еле отвечая на вопросы...

Болезнь делала свое дело...

И вообще, я нахожу все слова о его жизнерадостности сильно преувеличенными. Я иногда по целым неделям не расставался с ним, и уж изучить-то характер покойного певца русских сумерек мог основательно...

Спи, дорогой друг... Там — свидимся.

ПЛАКУЧАЯ ИВА

Лицо вошедшего в комнату Вихменева господина носило отпечаток раз навсегда застывшей скорби. Будто бы в ранней его молодости судьба однажды размахнулась и отвесила ему своей грозной рукой такую полновесную пощечину, что господин огорчился и оскорбился на всю остальную жизнь.

Усы, складки у рта, волосы на лбу, морщины у глаз — все спустилось вниз, обвисло, как бессильные ветви у плакучей ивы.

А глаза были столь скорбны, что кто заглядывал в них, тому делалось скучно: «что же это я, мол, живу, наслаждаюсь жизнью, веселюсь, в то время как есть люди с такими нечеловеческими страданиями и вековечной печалью в душе!..»

Общий вид вошедшего господина был хрупкий, грудь, украшенная черным с горошинками галстуком, вдавилась внутрь, будто от тяжести этого надгробного галстука, а суставы рук и ног были так развинчены, расхлябаны, что будь господин сделан из металла, он весь дребезжал бы и лязгал частями, как допотопная телега...

А если бы придвинуть его поближе к оконному свету, можно было бы заметить, что и в складках ушей, и во впадинах около скул, и за туго накрахмаленным воротничком — всюду пряталась скорбь...

И в то время, когда вы бы его рассматривали, он, наверное бы, сказал печально, страдальчески:

— За что вы меня придвинули к окну? Почему рассматриваете? Что я вам сделал?

— Господи помилуй! — скажете вы, — ничего вы мне не сделали, я только хотел рассмотреть вас поближе.

— Нет, уж я знаю, что вы меня не любите и за что-то сердитесь на меня... Только за что? Недоумеваю!

— Ну за что мне вас не любить? — пожмете вы плечами. — Что за вздор!

— Ну да, конечно... Вот вы и высказались... Конечно, я вздорный человек, я скучный человек, я это знаю... Ну что ж: толкайте меня, бейте, распинайте!

Вот какой господин вошел в комнату.

* * *

Молча поздоровавшись, он уселся в кресло и долго молчал, подкусывая желтыми зубами сухие бугристые суставы пальцев.

— Ну, с чем пожаловал, Зяка? — радушно приветствовал его хозяин.

— Ты спрашиваешь: «с чем пожаловал»? — насторожившись, спросил господин, названный Зякой. — Ты думаешь, я по делу? Нет, я так зашел. Если мешаю, я уйду.

— Ну, чего там, сиди. Я очень рад.

— Нет, уж лучше я пойду. Действительно, зашел человек безо всякого дела, наверное, помешал — лучше уж уйти.

— Да сиди ты... черррт..!

— Ну, как хочешь... А только я боюсь быть в тягость.

Зяка встал, прошелся по комнате. Взял какую-то книгу, развернул ее, сказал: «А, ты читаешь Додэ...» и пошел бродить дальше, наталкиваясь на все углы.

— Хорошие цветы у тебя. Это гиацинт?

— Гиацинт.

— Их поливать надо.

— Слушаю-с, ваше благородие.

Зяка подошел к окну, заложил руки за согбенную скорбью спину и прошептал:

— Вот и тучи набегают. А там, гляди, и дождь.

Постояв так в глубоком раздумье минуты три, он неожиданно повернулся к хозяину и спросил его, волнуясь, заикаясь и дрожа:

— За что ты меня не любишь?

— Я тебя не люблю? С чего ты это взял, чудак?

— Ну, ты мной недоволен... Признайся, ведь правда?

— Что ты! Чем я могу быть недоволен?

— Ты как-то странно меня встретил. Обыкновенно, ты встречал меня ласково, шутливо: «А-а, старый пират Зяка приплыл!..» А сегодня ты почему-то просто спросил: «С чем пожаловал?».

— Вот ослятина! Стану я следить за собой — назвал я тебя пиратом или нет! Если ты, брат, будешь к таким пустякам придираться, так ведь с тобой никому житья не станет!

— Другими словами, ты просто хочешь сказать, что я неприятный человек...

— Бог с тобой! Ты так же приятен, как летом холодный лимонад!

— Это ирония?

— Правда! Сущая правда в трех частях с эпилогом.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Чем?

— Вот этим... Эпилогом. Не хочешь ли ты намекнуть, что для нашей дружбы требуется уже эпилог?

— Зяка, отстань, старая ты, рассохшаяся бочка. У тебя, кажется, начинается мания преследования!

— Хорошая мания преследования! Третьего дня, когда мы встретились на Московской, ты еле поздоровался со мной, а когда я хотел тебе рассказать о своей размолвке с Утюговым — ты просто убежал...

— Зяка! Да пойми же ты, что я шел с дамой! Ты мог целый час рассказывать свои истории и инциденты с Утюговым — не мог же я заставлять свою даму ждать меня!

— Ну да... А познакомить даму с Зякиным — это нам не пришло в голову? Зякин недостоин дамского общества? Он груб, тяжел, невоспитан...

— Да изволь, познакомлю тебя хоть завтра. Сделай одолжение!

— Значит, ты хочешь уверить меня, что ничего против меня не имеешь?

— Да постой... Разве ты сделал что-нибудь такое, что заставило бы меня относиться к тебе враждебно?

— Вот! Я именно и хотел спросить тебя: что я такое сделал, что ты относишься ко мне враждебно?

— Да я не отношусь к тебе враждебно! Вот характерец!

— Не относишься? Ну? А я заметил, что у тебя по отношению ко мне какая-то злобная ирония. Я ведь, например, давеча просто, по-дружески посоветовал тебе: «поливай цветы почаще...» К чему же это ироническое насмешливое: «слушаю-с, ваше благородие!»? Обидно. Оскорбительно!

— С чего ты взял, помилуй! Просто пришло в голову, и ответил шутливо. Если с тобой нельзя даже пошутить — ты скажи прямо!

— Значит, ты находишь, что у меня тяжелый характер?

— Нет! Не нахожу!

— А что ж ты давеча сказал: «ну и характер!»?

— Это я с восторгом сказал. Ты не понял тоже.

Бессильно опустившись в кресло, Зякин обхватил свою голову руками и с болезненным стоном прошептал:

— Боже, сколько насмешки. Сколько холода и ненависти! За что, за что?

— А убирайся ты к черту! — неожиданно вскричал хозяин. — Слышишь? Ты мне надоел.

Чувство некоторого удовлетворения появилось на лице Зякина.

— Ну, вот видишь... Наконец-то ты заговорил искренно, наконец-то вырвалось у тебя неподдельное чувство по отношению ко мне. Зачем же притворяться, показывать дружбу и симпатию ко мне, которой давно уже нет и в помине...

Хозяин вскочил на ноги и бешено заорал:

— Да пойми ты, идиот ты аргентинский, тухлая ты ослятина, свинячья прямая кишка, — пойми, что ты святого доведешь до того, что он даст тебе по твоей искаженной обидой морде!!! Ну, можно ли иметь такую физиономию?! Ведь от нее молоко скиснет!! Матери будут преждевременно рожать!! Лошади сорвутся с привязи, и звери завоют в логовищах. Так бы и треснул тебя!!

Зякин опустил все свои многочисленные складки и волосы вниз, капнул на отворот сюртука крохотной мутной слезой и покорно подошел к хозяину.

— Что ж, бей... Зачем же сдерживать желание?.. Ударь друга, который не будет защищаться.

— Убирайся вон! Уходи!! Не будем просто встречаться — и конец.

Все большее и большее удовлетворение расплывалось по лицу Зякина.

— Ну? Не прав ли я был? Ведь я же знаю, что ты против меня что-то имел... Зякина, голубчик, не проведешь.

— Агафья! Марина!! Пальто и шляпу господину Зякину! Он уходит!! Уберите его от меня, или сейчас большой грех случится!..

* * *

Через час озабоченный, грустный Зякин сидел у знакомого Прядова и, покусывая большими желтыми зубами сухие суставы пальцев, спрашивал:

— Вы давно видели Вихменева?

— Вчера.

— Ничего ему про меня не говорили?

— Ничего.

— Не понимаю! Наверное, кто-нибудь другой наговорил ему про меня. Наверное, Утюгов. Я уже давно замечал, что он на меня дуется. А сегодня прихожу к нему посидеть — и что же? Он меня просто выгнал!! Что вы на это скажете?

— М... да.

— Нравится это вам?

— Мм... да!..

— То есть, как «да»? Вы, значит, одобряете такое обращение? Соглашаетесь с ним? Павел Петрович, я уже давно хочу спросить вас: что я вам сделал, что вы меня не любите? Чем я заслужил такое недоброжелательное обращение? Я догадываюсь — это Вихменев вам что-нибудь наговорил? Или Сашин? или Кранц? Господи! Какой это ужас — быть опутанным какой-то страшной невидимой сетью и не знать, откуда эта сеть, кто ее соткал для меня?!

Он уныло молчал, не слыша ответа. А ответ звучал где-то в серой дали, в пространстве, без конца, без предела:

— Никто, как Бог.

РАССКАЗ О НИНОЧКЕ КРОХИНОЙ

Я и хотел написать рассказ о Ниночке Крохиной.

И сюжет хороший, и настроение у меня было такое, что по силе и яркости написанного критика признала бы «Ниночку Крохину» одним из удачнейших моих рассказов.

Не судьба.

Так читатель никогда и не узнает изумительной, потрясающей судьбы редкой девушки — Ниночки Крохиной.

Только что я, дрожа от нетерпения и острого стремления окунуться в океан увлекательного творчества, взял несколько листов чистой бумаги и придвинул чернильницу поближе, как телефонный аппарат, стоящий на письменном столе, неистово зазвенел.

— Что?! — грубо бросил я в трубку. — Что надо?!

— Ой-ой, что за кровожадность, — засмеялся где-то за несколько верст женский голос. — Не в духе?

— А-а, здравствуйте, — с напряженной радостью протянул я, сжимая свободную руку в кулак. — Ну, что новенького?

— Нет, вы лучше скажите, почему у вас был такой сердитый тон?

— Да нет... так просто... Это аппарат шалит.

— Сердечный? — слышится лукавый вопрос.

— Телефонный.

— Вы, может быть, на меня сердитесь, а? За то, что я позавчера каталась на островах не с вами, а с Дрягиным.

— Нет, что вы... Пожалуйста...

— Ах, так?! Нечего сказать — красиво. Так почему же вы были такой злой сейчас, а? «Что»?!! Будто из пистолета выстрелил.

— Простите, но когда я спросил: «что?», я ведь не знал, что это вы меня вызываете!

— А если не я, так с другими нужно быть грубым?

— Да нет... Но дело в том, что я только что уселся писать, и поэтому всякий звонок может легко сбить меня с настроения.

— Даже мой звонок?

Свободная, уже ранее сжатая в кулак рука закачалась в воздухе.

— О, нет, что вы... Я очень рад, что вы позвонили. Ну, до свиданья, всего хорошего.

— Успеете там с вашим писаньем. Все равно, всего не испишете... А что, вас все-таки часто отрывают от работы?

— Очень часто. То звонки, то визиты. Прямо ужас...

— А вы бы трубку с телефона снимали...

— Не всегда удобно. Иногда бывают важные звонки, по экстренному делу.

— Бедняжка! Ждете важных звонков, а к вам звонят не важные звонки.

— Да.

— Вы бы говорили, что вас дома нет.

— Да.

— Или время бы какое-нибудь назначили определенное.

— Да.

— Что это вы как будто чем-то недовольны?

— Нет.

— Я замечаю, что вы в последнее время какой-то нервный.

— Да.

— Я сама понимаю, что когда собираешься что-нибудь сделать, а тебе помешают, так теряешь терпение.

— Да.

— И, наверное, большей частью без дела звонят?

— О, да, да. Конечно. Действительно!

— Не понимаю таких людей...

— Да. Ну, до свиданья!

— Всего хорошего. Завтра что делаете?

— Нет.

— Что «нет»?

— Да. Делаю, вообще. Я вам позвоню. До свиданья.

— Всего хорошего. Пишите ваш рассказ. Вчера не видели Птицына?

— Да.

— Видели? Ну, расскажите, что он делает вообще?

— Ничего. Спасибо. Гуляет. Ну, до свиданья.

— Боже, как вы хотите от меня избавиться!.. Ну, до свиданья. Не буду вас больше мучить. Теперь вы на меня не сердитесь?

— Нет.

— Ага! Значит, раньше сердились!
— Нет.
— Мне этот Дрягин не нравится. В нем есть что-то вульгарное... Или нет? Как вы находите?
— Да.
— Что — «да»? Согласны вы со мной или нет?
— Согласен. Ну, до свиданья.
— Еще бы вы были не согласны!.. Когда при вас выругаешь мужчину, вы всегда согласны, а похвалишь кого, так вы на стену лезете. Только таких циников, как Мочугов, вы и можете хвалить. Давно его видели?..
— Да, давно. Спасибо. Гуляет. Ну, до свиданья.
— Нет, постойте... Разговор становится интересным! Это мне нравится: я назвала Мочугова циником, а вы даже не протестуете... Почему же вы раньше так горой за него стояли?! Ну-ка, вы, «мужская логика», отвечайте!..
— Да. Гуляет. Спасибо.
— Кто?
— Этот... Мочугов. Вообще это все трудные задачи. Ну, до свиданья. Позвоню.
— Ну, теперь окончательно: до свиданья! Послушайте... Только не звоните после трех. Меня дома не будет. И до одиннадцати тоже. Или нет, в десять. Даже немножко раньше. Не спутаете?
— Да.
— Ну, до свидания. О Дрягине и не думайте. Он для вас не опасен. Может быть, кто другой...
— Да. Ничего. Он гуляет. Ну, до свиданья.
— Кто гуляет? Что вы затвердили: «гуляет да гуляет»!
— Да. Все вообще. Погоды хорошие, они и тово...
— Стыдитесь! О погоде заговорили. Неужели у вас с дамой нет более содержательного разговора?
— Да. Кхе, кхе!.. Кх...
— Что это вы — как будто кашляете? Простудились?
— Нет. Нервное.
— Почему?
— Да, знаете, мешают все. Приходят, звонят...
— А вы бы трубку снимали. Или просто говорили, что заняты, работаете, мол.

— Я и говорю. Не помогает.

— Вот, ей-богу, наказание. Действительно, положение! Ну, если они такие нечуткие — вы бы сказали «извините», но я сейчас не могу разговаривать!

— Извините, но я сейчас не могу разговаривать.

— Вот так. Молодец. Запомните это!

— Ну, до свиданья.

— Послушайте... А мне пришло в голову: может, вы и меня так же потом ругаете за мои разговоры, как и других, а? Я вам ведь, кажется, тоже помешала?

— Да. Ну конечно!

— Ну, вот вы уже и шутите... Вот и хорошо. Я, значит, разогнала ваше дурное настроение. А если, предположим... Неужели повесили трубку?! Свин... положим... Что эт...

* * *

— Барина дома нет.

— Да как же нет, если он сейчас по телефону разговаривает. Я ведь зашел на одну секунду.

Входит человек. Не на четырех ногах, а как любой человек — на двух ногах.

— Я вам помешал сейчас?

— Собственно, как сказать?.. Я ведь пишу рассказ...

— А вы вон сейчас по телефону разговаривали...

— Да, это одна дама оторвала меня. Только сбила с настроения...

— А вы бы сказали, что заняты.

— Говорил. Не помогает.

— Ни на одну йоту у этих дам нет чуткости! Трубку бы не снимали на это время.

— Да.

— Или просто: нет дома — и конец.

— Да.

— Я вам, может, мешаю? Я только на десять минут. Ну, что у вас слышно с вашей газетой?..

* * *

Я люблю людей.

Я готов их всех обнять. Обнять и крепко прижать к себе.

Так прижать, чтобы они больше не пикнули.

Отчего я писатель? Отчего я не холера?
Я знал бы тогда, кому следует захворать...

Отдел IV. ЛАСКОВЫЕ РАССКАЗЫ

СЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться оттого, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.

Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.

Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями — тихий, покорный и бесконечно одинокий.

Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше — и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:

— ...А что же Спирька на это сказал?

— Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который...

И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться.

И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке... Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, красновукий гимназист выпускного класса?

Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.

Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:

— Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч...

— Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать...

— Если бы я еще не знала, что вас...

И прошли.

Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли... Жизнь идет стороной, вы почти как в могиле.

Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:

— Ты слишком мрачно глядишь на вещи.

— Это я-то?! Ну, знаешь ли... Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что...

Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.

И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:

— Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.

* * *

Я ли один переживаю это, или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?

О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?

Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах...

Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт... Плакать хочется.

Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне — у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.

Боже ж ты мой, как обидно!

В передней звонок.

О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?

Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.

— Вот вы какой! — говорит она, внимательно меня оглядывая. — Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.

Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).

— Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, — усмехаюсь я.

— Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?

— А разве мои рассказы веселые?

— Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.

— Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.

— Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете...

Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который

тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.

— Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю...

— Вы, право, избалуете меня... Ну, какой же рассказ запомнился вам?

— Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним, и невеста тоже... отказалась выйти за него замуж.

— Позвольте, сударыня... Да у меня нет такого рассказа.

— Быть не может!

— Уверяю вас.

— Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.

— Сударыня! У меня и такого рассказа нет!

— Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?

— Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.

— Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись...

— Простите, но этот рассказ не смешной, это очень печальная история.

— Да? А мы с сестрой смеялись...

— Напрасно.

Мы молчим.

— Я вам сейчас не помешала?

— Нет.

— Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..

— Нет, что вы! Ничего.

— И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..

— Почему же?..

— Вам нравится моя наружность?

— Хорошая наружность.

— Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?

— Зачем же из вежливости?

— Ну вот, вы писатель... Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?

— Отчего же.

— А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?

— Зачем же всем.

— Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.

— Спасибо.

— В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.

— Сейчас. В каком театре вы меня видели?

— Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?

— Нет.

— Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо... Вы какой-то... особенный.

— Да, на это меня взять, — уныло соглашаюсь я.

— Я знакома еще и с другими писателями... С Белясовым.

— Не знаю Белясова.

— Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.

— Белясов-то? Конечно, врет.

— Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?

— Можно.

— Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду... Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела...

* * *

Ушла.

И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?

Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество — уже грозное и суровое,

как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб — осыпалось и покрыло меня.

Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:

— Эх, напьюсь же я нынче!

— С чего это такое?

— Манька опять к своему слесарю побежала.

Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.

Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит.

Зарезаться можно.



Из «Вестника знания “Нового Сатирикона“» (1917)

в дни содома и гоморры



ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

(Издание полное, без сокращений и штук)

Издается под общей редакцией почетного академика Аркадия А.

При участии следующих русских ученых (лучшие научные силы):

Профессора общих наук, доктора honoris causa Филадельфийского общества исследования психических явлений и почетного потомственного члена общества друзей строительного искусства арктических и антарктических стран —

Арк. Т. Аверченко.

Лауреата Сорбонской консерватории, аборигена общества изучения месмерических явлений на Панамском перешейке, почетного попечителя феодосийской начальной школы высшей верховой езды, адъюнкта богословских наук и адепта —

Влад. Азова.

Действительного члена кентуккийской академии пароходства и торговли, солиста его высочества принца монакского и почетного посетителя беговой беседки, магистра новых наук —

Арк. С. Бухова.

Члена-соревнователя Императорского общества правильной охоты, магистра физии, члена столичной фондовой биржи, почетного старика Петроградской станицы и кавалера —

Исид. Я. Гуревича.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, громадный труд, перед грандиозностью и высотой которого кружится голова и сама собой упадает с головы шапка, — исполнен.

Те из наших читателей, которым приходилось на своем веку составлять энциклопедические словари, знают, какой это громадный, непосильный для одного человека труд. И действительно, мы знаем, что большой энциклопедический словарь составлял не один человек, а два (Брокгауз и Ефрон).

Но у них было преимущество перед составителями энциклопедического словаря «Нового Сатирикона» — они не стеснялись местом и размерами издания. Всякому понятно, что если одной буквой «**А**» они заполнили 4 здоровенных тома, то в это огромное вместилище не так уж трудно напихать всяких слов, какие придут в голову. А нам пришлось ютиться со всем нашим богатым запасом слов и сведений на пространстве нескольких десятков страниц. Не очень-то тут разойдешься. Легко сплясать любой танец в огромной двусветной зале с колоннами, а попробуйте сделать хоть одно па в трехведерном бочонке из-под сельдей — едва ли ваш танец будет отличаться грацией, легкостью и свободой движений.

То-то и оно.

Конечно, мы не хотим обижать ни Брокгауза, ни тем более Ефрона, но считаем нужным указать на то, что необозримость места развратила этих двух наших коллег.

На букву «**А**» они вдруг сообщают сведения о каком-то Аазене, норвежском языковеде (1813—1896). Читатель! Ну, будем откровенны: зачем нам знать, что этого Аазена зовут Ивар Андреас и что он посвятил себя изучению норвежских диалектов? Да Бог с ним — он, может быть, был даже и хорошим, по-своему, человеком — трезвым, семьянином и ни в чем предосудительном не замеченным, но, читатель! Нужен нам этот Ивар? Нет. Проживем мы, слава Богу, и без Ивара. До него жили хорошо и без него не хуже.

К чему же, спрашивается, Брокгауз подсунул нам этого Ивара? Да очень просто: четыре тысячи страниц на одну букву «**А**» — надо же чем-нибудь заполнить.

Этим же объясняется появление на страницах словаря наших коллег Аарона бен-Элия Никомедийского, караимского богослова (1300—1369). Мы уверены, что наши читатели не бегают каждую минуту к книжному шкафу, не выхватывают том на букву «**А**» и не роются с лихорадочным любопытством в этом томе:

— Кто же такой, наконец, этот Аарон бен-Элия Никомедийский?!

Мы знали людей, тихо почивших на 82—90-м году своей бурной жизни и ни разу на своем веку не поинтересовавшихся: кто такой этот Элия?

Теперь читатель поймет всю трудность нашей задачи. Из массы слов, имен и понятий нужно было выбрать только те имена, слова и понятия, которые понадобятся читателю для справок. Уверенность, что среди наших читателей нет ни норвежских языковедов, ни караимских богословов несколько облегчила нашу задачу в смысле количества объясненных слов.

Но все же труд по составлению нашего словаря настолько громаден, что мы не могли ограничиться двумя сотрудниками (как Брокгауз и Ефрон), а пригласили и третьего и четвертого. Кто из нас четырех четвертый — представляем решить чуткости читателя, а мы со своей стороны сделали все, что могли... Каждое слово объяснено и разжевано так, что даже недалекий, тупой человек поймет, в чем тут дело. Может быть, слов в нашем словаре немного, но те, которые нужны, — есть, а которых нет — без них можно обойтись. Недаром поэт сказал:

— Мало слов, а горя — реченька.

В заключение приносим искреннюю благодарность лицам и учреждениям, которые облегчили нашу работу фактическими данными и пояснениями.

Издатели

А

А — первая буква азбуки (напр.: мама; казуар). Впрочем, неграмотному печатно этого не объяснишь, а грамотный и сам хорошо разберет, что где.

Абрамович Н., критик. Псевд. — Ленский. Придравшись к этому, мы могли бы свалить его на букву Л, но не стоит. Лучше уж с ним покончить сразу. Он читает лекции. Началось это с того, что сторож лекционного зала забыл запереть дверь. Абрамович пробрался в зал, вскарабкался на кафедру и стал что-то говорить. Так к нему и привыкли — не слушают, но и не гонят. Кроме того, он писатель. Пишет рассказы под псевд. Ленский. Разница, как утверждают понимающие люди, между ним и пушкинским Ленским в том, что того убил Онегин, а этого — сам Бог.

Абронхиаты — правду сказать, мы не знали, что это такое, и поэтому потихоньку заглянули в Брокгауза и Ефрона. Там сказано: «Абронхиаты — так называются различные животные, лишенные жабр». И это все. Так что, по Брокгаузу, и лошадь — абронхиат. Пусть. Иногда в солнечный день приятно покататься на паре абронхиатов в яблоках.

Абсолютизм — гм... да.

Абсолютный идиот — оценка, которую всякий дает мужу, умоляющему друга занять жену, пока он, муж, поедет на вечернее заседание.

Авалокиташвара — неизвестное санскритское слово. Кто хочет, может так назвать своего ребенка.

Авансцена — сцена, которая впереди. Так, подвыпивший супруг, бредущий одиноко, пошатываясь, домой к жене, имеет авансцену.

Авгитит — новейшая изверженная горная порода из семейства базальтов. Этому семейству делать визиты и раскланиваться при встрече не принято. Авгитит можно употреблять в пищу только в очень разваренном виде.

Август — и месяц и древний римский император. Часто происходила путаница. Один патриций спрашивал у другого: «Август уже прошел?» — «А я не видел», — отвечал другой. «Хорош же ты гусь, братец», — думал первый. Затем: когда Август шел на соседний народ с войском, соседнему народу доброжелатели сообщали: «Август наступает». — «Эко,

вспомнил», — смеялся соседний народ. — Сейчас только май, а он об августе толкует». Такие недоразумения часто вели к победам римского оружия.

Аверченко, Аркадий Тимофеевич — это я. Латинская пословица говорит, что о себе нужно говорить или хорошо, или ничего. Поэтому лучше не скажу ничего. Род. в 1882 году. Умру в 1941 году, 17 октября, от разрыва сердца, получив радостное известие, что акт 17 октября наконец-таки будет проведен в жизнь.

Австралия — страна, населенная австралийцами. Такая же самая страна, но населенная американцами, называется Америкой. Впрочем, это не правило: напр., в Южной Америке живут африканцы, однако Африка находится совсем в другом месте. Вообще, тут какая-то путаница.

Австро-Венгрия. — Эта страна с одной стороны омывается Адриатическим морем, с другой — загрязняется Франц-Иосифом. О ее границах трудно сказать что-либо определенное. Как бы мы точно ни определяли этих границ — генерал Брусилов все равно сделает по-своему...

Автограф — (греческ.), граф, едущий на автомобиле.

Агафья (греческ.) — в переводе — «стоящая у плиты».

Агнаты (латинск.) — родственники. Агнаты ведут сидячий образ жизни. Сидят у кого-нибудь на шее.

Агни — по Брокгаузу, это слово санскритское, означает огонь, а по-нашему — просто безграмотно написанное русское слово. Огни есть огни, и санскритцы тут ни при чем.

Адам — муж Евы. Слабохарактерность его была причиной многих событий, о которых слишком долго говорить. Питался яблоками.

Адамово яблоко — ничего общего с Адамом не имеет. Находится в горле каждого человека, независимо от его имени. Таких примеров можно привести десятки: человека, скажем, зовут Петр, а имеет он в одно и то же время: адамово яблоко, тимофееву траву и антонов огонь.

Адрес — Николай Поликарпович Зюзюкин, Тамбовская 11, кв. 47, поворотя направо.

Адъютант (франц.) — прощальное приветствие, в переводе — прощай, тетка.

Азбест (женск. род — аз-бестия), (славянск.) — в переводе — я нехороший человек.

Азбука (славянск.) — в переводе — я страшный.

Азбек — гора на Кавказе, без первой буквы (см. на букву К — Казбек).

Азия — страна, населенная азиатами. Так как они ведут себя по-азиатски, то из чувства брезгливости не будем о них говорить. В Азии водятся разные животные. Они или водятся сами, или их водят посторонние (напр. «по улицам слона водили» и др.).

Азов, Влад. — писатель. Личный друг пишущего эти строки. Очень хороший человек. Хорошо пишет. Воображаю, какие кислые мины скорчат его враги и злопыхатели, прочтя эти прочувствованные строки.

Азорские острова — названы так по имени собаки — Азор. Чья это была собака — точно не выяснено. Неизвестно даже, жила ли она на этих островах... Может быть, это даже не была собака. Брокгауз тоже ничего не говорит об этой странной собаке...

Азотистый ангидрит — простонародное русское выражение.

Аист — вредная в домашнем быту птица, особенно недопустима там, где есть молодые девушки.

Айвазовский — художник, который никогда не нуждался в темах. Стоило кому-нибудь сделать гадость или глупость, как все окружающие говорили: «Это достойно кисти Айвазовского». Марины были его излюбленным жанром. В этом он сходился с Лжедмитрием.

Акрипомизариум — неизвестное слово, только что придуманное составителем настоящего словаря. Может быть ласкательным.

Акушерка — паразитное насекомое, водящееся в оперении аиста.

Акушер — муж акушерки.

Акушерские щипцы. — Прибор для завивки волос, им также можно колоть сахар. Но, конечно, лучше этого не делать.

Аларкон-и-Мендоза — всего-навсего один человек, испанский писатель. Когда собиралась компания Аларкона-и-Мендозы, Леонардо-да-Винчи, то за столом сидело не четверо, а всего двое. Вообще, Испания еще мало исследована.

Александр — мужское имя; если женское, то жена его — Александра, дети — Александриты. Впрочем, последнее, кажется, из другого семейства.

Александр Ильич — знакомый составителя настоящего словаря. Живет в Петергофе.

Алкоголь — приготовляется из картофеля. Наоборот, все попытки приготовить из алкоголя картофель ни к чему не приводили. Да и зачем, спрашивается, когда алкоголь можно выпить, чего о картофеле сказать нельзя.

Альберт — имя. У людей малоимущих может заменять фамилию.

Альбом (римск.) в переводе — свалочный пункт.

Альфонс — если человека называют так в глаза — это имя, если за глаза — общественное положение.

Амазонка — этим именем называется много предметов: женщина, костюм, река, собака и пр. От личной догадливости каждого зависит — не смешать этих понятий, напр.: Амазонка — течет; амазонка — кокетничает; амазонка — лопнула; Амазонка — лает! Впрочем, распространяться долго не стоит, слава богу, читатель не маленький.

Амалия (немецк.) — женщина легкого поведения.

Америка — страна, которую открыл Колумб, кто ее закроет — неизвестно. Америка разделяется на Северную и Южную. В Южной живут главным образом южане, в Северной — северяне. Западняне и восточане тоже живут, где им полагается. Так что читателю нечего беспокоиться. Путаницы никакой произойти не может.

Ампутация — быстрая потеря веса в теле, производимая у тупых людей, носит характерное название «резьбы по дереву»...

Амфитеатров, Алекс. Валентинович — оперный певец, почему всегда и живет в Италии.

Анатомический театр — театр, делавший в 1905 г. полные сборы.

Анна — древнееврейское имя — и мужское и женское. Различать можно по одежде и растительности на лице.

Аномалия — имя (по-немецки — Амалия, в которой есть одно маленькое «но»).

Антиной — противник Ноя.

Антропофаг — самоед, он же лопарь.

Апельсин — будучи уверены, что наши читатели в апельсинах понимают, об этом фрукте умолчим. Иногда апельсин — взрывчатое, то же можно сказать и о других фруктах — гранатах.

Аполлон — древний молодой человек, названный так за свою красоту.

Арабески — дети арабов.

Арабские цифры. — Например, 45, 123 и др.

Арарат — пристань для ковчегов.

Аргумент (греч.) — кулак, сжатый перед самым носом.

Арестант — см. Банкир.

Аристократ — человек, упорно сморкающийся в платок.

Аристон (испорч. слово —Ористон) — от «ори» и «стон». При игре на о. первое относится к инструменту, второе — к слушателю.

Арийские народы — вообще, наши читатели и подписчики «Нов. Сатирикона».

Архи — приставка к слову, знаменующая высшую степень чего-нибудь (напр. Архимед).

Аршин. — Мера длины в мануфактурных магазинах = 15 вершкам.

Аскет — чудак.

Аскольд и Дир — предки Мюра и Мерилиза. Занимались войной. Убиты Олегом. При погребении их перепутали: Аскольда положили в Дирову могилу, а Дира — в Аскольдову. Теперь уже, конечно, перекладывать их не стоит.

Аспид — змея.

Аспидная доска — доска, принадлежащая аспиду.

Атлет — полуголый человек, прижатый к ковру обеими лопатками.

Аттила — по мнению одних — бич Божий, по мнению других, просто жулик.

Ахтырка — город, славится пылью, что привлекает массу любопытных туристов. Климат черноземный, почва умеренная.

Афина — богиня мудрости, родилась из головы Зевса. Единственная женщина, которая знает папу, но не знает мамы; обычно бывает наоборот.

Б

Бе — пословица гласит: Кто сказалъ «а», должен сказать и «бе». Мы и говорим.

Бабка — старая родственница.

Бабки (игра в) — игра в бабки — один из жестоких деревенских обычаев средней России. Молодые парни собирают несколько пожилых родственниц (бабки) и бросают ими друг в друга. Когда же, наконец, свет знания и просвещения проникнет в нашу темную деревню?..

Бабье лето — лето, принадлежащее бабам. Другие времена года, принадлежащие бабам, науке неизвестны.

Баден-Баден — два одинаковых немецких курорта. Сами немцы плохо их различают.

Бактерии — животные, до того маленькие, что, если на глазах члена общества покровительства животных убить бактерию, — он смолчит. Водить за собой бактерию на ленточке вместо собаки не рекомендуется.

Бакшиш — (см. Полицейское право). Подарок. При исполнении просьбы дается целиком, при неисполнении — только вторая половина.

Банки — приборы для высасывания крови. Чаще всего они акционируются и помещаются в лучших домах столицы.

Банкир — предмет, которым лучше всего любоваться, когда он висит.

Барабанная перепонка — перепонка, которая на барабане. Вставленная в ухо, защищает его от ударов.

Баран — см. Онколь.

Барометр — прибор, предсказывающий плохую погоду. Несмотря на прикрепление к стене, часто падает. В бедных семействах заменяет часы.

Баронет — маленький барон.

Баррикады — постройки, сделанные наспех. От обыкновенных домов отличаются тем, что строят их не вдоль улиц, а поперек. Живут в них недолго.

Барсук — кушанье.

Барыня — женщина, имеющая прислугу и туфли на высоких каблуках.

Батый — татарин. Вторгся в 1236 году в Россию, воспользовавшись тем, что тогда на воротах домов еще не было надписи «татарам вход запрещен».

Башлык — головной убор. Он же, сделанный из кусочков баранины и зажаренный, называется шашлык.

Бегемот — слон, только без хобота и имеющий совсем другой вид. Отличить его от слона можно по надписи на клетке зоологического сада.

Бенгальский тигр. — Самый простой способ приготовления бенгальского тигра: берут обыкновенного простого тигра и освещают бенгальским огнем. Можно этого и не делать.

Бернарден-де-Сен-Пьер — в переводе: Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Бертольд Шварц — порох, изобретенный им, употреблялся казаками для лечения ран. Отсюда пословица: чем ушибся, тем и лечись.

Берцовая кость — самый бедный человек имеет не менее двух таких костей. В больших семействах они насчитываются десятками...

Бетховен — коллега композитора Давингофа.

Библиографическая редкость — настояний словарь через три года.

Библиофил (греч.) — зачитывающий книги.

Бифштекс — бычачье кушанье. Пережаренный идет на починку ботинок (см. Подошва).

Близнец. — Каждый может быть близнецом. Однако если человек при рождении упустил время занять это положение, то в зрелом возрасте спохватываться уже поздно.

Блоха — животное. Можно видеть в зоологическом саду. Иногда сидит даже в одной клетке со львом. Это животное настолько дешево, что встречается в самых небогатых семействах. Имена и клички не даются вследствие возможной путаницы.

Блуждающая почка в мадере — редкая болезнь на почве алкоголизма.

Боа — животное. Водится в Южной Америке. В`качестве паразита часто гнездится на женской шее, обвивая последнюю. Покрыт перьями или шерстью, живет не больше одного сезона.

Бобр — водится на мужских шубах и шапках. Старея, седеет, чем вызывает всеобщее уважение.

Болван — выставляется на витрине в парикмахерской или сидит внутри.

Болонка — животное. Идет на приготовление болонской колбасы.

Большая Медведица. — Если с заглавной буквы — находится на небе, для жизни неопасна; то же животное с маленькой буквы — встречается в лесах, может напасть на человека.

При встрече с той или другой разновидностью прежде всего надлежит выяснить, с какой буквы начинается встреченный экземпляр, а затем уж, в зависимости от этого, — или спасаться на дереве, или равнодушно оставаться на месте.

Бомонд. — Состоит из двух половин: демимонда и полусвета. Сложенные вместе, эти две половинки дают целый бомонд.

Бонна — возлюбленная.

Бон-мо (франц.) — хорошее слово. Напр.: миллион, ананас, бриллиант. В другом смысле — острое словцо. Напр.: «Вы холосты, молодой человек?» — «Почти. Я живу с вашей женой».

Бордо — и французский город, и вино. Трезвый человек легко отличает их друг от друга, а с пьяным мы даже не желаем разговаривать.

Борей — лошадь. Часто встречаются на скачках и бегах.

Боров (франц.) — муж свиньи. По-русски — свинец.

Бостон — город, танец и карточная игра. Человек, одновременно живущий в Бостоне, танцующий бостон и играющий в бостон, называется «бостонцем» или по-американски — бостонжогло.

Браге (Тихо-де-Браге). — Мореплаватель. По его имени назван Тихий океан.

Брамапутра — и куры, и река. Отличить друг от друга можно по кудахтанью.

Брандмауэр (голландск.) — начальник вольной пожарной дружины.

Браслет — украшение для рук и ног. Часто им так дорожат, что, надевая браслеты на руки, скрепляют, во избежание потери, цепью.

Братина (женск.) — от слова брат, в просторечии — сестра.

Брокгауз — составитель словаря, для Ефрона он — то же, что Ходотов для Вильбушевича. Порознь их встретить нельзя.

Брошюра — небольшое издание, которое не жалко бросить (прочту, мол, и брошу: отсюда — брошюра).

Бугорчатка — волнистая местность; болезнь. В качестве последней легко переносится наследниками заболевшего.

Бульдог — и собака, и револьвер. Различаются по силе звука и последствиям.

Бумага. — Если бы мы стали объяснять вам, читатель, что такое бумага, вы бы на нас обиделись: что вы, мол, нас за дураков считаете?..

Бурбоны — старинная королевская фамилия. Прозваны так за свою грубость.

Бурка — жена бура; плащ на Кавказе. Различаются по месту жительства.

Бухов, Аркадий Сергеевич — личный друг составителя настоящего словаря, известный писатель. Род. в 1884 г. в штате Небраска, в небольшом методистском семействе. Окончив колледж, бежал на бриге «Ящик Пандоры» в Европу, но потерпел крушение; волны выбросили его (такого человека, да выбросить!) на один из островов, где он чуть не сделался туземцем. Обращенный в православие, переехал на шхуне «Араукария» в Европу, где испытал много превратностей судьбы, был дегустатором, беговым наездником и проч. Кончил литературой. Из его произведений известны: «Жуки на булавках», «Чертово колесо» и «Путеводитель по Росс. жел. дор. за 1910 год». Последнее произведение все распродано.

Быки — животные; устои моста. Различаются по виду.

Бьенстерне-Бьернсон — норвежск. слово, по-русски — Брешко-Брешковский.

Белена — кушанье, настолько вкусное, что им объедаются (обычн. фраза: «Как вы поправились — белены объелись, что ли?..»)

В

В. — Вот, например, вы, читатель, думаете, что «в» — буква без всяких штук и закорючек. И мы так же думаем. Но не так думает Брокгауз! Более того — не так думает Ефрон! Вот что такое, по их мнению, буква **В**: 1) губно-зубной звонкий спирант «в» и 2) губно-зубной глухой спирант «ф» — в зависимости от места в слове.

А может быть, они и правы.

Ваал. — Во всех семитических языках в переносном смысле значит — Бог. Точный перевод — господин.

Однако в наши дни основываться на этом нельзя и писать на конвертах: «Ваалу Сидорову» — не следует.

Впрочем, это редко кто делает.

Ва-банк. — Возглас, произведенный без достаточных оснований, вызывает у партнеров усиленную и спешную работу подсвечниками.

Вавилония. — Страна, управлявшаяся в свое время Навуходоносором. Отца его звали еще обиднее: Набополоссар. Сынок кончил тем, что встал на четвереньки и принялся есть траву. Такие и тому подобные поступки привели эту богатую страну к упадку.

Вавилонская башня — небольшое строение, не законченное строителями вследствие незнания языка.

Вавилонское столпотворение. — Это черт знает что такое, форменное безобразие.

Вавилоны — мужчины. Сокращ. — Вавилы.

Вагнер, Рихард — немец. Живи он в России, большую часть жизни ему пришлось бы просидеть в участке за нарушение тишины.

Вагонетка — жена вагона.

Ваза — и сосуд, и династия (Густав Ваза). Различаются по долговечности. Сосуды — выносливее.

Вазелин — мазь от угрей. Угорь, натертый этой мазью, делается скользким и исчезает (см. пословицу: скользкий как угорь).

Вакация — каникулы. Без первой буквы приобретает форму и внешность дерева.

Вакса — обувь.

Вакханалия — вечеринка.

Вакханка — древняя женщина мягкого характера.

Валаамова ослица. — Прославилась тем, что заговорила. Ослы, говорящие в наше время, уже удивления не вызывают.

Валаньсьен — и город, и кружево. Для того, чтобы отличить одно от другого, некоторые носят брюссельские кружева.

Валерьяновые капли (см. Адамово яблоко).

Валовой доход — доход от продажи валов. Получается также и от продажи других предметов.

Вальс — наиболее удобный способ схватить даму за талию. Если еще после этого покружиться по комнате, то никто даже не обратит внимания на неприличие вашего поведения.

Вальтер Скотт — писатель. По поводу этой фамилии хихикать нечего — тут нет ничего дурного.

Вандербильт — зажиточный американец.

Ванна. — Неужели читатель не знает, что это такое? Стыдно.

Ванька-Каин — брат Ваньки-Авеля.

Ванька-Ключник. — В словаре Павленкова о нем сказано очень странно: богатырь былин, соблазняющий жену своего господина и хвастающий этой связью. В наше время это называется не богатырь, а иначе.

Варвар — мерзавец.

Варнак — тоже не ангел.

Вар — римский полководец, прославившийся тем, что не отдавал легионов, несмотря ни на какие просьбы.

Варфоломеевская ночь — экзамены в средней школе.

Вегетарианство. — Своего рода религия. Однако еврей, перешедший в вегетарианство, права жительства не получает.

Великан — большой человек. Великан небольшого роста называется карликом.

Ведро — 20 бутылок водки.

Велосипед — род лошади, только без ног и головы. Хвост заменяется задним колесом. Оно не живое.

Венера — богиня красоты, родившаяся из морской пены. По нашему мнению, ее мать совершенно напрасно сваливает все на морскую пену.

Вепрь — неинтеллигентный кабан.

Верблюд — животное. В детстве часто падает, почему делается горбатым. Неочищенную верблюжью шерсть можно давать детям как рвотное.

Веревка — самый чувствительный предмет. По многим плачет.

Верста — мера длины; (мужск.) — верстак.

Веселящий газ — материя, купленная дешево.

Весталка — старинная девушка скромного поведения. Занималась с огнем.

Взятка. — Автор словаря не знает, что это такое. Первый раз слышит.

Вино — тоже.

Виттова пляска — танец. Обыкновенно танцуют без партнера. Музыка тоже не обязательна.

Водобоязнь — болезнь. Первые признаки: грязная шея и руки. Лечить втиранием мыла.

Волчьи ягоды — десерт. Подается только гостям.

Воспитательный дом — дом, где хорошо воспитывают детей. Поэтому большинство родителей стремится определить туда своих малюток.

Вошь — головной убор.

Вскрытие — последняя попытка врача вернуть пациента к жизни.

Вундеркинд — негритенок, родившийся от белого отца и матери.

Выхухоль — род сухопутной собаки. При виде опасности старается убежать. В пищу употребляется, когда ничего другого нет.

Вяжущие средства — род веревки.

Вязига — рыба. Добывается из спины осетра. Самостоятельно быстро погибает, не оставляя потомства.

Г

Гаага — город. Назван так по имени мирной конференции, окончившейся мировой войной.

Габсбургский дом — неуютное строение, в котором долго не выживают.

Гай — римский юрист. Жена его — Гайка — прославилась своим поведением.

Галоиды или Галогены — это, в сущности, одно и то же.

Галоша — род кресла. Служит для сидения и отдыха.

Гармодий и Аристогитон — два афинских юноши, ухлопавшие какого-то Гиппарха. Почему они попали в словарь Брокгауза — неизвестно. Мы их помещаем единственно за компанию.

Гарпун — вилка, на которую сдуру натыкается рыба.

Гастролер — артист, отличающийся тем, что все остальные играют еще хуже его...

Гватемозин — последний мексиканский принц, племянник Монтесумы. Был повешен испанцами якобы для просушки, на самом же деле с целью отделаться от него, что и было исполнено в 1525 г.

Гвоздичное масло. — Добывается из гвоздей. Идет, главным образом, на смазку головы.

Гекуба. — Мы не говорим: «что тебе Гекуба?», а честно объясняем: жена троянского царя Приама, мама Гектора. Теперь уже умерла.

Гелиогабал — римский император, любимый народом за разврат. Убит в 222 г.

Генеалогия — родословная. Любимое занятие волжских грузчиков.

Геракл — ласкательное от Геркулес... (напр., Михаил — Миша, Василий — Вася и др.).

Геральдика — болезнь.

Геркулес — герой, очистивший Авгиевы конюшни. Изобретатель ассенизационного обоза, за что взят на Олимп, где находится и поныне.

Геродот — историк. В России ему неудачно подражал Иловайский. О последнем существует поговорка: «Геродот, да не тот».

Гипербола — например, большая мышь величиной с лошадь. Неопасна. Мясо в пищу не употребляется.

Гипотенуза — оно такое, вроде жабы, только на нее непохожее. Вообще, трудно сразу сказать, что это такое.

Гирляндайо — художник. Изобрел гирлянды, почему и умер в бедности.

Глазные зубы — те зубы, которые при исполнении совета: «возьми глаза в зубы» — придерживают глаза.

Гомер — писатель, известный своей слепотой. Несмотря на это, славился своей жизнерадостностью и часто смеялся гомерическим смехом.

Графология — искусство определять характер по почерку. Напр., получаете вы письмо: «Милостивый государь! При первой же встрече вы получите от меня по физиономии!» Человек, получивший такое письмо и знакомый с графологией, сразу может определить по почерку, что писавший чем-то недоволен.

Грации — их было три: Вера, Надежда, Любовь и Софья.

Грациозный — (см. портрет составителя настоящего словаря).

Гребенка — костяная или роговая дощечка с прорезями для насекомых.

Грегуар — парикмахер.

Грум (англ.) — часть экипажа.

Грум-Гржимайло — путешественник. Его часто смешивают с однофамильцем Миклухо-Маклаем.

Груша — девушка, огорченная своими близкими и поэтому висящая на дереве. Отсюда пошло выражение: на вербе груша.

Губернатор — любимец населения.

Губки — место на женском лице, закрытое помадой.

Гуманность — человеколюбие. (Пример: эта дама влюблена в того человека — она гуманна.)

Гумми-арабик — маленький араб, покрытый клеем. Приготовленный таким образом, прикрепляется к матери, чтобы не потерялся во время пути (см. Элизе Реклю. «Арабские обычаи»).

Гуревич, Исидор. — Один из составителей настоящего словаря. Родился въ 1795 году, почему и отличается долголетием. Родина его — полуостров Корсика. Мы говорим полуостров, потому что не мог же он ребенком занимать весь остров. На родине занимался вендеттой. Прибыл в Россию вплавь по Мариинской системе и, к общей радости, принялся за писание рассказов. Симпатичен.

Гурия — девушка. При выходе замуж меняет только первую букву.

Гурман — человек, уничтожающий отбросы: сыр с червями, гнилую дичь и проч.

Гусиная кожа. — Бывает на человеке. Если у него образуется гусиная кожа и под глазами гусиные лапки, — он может летать. Но лучше, конечно, этого избегать.

Гусь — разновидность человеческого ребенка, находимого в капусте. Различаются по тому, что первый — жареный, второй — сырой.

Гутенберг — изобретатель книгопечатания. Если бы он увидел сейчас эту книгу, он ахнул бы от восторга.

Гюго, Виктор — автор знаменнтаго романа «Notre Dame de Paris», вышедшего на русском языке под заглавием «Наши дамы из Парижа».

Гяур — по-турецки — собака. Так турки называют христиан. Если турок так назовет христианина, тот должен бойко возразить: «А ты свинья». На это турок никогда не найдется что ответить.

Д

Давалагири — гора в Гималаях. Раньше была 26750 футов высоты. Теперь же, вследствие насевшей от времени пыли, еще выше.

Давкина — вавилонское божество земли. Можно также употреблять как фамилию для владелицы мелочной лавки.

Дактиль — стихотворная стопа. В редакциях, по прочтении этой стопы, она выбрасывается. (Производн. — стопоходящее — автор, пришедший со стопой стихов.)

Далила — мастерица первой женской парикмахерской.

Дамоклов меч (см. Гордиев угол [так!]). Есть предание, что гордиев угол был разрублен дамокловым мечом. Все это произошло на прокрустовом ложе. (См. Мифы древности.)

Данаиды — известны своими бочками. История же их, по преданию, такова: дочери Даная (50 сестер) вышли в один и тот же день замуж и умертвили в первую же ночь своих мужей. За это боги присудили их к наполнению водой бездонных бочек... В этой истории все глупо: почему 50 дочерей? Почему все вышли в один день замуж? Почему умертвили мужей? Неужели все 50 мужей были так уж неудачны, что всю полсотню нужно было перерезать? Да и сам Данай хорош — из 50 женихов не мог выбрать хоть одного подходящего. А может быть, дочери его были избалованы? Так воспитывай же ты их хорошо, черт возьми! А то рожать вы все мастера, а как до воспитания — пожалуйста, режьте, рубите ваших мужей как капусту?! Право, с этими мифами только себя расстраиваешь!..

Данáйский подарок — по латыни: timeo Danaos et dona ferentes. Пример: вы дарите имениннику живого тигра, но без клетки, спрятав его в спальне именинника под кроватью. Ясно, что тигр, вылезши из-под кровати, может напугать именинника. Бывали даже случаи смерти такого имениника от разрыва сердца тигром.

Даная — дочь аргосского царя Акризия. Говорят, что Юпитер являлся к ней в виде золотого дождя. В наши дни такие визиты сопряжены с меньшими затратами.

Дантист — род еврея.

Дафна — дочь Пелея и Геи. Спаслась от преследования Аполлона, превратившись в лавр. Пусть наши дамы, если вблизи нет городового, запомнят этот прием.

Двуутробка — редкое животное, с одной утробой. Двуутробкой называется, чтобы сбить охотников со своего следа.

Девкалион — по мифологии, вот что это за фрукт: сын Прометея, супруг Пирры, спасшийся вместе с ней после потопа, истребившего по воле Зевса всех людей. После потопа Девкалион и его жена бросали через себя камни, которые превращались в людей.

Может быть, и действительно — инстинкт размножения вылился у этой парочки в столь редкую форму, а может быть, камни тут были ни при чем. Увертка, во всяком случае, детская, не заслуживающая никакого уважения.

Дегенерат — чин в австрийской и германской армии. Соответствует лейтенанту.

Деготь — приправа. Положенный в бочку меда, даже в небольшом количестве, портит мед. Для чего это делается — неизвестно.

Дедал — отец Икара, прославившегося своим неудачным полетом через Эгейское море. О нем Гомер едко выразился: «Видать птицу по полету».

Декапитация — это слово очень курьезное. С человеком, который его не знает, можно сыграть забавную шутку. Например, вы спрашиваете такого человека: «Хочешь иметь декапитацию?» Заинтересованный этим странным словом, он, сгорая от любопытства, конечно, скажет «хочу». Тогда вы поспешно выхватываете большой нож и отрезаете доверчивому простаку голову. Оправдываться можно тем, что он сам этого хотел. (Декапитация — обезглавливание, отсечение головы.)

Декламация — плохое чтение стихов.

Декольте (франц. — рассеянность) — случай, когда дама за хлопотами забывает одеваться.

Деликатес (франц. — несъедобное) — лягушачьи лапки, улитки, ласточкины гнезда.

Дельфийский оракул — оракул, вравший в Дельфах. Оракулы, вравшие в других городах, назывались по именам этих городов.

Денатурат — спирт, приготовленный с такими примесями, что его пить нельзя. Любимый напиток русского народа.

Денди — человек в желтом галстуке и зеленых ботинках. Умеет вращаться.

Дендриты — непереводимо.

Деньги — непереводимо. В особенности у богатых.

Деревянное масло — вежеталь для бедных.

Деряба (turdus viscivorus) — большой дрозд. Дерябнуть — поймать большого дрозда.

Десятиногие — отряд ракообразных животных. На изготовление одного десятиногого идет 2 1/2 четвероногих.

Децентрализация — уменьшит. женское имя.

Джек-потрошитель — известный английский хирург-филантроп, оперировавший даже здоровых — совершенно бесплатно.

Джонка (китайск.) — жена Джона. Плавает.

Диван — и мебель, и турецкий Государств. совет. Так как второй тоже существует для мебели, то их часто смешивают. Различаются тем, что во втором диване спинки более изогнутые.

Дивиденд — такой, вроде бутерброда: кукиш с маслом.

Дикобраз — заяц, забывший побриться.

Динамит — род бенгальского огня. Незаменим на вечеринках и семейных праздниках.

Дипломат (греческ.) — вызывающий войну.

Диссонанс — несоответствие. Например, идя за гробом жены, петь модную шансонетку, изредка пританцовывая, — суть диссонанс.

Диабет — небольшой сахарный завод на одну персону.

Диадема — род шапки с бриллиантами.

Домострой — старинное руководство для архитекторов.

Дуэль — стрельба в знакомого на расстоянии.

Дуэнья — домашнее животное, известно особенным устройством глаз, при котором может смотреть сквозь пальцы.

Дуэт — крик в компании товарища по несчастью.

Дым — окладная единица в Древней Руси. Сбор получали с «дыма», с дымовой трубы. Стоило в то время человеку построить дом без трубы — и он освобождался от налогов. Впрочем, все эти древние мошенники быстро вымерзали.

В наше время с каждого дыма домовладельцы получают или страховую премию, или пять лет каторги.

Е

Ева — была сотворена из ребра Адама. Как известно, ребра не имеют внутри себя, подобно другим костям, мозга...

Евандр — сын Гермеса. Известен тем, что учредил в честь Пана праздник Луперкалий. Кто хочет, может и теперь праздновать этот луперкалий. Но лучше не надо лодырничать.

Евбулид (древн. философ) — прославился своим софизмом: «один критянин сказал, что все критяне лгуны, следовательно и он лгун; следовательно, он сказал неправду, и не все критяне лгуны».

Знакомые, услышав от Евбулида этот софизм, возразили ему: «Вечно ты что-нибудь выдумаешь» (349 г. до Р.Х.)

Европа — по Гомеру — дочь Финика; была украдена Зевсом, загримировавшимся быком. Говорят, что Европа предпочла бы систему соблазнения Данаи, но, за неимением золотого дождя, села на быка и уехала.

Возмущенные родители прокляли ее, обиженные тем, что дочь — Европа, а поступила так не по-европейски.

Евстахиева труба — часть уха. В очень бедных семействах служит как музыкальный инструмент.

Единорог — конь с одним рогом на лбу. Лошади этой породы изменяли своим мужьям только наполовину (см. Флирт).

Еж — животное, покрытое иглами. Вставленное в музыкальный ящик, на место вала, может издавать звуки. Маленьких ежей при опухоли гортани и зева полезно глотать как прочищающее.

Елевзинские таинства — мы знаем, что это такое, но так как Елевзинские таинства — большая тайна, то мы дали клятву молчать. Нет, нет — не расспрашивайте, это тайна.

Елевзин — город, где происходили таинства. Таинства эти заключались в представлении сказаний о Цезаре и Прозерпине, о мучениях Тартара и о блаженстве в Элизиуме.

Елена Прекрасная — жена спартанскаго царя Менелая. Так как он был стар, то вел спартанский образ жизни, отчего Елена и убежала с Парисом, популярным скотоводцем того времени.

Елисейские поля — пустынные поля, где ни одного живого человека не встретишь, хотя туда лезет всякий.

Емуранчик — животное из отряда грызунов; может быть ласкательным у мужей из отряда рогоносных.

Енот — животное до того ручное, что, убитое, идет на воротники.

Епанча — древний плащ. Теперь не носят. Даже в ломбард.

Ефрон — без Брокгауза эта фамилия выглядит так сиротливо, что мы долго колебались, прежде чем написать ее. Все мы знаем Мюра и Мерилиза... но, читатель! Встречали ли вы когда-нибудь г. Мерилиза одного, без Мюра, разговаривали ли с ним? Был ли вашим знакомым г. Мюр? Сидел ли он за вашим столом без Мерилиза, и если сидел, то хорошо ли он себя чувствовал?

Так и Ефрон.

Вообще, дружба великая вещь, и ее нужно ценить на вес золота.

<...>

И

Иаков (иностр.) — в переводе — Яков, Яша, Яшенька.

Иезуитский орден — как всякий орден, его надлежит вешать.

Иероглифы — такие штучки...

Иеромантия — гадание по внутренностям жертвенных животных. В наше время потроха съедают без всякого гаданья, а, наоборот, с хлебом.

Ио — дочь аргосского царя, вызвавшая к себе любовь Зевса и превращенная за это женой Зевса, Герой, в корову. Отсюда пословица: «чья бы корова мычала, а чья бы молчала».

Иоанн Безземельный — англ. король. Ему принадлежит знаменитая фраза: «куренка, скажем, некуда выпустить».

Говорят, что в ответ на эту жалобу Генрих IV возразил: «А мне, наоборот, хотелось бы видеть курицу в супе каждого крестьянина».

На эти слова Иоанн Безземельный только горько улыбнулся (1216 г.).

Иодистоводородная кислота — о ней не стоит говорить: дрянь.

Иокаста — мать и в то же время жена Эдипа. Идеал небольшого семейства в древние времена.

Иудейское колено — часть еврейского народа. Отсюда — «выкинуть коленце» — запретить евреям жить в известной местности.

К

Кабальеро (испанск.) — дяденька.

Кабан — папа поросенка. Мама его, хотя нам и неприятно обижать ребенка, — свинья.

Кабаре — театр, в котором можно напиться.

Кабилы — народ берберийского происхождения. «Сатирикона» не читают, почему и доброго слова не заслуживают.

Кактусы — круглое американское растение, у неприхотливых туземцев заменяет стул.

Каламбур — шутка, основанная на игре слов. Напр. «Отчего тебя называют дурак, а не дурыба?» Здесь рак в первом случае противополагается рыбе во втором случае. Приставка «ду» прибавляется просто так, чтобы вышло слово. Это очень смешно. В долгие зимние вечера такие шутки незаменимы.

Калигула — римский император, известный тем, что создал опасный прецедент: посадил лошадь в сенат; в некоторых странах имеет последователей.

Каллиграфия — искусство подделывать векселя.

Калым — выкуп за невесту, платимый женихом у мусульман. Вообще, мусульмане большие чудаки.

Кальян — особый сосуд с резиновой трубкой. Небрезгливые турки иногда берут эту трубку в рот.

Калюмет — трубка мира у индейцев. Закурив такую трубку, индейцы бьют ею друг друга по голове (см. Элизе Реклю. «Нравы индейцев»).

Камарилья — вредное животное. Водится в населенных местах (дворы и проч.).

Камаринская — русский менуэт.

Камер-юнкер (немецк.) — юнкер, сидящий в камере. Вообще, такое звание. Этим, как известно, славился Пушкин.

Камень — минерал, носимый обычно за пазухой. Служит для бросания в чужой огород.

Каникулы — время, когда члены Государственной Думы не работают. Период, обнимающий 12 месяцев в году.

Канифоль — музыкальный инструмент. Им смазывают смычки. Людям, плохо играющим на скрипке, рекомендуется смазывать смычки маслом, отчего звук делается мягче.

Канкан — прикладывание ног к голове в целях развлечения.

Капельмейстер — человек, размахивающий в оркестрах палкой, отчего испуганные музыканты начинают играть.

Каплун — птица, не несущая яиц.

Карась — по-латыни — Carassius vulgaris, т.е. вульгарный карась. За что латиняне выругали этого беднягу — недоумеваем.

Караул — радостный крик русского народонаселения во всех случаях жизни.

Карикатурист (иностр.) — по-русски — человек с замазанным ртом и связанными руками.

Катафалк — экипаж, в котором делают не больше одного конца.

Квадриллион — тысяча раз тысяча триллионов. Человек, обладающий таким количеством рублей, называется обычно квадрильонером.

Квакеры — распространенное мнение, что квакеры — люди, которые квакают, — ложно. Это религиозная секта.

Кварта — количество водки на одного человека; для детей — полкварты.

Квартет — род трио, к которому примазался лишний человек.

Квинта — гвоздь для вешания носа. Употребляется при безвыходном положении.

Керемет — божество у черемисов. Может быть формой обращения к возлюбленной: «О, ты, моя керемет!» После этого возлюбленной надлежит растолковать, что это такое.

Килька — часть водки.

Кинематограф — неизвестное иностранное слово.

Китайская стена — эта знаменитая стена построена, как и догадывается читатель, китайцами; строилась она от 3-го века до Р.Х. по 1620 год. Цель ее — защита от чужеземцев с севера. Когда стена уже была готова, какой-то чужемезец приставил к ней лестницу и перелез в Китай. Только тогда китайцы сообразили, что стена эта ни от чего не защищает. Но было уже поздно. Так и пропали зря 2000 лет усердной работы... Теперь эта стена только мешает ходить: все об нее спотыкаются.

Китайские тени — тени, отбрасываемые китайцами; тени, отбрасываемые другими национальностями, называются по имени этих национальностей.

Китовый ус — никто не говорит «китовые усы», поэтому можно вывести заключение, что у кита только один ус. Куда девался другой — не исследовано.

Кит — толстая усатая рыба с фонтаном наверху, к столу подается только в очень состоятельных семействах.

Клоп — одно из самых сонных животных земного шара: день и ночь проводит в постели. Приручаются неохотно.

Книксен — отбрасывание ноги в сторону с целью выразить почтение.

Козетка — маленькая коза, на которой можно сидеть. Оно стоит в комнате; оно мертвое.

Кокетка — девушка, которая подмигивает.

Кокотка — ах, не расспрашивайте нас, что это такое... Это так стыдно.

Кокошник — головной убор кокотки.

Колибри — насекомое, водящееся на дамских шляпах. Заводится от нечистоплотности.

Коллекция — собрание ненужных предметов, отнимающих место.

Колумб — путешественник, открывший Америку, за что и был арестован испанским королем. Это, как известно, прекратило открывание Америк.

Кол — восточная мебель.

Комментарии — они излишни. А раз излишни — зачем о них говорить.

Комиссионер — эластичный небьющийся препарат, без вреда спускаемый с лестницы.

Компактный — Ну, такой... знаете... Вот такой!

Компатриот — земляк, берущий взаймы.

Компетентный — (см. портрет составителя этого словаря).

Конституция — женское имя. В России не распространено.

Контрамарка — особый билет в театр, дающий право быть сброшенным с места, если настоящий билет продан.

Кордиерит — минер. ромб. сист. кремн. ок. м. а. и жел. в пр. св. р. окр.

Корректор — человек, допустивший ошибки в настоящем словаре.

Корсар — морской жулик.

Корсет — прибор, охватывающий женскую талию, называется корсетом; мужчина, делающий то же, называется нахалом.

Кронос — мифологический бог, пожравший своих детей. Когда его укоряли в этом, он тупо говорил: «А я очень люблю своих детей; сырыми или жареными — все равно».

Кузен (франц.) — молодой человек, спрятанный под кроватью.

Кузька — хлебный жук. Мать его показывают даже против желания того, кому она показывается.

Курды — племя. Любимое развлечение — сидеть на колу.

Курдюк — маленький курд.

Курций, Марк — римский юноша. По преданию, в 362 году на римском форуме открылась (?) пропасть. По объяснению жрецов, это означало, что отечество в опасности, которая может быть предотвращена только тогда, когда Рим пожертвует лучшим своим сокровищем. Узнав это, Курций сел на коня и бросился в пропасть.

Собственно, по-нашему, в этом поступке больше самомнения, чем доблести.

Почему Курций вообразил, что он «лучшее сокровище Рима»?

Мы бы не полезли в эту пропасть единственно из скромности.

Кенгуру — австралийское животное. Вследствие своей быстроты употребляется австралийцами как средство передвижения, при этом передвигается только кенгуру, удивленный же австралиец остается на месте.

<...>

ОТ РЕДАКТОРА СЛОВАРЯ

Настоящий словарь еще не закончен. Как видит читатель, отсутствуют следующие буквы: **ъ, ь, ы**.

Слов, начинающихся на указанные буквы, мы не смогли ввести в словарь вследствие отсутствия бумаги на рынке и дороговизны рабочих рук.

По миновании кризиса редакция словаря отдельным выпуском издаст словарь слов на недостающие буквы **ъ, ь, ы**.

Редактор словаря ***Арк. Аверченко***



ИЗ ЖУРНАЛА "НОВЫЙ САТИРИКОН" (1917)

в дни содома и гоморры



ВРЕМЕНА

— ... Ты об этом слышал? Или читал это?

— Читал.

— Где же, где?

— Ну, господи! Конечно, в газете: белым по белому было написано.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЯДЯ

Рисунок Арк. Аверченко

Может быть, вы все будете удивлены, когда узнаете, что у меня есть дядя, занимающий очень важный пост.

Его вице-мундир расшит золотом так, что если дядю бросить в котел и это золото выварить, то полученным наваром можно вызолотить купо́л самого большого собора.

Замечательный дядя.

Однако на людях я всегда немного стыжусь его, а он меня.

И, когда он однажды назвал меня по имени, я попросил:

— Нет, дядя, называйте меня лучше племянником.

— Ага, — усмехнулся он. — Хочешь перед посторонними подчеркнуть нашу родственную связь?

— Не то, дядя. А просто, если вы будете называть меня по имени, все подумают, что вы мой приятель. Я предпочитаю, чтобы все знали, что вы мой родственник.

— Да почему, чудак?!

— А просто: приятелей и друзей мы выбираем сами и поэтому за них перед другими ответственны, а раз родственник — я уж ни перед кем не виноват; это не от меня, а от Бога. Тут уж ничего не поделаешь.

Он криво усмехнулся.

— Ты, кажется, меня стыдишься?

— Дядюшка! У евреев есть манера отвечать вопросом на вопрос. Воспользуюсь и я этой манерой.

— Ну?

— Дядюшка! Вы получаете в год жалованья тридцать шесть тысяч?

— Ну, да.

— Когда вы поступили на это место, у вас не было, что называется, ни шиша?

— Шиш, положим, был.

— Так-с. Служите вы три года. Если вы проживали в год только три тысячи — и то у вас должно было бы остаться всего сто тысяч.

— Ну-с, щенок..., говори дальше.

— Каким же образом вы в этом году купили имение за восемьсот тысяч?

— Не думаешь ли ты, что я воровал?

— Боже меня сохрани. Я, конечно, знаю, что через ваши руки проходят миллионы, но... Боже меня сохрани подумать дурное. Я только не понимаю.

Дядя вздохнул и поглядел на меня с презрительным сожалением.

— Свиное сало видел?

— Ел даже.

— Ну вот. Если ты поставишь в ряд человек десять и дашь первому в руки кусок сала с тем, чтобы он передал второму, тот третьему и так дальше, то что будет в руках у последнего?

— Ясно, фунт сала.

— Хорошо-с. Тот же фунт сала. А в чем будут руки у десяти человек?

— В сале...

— Ну вот. Учи вас, дураков.

* * *

Замечательный дядя. Сияет, как солнце.

Только мне все-таки неприятно, когда он называет меня по имени.

Племянник — это другое дело.

Это — от Бога.

РЕЗИНА

(Очень нравоучительная история)

У Максима Сорокапудова была своя бакалейная лавка.

Если бы Максим читал газеты, он знал бы, что все газетные писаки обломали себе зубы, называя Максима и ему подобных: «мародерами тыла», «союзниками немцев», «городскими шакалами» и тому подобными ужасными эпитетами.

Но Максим Сорокапудов газет не читал, и поэтому жизнь его текла легко и спокойно.

Часто, укладываясь по вечерам в широкую супружескую постель, Максим спрашивал у жены, с хитрой улыбочкой, как воробушек, порхавшей по всему его скуластому медно-красному лицу:

— А как ты думаешь, Кондратьевна, выдержит он еще четвертак на полтавской с чесноком?

— С чесноком? — сосредоточенно переспрашивала Кондратьевна, почесывая белую тугую ногу.

— Да.

— Полтавская?

— Ну да. Хи-хи.

— По-моему так, что выдержит. Ништо. Дурных денег теперь — солдат с ружьем завалится.

— То-то и я думаю. Нешто попробовать?

— Попробуй.

— Так что, думаешь, выдержит?

— Не лопнет.

— Хе-хе. Сколько у нас в Азиатском лежит?

— Сто двадцать восемь с полтыщей.

— Эх, до трехсот бы. Да и пошабашить.

Утром, кряхтя, подымался с широкой честной супружеской кровати Максим и, поцеловав Кондратьевну в тугое плечо, шел в лавку.

— Митька! Почем у вас была там помечена полтавская колбаса с чесноком?

— По два пятнадцать.

— Так-с. Ставь два сорок, понял?

— Так уж по два с полтиной ставить для ровного счета, — подмигивал продувной, самого жуликовского вида Митька.

— Ну, уж ты тоже, скажешь... Нешто он может этакое выдержать? Шкандалу чтоб не было.

Долго и хрипло смеется распутный гнилой Митька.

— Он-то да не выдержит? Да я ему захочу — сто рублей фунт поставлю — на пороге он у меня от страху издохнет, а голосу не подаст.

— Гм... да. Ну, ставь по два с полтиной.

И — о, чудо! «Он», в просторечии покупатель, — выдерживал.

Заходил в магазин, робкий, печальный, в поношенных башмаках, с обвисшими от плохих дел усами и тихо спрашивал:

— Полтавская колбаса есть?

— Так точно. Сколько прикажете! Два, три фунтика?

— Нет... Мне полфунтика.

— Пожалуйте. Рубль с четвертаком с вас.

— Но позвольте... Она, колбаса эта, только вчера стоила по два пятнадцать.

— Да-с, дорого. Это вы верно. Тонко подмечено — не дешевáя. Мы что же, мы ни при чем. Нам повышают, и мы повышаем...

— Дорого, — лепетал бледными, склеившимися от долгого молчания устами покупатель.

— Да-с, дорого. Это вы верно. Тонко подмечено — дорого.

— Ну... дайте...

Брал и уходил. Этот бледный, в поношенных башмаках, покупатель напоминал кусок доброй резины в опытных руках: если ее тянуть не сразу, не вдруг, а растягивать постепенно, резина могла растягиваться до бесконечности.

Только тоньше становилась, прозрачнее. А растягиваться могла сколько угодно. Пожалуйста. Хоть еще вдвое, втрое, вчетверо.

* * *

— А что, — спрашивал перед отходом ко сну Максим, касаясь волосатой рукой тугой богатой груди Кондратьевны, — а что, — может он двухрублевый сыр выдержать?

— Голанцкий? Не перехватил ли ты? Ведь до войны ему вся цена сорок пять была, да и вчера по рублю семи гривен торговали.

— А по-моему, за два целковых укупить он сможет. Без сыру к чаю никак ему невозможно. Платит же он за свечу по восьми гривен.

— Платить-то он платит. А только с сыром... страшно чивой-то!

— Лопнет, думаешь? Станет он из-за такой юрунды лопаться... Ну, растянется еще немножко... А уж никак не лопнет. Ну, Кондратьевна, что ж, а?

— Что?

— Потянуть еще?

Уперши круглые руки в тугие бедра, задумывалась Кондратьевна.

— Гм! Так уж, если сыр подымать, почему ж тогда сардины не побеспокоить? Чтоб уж рядом шло. Почем они у нас?

— Рубль восемь гривен полкоробки.

— Ну вот. Вытягивай до двух. Сколько у нас теперь в Азиатском?

— Сто шестьдесят две. До трехсот — сто тридцать восемь.

На другое утро Максим командовал:

— Митька! Тяни сыр и сардины до двух.

— Есть.

Тянули.

Покупатель все вытягивался, утоньшался, бледнел, а кубышка в Азиатском банке сообразно пухла, уплотнялась и наливалась густой красной кровью.

— Сколько? — спрашивал однажды вечером Максим, гладя жену по тугой круглой спине.

— Двести шестьдесят восемь с полтыщей.

— Отлично, здорово. До трехсот рукой подать.

— А там что же? — воркующе говорила Кондратьевна, прижимаясь тугой щекой к жесткой бороде коммерсанта Максима.

— А там? Там, брат, шабаш. Отдых в свое полное удовольствие: домик на тихой улице купим, пару лошадей заведем... Этакие сани завинтим, и голубая сетка чтоб была. Кучер — во, шире тебя, бородища у него — во, шире моей, и чтоб диким голосом рычал на которые прохожие. До чего сладко это. Летом своя дача в Крыму будет, ребенкам нашим француженку выдвинем, для кухни повара, который по дутым пирогам ходок, пристроим. До чего приятно! Сардины-то по четыре сорок выдержит? Как понимаешь?

— Он-то? Выдержит. Вытянется. Прямо жвачка он резиновая, а не человек.

И смеялись, довольные, как сытые гиены.

* * *

Сладкий, вожделенный день!

Торговля прикрыта, лавка передана, и в Азиатском кубышка уже не вмещает больше — триста тысяч! И каждая тысяча отдельно, и все триста вместе — все это неотъемлемое Максимово, Сорокапудово.

— Мошка, — сказал Максим бойкому расторопному комиссионеру. — Теперь ты действуй. Перво-наперво спроворь ты мне смету — домик, лошади, дачка, француженка и повар — понял?

— Смешно, если бы я не понял, — самонадеянно сказал Мошка. — Завтра получите все.

— А, это ты, Мошка? Ну, здравствуй. Все оборудовал?

— Смешно, если бы я не оборудовал! Извольте смету.

Улыбающийся Максим взял бумажку и взглянул на нее...

Раздался подавленный крик и стук от падения тяжелого тела.

В ужасе бросилась Кондратьевна к неподвижному праху любимого мужа.

А когда высвободили из окостеневших пальцев «смету», составленную Мошкой «на основании рыночных цен», в ней можно было прочесть:

«Лошади — пара, с санями и экипажем, 300 000 руб. Домик на тихой улице...» и т.д.

* * *

Очевидно, дальше первой строки бедный Максим не пошел.

И вот — погиб человек.

Почему погиб?

Да очень просто: пока он не зевал и растягивал резину «до отказу», другие тоже не зевали и растягивали свою резину «до отказу»...

Кто работал с сардиной и полтавской колбасой, а кто занимался лошадьми.

Все тянули.

Много на свете дураков, а превыше всего их в России.

УЮТ ПРОПАЛ...

(Стихотворение в прозе)

Семен Григорьевич пришел к нам и сказал:

— Диккенса нет.

— Как нет Диккенса?

— Вообще нет. Книгопродавцы говорят, что прежние издания распроданы, а нового выпускать нет расчета.

— Почему нет расчета?

— Покупать не будут. Теперь, говорит приказчик, не до Диккенса. Не ко времени.

— Все равно уж, — вяло пролепетал Лишин.

Я в то время сидел у Лишиных.

Сидели мы, кутаясь в пальто, в платки (у Лишиных вышло что-то с дровами) и пили желтую горьковатую горячую воду (у Лишиных вышло что-то с сахаром). Ждали мы еще подругу хозяйки дома Нату, но она не приехала (у нее вышло что-то с извозчиком).

Молча мы сидели (жена Лишина в зубоврачебном кресле), кутались в пледы, в пальто и тянули из стаканов желтую безвкусную жидкость, слегка пахнущую чаем.

Из разбитого, заткнутого муфтой окна тянуло холодом.

Хозяин вяло рассказывал, как вчера звал стекольщика, но тот попросил за вставку стекла десять рублей, а когда Лишин согласился, стекольщик ушел и больше не приходил.

— Послали бы вы за стекольщиком еще раз вашего слугу, — посоветовал я.

— Я его посылал. А он не хочет. Я, говорит, не за тем нанимался, чтобы по два раза ходить за стекольщиками.

— Как неуютно, — вздохнула жена Лишина.

Лишин продолжал монотонно рассказывать:

— Подарил мне приятель полбутылки спирту: развели мы его, а он керосином пахнет. Бутылка что ли попалась плохая или уж так, — одно к одному... Противно, а пью. Что ж делать.

Жена вздохнула и поддержала:

— В очереди на хлеб никто из прислуги стоять не хочет — обед едим с вафлями. Хорошо, что вафли без очереди. Скажите, вы не знаете, где мягкое кресло достать?

— Нет, где же теперь достать. А что?

— Я любила иногда понежиться в мягком кресле, но теперь нигде нет мягких удобных кресел. Соседка, уезжая, поставила свое, зубоврачебное, вот я на нем и сижу. Оно страшное.

В это время и пришел Семен Григорьевич с сообщением, что в продаже нет Диккенса.

— Нет и нет, — вяло отозвался Лишин. — Уж одно к одному. Почему-то стало в ноги дуть. Надену калоши.

— Что это у вас электричество так плохо горит? — участливо осведомился Семен Григорьевич.

— Лампочки скверные. Хороших нет. Кроме того, монтер не пришел сделать новые провода. Черт с ним. Одно уж к одному. Не желаете ли выпить разведенного спирту с оттенком керосина?

— Не надо, — капризно сказала жена Лишина. — Лучше почитайте что-нибудь...

— Первое попавшееся, — сказал я.

— Все равно уж, — вздохнул Лишин.

Семен Григорьевич покорно взял с этажерки какую-то книгу, развернул ее и начал читать без всякого смысла, с середины сотой страницы:

— «И вдруг Мезенцева потянуло домой. Ему надоел ресторанный шум, толкотня... Он вышел из ресторана, сел на одного из нескольких ванек, бросившихся к нему, точно вороны на добычу, и через десять минут уже был дома. Сбросив в передней старому слуге пальто, Мезенцев сказал: «Нынче, Петр, я никуда не пойду. Буду дома». Прошел в кабинет и остановился перед ярко пылающим камином, распространявшим приятное ласковое тепло. Петр принес ему халат, заботливо, кряхтя, переодел барина и почтительно усадил его в мягкое вольтеровское кресло, уютно раскинувшееся перед камином. Мезенцев сладко потянулся, взял с этажерки «Домби и сына» Диккенса и, вкусно потирая руки, сказал Петру: «Принеси мне несколько сандвичей с холодным мясом и бутылочку портвейна — знаешь, из тех, что у нас в холодном чулане. Да дай мне хлеба и масла. Я буду поджаривать на огне гренки. Потом ты мне будешь не нужен — ступай спать. «Слушаю-с...» — почтительно отвечал Петр.

Развернул книгу и под веселое гуденье камина погрузился в Диккенса».

Мы сидели молча, без единого звука...

Одна из лампочек вдруг зашипела и погасла.

Стало еще темнее...

Лишина, еще глубже уйдя в зубоврачебное кресло, тихо плакала.

Тускло горело красноватое, будто больное, электричество.

Муфта вывалилась из окна, и ветер острой холодной волной дунул нам в лица, донеся до наших ушей обрывок чьего-то нечеловеческого, жуткого по своей безысходности крика на улице:

— Изво-о-о-зчик! Изво-о-о-о...

ОДИН РАЗГОВОР

Случайно встретились:

— Вы кто? — спросил я.

— Вор. А вы?

— Я? Журналист.

— Тоже беспокойная профессия. Пожалуй, еще хуже нашей. Еще больше хвостом вертеть и след заметать приходится.

Так как я не был особенно польщен этой параллелью, то деликатно перевел разговор на другое:

— Скажите, правда, что в Москве основано акционерное общество воров, со своим уставом и запасным капиталом?

Он серьезно посмотрел на меня.

— Да. И пенсионная касса есть. И бюро пособий пострадавшим.

— Да как же это так?! А полиция что же смотрит? Сыскное?

Он затянулся папиросой и сплюнул.

— Полиция? Вы помните, магазин у нас в Петрограде был обворован около самого Полицейского моста?

— Ну?

— Я.

— Очень приятно. Значит, вы с полицией не считаетесь?

Он снова затянулся папиросой и сплюнул.

— Я вам, господин, скажу правду: мы что захотим, то и украдем.

— Ну, положим, — недоверчиво сказал я, — не все.

— Например? — обидчиво скривился этот самолюбивый человек.

— Ну, вот: Александровскую колонну вы не смогли бы ухитриться украсть!

— Нет, — серьезно отвечал он.

— Ага! Значит, все-таки полиция бы помешала.

— Нет, не то, господин, — задумчиво отвечал он. — Не то. Ее просто нельзя украсть.

— Почему?!!

— Она в ломбард не входит.

Я отошел от него.

А про себя подумал: какое счастье для петроградских памятников, что ломбардные помещения так тесны.

ИСКУССТВО ДАВАТЬ ВЗАЙМЫ

(Moderne)

Старожилы, конечно, еще запомнят такую обычную сценку:

— Здравствуйте, дорогой. Гм!..

— Здравствуйте, здравствуйте! Что скажете?

— Да я, собственно, так зашел. Кхе, кхе! Гм, мг!.. хррр.

— Кашель?

— Нет.

— А что?

— Просьба.

— Так-с. (Молчанье. Холод. Дует резкий леденящий кровь ветер. Черные тучи.) Просьба! Так-с, тэк-с, тэк-с. И о чем же-с?

— Этого... Гм, мг!.. Вы, Михаил Семенович, знаете, конечно, меня давно и знаете, что я, как это говорится, свиньей никогда не был. И конечно, если бы не такие свинячьи обстоятельства, то... Одним словом, обещайте, что исполните мою просьбу.

— Как же это так — обещайте, когда я не знаю, в чем ваша просьба будет заключаться. А вдруг, представьте, вы попросите меня, чтобы зарезать вашего отца или взорвать адмиралтейство. Никак не могу-с. (Ветер тоскливо завывает в ледяной пустыне. Острые холодные иглы льдистого снега безжалостно колют лицо...)

— Нет, зачем же адмиралтейство. У меня, этого... Одним словом, скажу прямо... Бухнусь, так сказать, головой вниз с крутого берега... Одним словом: дайте мне взаймы три рубля!..

— Голубчик мой, что вы! Откуда? Где я возьму вам три рубля? Ведь этак одному дай три рубля, другому три рубля — этак и сам с рукой пойдешь. Будь у меня еще денежный завод какой-нибудь, или будь я Ротшильдом...

— Послезавтра отдам. Ей-богу.

— Знаю, дорогой! Верю. Прекрасно это все соображаю. Но не могу же я эту требуемую сумму из воздуха, как некий фокусник — эйн-цвей-дрей — сотворить. Да вы как-нибудь до послезавтра перебейтесь.

— А, значит, послезавтра... (легкая радость, надежда. Показывается кончик голубого неба.) Значит, дадите... послезавтра?

— Нет, я, конечно, не дам, но вы же сами говорите, что послезавтра отдадите — значит, у вас будут.

— А-а...

— Вот вам и а-а. Бе-е-е. Прощайте. Прощения просим.

А теперь?

Теперь пошли другие времена, другие песни. Другой народ пошел.

> Здравствуй, племя молодое,
> Незнакомое.

Вы встречаете его у «Медведя» или на премьере нашумевшей пьесы. Чудесно сшитый жакет, фрак, в петлице орхидея, гладко выбритое, пышущее здоровьем и радостью жизни лицо. Ласков. Широк. Размашист.

Восторженно приветствует вас:

— А-а! Безумно рад.

— Здравствуйте... Как дела?

— Да пожаловаться не могу.

— Говорят, хорошо зарабатываете!

— Зарабатываю. А что?

— Ничего, я так.

— Вы не примите за худое, но, может быть, вам, этого... Кхе-кхе...

— Чего?

— Может, деньги нужны?

— Нет, зачем же.

— Возьмите, чего там. Эти сторублевки так оттопыривают карман, чтоб им лопнуть. Возьмите десяточек, а?

— Для чего же? У меня есть деньги.

— Ну, что ж, что есть. Больше будет. Возьмите до послезавтра.

— Что за смысл? Сегодня брать, послезавтра отдавать.

— Ну, не отдавайте, чудак. Это ведь так говорится.

— Нет, спасибо. Видно, у вас много денег?

— Да, признаться... И черт их знает, откуда они только берутся. Будто денежный завод. Ну, не тысячу, хоть пятьсот возьмите.

— Простите, но мне право, странно...

— Ну, не буду, не буду. Петенька, ты? Здравствуй! Как поживаешь?

— Плохо, брат.

— А что? Может, деньги нужны?

— Нет. С почками у меня неладно.

— Ну, это я не могу. Да, Петенька! Ты знаешь Козубовича?

— Слегка. А что?

— Да вот просил он передать тебе тысячу рублей. Возьми, потом отдашь.

— Козубович? Мне? С какой радости?

— Не знаю. Мое дело передать. А ты у него спроси.

— Чудеса! Пусть пока у тебя полежат, а там, когда наведу справки...

— Нет уж, зачем они будут мне карманы зря оттопыривать. Получай!

— Да мне не нужно — вот чудак!

— Ага... Кстати... Тебе нравится мой бумажник? Посмотри, правда хороший? Да ты не бойся, чудачина, возьми в руки...

....

— Постой! Куда же ты убегаешь?! Возьми обратно свой бумажник!!! Убежал... Нет, я таки догоню его и бумажник ему, каналье, верну!!!

Может быть, пока что это немного и не так, но это почти так.

Много денег — это все равно как полнокровие. Если изредка не ставить пиявок и не пускать кровь — может хватить удар.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАШЕЛ СЕБЯ

I

— Кто вы такой?

— Это не важно.

— Кто вас ко мне направил?

— Сам пришел. По вывеске.

— Что вам нужно?

— Хочу у вас работать.

— А что вы умеете?

— Ничего.

— Это уже кое-что, как сказал один человек, получив по физиономии. Однако, вы же что-нибудь раньше делали?

— Ничего.

— Но ведь жить же как-нибудь надо было?

— Я и жил.

— А питаться?

— Вот этого именно я и не делал. Голодал, как индус в неурожайный год. Впрочем, я думаю, оно по мне и так видно.

Говоривший эти слова был молодым, но уже сгорбившимся парнем, с длинными обезьяньими руками, впалой грудью и давно не бритой щетиной на худом скуластом лице. На шее болтался красный грязноватый шарф, не закрывавший, однако, чудовищного кадыка, бешено прыгавшего и катавшегося по всему горлу при каждом слове его обладателя...

Собеседник скуластого парня был человеком совсем другого сорта: маленький, с огромным лицом, в центре которого оазисом собрались в крохотную кучку глаза, нос и рот, так что от носа до любого из двух, далеко загнанных назад ушей нужно было долго ехать по пустынной, болотистой, без единого возвышения и растительности местности. Волосы на голове напоминали редкую щетину, которая остается на поле после работы косцов, а короткие толстые руки обладали такой завидной гибкостью, будто внутри вместо костей были проложены резиновые рукава...

Разговор происходил в одиннадцать часов утра, в помещении паноптикума, принадлежащего короткому господину — Пуговицыну, по сцене Шарлю Нумикато, чревовещателю и фокуснику.

В данный момент Шарль стоял, облокотившись на стеклянный ящик с тяжело дышащим смертельно раненным турком внутри, а гость, опершись плечом на цоколь бюста Луккени, бросал косые любострастные взгляды на голую ногу разметавшейся в сладком сне венецианки.

— Отчего он дышит? — спросил практически настроенный гость, указываю на умирающего турка. — Ведь публики все равно нет. Прикрутите его.

— И верно! Этот подлец Гараська вечно позабудет выключить завод.

И, нагнувшись, Шарль уверенной хозяйской рукой в один момент пресек смертельную агонию несчастного турка.

— Так вернемся к нашему разговору, — вяло сказал хозяин, соображая, что ему можно выжать из ленивого, но

смекалистого гостя. — Хотите, я вас буду резать и прокалывать иголками по способу факиров? Очень интересно, и можно сорвать пару-другую сборов.

— Резать? Стоит ли? — с сомнением сказал длинный парень, щурясь на голую грудь нюрнбергской мученицы, подверженной пытке «вырывания грудей железной лапой». — Стоит ли? Нет ли чего-нибудь полегче? Я все-таки два класса уездного кончил.

— Уж и не знаю, что еще легче этого. Ну, вспомните: может, вы все-таки хоть что-нибудь делали за свою жизнь?

— Вот только одно и делал: голодал.

— Так и черт с вами, — вдруг побагровел хозяин. — Голодайте и впредь!!

— И буду, — ощетинился парень. — Наплевать. А вы не кричите. А то я вас так крикну... Сорок дней буду голодать, а кричать на себя не позволю.

— Серьезно, можете сорок дней голодать? — с внезапной задумчивостью в лице спросил Шарль.

— Да уж, знаете ли, могу похвастаться. Что-что, а это я умею.

— Голубчик... хотите, сделаем дело? Голодайте у меня. За сорок дней я вам заплачу тысченку и, кроме того, с каждого посетителя вы имеете пятак, исключая детей и нижних чинов.

— Пятак? — переспросил настроившийся еще более практически парень. — Гривенник.

— Гм... Но только имейте в виду, кроме стакана воды в день, — ничего. Условия: ящик, бока стеклянные, верх цельного дерева, припечатанный полицейскими печатями, две щели для воздуха, воронка для воды — контракт на сорок дней.

— Да вы хоть на ночь бы погулять меня выпускали.

— Милый друг! Вы с ума сошли! Верьте совести — не могу. Ведь это в интересах дела — стеклянный ящик, печати и прочее. Раз публика поверит — она валом пойдет, а ежели вас выпускать, какой же тут контроль, согласитесь сами. Никакого интереса.

— Только условие, — значительно сказал парень, блеснув на хозяина стальными зрачками хронически голодных глаз. — Перед посадкой накормить меня как следует.

— Что вы, дяденька, что вы! Я думаю — наоборот, вам нужно в день открытия сеансов перекусить еле-еле. Тогда и переход будет незаметнее и подготовка этакая получится.

— Много вы понимаете, — алчно щелкнул зубами парень. — Да вы не беспокойтесь. Я такой человек, что есть, так есть, голодать, так голодать. Уж вы будьте благонадежны.

— Гм!.. Ну, чудесно. Айда в контору — закрутим афишу позвончее.

II

У входа в паноптикум публика с большим любопытством останавливалась перед огромными цветными афишами, гласившими, что:

«С дозволения (лира) начальства.
В известном паноптикуме и музеуме
Шарля Нумикато (настоящего)
состоится ряд захватывающих сеансов
под названием:
ЧУДО ОРГАНИЗМА
или
Я НИЧЕГО НЕ ЕМ.

Научный, глубоко поразительный опыт неядения, показанный знаменитым сирийский голодателем Мак-Чамбок, интересующим в настоящее время все научные круги Европы, как загадка; действительно — что же это такое? — Все мы, наши друзья и знакомые едим три-четыре раза в день и все время слышим: ох как я голоден, а тут человек в стеклянном запечатанном ящике будет не есть, не пить (кроме одного стакана воды), и будет так сорок дней, сорок ночей голодать, подобно ковчегу, носившемуся в свое время с Ноем во главе, в удостоверение чего будут приложены полицейские печати и полный контроль почтеннейшей публики, которая не оставит нас своим посещением.

На премьеру (посажение Мак-Чамбока в ящик, запечатание его и первые моменты голодания) плата повышена.

От дирекции: ввиду непонятия г-ном Мак-Чамбок никакого другого языка, как сирийского, все разговоры публики

с ним воспрещаются, также всякий шум, чтобы не нервничать знаменитого голодателя.

Дирекция Шарль Нумикато (настоящий)»

Густая, благоговейно настроенная толпа окружала стеклянный ящик, в который, кряхтя и шмыгая носом, усаживался Мак-Чамбок. Несмотря на предостережения хозяина, поел он в ближайшем трактирчике довольно плотно, оправдываясь тем, что «это же ведь на сорок дней — так чего ж», — и теперь его мучила изжога.

Но наружно он сохранил мрачное спокойствие, выпячивая впалую грудь и то и дело поправляя бретельки розового трико, в которое облек его хозяин для внушения большего уважения публики к знаменитому сирийцу.

— Сели? — спросил хозяин. — Алло? Чебоксары дашнакцутюн?

— Латипак, — уныло ответил сириец, потирая синие от холода лапищи.

— Закрывай крышку! Ваше благородие, господин околоточный, можете накладывать печати. Научный факт совершился.

Оркестр из скрипки, пианино и кларнета грянул туш. Публика бешено зааплодировала.

«Сириец», нахмурив брови, сидел в своем ящике под взглядом сотни глаз и хотя чувствовал себя героем, но никак не мог найти подобающую важности момента позу: то опирал небритый подбородок на огромные ладони синих рук, то закладывал их за спину, то одну клал на грудь, а другой гладил узловатое, розовое, как семга, колено в заштопанном трико.

Выпучив глаза и притаив дыхание, благодушная публика рассматривала его, как некую чудесную и страшную рыбу в знаменитом неапольском аквариуме.

— Дышит, — заметил кроткий гимназист.

— А чего ж ему не дышать. На это уговору не было.

— Много времени прошло, как он сидит?

— 18 минут.

— А ведь действительно ничего не ест.

— Подумаешь, важность. Этак и я могу ничего не есть.

— Тю на тебя! Большой дурак вырос, а ума не вынес. Ты-то, может, и 18 часов ничего не поешь, зато потом так взвоешь, чтоб тебе чем попало глотку заткнуть. А ему, брат, еще сорок дней, сорок ночей голодать.

— Так чего же мы, идиоты, сегодня пришли. Нам надо было дней через пять прийти.

— Да я и приду. А сейчас я явился для установления научного факта.

— Установил? Доволен?

— Не ваше дело.

Молоденькая дама капризно выдвинула нижнюю губку и протяжно спросила своего спутника:

— Что ж он так сидит и ничего больше не делает? Это скучно.

— То есть? — забеспокоился на все готовый, чтобы развлечь даму своего сердца, кавалер.

— Сидит он и ничего не делает.

— Как ничего не делает? Он голодает.

— Но ведь этого не видно. Вот и на том диванчике сидят два чиновника. Раз они ничего сейчас не едят — они тоже голодают?

— Виноват, Анна Викентьевна. Это разница: он голодает запечатанный, а они, может, перед обедом голодают.

— Все-таки, если бы он в это же время что-нибудь пел или танцевал...

— Анна Викентьевна! В ящике же! Голодает же! При чем тут пение?

Господин, опоздавший к торжеству запечатывания, запыхавшись, подлетел к ящику и ахнул:

— Уже? Запечатали? Жаль. Однако вид у него совсем не голодный.

— Сорок минут всего сидит, господин. Откуда ж тут голодному виду взяться.

— Да, положим, вы правы. Хозяин! А водой его когда поить будут?

— Завтра об эту пору. Милости просим.

— А у него довольно-таки дурацкий вид в этом ящике, — заметил приказчик Евгюков. — Пойдем, Мишель. Я решил каждый день приходить сюда и проверять печати, чтобы не было жульничества.

— Эй, ты, как тебя... хозяин! — подошел к Шарлю лабазник Сытов. — Нельзя ли через сорок дней твоего ассирийца ко мне на обед пригласить? Любопытно мне, как он на харч накинется.

— Нет-с, ему тогда много пищи нельзя давать. По удостоверению медицинских светил, в первые дни ему нужно постепенно привыкать к пище: сначала стакан молока, потом корочку хлебца и так далее.

— А я думал, — разочарованно промямлил Сытов. — Ну и шут с ним. На что он мне в этом разе...

Публика скучающе глазела на задремавшего сирийца и понемногу расходилась.

Скоро паноптикум опустел. И только смертельно раненный турок, по недосмотру нерадивого Гараськи, дышал еще мучительно и тяжко, да Клеопатрина змейка поворачивала зеленую голову, медленно увязая в полной смуглой руке безвременно погибшей египетской царицы.

III

Была темная глухая ночь...

Полоска яркого света показалась в щели двери, за которою спал хозяин паноптикума Шарль Нумикато, он же Сергей Пуговицын (настоящий).

Потом полоска света сделалась шире и, наконец, в освещенном прямоугольнике показалась маленькая широкая фигура Шарля.

Как заботливый хозяин, Шарль даже среди ночи не поленился подняться с постели с единственной целью — взглянуть на свой лучший аттракцион — все ли в порядке и как себя чувствует эта легендарная курица, которая должна нанести ему много золотых яиц...

Сириец мирно спал, свернувшись калачиком на дне ящика и положив под голову тюфячок, на котором он сидел днем.

Грудь его спокойно и мирно дышала, но когда свет фонаря упал ему на глаза, веки дрогнули и сириец, сладко зачмокав губами, вдруг проснулся.

— Кто тут? — испуганно спросил он. — Вы, хозяин?

— Я, голубчик, я. Я, мой дорогой. Спи. Я только пришел взглянуть, все ли в порядке?

Сириец потянулся, сел на своем тюфячке и, почесывая костлявую декольтированную грудь, хмуро сказал:

— Оно, собственно, не все в порядке.

Шарль вздрогнул:

— Именно?!

— Именно то, что я есть хочу.

— Ну, что ж, — примирительно заметил Шарль, хотя сердце его болезненно сжалось. Всего теперь и осталось тридцать девять дней. Тридцать девять денечков потерпи. А потом...

— Да вам легко говорить: потерпи, — недовольно пробормотал голодающий. — Вы, небось, ужинали, а я с обеда крошки во рту не имел. Который час?

— Три с четвертью. Спи, голубчик, спи. Я пойду.

Он закрыл фонарь и повернулся, чтобы уйти, но вдруг за своей спиной услышал глухой и несмотря на это решительный голос:

— Хозяин!

— Н-ну?

— Хозяин... Мне так хочется есть, что я уже раздумал. Выпустите меня из этой проклятой мышеловки. Я лучше буду что-нибудь другое делать.

Целый вихрь разноцветных кредиток закружился в мозгу хозяина, улетая от него, как стая вспугнутых птиц, куда-то далеко-далеко... Навсегда.

Глухо простонал Шарль, хватаясь рукой за свою огромную круглую голову.

— Мерзавец ты! Бродяга несчастный! Зарезать ты меня хочешь? Я афиши на неделю выпустил, околоточного мазал, пристава мазал, весь город о тебе шумит, а ты... Нет, ты будешь у меня сидеть, босяк несчастный!

— Есть хочу! — угрюмо и веско сказал голодатель.

— Извольте видеть — насидел. Наголодался. Чего ж ты мне, анафема, голову морочил?!

— Я раздумал, — солидно возразил сириец. — Имею же я право раздумать. Нет, ты меня, голубчик, лучше выпусти отсюда. Теперь, брат, рабов нет. Все свободные. Мало ли кого можно в ящик засадить. Все равно, если не выпустишь, завтра при публике такой скандал закачу, что тебе же хуже будет. Ну?

Низко опустил голову бедный Шарль... он ясно чувствовал, что если бы даже и удалось сегодня уговорить этого голодателя, все равно его не хватило бы на сорок дней. Да что там на сорок — и четырех дней не выдержит это животное.

Шарль зажег электричество, подошел к ящику, злобно сорвал печати и, стащив крышку «из цельного дерева», яростно прорычал:

— Вылезай, падаль! Вон!!

Сириец молча вылез из ящика, сладко потянулся и примирительно заметил:

— Черт же его знал, что оно так выйдет... Я думал, что выдержу. Значит, мы так и рассчитаемся: за один день голодания 25 целковых да по гривеннику входных — рублей 40. Но, конечно, раз я сидел не целые сутки — можно и скинуть: будет с меня предовольно и пятидесяти монет.

— Вон! — рявкнул хозяин, бешено потрясая короткими, извивающимися, как куски змеиного тела, руками.

— Ну, брат, без выражений. Не люблю, — значительно сказал парень, как перышко отбрасывая хозяина с пути и направляясь прямо в его комнату. — А нет ли пожевать чего? Опустел я, братец ты мой, как барабан. Шутка ли? Семь часов ничего не ел.

На столе стояли остатки ужина хозяина и его гостя, околоточного надзирателя: полгуся, окорок и полдюжины крупных яиц.

Не обращая внимания на хозяина, сириец схватился за гуся и, разорвав его, как кусок ваты, в пять минут обчистил, ободрал, обглодал до самых крупных костей. Мелкие же трещали под его страшными челюстями, как зернышки кофе в кофейной мельнице.

При этом кадык его прыгал и бегал по горлу самым страшным образом.

Ел...

Хозяин застыл у другого конца стола в немом изумлении и ужасе, а «гость», отхватив ножом фунта полтора окорока, в три приема втянул, всосал, впитал в себя весь сочный огромный кус... Под ловкими обезьяньими руками с машинной скоростью замелькала отбрасываемая скорлупа яиц, а облупленные яйца, как ядра в жерло пушки, забивались молниеносными автоматическими движениями. Губы жадно

хлопали, челюсти чавкали, уши шевелились на бледном от жадности лице, как две огромные пиявки, и весь вид «сирийца» был так неистов, что хозяин бессильно опустился на стул и только нашел в себе силу пролепетать:

— Вы всегда... так?

— Нет, — пробормотал сириец, въедаясь в мякоть большого хлеба. — Только когда голоден.

— А вы часто... так голодны?

— Всегда.

— Голубчик...

Взор Шарля загорелся новым бодрым огоньком. Он встрепенулся и с мольбой протянул сирийцу дрожащие толстые руки.

— Голубчик! Не будем рвать нашего контракта... Только изменим его. А? Я буду показывать знаменитого обжору... А? Вы только не обижайтесь. Это такая аттракция, что...

— А как же афиша? — заботливо спросил сириец, поглядывая на хозяина из-за обглоданной кости окорока.

— Черт с ним! Объявлю, что по незнанию сирийского языка не понял вас и вместо обжоры принял за голодателя. Голубчик! Вы двадцать французских булок и целого гуся съедите в вечер?

— Ну-ну, не жмитесь, — недовольно сказал сириец. — Могли бы и фунтика три колбасы подбросить... и дюжинку-другую яичек...

— Благодетель! — простонал Шарль, повисая на длинном парне, как летучая мышь на осине. — Ведь это еще больше шуму сделает, чем дурацкое голодание.

— Да это я могу, — жадно прорычал парень, счищая с себя хозяина. — Жалко, что уже поздно...

— А то?..

— А то можно бы и сейчас начать.

Как трудно, читатель, среднему человеку найти себя, и еще вопрос, кем был бы Христофор Колумб, если бы не ударился в мореплавание?.. Не был ли бы он жалким портовым грузчиком лимонов на чужих кораблях, и была ли бы тогда открыта Америка?

И не вправе ли мы предположить, что бедный, ничтожный трамвайный вагоновожатый таит никем не открытые способности государственного строительства, а из директора департамента общих дел на самом деле, при благоприятных условиях, выработался бы гениальный смазчик вагонов?

Так и наш сириец, который после долгих и напрасных мучений вдруг, в одну темную осеннюю ночь, наконец-таки:

— «Нашел себя».

СВОБОДНАЯ РОССИЯ

ГРАЖДАНЕ-ЧИТАТЕЛИ!

Настоящий номер нашего журнала — это последний номер, составленный и отпечатанный еще при прежней драконовской цензуре павшего правительства — да будет ему вечное проклятие!

Составление этого номера было особенно тяжело... Скрюченные посиневшие когти старых опытных гасителей живой мысли особенно крепко сжали наше горло, будто предчувствуя близкую агонию и кончину свою — неправедную, немирную и глубоко постыдную.

Об усопших говорят: «земля им пухом».

— Осиновый кол им в спину! — благоговейно пожелаем мы.

Теперь — когда вся эта свора шакалов вместе со своим предводителем, мелким, злобным и трусливым «венценосным» деспотом канула в Лету — наше сдавленное страшной цензурной веревкой горло свободно — и читатель вместо хриплого нечленораздельного бормотания услышит смелое, громкое, свободное слово. Всякий мерзавец смело будет назван мерзавцем, и всякому полезному для России гражданину смело и без оглядки воздадим честь и славу.

Да здравствует Святая Русская Революция; да здравствует великая русская армия, товарищи-рабочие и Государственная Дума — эта беззаветно мужественная троица, подарившая нас свободой! Да здравствует Республика!

Целый полноводный океан свободного слова затопил всю Россию, но этот скромный полураздавленный пятой цензуры номер «Нового Сатирикона» ты сохрани на память, Гражданин-читатель! Пусть он своей резкой контрастностью с последующими номерами напоминает тебе о том, в каких муках рождалось и влачило свое существование жалкое, до-свободное печатное слово и как липкий страшный цензурный спрут старался переломать своими щупальцами наши кости и выпивал нашу кровь и мозг.

До следующего номера!

«Новый Сатирикон»

МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ II

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно с славными нашими союзниками может окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского.

Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах,

кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.

Призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним — повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет Господь Бог России.

Николай

2-го марта 1917 года, 15 час., в гор. Пскове.

Скрепил министр императорского двора Фредерикс

* * *

Прочел с удовольствием —
Аркадий Аверченко

МОЙ РАЗГОВОР С НИКОЛАЕМ РОМАНОВЫМ

(Из воспоминаний)

Однажды в начале мая 1916 года (числа точно не помню) я был приглашен по телефону приехать в Царское Село.

Звонил адъютант бывшего царя, граф Чубатов:

— Государь очень хочет познакомиться с вами, приезжайте завтра утром запросто. Форма одежды — жакет.

На другой день ровно в 12 часов утра я встретился с царем на усыпанной гравием дорожке сада, примыкающего к царскосельскому дворцу.

— Вот вы какой! — приветствовал меня Николай. — Я думал, вы старше.

— Это и для меня удивительно, ваше величество, — возразил я, — как я еще не превратился в дряхлого старика? При наших дурацких порядках человек в 20 лет может колесом согнуться!

— А что? — насторожился царь, бросая на меня недоумевающий взгляд исподлобья.

— Цензура душит. Прямо сил нет.

— Неужели? Я об это и не знал, — мягко заметил Николай (вообще, в обиходе он был чрезвычайно мягок и вежлив).

— Ну как же. Прямо дышать нельзя.

Почему-то этот разговор был ему не совсем приятен. Но он не показал виду и деликатно перевел разговор на другое:

— Читал ваши сочинения. Мне нравятся. Много есть смешного.

Я тоже читал его произведения: манифесты, рескрипты и прочее. Но мне они не нравились, хотя в них было еще больше смешного, чем в моих рассказах.

Конечно, я не сказал этого вслух, но про себя подумал: «А что, если поговорить с ним о делах российских совершенно откровенно, по душам, без утайки, называя вещи своими именами, критикуя все плохое и без уверток освещая все недостатки?».

Правда, для беседы с царем это была не совсем удобная тема, и от нее за версту несло бестактностью, но я подумал: «Мы здесь только вдвоем, нас никто посторонний не слышит, а если бы даже что-нибудь и вышло, то я могу от всего отпереться. Знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю, а с царем беседовал только о жаркой погоде и о разведении шампиньонов».

Поди-ка потом докажи, что нет.

— Ваше величество! — воскликнул я в приливе какого-то неукротимого, неожиданно нахлынувшего экстаза. — Позвольте мне поговорить с вами откровенно!

— Сделайте одолжение, — спокойно сказал Николай, протягивая мне портсигар. — Вот скамеечка — присядем. Ну-с?

— Ваше величество! Конечно, не мое дело вмешиваться, но я должен сказать: с правительством у вас что-то неладное!

Он слегка поднял одну бровь и характерным, одному ему присущим движением потянул книзу ус:

— А что?

— Да как же! Неужели вы сами не видите, ваше величество?! Разве это министры? Дурак на дураке, жулик на жулике!

Он снисходительно улыбнулся в ус.

— Вы еще очень молоды, Аркадий Тимофеевич, чтобы судить их. Уверяю вас, это все достойные люди.

— Ну, полноте — достойные! Вся Россия стоном стонет от этих достойных людей. Думу они совершенно игнорируют, продовольствие расстраивается, армия воюет почти голыми руками, внутри страны все задавлено — народ ропщет — неужели вы этого не знаете?!

— Нет! — резко, почти грубо воскликнул он.

— Так знайте! — разгорячился и я в свою очередь. — Должны же вы знать об этом! Не забывайте, что вас называют Помазанником. Не зря же вас мазали, прости Господи!

— Конечно, не зря, — пожал он плечами. — Григорий Ефимович говорит, что на мне почиет благодать Божия.

— Свинья он, ваш Григорий Ефимович, — отрывисто сказал я. — Послушайте, дорогой мой, ну, допустимо ли это? Возьмем того же «Григория Ефимовича», как вы его называете. Ведь вы все-таки царь, и Александра Федоровна царица — ну, допустимо ли, чтобы вы оба сделались посмешищем всей Европы и Америки? Ну можно ли допускать, чтобы это грязное животное, с наружностью банщика и ухватками конокрада, бродило по вашим дворцам, заходя во все спальни с видом своего человека?! Вы меня простите, Николай Александрович, я, может быть, говорю резче, чем нужно, но... Неужели вы сами не чувствуете всего этого?! Ведь вы человек не глупый, я знаю, и если бы не ваши подхалимы-советники...

— Да Григория я, пожалуй, прогоню, — задумчиво сказал царь, гася сапогом докуренную папиросу.

— Мало! Ваше величество, этого мало. Нужно подумать не только о себе, но и о великой России!

Он опустил голову и прошептал:

— А что же я еще могу сделать? Кажется, все делаю.

Я сказал отрывисто и жестко:

— Дайте ответственное министерство!

— Но ведь тогда мой авторитет как Помазанника Божия будет поколеблен...

— А какой вам дурак это сказал? Наоборот, возрастет. Вы сразу сделаетесь популярным государем. Ах, ваше величество! Если бы вы знали, как легко государю сделаться популярным! Мне, частному человеку, нужно десяток лет употребить на то, чего вы можете достичь в один день. Народ добр, кроток и незлопамятен. Дайте ответственное

министерство, исполните свой же манифест 17 октября (ведь обещали же) — да ведь вас на руках носить будут! Вот, теперь вы без многочисленной охраны нос на улицу боитесь высунуть, а тогда — гуляйте себе пешком по Невскому от 2 до 4 по солнечной стороне — и вы увидите, какой восторг будет вас сопровождать. Трудно вам дать, что нужно? Эх, будь я царем!

— Так вы думаете: дать ответственное министерство? — спросил царь, наморщив сосредоточенно рыжеватые брови.

— Чего тут думать! Я не индюк. Это и без думанья ясно как палец.

— Ну... попробуем. Так и быть. Послушаю вас, а там будет видно...

Он взял меня под руку и повел во дворец.

Через 10 минут указ о назначении ответственного перед Думой и народом министерства был нами составлен и проредактирован.

Николай позвонил:

— Отправить для распубликования!

P.S. Все это было бы, если бы царь захотел со мной разговаривать и послушался бы меня в свое время.

А так как он разговаривать со мной не хотел, преклоняя вместо этого ухо к устам холопов, льстецов и лизоблюдов, — то вот оно все так и вышло!

Пусть пеняет сам на себя.

КУДА КОНЬ С КОПЫТОМ, ТУДА И РАК С КЛЕШНЕЙ

Говорят, что директор бывших императорских театров В. Теляковский начал свою покаянную речь артистам и хористам таким популярным обращением:

— Товарищи!

По этому поводу один хорист недовольно заметил другому:

— Вот единственный недостаток нового режима!

— Какой?

— Да всякая ... в товарищи лезет.

НОВЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

Владей, Фаддей, моей короной.

* * *

За морем телушка — полушка, а у нас и от всей-то телушки осталось пол-ушка.

* * *

Дурак черному рад.

* * *

У семи нянек человек без престола остался.

* * *

Новый министр сидит чуть не на троне, а старый — в министерском павильоне.

* * *

Стриженая девка не успеет косы заплести, как Вильгельму из Царского Села успеют обо всем донести.

* * *

Дали бабе киселя — стала баба весела. Дали бабе «киселя» в кавычках — ан это не в ее привычках.

* * *

Пулеметы на крыше, ан Бог-то еще выше.

* * *

Без Бога не до порога, а коли Распутин — бог, вот те и споткнулся о порог.

* * *

Заладила ворона Якова одно про всякого: прочел с удовольствием да прочел с удовольствием. А какое уж тут удовольствие?

К РИСУНКАМ НА СТРАНИЦЕ 12

Тут нет никакого хвастовства и самолюбия, но, по совести, мы должны признать, что у «Сатирикона» есть какое-то верхнее чутье ко всему, что еще не появилось, что еще незаметно носится в воздухе, что еще назревает, но не созрело и поэтому простому глазу не видимо.

Никто еще ничего не знает, все спокойно ходят в театры, едят, работают и размножаются, а «Сатирикон» вдруг потянет носом воздух, забеспокоится, забегает и начнет выкрикивать слова — для многих неожиданные и не совсем, казалось бы, в данный момент уместные.

Проходит два-три месяца — и вдруг по России страшным стоном прокатывается какое-то огромное событие.

Чуда тут, конечно, никакого нет, — просто повышенная нервность, позволяющая ощущать неощутимое для простого здорового организма.

Разве ожидал кто-нибудь 19 июля 1914 года? За неделю еще все были спокойны.

А в апреле 1914 года за 4 месяца до войны сатириконцы выпустили специальный «немецкий» номер такого содержания, что германское посольство запросило русское министерство иностранных дел: «Почему русское правительство допускает такой гневный, полный яростной ненависти тон по отношению к дружественному германскому государству? И каковы причины такого тона?»

Это беспокойство немцев было вполне понятно, если принять во внимание, что они-то уже знали о готовящейся войне, но никак не предполагали, что кто-то другой учует ее верхним чутьем, безо всякого осязательного наружного повода к каким бы то ни было подозрениям.

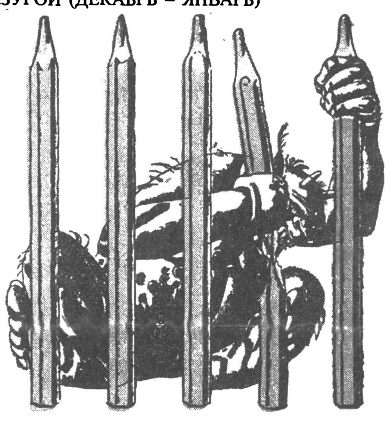
В последнее время (декабрь 1916 — январь 1917) старый толстый «Сатирикон» тоже обнаружил странное беспокойство: потянул носом воздух, подобрался и вдруг дал целый ряд таких необычных для него, казалось бы, неуместных в данный момент рисунков, что... цензура ни один из них не пропустила.

Так как они имеют известный исторический интерес и солидно подтверждают наличность нашего удивительного верхнего чутья (Боже нас сохрани — мы не

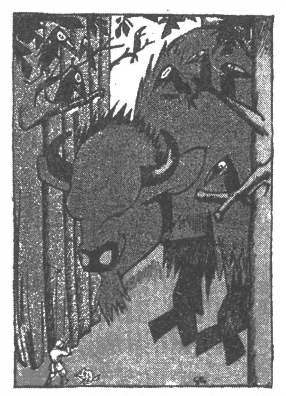
РИСУНКИ, ЗАРѢЗАННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ (ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ)



БУРЕВѢСТНИКЪ
Изъ "Зоологии" Брэма "Буревѣстники появляются всегда передъ большой бурей"



ЦЕНЗУРНАЯ КЛѢТКА
Сатириконъ — Терпѣніе, терпѣніе, читатель! Уже недолго осталось ждать!



БОЛЬШОЙ ЗУБРЪ И МАЛЕНЬКІЙ ЧЕЛОВЕК



ВЪ ЧЕМЪ ВЫХОДЪ И СПАСЕНІЕ

хвастаем, а единственно для истории), то мы печатаем некоторые из рисунков (см. эту стр.), уменьшив их для экономии места.

Полюбуйтесь: разве эти сотни рук, тянущихся к Думе (рисунок сделан в начале января), разве этот буревестник, вылетевший в момент величайшей тишины и угнетенности, разве этот мужичок, целящийся прямо в лоб «зубра», разве эта провиденциальная подпись под яростным Сатириконом, подгрызающим один из прутьев цензурной клетки — разве

все это не доказывает, что в мире существует дар предвидения и пророчества?

Неудивительно, что ни один из этих рисунков не был пропущен цензурой — на том основании (по объяснению цензора), что:

— Это сейчас совершенно неуместно.

Вот тебе и неуместно.

Сатирикон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

За составление, напечатание и распространение настоящего номера «Нового Сатирикона» —

Приговариваются:

Редактор Аркадий Аверченко — к лишению всех прав и смертной казни через повешение.

Секретарь Ефим Зозуля — к лишению некоторых прав и повешению.

Сотрудники: А. Радаков, Ре-Ми, В. Лебедев, Б. Антоновский, Н. Радлов, Арк. Бухов, В. Горянский, Н. Бренев, Б. Мирский, Лидия Лесная и др. — к ссылке в Восточную Сибирь на срок от 18—20 лет.

Типография, в которой печатается настоящий номер, закрывается навсегда, владелец ссылается на поселение, метранпаж и наборщики подлежат арестантским ротам от 2 до 6 лет.

Газетчики за распространение номера подлежат штрафу не свыше 500 рублей, с заменой и т.д.

Все это было бы, если бы у нас был прежний режим, будь он проклят.

Но так как Россия сейчас свободна, то все обстоит благополучно и все мы находимся на своих местах.

Да здравствует Российская Республика! Да здравствует Свобода!

О БЫВШЕЙ ЦЕНЗУРЕ

(Воспоминания)

Какое смешное ощущение: будто были мы, сатириконцы, волжскими бурлаками, еженедельно тащившими своими натруженными лямкой плечами и грудью тяжелую цензурную барку... Тащили, кряхтя и надрываясь, с проклятием внутри и делано веселой улыбкой на губах.

И вот, в тот момент, когда мы особенно напружились, почти совсем пригибаясь к земле, кто-то одним молниеносным взмахом острого ножа разрезал бечеву, и мы, освобожденные, чуть не ткнулись с размаху носом в землю.

Цензура...

Ах, читатель, надо сказать правду: ведь вы почти ничего не знаете о ней и уж совершенно ничего в ней не смыслите...

А мы знаем — ох, как знаем...

Мы, пожалуй, лучшие специалисты по цензуре.

Вам было хорошо: сидели вы утром в мягком халате за чашкой дымящегося кофе и, когда почтальон приносил аккуратно сложенный вдвое и обандероленный номер журнала, вы, сорвав ленивым движением бандероль, откидывались на спинку кресла и погружались в снисходительное чтение...

— Ну, что они там изобразили?

Разве вы знали тогда, что наша работа вкупе с цензурой напоминала промывание золота в вашгерде? Причем все золото оставалось в цензурных решетках, а дрянной шлак, песок и вода проскакивали в журнал и подавались вам еженедельно под видом «политической сатиры», которую вы со снисходительным видом обильными, но безопасными для правительства порциями принимали внутрь.

Цензура...

Все это осталось уже позади, и поэтому у меня с вами разговор о цензуре будет спокойный, без истерических воплей, проклятий и гнева... Это уже история.

А история величава и невозмутима.

* * *

Мне лично приходилось иметь очень много дела с цензурой, и опыт дает мне право вывести одно главное заключение, характеризующее всю цензуру:

— Всякий цензор, охранявший «устои», был — дурак.

Это отнюдь не бранная полемическая выходка, нет. Спокойно и холодно я говорю на основании девятилетнего опыта:

— Цензором назначали обязательно дурака.

А так как в петроградском комитете было цензоров несколько десятков, то эта внушительная группа цельных, крепко-сбитых, профильтрованных и проверенных дураков производила грандиозное, незабываемое впечатление.

Казалось, что по всей России был кликнут клич, были произведены среди всероссийских дураков прямые, тайные и всеобщие выборы, и результатом этого явились те несколько десятков великолепных породистых дураков, которым официально было присвоено наименование: «члены цензурного комитета».

В чем тут секрет — непонятно, но всякий свежий человек сразу мог отметить яркую связь между должностью цензора и особым устройством мозговых извилин, комплекс которых характеризует старого матерого опытного дурака.

Не как полемист, а как хирург, как ученый, рассматриваю я сейчас вскрытый цензорский мозг на своем операционном столе, и нет у меня сомнений и ясно мне, как божий день:

— Дурак ты, голубчик.

Результат моих исследований таков:

— Если цензор, значит — дурак. Если не дурак, значит, не цензор, а просто прохожий, забредший сюда, в это казенное желтое здание на Театральной улице, по ошибке, — и вот уже вижу я своими умственными очами, как зовет тебя, случайного прохожего, в свой строгий кабинет председатель цензурного комитета и говорит он тебе, строго наморщив брови: «А ведь вы, голубчик, нам не подходите. Какой же вы цензор? Вот вы пропустили и то, и это. Разве можно? Нет, вы для нас слишком умны».

А еще бы! Негоже быть умному человеку в этом царстве сплошных рафинированных дураков.

Были ли эти цензурные дураки злы? Нет. По совести говоря, не были. Они даже не мстили, если мы пробовали посмеяться над ними в журнале.

Надо быть справедливым: народ все был не злой, не яростный, но до бесконечности глупый.

Какое-то сплошное безысходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов.

Расцвет русской металлургии.

* * *

Сейчас я подхожу к самому деликатному месту моей статьи… сейчас я буду рассказывать правду, только голую неприкрашенную истину, и я убежден, что читатель ни на йоту мне не поверит. Так оно все странно, неслыханно и ни на что не похоже.

Однако заверяю своим честным словом, что все нижеследующее — правда, которую может подтвердить любой из моих товарищей по работе.

Принужден сделать такое предисловие, переходя к фактам и иллюстрациям моей девятилетней работы с цензурой.

Уничтожающее сопоставление

Однажды я вырезал из газет два циркуляра: одного министра о том, что нужно экономить бумагу и не вести ненужной переписки, и другого министра — о том, что министрам нужно писать с обращением «ваше высокопревосходительство», к директорам департамента — «ваше превосходительство» и т.д.

Эти циркуляры я распорядился набрать и вставить в журнал безо всяких комментариев и критики.

Цензура их не пропустила.

— Почему?! — завопил я

— Это издевательство, — со скорбной извиняющейся улыбкой объяснил цензор.

— Да ведь эти циркуляры были разосланы?

— Были.

— И напечатаны во всех газетах?!

— Напечатаны.

— И вы их пропустили?

— Пропустили.

— Почему же нам нельзя?

— Рядом они стоят. Неудобно. Если бы расставить их в разные номера — тогда другое дело.

Страшные головы

Однажды мной был представлен на цензуру графический рисунок О. Шарлеманя — римский воин, потрясающий копьем. У ног его были сложены отрубленные вражеские головы, а под рисунком П. Потемкин подписал стихи, воспевающие доблесть римских воинов и прелести войны.

И вдруг меня вызывают в цензуру:

— Этот рисунок мы пропустить не можем.

— Что-о-о?

Я смотрю на цензора широко открытыми выкатившимися глазами. Он на меня — сквозь две хитро прищуренные щелочки.

— Я не понимаю, в чем дело. Что за причина?

Лукаво, с легким заигрыванием, он толкает меня локтем в бок:

— Ну да, не понимаете! Знаем мы, как вы не понимаете. О-о, вы, сатириконцы, хитрый народ, с вами нужно держать ухо востро!

— Даю вам честное слово, не понимаю!

— Не понимаете? Так, так...

Смотрит на меня с неописуемым лукавством, как авгур на своего собрата-авгура.

— Не понимаете? Будто! Ну я вам объясню. Вот тут у ног воина лежат четыре головы — так?

— Так.

— Хорошо-с. Одна, скажем, Абдул-Гамида, другая Мануэля Португальского, третья — персидского шаха... Так-с. (Значительно и тихо, приблизив свое лицо к моему лицу): — А четвертая голова — чья?

Ну разве это не страшно? Какие растленные, сплющенные мозги должны быть у этого дурака, чтобы в безобидном художественном рисунке на античную тему найти страшный намек на то, о чем тогда и думать боялись.

Ужаснее всего было то, что он не бушевал, не грозил мне скорпионами, а только тихонько и лукаво подхихикивал: «А что, мол, — хотели меня обойти? Ан, я вас и разоблачил!»

Нецензурный Милюков

Совсем недавно (в январе этого года) цензура не пропустила нам портрет Милюкова, под которым только и было написано:

— П.Н. Милюков.

Конечно — мой стереотипный вопрос:

— Почему?

У цензора лицо встревоженное:

— А вы зачем его портрет помещаете?

— Хотим и помещаем. Ведь это не карикатура, а просто графический рисунок Ре-Ми. Что может быть нецензурного в портрете Милюкова?

— Нет, уж раз вы помещаете, значит, что-нибудь тут есть. Не пропущу.

И ведь не пропустил, каналья.

Только через три недели поставил на оттиске разрешительную надпись и объяснил:

— А теперь — можно.

Чем эта чугунная голова руководствовалась — попробуйте объяснить.

Тонкий намек

Об одном цензурном трюке я таки ухитрился рассказать в «Сатириконе» месяца два тому назад.

Напомню.

Представили мы на цензуру рисунок, иллюстрирующий безобидный еврейский анекдот: еврей, сидя верхом на лошади, съезжает, благодаря ее прыжкам, к самому хвосту и кричит испуганно окружающим: «Давайте мне скорей другую лошадь — эта уже кончается».

Я готов дать любую премия тому человеку, который догадается, почему не был пропущен этот рисунок.

Не мог бы объяснить этого и я даже под угрозой смертной казни.

А цензор объяснил (факт!):

— Это неудобно. Тут у вас написано, что лошадь уже кончается, что еврей съезжает к хвосту...

— Ну?!!!!

— Ну а теперь, вы сами знаете, когда стали поговаривать об отставке министра Хвостова — это намек, который всякому понятен.

В тот момент мне жгуче захотелось взломать ему перочинным ножом голову и заглянуть туда: что там? Вот бы, я думаю, закашлялся от пыли!

Если дурак, так знаем кто

Это — фраза из известного анекдота, но анекдот совсем недавно претворился в жизнь.

В январском (3) номере «Нов. Сатирикона» мы поместили шарж на талантливого А.В. Амфитеатрова. Он был нарисован во весь свой огромный рост и сопровожден подписью:

«Слоны отличаются большим умом, сообразительностью, силой, кротостью и трудолюбием. Но опасно рассердить такого добродушного слона: он тогда может взбеситься и нанести много ущерба неосторожному дураку».

Читатель! Разыщите у себя этот № 3 и взгляните на подпись: там после слова «неосторожному» нет слова «дураку». Нет даже точки.

Знаете, почему?

Цензура вычеркнула одно только слово: «дураку».

Когда мы запросили об этом цензора, он ответил:

— Ну, мы же знаем, кого вы дураком называете: это, наверное, Протопопова.

Это, кажется, был единственный случай, когда цензура обнаружила настоящую проницательность и чутье.

Нелегальная буква

Когда сатириконцы предприняли издание детского журнала «Галчонок», то А. Радаков придумал напечатать в «Сатириконе» интригующее объявление: в одном номере только букву «Г», а в другом «а», в третьем «л» и т.д., пока не составится целое слово.

Но на первой же букве мы в цензуре споткнулись.

Едем объясняться:

— Почему такое?

— Не могу пропустить. У вас тут какое-то кривое что-то нарисовано.

— Ну да. Буква «Г». Что же тут нецензурного?

— Да ведь она на ногу похожа!

— С этим ничего не поделаешь. Всякая буква «Г» на ногу похожа.

— Вот это и неудобно.

В унисон раздались два вопля — мой и Радакова:

— Почему?

— Да как вам сказать... Видите ли... этот рисунок напоминает ногу, а у наследника Алексея, как известно, болит нога. Могут счесть за недостойную шутку. Тем более, что журнал-то — для детей.

Сказал и сам полураскрыл испуганно рот: не хватим ли мы его сейчас стулом по голове.

По лицу Радакова я ясно видел, что он был недалек от этого.

Но обошлось благополучно. После долгих убеждений пропустил и только в конце поторговался:

— Вот тут нарисован галчонок, а у него глаз похож на череп.

— Ну так что?

— Переделать бы. Ну зачем череп. Детский журнал и вдруг — череп.

Переделали.

* * *

Вспоминаю первые попавшиеся факты, которые пришли в голову. А их сотни, тысячи. Весь наш скорбный путь был усеян грудами «зарезанных» рисунков и статей, залит красными чернилами, слезами бессильной злобы и оглашен стонами муки и отчаяния.

Нас было мало, и мы не имели ружей и сабель. Мы все знали и ничего не могли сказать.

А пришли те, которых много, и у них были ружья и были сабли.

И они сказали.

Слава им и горячая благодарность за сорванные с нас цепи.

* * *

И в этот момент вы, читатель, тоже, может быть, сидите за утренним кофе в мягком халате и благодушно читаете эти строки.

Но теперь вы знаете, что мы делали в эти девять лет, каково нам приходилось — и, может быть, вы, читатель, теперь многое из прошлого нам простите, чего вы раньше не понимали и над чем недовольно морщились... А?

Уф-ф!

НОВЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ

Николай II, заключенный в царскосельском дворце, пишет историю своего царствования.

От издателя:

Однажды ночью пишущий эти строки, обманув бдительность стражи, стерегущей бывшего царя, пробрался в царскосельский дворец и, подобрав ключ к ящику письменного стола, попросту говоря, утащил рукопись, озаглавленную: «История моего царствования».

Вот подлинный текст этой «истории»:

I

Наконец-то я собрался описать историю моего царствования. Раньше было некогда: то то, то се мешало. Надо признаться, времени на царствование уходит уйма: то тех прими, то тем скажи речь, то бумаги подписывай. Бывают такие дни, что и минутки не урвешь посидеть на троне. А какой же это царь, который не сидит на троне. Я сам понимаю свои обязанности перед народом и жалованье по цивильному листу недаром получаю... Обязанностей у царя масса, а удовольствие — какое? Только и всего, что подданные при каждом подходящем и неподходящем случае «Боже, царя храни» орут.

Вот надоела песня! А приходится слушать да еще делать веселое лицо.

Вот тебе и «Боже, царя храни!»

Сколько ни пели, все-таки не сохранил меня Бог... Сорвалось.

Впрочем, не буду забегать вперед.

Ну-с... Итак, с чего же начать? Начну с детства.

II

Помню себя мальчиком. Папа у меня был большой, толстый, с рыжей бородой и пил довольно сильно.

У каждого монарха, по-моему, есть своя излюбленная историческая фраза...

У моего коллеги Генриха IV было изречение насчет курицы в супе, у Людовика «Государство — это я», у другого Людовика «После меня хоть потоп», а у моего папы была тоже своя фраза:

«По одной не закусывают».

Я хотел даже на его памятнике эту фразу высечь, но мама меня отговорила.

Сочинил и я себе собственную историческую фразу:

«Прочел с удовольствием».

Много мне огорчений доставили эти три проклятых слова! Бывало, какую дрянь ни прочтешь, все твердишь: прочел с удовольствием, прочел с удовольствием. Один раз так мне надоело, что я даже хотел стянуть у отца другую его историческую фразу, чтобы писать ее на всех докладах моих министров:

«Уберите от меня эту свинью».

Гораздо больше она подходила.

III

И зачем я пошел в наследники — не понимаю. Однажды целый день проплакал.

Зовет меня к себе папа и говорит:

— Тебе нужно жениться.

Я очень сконфузился и говорю:

— Ну, хорошо. У меня уже и невеста на примете есть — одна фрейлина.

Папа чуть в обморок не упал.

— Что ты, что ты! — кричит. — Разве русскому царю можно на русской девушке жениться?! Обязательно надо, чтобы немка была!

— Да мне русская нравится, папа!

— Мало ли, что нравится. Нельзя. Нужно соблюдать чистоту крови. Признали мы за благо посватать тебе принцессу Алису Гессенскую.

Я за словом в карман не полез:

— А я признал за благо не жениться на ней. Тоже, важное кушанье — немка!

— А я тогда признаю за благо лишить тебя престола! — воскликнул разгневанный отец.

Поплакал я после этого, поплакал, но признал за благо жениться на Алисе.

Познакомились. Немка как немка. Лицо приятное, чистое, но злое. Вот, наверное, будет пилить меня!

Так и было.

Впрочем, и я придумал, чем ей насолить: ввязался в войну с немцами. Вот-то бесится.

Но не буду забегать вперед.

IV

Ну-с — короновался я на царство. Дело произошло в Москве 14 мая.

Все, кому приходилось короноваться, знают, что это за сахар, — устанешь и измучишься так, что ног под собой не слышишь.

Тогда же в первый раз надел шапку Мономаха. Действительно, тяжелая — фунта 4 весу. Правду сказал поэт:

О, тяжела ты, шапка Мономаха!

И откуда поэт это узнал? Неужели сам надевал? Странно.

Если бы кто знал, как трудно в парадном царском платье сохранить царственный вид: в одной руке скипетр, в другой держава, корона на глаза лезет, а в горностаевой мантии запутался и чуть не упал.

Трудно быть Помазанником Божиим.

V

По цивильному листу получаю жалованья 24 миллиона в год.

Немного это, конечно, но жить можно.

VI

В этой главе хочу записать, какие вел войны.

Ну, первая совсем маленькая. Вел я ее, когда еще был наследником, — с Японией. Война была неудачная: за оскорбление каких-то религиозных святынь был под Отсу разбит наголову. Долго мечтал о реванше...

Вторая война... Ну, это тоже не война, а так себе, пустяк. Одна только и была битва: под Ходынкой. Здесь никто не победил.

Третья... Наконец-то я дорвался до настоящей войны — с японцами! Вспомню я вам Отсу! Повоевал. Война окончилась, к сожалению, вничью. Японцы получили Порт-Артур, а мы — пол-Сахалина. Впрочем, с Сахалином произошла какая-то путаница. Насколько я помню, он до войны был наш. Ну, да не жалко. Как говорится: владей, Фаддей, моей Маланьей. Все равно там ни удельных, ни кабинетских земель нет.

Четвертая война была самая для меня удачная: 9 января 1905 года враг был разбит наголову и позорно бежал. Я стоял у окна своего дворца и сам руководил битвой. Ночью мне снился Наполеон. Будто пришел с треуголкою, снял ее и говорит: «Здравствуй, победоносный коллега!». Я, признаться, даже во сне разговаривал с ним неохотно: во-первых, не Помазанник, а во-вторых, паренек подозрительных кровей. Не люблю разночинцев.

Пятая моя война — с немцами. Между нами говоря, я и ввязался-то в нее только потому, чтобы насолить моей жене. Пусть позлится. А то она такой верх взяла, что прямо дышать нельзя. Повоюем, повоюем. Я хочу сам быть главнокомандующим. Надо же и поработать. Недаром же я жалованье свое получаю.

Ну, вот и стал главнокомандовать.

Конечно, в этом деле не только розы, но и шипы есть. Недавно, например, сообщают:

— Сухомлинов оказался изменников.

— Быть не может, — удивился я. — Он так хорошо анекдоты рассказывает.

Оказывается, правда. Вот тебе и анекдоты.

Огорчился я, получив это тяжкое сообщение, но нечего делать, написал на докладе:

«Прочел с удовольствием».

Ну и выдумал себе фразочку...

VII

В области внутренних реформ мною тоже сделано немало.

Об евреях заботился, как никто другой. Только почему русский народ им все погромы устраивает? То Кишинев, то Одесса, то Гомель. Будто бы главное занятие моих верноподданных не хлебопашество, а добывание пуха из еврейских перин.

Даже в Минске был погром.

Прочел с удов... Тьфу ты, вот навязалось!

Главная же моя реформа — это конституция. Дал я ее после некоторых неприятностей, но потом постепенно стало все успокаиваться. Бывало, каждый день печатались телеграммы: в Киеве успокоилось 7, в Одессе 14, в Варшаве 5...

Прочел с удоволь... Гм!

VIII

В настоящее время чувствую такую усталость, что решил отречься от престола. Да право! Надоело царствовать.

Так и написал в манифесте: «Признали мы за благо».

Все меня упрашивали, на коленях стояли, а я говорю: «Нет. Будет. Поцарствовал и довольно».

Народ и армия, конечно, впали в глубокое уныние: в знак траура надели красные повязки и играли похоронный марш, «Марсельезу».

И так мне их, беспризорных, жалко сделалось, что втайне решил: если еще начнут просить вернуться — вернусь. Все-таки они хороший народ.

Пока что признал я за благо жить в царскосельском дворце. Ехать никуда не хочется. Дороги плохие.

IX

Вру я все! И чего я вру, прости меня, Господи. Это тоже вроде моего: «Прочел с удовольствием».

Правду сказать? Не я сам отрекся и ничего я не «признавал за благо», а просто приехал Гучков и рассчитал меня. И как некрасиво рассчитал: даже за две недели не

предупредил, как полагается. Или заплати мне за месяц вперед, раз ты служащего человека рассчитываешь.

Хотел ехать в Англию — не пускают!

Какая же это свобода? Это уже черта оседлости!

* * *

Сейчас перечел все написанное. Грустно.

Прочел с удовольствием.

Признал за благо подписаться:

Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая.

Эх, Гриша! Эх, Саша!

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

— Красной материи нигде нет.
— Почему?
— А на флаги все расхватали.
— Зато красных чернил сколько угодно.
— Почему?
— Цензоров нет.

СТАРОЕ И НОВОЕ

— Господин милиционер!
— Что прикажете?
— Христос Воскресе.
— Воистину.
— Можно вас на два слова?
— Пожалуйста. Я слушаю.
— Да нет... вы в сторонку. Я тут не могу.
— А что такое? В чем дело?
— С праздником вас.
— Спасибо. А это что такое? Что это вы мне даете?
— Это так себе. Конвертик.
— Позвольте! Да тут деньги?!
— Ну, какие это деньги! С праздником вас.
— Спасибо!! Да деньги-то зачем?

— Да с праздником же вас, говорю!
— Да спасибо, черт возьми, и вас также! Деньги это чьи?
— Мои.
— Зачем же вы их мне даете?
— А ведь праздник!
— Я это знаю. Но при чем тут деньги? Ведь я же вам, несмотря на праздник, не даю денег!
— Хи-хи. Как же вы можете дать. Вы — милиция. Вы брать должны.
— За что?!!
— Да праздник это или нет?
— Тьфу, чтоб ты сдох! Отвяжись от меня, или я тебя в комиссариат отправлю.
— Куда-а-а?
— В комиссариат.
— Это что же за кушанье такое? Ваше благородие, позвольте вам сказать: может, вы думаете, у меня двор антисанитарный или что — так боже упаси! А только полиции на праздники завсегда по положению...
— Мы не полиция! Мы — милиция.
— Да теперь уж я и сам вижу, что толку с вас мало: вместо полиции какая-то милиция, вместо участка — комиссариат, взяток не берете. Нет, не настоящее это все. Ровно как в куклы играете. Ваше благородие...
— Я — гражданин, а не благородие.
— Ваше гражданство...
— Ну?
— А то бы взяли, а? Для порядку.
— Тьфу!!!!!
Расходятся: милиционер злой, раздраженный, новоиспеченный гражданин — встревоженный, бледный, сбитый с толку. Идет, шатаясь, шепчет: «Пришел конец миру сему: полиция взяток не берет!»

ЧТО Я ОБ ЭТОМ ДУМАЮ

I

Сегодня, перебирая бумаги на письменном столе, я нашел совсем свежую, еще не успевшую пожелтеть по краям

бумажку, на которой было изображено печатно и от руки следующее:

Являться с повесткой.

Дело 1916 г. № 22.

Подлежит выдаче.

ПОВЕСТКА.

Аркадию Тимофееву Аверченко. Жител. Петроград, ул. Гоголя д. № 9. Судебный следователь 1 уч. Челябинского уезда вызывает в камеру свою, находящуюся в г. Челябинске, Азиатская ул., д. Стегалова, на 28 число февраля 1917 года к 12 час. утра в качестве обвин. по делу по обвин. Вас по 1535 ст. уложен. о наказан. для примирительного разбирательства.

И.д. Судебного Следов. *Серов.*

И тут я только впервые ясно почувствовал, что *именно такое совершилось*....

Вот вам совсем свежая бумажка, которая берет меня за шиворот и тащит в Челябинск на Азиатскую улицу по капризу — кого? Какого-то челябинского исправника, о котором я на страницах «Нового Сатирикона» не совсем почтительно отозвался.

И я должен был бы, обязан был бы бросить все свои дела и скакать, сломя голову, в далекую Сибирь только потому, что какой-то совершенно неизвестный мне «царский слуга» — может быть, полуграмотный, может быть, пьяница и неумный — обиделся на меня и решил задать столичному журналисту перцу.

Вот эта бумажка передо мной. Пожалуйте, господин Аверченко, на сибирский экспресс и скачите в город Челябинск, Азиатская улица, дом Стегалова.

Хорош я был бы, действительно, если бы потащился на Азиатскую улицу, дом Стегалова.

Бумажка совсем свежая, а что она сейчас такое? Где теперь «по указу Его Величества»? Где теперь этот строгий исправник? Где ты, голубчик? Болтаешься ли ты, замерзший, задеревеневший совсем, с выкатившимися глазами, на каком-нибудь челябинском дереве иждивением и хлопотами

скорых на руку челябинцев, или пощадили они тебя, давши легкого раза в спину, и пошел ты по кипящим народом улицам, вздев в розетку красную петлицу, снисходительно прикладывая дрожащую руку к козырьку при первых же звуках бодрой революционной «Марсельезы».

И, может быть, попадет тебе в руки этот номер журнала, а ты прочтешь все о тебе написанное и покрутишь скорбно толстой, красной, в складках шеей: «Эх, жаль, ушел ты, Аверченко, из моих рук. Уж показал бы я тебе, голубчику, как на исправников гадости взводить! Лучины бы я из тебя нащипал, из Аверченко!»

Господа читатели! Да ведь что же это такое, а? Ведь совсем еще свежая бумажка, а я республиканец, и мне начихать на всех исправников настоящего, прошедшего и будущего!.. Да что исправников! Губернаторов громко и смело посылаю ко всем чертям! Ур-ра! Я, можно сказать, такой человек, что я и царя нашего Николая Александровича Романова, всероссийского самодержца, презираю и считаю его форменным ничтожеством.

Смотрите, в какое я неожиданное оживление пришел, и почему бы, кажется? Повесточку, еще совсем свежую, не тронутую тленом и червями, на письменном столе раскопал. И возрадовался дух мой, и заскакал я, аки козел на зеленой лужайке.

Странно: и войска я видел, идущие с красными знаменами к Государственной Думе, и студентами-милиционерами вместо полиции на перекрестках любовался, и статьи, обличающие бывшую царицу как предательницу русского народа, читал, а все это как-то скользило по моей поверхности, не задевая сознания, не задевая того, что плотно и убористо во мне слежалось в одну монолитную массу за 36 лет моей жизни.

И вдруг — на пустяке, на бумажке величиной в ладонь — доспел, дозрел я. И тут же раз навсегда почувствовал и ахнул:

Господи, Боже мой! Да ведь свободен я! В какое же время я живу, Господи сил!

И раскрылись какие-то двери, и хлынул веселый розовый поток, затопивший сознание до краев:

— Я — полномочный русский гражданин, равный среди равных, сын нашей Великой России! Что, Николай Александрович! Не угодно ли принять вам сей финик?

II

Странное дело: я не знаю почему, но чаще, чем нужно, мои мысли обращаются к бывшему царю.

Я о нем много думаю, часто он снится мне по ночам, а ведь лично мы не были знакомы. Не были знакомы домами, как говорится.

И вы знаете, что меня больше всего пугает и что задним числом щемит мое сердце?

Вот. Мне как-то задним числом страшно, что Николай Александрович, сидя на троне, был — не настоящим императором всея Руси, а самым обыкновенным человеком, вот таким, как мы с вами, как прохожий, который сейчас промелькнул мимо моего окна, помахивая тросточкой и постукивая скрипящими глянцевитыми галошами. Может быть, его идеал, этого самого Николая Александровича, — играть в винт по сотой, разводить в саду на даче цветочки и, приехав с дачи на службу в Петроград (он должен служить помощником столоначальника в департаменте), пойти вечером на Невский, найти там ночную фею и, пригласив ее куда-нибудь на Караванную, изменить боязливо и робко своей сварливой, властной, но увядшей уже от забот и возни с детишками жене.

Может быть, он, бывший царь этот, по характеру и всему складу своему — вот именно такой человек! Но тут мне и хочется завопить:

— Позвольте! Да в чем же дело? Как же допустили этого Николая Александровича Перетыкина (не будь у него фамилия Романов, было бы что-нибудь вроде этого), как же допустили его ходить в горностаевой мантии и давать царствующим особам и послам аудиенции?

Почему у Перетыкина горностаевая мантия, когда и ему и другим удобнее было бы, если бы на его плечах болталось демисезонное пальто, за столом красовалась кулебяка с ливером, и по воскресеньям к вечеру собиралось бы общество Флегонта Петровича Чайкина и Василь Семеныча Трепакова — его сослуживцев по департаменту!

Кто допустил такую ошибку, кто облек Перетыкина в мантию и возвел его на трон?!

Какое повальное безумие! Какое длительное безумие.

Как же он царствовал Николай Александрович Перетыкин? Какое он имел право? Ведь он не профессионал! Как мы все еще не погибли от его правления?!

Ведь это ежели взять с улицы прохожего, Флегонта Петровича Чайкина, да посадить его капитаном на броненосец, да сказать: «Вези нас! Правь! Действуй!» — так ведь он, Флегонт этот, нас на такую скалу напорет, что и духу от броненосца и от нас не останется.

А ведь тут не броненосцем пахнет, которому и цена-то вся миллионов двадцать! Тут огромная, сложнейшая, разноязычная Россия, с запутанной славянской психологией, бытом и тончайшим механизмом народного хозяйства.

Флегонт, милый! Как ты попал на трон?! Нелегкая тебя занесла сюда.

И теперь мы все, как гоголевский городничий, очнувшись от этого наваждения, можем только за голову схватиться.

— И мы тоже хороши! Сосульку, тряпку принять за государственного человека!

Чтоб не быть голословным, я предложу вам проследить все его поведение, поведение этого «царя» со дня отречения от престола. Разве такие цари бывают?

Ему Гучков, волнуясь и спотыкаясь (еще бы! Богиня Клио переворачивает страницу мировой истории), доказывает, что ему нужно отречься от престола, а он? Проявил ли он хоть какое-нибудь величие тирана, обронил ли он хоть одну историческую фразу? Нерон, погибая, воскликнул: «Какой великий артист погибает!» Какие же слова вырвал у Николая только что произошедший мировой катаклизм?

Говорят: сидел он и поглаживал карандашом ус. А потом молча подписал отречение и сказал уже после:

— Ну и ладно. Поеду в Ливадию, буду цветочки разводить.

Какой же это царь? Это Флегонт Семеныч Перетыкин. Дали человеку долгосрочный отпуск с сохранением оклада — и прекрасно. Кивнул головой и зажил дальше.

Теперь я часто лежу ночью с открытыми глазами и все думаю, думаю:

«Что этот человек сказал, когда был доставлен после ареста в царскосельский дворец и впервые (вы понимаете? — и впервые после лишения многолетней самодержавной над всей Россией власти) остался наедине со своей женой Александрой Федоровной. Каковы были его первые слова?

Ах, почему никто не подслушал их разговора, ведь это же исторические слова!

И совершенно не желая зубоскалить, а относясь к этому вдумчиво и пытливо, могу я предположить, что разговор этих царственных особ был такой.

...Николай, опустив голову и заложив руки за спину, медленно вошел в комнату, где его дожидалась императрица.

Увидев его, она встала, сделала два шага и остановилась. Так простояли они друг против друга с минуту, молча, даже не поздоровавшись.

— Ну-с, — молвил, наконец, государь. — Довольна? Допрыгалась.

Александра Федоровна всплеснула руками и вскричала возмущенным, срывающимся голосом:

— Ах, я?! По-твоему, значит, я виновата? Так, так... Вали уж на меня, вали. Это на тебя похоже.

— А что же — я, по-твоему, виноват?

— Нет, не ты? Сосед виноват, да? Вильгельм? Извольте видеть, какой кроткой овцой прикидывается. Тоже, царь выискался. Хм! Какой же ты царь, если не учел, не почувствовал даже настроения народа? «Гвардия меня обожает, войско меня любит, чуть не боготворит!» Вот тебе и доботворились!

— Ну, ты, матушка, уж помолчала бы лучше! Это твой Гришка все наделал... Донянчилась с ним. Тоже, святого нашли, истерички несчастные!

— Ты... ты... (пена показалась на губах разъяренной императрицы). Ты... осмеливаешься колоть мне глаза Гришкой? А ты сам разве...

Вот тебе и исторический разговор!

Вот тебе и помазанники Божии...

Да ведь это типичная ссора Флегонта Чайкина с супругой по поводу того, что директор департамента устроил ему, Чайкину, жестокую головомойку за легкомысленное отношение к делу.

Лежу я теперь ночью с открытыми глазами и думаю:

— Что если сбрить ему бороду, изменить форму усов да и послать его в Челябинск в качестве чиновника контрольной

палаты. Падут ли ниц челябинцы перед этим помазанником? Что будет делать этот самодержец? Да господи боже ты мой! Будет делать то, что свойственно его ординарной тривиальной чиновничьей натуре: по будним дням ходить на занятия, по воскресеньям составлять пульку с Флегонтом Ивановичем и Василием Петровичем, а жена в это время за чайным столом, сидя с Макридой Афанасьевной, долго и горячо будут обсуждать достоинства и недостатки соборного дьякона Среброгласова.

Сынок Алеша подойдет к столу и скажет:

— Мамаша, можно взять сардиночку?

— Нельзя. Подожди, когда гости начнут коробку. А то ряд испортишь...

* * *

Около двух десятков лет правила нами, умными свободными людьми, эта мещанская скучная чета...

Кто допустил?

И все молчали, терпели и даже распевали иногда во все горло «Боже, царя храни».

Кто допустил это безобразие и всероссийскую насмешку над нами?

Кто допустил?

Ай-я-яй.

НОВЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

Черного кобеля не отмоешь докрасна.

* * *

Отстрелял, да и с колокольни долой.

* * *

Пролетарии-монархи всех стран, — соединяйтесь!

* * *

Паны дерутся, а у хлопцев троны трещат.

MADE IN GERMANY

(Последние немецкие изобретения)

I

Немецкие агенты пытались переправить через Швецию в Россию партию карандашей, дерево которых было пропитано особым взрывчатым составом, а в графите устроен незаметный для глаза тонкий канал, наполненный химической жидкостью. При чинке карандаша эта жидкость попадала на карандашное дерево и производила взрыв.

II

При отступлении из занятых бельгийских местностей немцы оставляли по пути отступления детские игрушки, которые при малейшем прикосновении взрывались в детских руках.

III

Но самое остроумное немецкое изобретение, превзошедшее и карандаши и игрушки, было продемонстрировано на пасхальной неделе.

Вот его рецепт и сущность:

Берется один пассажирский вагон. В Швейцарии отыскивается какой-нибудь большевик Ленин, мечта которого — немедленное заключение сепаратного мира с Германией и гражданская война внутри России. Большевика этого немцы засовывают в вагон, вагон запломбировывают и подвозят к границе. После этого пломба снимается, Ленин вылезает из вагона и начинает «действовать». Действие — см. изобретение № 1.

ДАР ДАНАЙЦЕВ

Кайзер поднял усталые глаза на запыхавшегося адъютанта и удивленно спросил:

— Что такое случилось, что вы вбегаете без доклада и дышите как опоенная лошадь?

— Поздравляю, ваше величество! Ленин едет в Россию!

— Быть не может! Молодец Пляттер! Только нужно дать приказ нашим подводным лодкам... Чтобы они не вздумали сдуру потопить тот пароход, на котором поедет Ленин.

— Я вас обрадую еще больше! Он едет в Россию сухим путем!

— ?!!??

— Через Германию!

Вильгельм взял карандаш, прикусил его зубами и смог произнести только одно слово:

— Од...нако!

— Да-с. Хи-хи.

— Только вы уж озаботьтесь, чтобы он проехал, как король — со всеми удобствами.

— Еще бы! Такой человек едет в Россию!!

* * *

— Пожалуйте, герр Ленин. Поезд уже подан, герр Ленин! Осторожнее, тут ступенька, герр Ленин!

— Эх, хорошо, если бы мне нашлось спальное местечко...

— Спальное местечко?! Вы нас, право, обижаете, герр Ленин! Целое купе к вашим услугам! Да что купе — целый вагон!! Поезд целый вам даем — вот что-с.

— Странно, — прошептал польщенный Ленин. — И об этих людях говорят, как об «озверевших тевтонах». Да я не встречал более милого, обязательного народа!

* * *

— Эй ты там, начальник станции! Пропусти поскорее поезд с господином Лениным!

— Господа! Сейчас не могу. Я раньше должен пустить воинский поезд с резервами.

— Наплевать! Ленин нам важнее твоих резервов. Вези! Тут что — подъем? Давай еще один паровоз — скорее довезем. Вам не дует, герр Ленин? Может, покушать чего хотите, милый, достолюбезный герр Ленин. Пиво есть хорошее. Дорогу Ленину! Эй вы там!!

— Послушайте, — нерешительно сказал Ленин. — А ваши немцы меня не укокошат? Все-таки, я русский.

— Вас?! Укокошат? Да что они — враги себе, что ли? Хотите, на руках донесут до границы?!

— Но ведь... я же... русский...

— Ну, какой вы там русский. Смазчик! Осмотри внимательно оси, не вышло бы, не дай бог, крушение!..

* * *

Интервью с Лениным в России.

— Скажите, господин Ленин, чем вы объясняете такое исключительное к вам внимание со стороны немцев?

— Хороший я — очень просто. И немцы тоже хорошие. А иначе чего бы им так за мной ухаживать?

Смеялось небо.

СВОБОДНЫЕ ОДЕССИТЫ

— Ой! Неужели, Канторович?

— Чего вы так удивились? Это при Толмачеве было чудо, когда еврей доживал до старости. А теперь такой случай сплошь и рядом. Здравствуйте, товарищ Гендельман. Ну, что нового?

— А! Какие могут быть у нас новости?

— Послушайте, ведь теперь смертная казнь отменена. Чего же вы нос свой повесили?

— Почему? Потому что... — (оглядываясь таинственно) тут никого нет из Совета Рабочих Депутатов? — Потому что мне эта свобода не нравится!

— Вам? Еврею? Не нравится? Свобода? Гендельман! За такие слова я даю вам мысленно по морде!

— Попробуйте! А я мысленно сваливаю вас на пол, бью ногами в живот, вырываю половину волос на голове и, вообще, мысленно плюю на вас.

— Расходился! Чего вы так расходились? Ему не нравится свобода! Почему она вам не нравится?

— Потому что эта свобода не для всех.

— Эта свобода не для всех! Для кого же ее не хватило?

— Для кого ее не хватило? Для евреев!

— Он говорит: ее не хватило для евреев! Почему ее не хватило для евреев?

— Ясно: мы сделались бесправными.

— Они сделались бесправными! Почему вы сделались бесправными?

— Конечно! Раньше мы имели право пойти в участок, имели право дать приставу, имели право дать околоточному, имели право дать паспортисту. И тогда мы имели право жить где угодно! Видите, сколько прав.

— Вот идиот! А теперь вы, Гендельман, разве не имеете право жить где угодно?

— А то имею! Какое же я, извините меня, имею право жить, если я никому не давал?

— Кому же вы можете дать?

— Кому я могу дать! Полиции я могу дать.

— Так ведь ее же нет!

— А о чем же я и плачу! Вы знаете, русская полиция для еврея, это все равно как единственные брюки у бедного человека... Отняли у него полицию, и он чувствует себя так, будто, извините, среди бела дня без штанов остался.

— Ну, нет полиции, так теперь есть милиция.

Гендельман усмехается скорбно-иронически и, наклонившись к самому лицу Канторовича, многозначительно подмигивает:

— А она берет?

— Милиция? Вы с ума сошли! Конечно, нет.

— Так как же я ей дам, если она не берет?!

— Так вы ей не давайте.

— Мерси вас. А как же я буду жить здесь, если я не даю.

— Вы изумительный дурак, товарищ Гендельман. Раз свобода, так вы живете где хотите и как хотите.

— Ка́кая это свобода, когда я не живу, а мучаюсь, когда я по ночам не сплю.

— Он не спит по ночам! Почему вы не спите по ночам?

— Потому что я никому не давал. Раньше я дам — кому надо, кому и не надо — и сплю себе как дитя. А тут я знаю: каждую минуту могут прийти и меня выселить.

— За что?

— За что? За то, что я еврей.

— За то, что вы дурак, вас могли бы выселить. Но за это, к счастью для вас, не выселяют.

— Чего вы на меня кричите, Канторович? Я не такой дурак, как вы про себя думаете. Я уже нашел выход. Хе-хе. Умный еврей даже при свободе найдет выход.

— Он нашел выход! Какой же это выход?

— Вы не знаете, Канторович, когда в тюрьме можно получать свидание? По пятницам?

— А что?

— Я знаю, где сидит наш бывший пристав. Так я пойду, похлопочу, чтоб мне дали с ним свидание, и я ему суну что-нибудь в руку, чтоб он мне поставил штемпель. Там, знаете, — свобода, республика, красное знамя, розетки-мазетки — это хорошо, но со штемпелем от пристава оно еще лучше.

— Когда я смотрю на вас, Гендельман, меня тошнит. Вы просто старый загнанный осел. Про вас очень здорово выразился один поэт:

Рожденный ползать —
Летать не может.

— Не могу летать, вы говорите? И слава богу! Я именно и боюсь полететь отсюда.

Канторович качает головой и с невыразимым презрением оглядывает согбенную фигуру Гендельмана.

— Теперь! Пойти к приставу! За штемпелевкой паспорта! До этого только вы, Гендельман, могли додуматься.

— А что, разве плохо? Обязательно пойду.

— Он пойдет! Когда же вы пойдете?

— Завтра я пойду.

— Сколько же вы ему думаете дать?

— Я думаю, четвертного довольно.

— Так дешево? Скажите, в котором же часу вы пойдете?

— Пораньше. В десять.

— Он пойдет в десять! Ну, идите. Через какую улицу вы будете идти?

— Через Михайловскую.

— Так это почти мимо меня!

— Два шага.

Пауза.

— Гендельман...

— Ну?

— Может, вы зашли бы за мной?
— Зачем?
— Пойдем вместе.

МОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

(Автобиографический фельетон)

Все прочие — как хотят: могут самоопределяться, могут не самоопределяться — их дело.

А я лично решил самоопределиться.

Довольно этой неопределенности! Очень тяжело, когда сам не знаешь, кто ты такой. Не такое нынче время, ха-ха.

Самоопределение мое пойдет по определенному курсу и в одной только плоскости: буржуй я или не буржуй?

* * *

С чего начались мои сомнения?

Вот:

Недавно на митинге, когда я произнес блестящую и глубокопрочувствованную речь в защиту Временного Правительства, один гражданин, в зеленом, довольно легкомысленном для его возраста пиджаке, клетчатой кепке и узких штанах, уверенно сказал, поведя широким ноздристым носом:

— Буржуй разговаривает.

Странное чувство овладело мною, когда я услышал такое определение.

Вероятно, такое же чувство овладевает страусом, беззаботно бегавшим по безлюдным африканским пустыням, когда он впервые с разбега налетел на человека, и тот уверенно заметил вслух:

— Ба! Да это страус.

Всю жизнь прожил беззаботный вольный страус и не знал, что его имя страус. А пришел охотник, и сразу открыл ему глаза, и сразу наклеил ярлык:

— Ты — страус.

И вот, услышав свое настоящее имя, бредет страус, уже потупив голову, опустив хвост, и элегически думает:

«Ну вот, и оказывается, что я — страус. Хорошо это или дурно? Позорно быть страусом, или я тоже имею право на свое местечко под солнцем?..»

Бродит он по африканской живописной пустыне, но беззаботность уже покинула его, уже он стал задумчив, уже самокритика стала заедать его:

— Страус я, оказывается... Ко-ми-с-сия!

Почти такое же ощущение овладело и мною, когда я впервые услыхал от зелено-пиджачного гражданина уверенное:

— Буржуй!

Страуса узнают по росту, по длинной змеиной шее, по маленькой голове, по перьям на хвосте, по огромным крепким лапам. Тысяча характерных признаков.

По каким же признакам определили меня?

Я кое-как скомкал свою речь, спрыгнул со скамейки, служившей трибуной, и, отведя в сторону зеленого господина, тихо спросил его:

— Это вы кого же — меня назвали буржуем?

— Обязательно.

— За что?

— Крахмал.

Мы оба недоуменно поглядели друг на друга.

— Крахмал, вы говорите?

— Обязательно.

— Какой крахмал?

— Рубашка, того. Крахмалэ, как говорится. Хи-хи.

— Только и всего?

— Очки тоже.

— Это пенсне. Да и что в нем дурного? Наоборот: без него я ничего не вижу и могу вам же наступить на ногу или толкнуть.

— Попробуй.

— Я говорю лишь предположительно.

Стоя друг против друга, мы погрузились в печальную задумчивость.

— Так буржуй я?

— Буржуй.

— Что же мне теперь делать?

Он был несколько озадачен.

— Что делать? Ничего. Довольно уж наделали. Довольно попили нашей крови!

Сколько я ни напрягал своей памяти, никак не мог вспомнить такого эпизода в своей жизни, чтобы пришлось утолить жажду кровью зеленого гражданина или кого другого в этом роде. В этом отношении я был невинен как годовалое дитя.

Попытался робко оправдаться:

— Это не я. Я не пил вашей крови. Это кто-нибудь другой.

— Все вы хороши. Деньги есть?

— Есть. В банке. Двадцать тысяч.

— Надо отдать народу.

— У меня и квартира еще есть в четыре комнаты, мебель тоже, контракт на три года.

— Надо отдать трудящимся.

— А сам я где же буду жить?

— Где?.. Гм. Ну, квартиры не надо. Отдай только деньги.

— Позвольте! Это я сам заработал. Как же отдам все? С какой стати?

— Долой капитализм!

— Да позвольте, мой зелено-пиджачный друг! Велик ли мой капитал — двадцать тысяч! Да ведь теперь рабочий зарабатывает пятьсот-восемьсот рублей в месяц! Ведь он тоже капиталист!

Он критически усмехнулся.

— Скажете тоже! То какие-то восемьсот рублей, а то — двадцать тысяч. Насосались вы, я вижу, нашей кровушки.

— А, чтоб вас черт побрал, — вышел вдруг я из берегов. — Маковой росинки у меня вашей крови во рту не было! Я писатель! Слышали? Журналист! Поняли? Написал строчку — получил полтинник, написал две — получил рубль. Чью же я кровь сосал, тупая вы зеленая ящерица?! Пятьсот строк в неделю, девять лет работы — экономия двадцать тысяч. Поняли вы это, зеленый смородиновый куст?!

— Я попросил бы вас на меня не кричать. Буржуй несчастный!

— Тьфу!

Мы разлетелись в разные стороны, будто бы между нами разорвалась ручная граната. У меня есть некоторые основания предполагать, что он остался мною недоволен.

Я им — тоже.

Шел я домой опечаленный, угрюмо думающий:

«Откуда выползли эти травяного цвета граждане, для которых обидеть человека тяжким прозвищем "буржуй" так же легко, как выкурить папиросу. Какое они имеют право?»

Вот я пришел домой, встал перед зеркалом и впился глазами в свою фигуру, в свое лицо: ну, вот он я. Вот я, беззаботная вольная птица, впервые узнавшая, что я не просто птица, а — страус. И перо мое — мое страусовое перо по полтиннику за строчку — хотя и ценится, но оно идет на потребу и нужды буржуев, и сам я поэтому буржуй.

Черт меня возьми, когда же я им сделался? Ведь эти анафемские двадцать тысяч не сразу же у меня появились, а постепенно. И был ли я буржуем, когда, бросив шестидесятирублевое место на Брянском руднике, приехал в Петроград девять лет назад с одиннадцатью рублями в кармане?

Неужели эти проклятые «одиннадцать» погубили меня, запали мне в карман тем крохотным буржуазным семенем, из которого выполз росток и разрослось огромное двадцатитысячное буржуазное дерево?

Когда зелено-пиджачный господин держал до меня на митинге речь, он говорил:

— Товарищи! Капиталистов не должно быть! Все должны быть равны! Не должно быть ни богатых, ни бедных. А для этого отнимайте деньги у богатых и передавайте их тем, у кого ничего нет!

О, мой зелено-пиджачный друг! Где ты — ау! Вот я, капиталист! Приходи ко мне и забери все мои деньги, выгони из квартиры, сними с меня «крахмалэ», как ты назвал мою сорочку от Друса, и пусти меня на улицу в одном пиджачишке — хотя бы того же травяного цвета.

Ты думаешь, я потеряюсь? О нет, моя милая проворная ящерица! Я сейчас же побреду в редакцию любого приличного журнала, и попрошу десяток листов бумаги и уголок стола в редакционной комнате, и через три часа вручу редактору журнала рассказ, и получу за него двести рублей, и снова найду себе комнату, куплю у Друса новую крахмальную рубашку, и через три дня у меня уже снова будет хорошее

драповое пальто, и котелок, и пенсне, и палка с серебряным набалдашником, а через месяц я тебя, зеленый друг мой, снова смогу принять в своей новой, уютно обставленной квартире, а через год я тебе снова покажу довольно симпатичную, на твой глаз, чековую книжку...

И что же? Снова, значит, я сделался буржуем? Снова ты, о зеленый друг мой, разденешь меня, отберешь деньги и пустишь в чем мать родила? Да? И снова я побреду в ближайшую редакцию?

Дорогой товарищ! Но ведь это уже система старая, и не тобой она открыта... Эта система применяется в больших экономиях, где рачительные хозяева стригут овец периодически в известные сроки, отпуская их потом на травку — нагуливать себе новую шерсть для будущей стрижки.

Товарищ в зеленом пиджаке! Ты через три слова говорил о равенстве... Но разве есть равенство между овцой и ее хозяином?

Подумай ты об этом, зеленый. И если после всех моих доводов ты назовешь меня с глупым упрямством — «буржуй», так я с тобой больше и разговаривать на хочу!

И знаешь, почему, мой зеленый друг?

Потому что я умнее тебя.

Вот тебе и равенство. Я — умнее тебя.

Как ты в этом со мной сравняешься?

Есть один способ: каждый день, перед завтраком, что ли, ты должен приходить ко мне и ударом крепкой палки о мою голову затуманивать и понижать дееспособность моего мозга до такого уровня, чтобы он, мозг, сравнялся с твоим.

Но. хорошо ли это?

Ну, вот я, слава богу, и самоопределился. Оказывается, что я — не буржуй. Ф-фу! От сердца отлегло.

А до остальных — до моих товарищей, единомышленников и друзей — мне нет никакого дела, пусть каждый самоопределяется и оправдывается перед гражданами в травяных пиджаках, как хочет.

ЖУТКОЕ

Четверо встретили пятого криками.

— Наконец-то, голубчик! Теперь все в сборе... Садись. Закусывай. Выпей рюмочку.

— А я торопился — газет еще не успел проч...

— Тссс! Седашов, предупреди же его: ведь он не знает нашего священного договора.

— А что такое?

— Ч-черт! Совсем забыл. Дело, видишь ли, в том, что мы решили сделать этот завтрак совершенно оригинальным: все мы обязуемся — ни слова о политике!! Согласен?

— Еще как! Приветствую! Одобряю! Прелестно удумано. А то нынче задыхаешься в атмосфере этих министерских кризисов, вопросов о проливах, о братании, обо всех этих эсерах Плехановых...

— Да какой же Плеханов эсер?! Он эсдек.

— Что вы говорите! А я смотрю — он так здраво рассуждает, что...

— Ясно: меньшевик.

— Да-а... Этот бы через Германию не проехал! Этот не стал бы подстрекать народ с балкона к сепаратному миру!!

— Это вы намекаете на Ленина? Но ведь Ленин...

— Господа!.. Чтоб вы лопнули! Ведь было же решение не говорить о политике, хоть на время завтрака!.. Неужели нет других тем? Ну хоть анекдот расскажите, что ли.

Седашов, будто вспомнив что-то, махнул рукой и залился беззаботным смехом.

— Есть! Ей-богу, есть новый анекдот. Прямо замечательный!

— Тссс! Слушайте...

— Приезжает в деревню сознательный гражданин и решает просветить крестьян насчет нового режима. Является на сходку и приличным случаю тоном начинает вещать мужичкам о принципах свободы, равенства и братства. «Товарищи! — говорит, — царизм пал, и Россия стала свободна. Теперь все равны, всем должно быть одинаково, и отныне у нас в свободной России не будет ни эллина, ни иудея». — «Слава тебе, Господи, — истово перекрестились бестолковые мужички. — И хорошо, что не будет».

Анекдот имел шумный успех.

— Смешно. Очень смешно, только, к сожалению, немного черносотенно. Выходит, что русский мужик даже и без натравливания бывшего начальства в душе своей — юдофоб...

— А я с этим не согласен. По-моему, русский мужик в массе совершенно аполитичен. Но зато и в патриотизме русского мужичка позвольте мне усомниться. Ему — были бы пироги с кашей да теплая лежанка, а там — немец ли им командует или японец...

— Ложь! Клевета на мужика! Хотя Керенский и...

Раздался оглушительный стук. Пара чьих-то дюжих кулаков обрушилась на стол.

— Рты салфетками позатыкаю! Кто давал слово не говорить о политике?! Что вы, как ямщицкие лошади к привычному кабаку, сворачиваете на политику! Мало ли есть тем — искусство, театр!

— Ах, вы знаете, был я вчера в театре... На гастролях московского Малого театра... Какое наслаждение — Садовская, Южин! Какая талантливая молодежь!

— А я пошел один раз и закаялся.

— Почему? Изверг! Вам не понравились москвичи?

— Москвичи мне понравились, публика мне не понравилась. Кашляют, смеются в неподходящих местах. Во время действия громко разговаривают!!

— Свобода! Хи-хи.

— Позвольте, — что значит свобода? Свобода вовсе не дает права вести себя по-хамски. Или мы сознательные граждане, или кучка взбунтовавшихся рабов! Керенский... Ой!..

— Убью! Ей-богу, бутылкой убью.

— Пусти, руку сломаешь. Ну, не буду... Я, братцы, сообщу вам новость совсем из другой плоскости... Седашова вчера видели с прехорошенькой блондинкой. Говори, несчастный, кто она?

— А что — правда, хорошенькая?

— Цветочек. Лица я не успел разглядеть, но ножки!

— По-моему, женская нога — это экзамен на чин. Я по ноге, как Кювье по одной косточке, могу определить все остальное.

— Раньше, когда носили длинные юбки, это было потруднее.

— Да... Теперь такая мода пошла, что некрасивую ногу никак не спрячешь.

— Зато они и ботинки стали себе откалывать такие, что... Одним словом, деликатес!

— Деликатес-то деликатес... А вы знаете, сколько за этот деликатес дерут?

— При чем тут «дерут» — раз есть такса на обувь...

— Попробуй купить по таксе. Прежде всего, тебе просто не продадут...

— То есть как это не продадут? А если я милиционера позову?!

— Ну, кто теперь с милиционерами считается!

— То есть как же это так?!

— А вот так же. Если какие-то проходимцы являются в чужой особняк, занимают его, живут, пьют, едят, а милиция ходит вокруг да около...

— При чем тут милиция? Раз Совет Рабочих и Солдатских Депутатов... Ой!

— Ей-богу, убью! Возьму ножик, раскрою, как устрицу, рот и вырву язык.

— Я не виноват. Это он начал!

— Господа, при чем же я? Я нарочно свел разговор на женщин, заговорил о блондиночке...

— Да как же так вышло, что с блондиночки на Совет Рабочих и Солдатских Депутатов переехали?

— Черт его знает. Не везет.

— Придется сидеть и молча пить водку. Вам можно?

— Мм... мм.

— Да что вы мычите?! Налить или нет?

— Мм... м...

— В идиотизм впал человек! Что это за мычанье?

— Боюсь спросить.

— Что боитесь спросить?

— Настоящая это водка или разведенный спирт?

— Чего ж тут страшного? И спросили бы, это не политика.

— Нет, уж я лучше помолчу. А то спросишь: «Спирт это?» — «Нет, чистая водка». — «Да что вы говорите! Где достали?» — «У одного знакомого акцизника». — «Неужели акцизники не боятся и при новом строе тайно продавать водку?» — «Э, батенька, — скажете вы, — разве новому строю

за всем уследить? У него есть более важные задачи: общая организация твердой власти, коалиционное министерство»... А третий ввязнет своим тупым умишком да и брякнет: «Ведь коалиционное министерство уже образовалось, чего же еще надо?» — «Этого мало, — оживленно вступит третий идиот. — Надо, чтобы страна осознала свою ответственность перед союзниками».

Молчавший до сих пор Седашов вдруг оживился:

— Конечно, надо! А вы что же, не согласны с тем, что сепаратный мир был бы...

— А-р-р-р-р!!

— Кар-раул!! Люди добрые, — ножом режут. Убивают!!!

Грохот опрокинутого стола заглушил все звуки...

КАК МЫ ЭТО ПОНИМАЕМ

У мужа и жены Маниловых есть двое деток: Алкивиад и Фемистоклюс.

И приехал к ним погостить знакомый господин, Ердащагин.

Если бы кто мог видеть, какая радость, какой восторг воцарились в мирной усадьбе Маниловых, когда к ним ввалился немытый, небритый, нечесаный господин Ердащагин.

— Ердащагин приехал! Наш дорогой, милый, замечательный Ердащагин! Лучшие блюда Ердащагину! Лучшие покои Ердащагину! Да здравствует свободный гражданин Ердащагин!

Вошел в отведенные ему покои Ердащагин, потянулся, смачно сплюнул на пушистый ковер и, не побрившись, не умывшись, завалился спать.

Вышел только к вечернему чаю.

— А вот наши детки: Алкид и Фемистоклюс, — представила гостю деток madame Манилова. — Очень хорошие детки.

Гость критически оглядел деток и заметил:

— Лица у них только тупые. Не видал более омерзительных ребятишек. Их развивать нужно да развивать. Впрочем, я сегодня же этим займусь.

Свое обещание ретивый Ердащагин исполнил.

— Дети, — сказала мать после чаю. — Вам уже пора в постельки. Девять часов.

— Много она понимает, — усмехнулся Ердащагин. — Не ходите.

— Нет уж, им надо спать, — примирительно улыбаясь, сказала мать. — Вы уж их не задерживайте. Я пойду распоряжусь по хозяйству, а вы их отправьте спать.

Когда мать ушла, Ердащагин откинулся в кресле, заложил ногу за ногу и, сплюнув в полоскательницу, вдохновенно начал:

— Должен вам сказать, детки, что мать ваша форменная дура, а папахен — старый жалкий тюфяк. Вы только меня слушайтесь, детки. Вот вам, например, очень хочется спать?

Алкид подумал немного и вздохнул самым откровеннейшим образом:

— Очень.

— А вы не ложитесь! Нарочно, из протеста не спите.

— Так ежели спать хочется!..

— «Ежели, ежели», — обиделся гость. — Вот дам тебе по морде, будешь знать «ежели»! Выкурите пару папирос, вот и не будет тянуть ко сну.

— Нам нельзя курить. Мы маленькие.

— Мы даже и не умеем.

— Учиться надо, привыкать. Возьмите у отца папиросы и курите на здоровье.

— Папины папиросы спрятаны в столе, а стол заперт.

— Подумаешь, важность. Взломайте.

Алкивиад прижался плечом к Фемистоклюсу и поглядел на Ердащагина широко раскрытыми глазами.

— Как, взломать? Разве можно? Папа будет очень огорчен.

— Важное кушанье! Ведь не убьет же!

— Нет. Он нас даже никогда не бьет. Только говорит.

— Ну, вот. И пусть себе говорит, сколько влезет. Он говорит, а вы делайте. Вообще, братцы, к черту эти церемонии. Они вас чем кормят?

— Суп, котлеты, зелень, мороженое.

— И глупо! Требуйте себе на первое взбитые сливки с бисквитом, на второе блинчики с вареньем, на третье мороженое, а закусить можно пряниками, что ли, или каким там мармеладом.

— А ежели не дадут...

— Вот идиоты! Так объявите голодовку! Повертятся, повертятся, да жалко станет, и сделают все, что хотите!

— А что нам утром делать? — робко прошептал покорный Фемистоклюс.

— Утром? Шумите побольше. Хорошо также разбить парочку ваз. Учителя обзовите ослом. Поняли? Будет исполнено?

— Путет, — потупясь, прошептал Алкид.

— Нет ли у вас дохлых кошек?

— Нету...

— Тогда убить надо. Убейте и суньте отцу под одеяло. Полезет он в кровать, ан там кошка. Развеселое дельце, а? Да?

— Та... — согласился еще более оробевший Алкид.

— А теперь айда взламывать стол!!

Утром на другой день супруги Маниловы и гость Ердащагин встретились за чайным столом.

— Каково изволили почивать? — приветливо осведомился Манилов.

— Не твое дело, буржуазная морда, — твердо парировал гость. — А ты как дрыхал?

— Да, знаете, не совсем хорошо. Кто-то взломал у меня ящик письменного стола, утащил все папиросы, а под одеяло в спальне засунул дохлую кошку.

— Правильно. Твои же дети и сделали. Я их научил.

Манилов кротко вздохнул и укоризненно покачал головой.

— Нехорошо вы это делаете... Приехали в наш дом, мы приняли вас как самого дорогого гостя, как родного, а вы нам детей портите.

— С тем и возьмите, — ухмыльнулся Ердащагин. — Хочу нынче подучить твоих щенков, чтобы они к вечеру амбары подожгли, а в ванной комнате отвернули все краны.

Манилов побледнел.

— Неужели вы это сделаете?!

— Не ори. Конечно, сделаю. Пусть ребятишки веселятся.

— Но ведь в амбарах хлеб! Он сгорит!

— Черт его дери. Зато мне ночью светлее будет.

Жена Манилова опустила голову и глубоко вздохнула:

— Ах, как это нехорошо. Вы этим нанесете нам вред. И то уж сегодня дети, благодаря вам, делали бог знает что: перебили посуду, побросали книги в огонь, а старшенький утащил бутылку вина и выпил ее. Теперь с ним нехорошо.

Ердащагин выслушал, покачал головой и сказал:

— Добре. А кстати: пришлите мне вашего кучера, повара и дворника. Хочу им кой-чего посоветовать...

— Именно?.. — вздрогнул Манилов.

— Хочу сказать, чтобы они утопили вас в пруду.

Madame Манилова поднялась с места и сказала покорно, хотя в голосе ее слышалось страдание:

— Хорошо... Я, конечно, их вам позову — и повара, и кучера, и дворника... И вы им можете приказывать, что считаете необходимым. Но должна сказать вам за себя и за мужа: нехорошо все это. Незакономерно. Мы, конечно, слишком гостеприимны для того, чтобы отказать вам от дома, — наоборот, живите, отдыхайте, — мы очень рады, но... Это все нехорошо, что вы делаете. Вот все, что мы находим нужным вам сказать. Еще чашечку чаю можно предложить? А вот печеньице... Сама для вас пекла...

Я думаю, что в этом месте читатель уже возмутился, уже полез на стену:

— Что вы нам такое расписываете?! Что это за глупая, неправдоподобная, кошмарная история?! Где это было? Когда? С кем могло это быть?

Читатель! Если ты такой же честный, как я, и, если мы прямо взглянем друг другу в глаза, ты поймешь меня!!

У нас есть коллективная семья Маниловых: это Совет Рабочих и Солдатских Депутатов и наше коалиционное Временное Правительство. И у нас есть свой Ердащагин — неряшливые развязные парни с небритыми лохматыми сердцами, приехавшие в гости к этим сахарным розовощеким Маниловым, развалившиеся у нас в России, положившие ноги на стол и поучающие несчастных малых сих — еще крохотных и сопливых Алкивиада и Фемистоклюса:

— Не подчиняйтесь Временному Правительству, хоть будь это раскоалиционное, раздемократическое! Берите все, грабьте, хватайте за горло! К черту дисциплину! Солдаты, братайтесь с немцами, к черту начальство, к дьяволу порядок! Ой, жги, жги, жги, говори! Теперь настало время: чего твоя нога хочет, да здравствует твоя замечательная, прекрасная мозолистая нога! Ко всем чертям Учредительное Собрание, когда-то оно еще будет, а теперь свергайте Правительство и бери, хватай, что каждому нужно!

«Да здравствует Германия!» — этот плакат красовался на вокзале, когда встречали вторую партию «эмигрантов», и что же, был арестован немцелюбивый плакатоносец? Нет! Когда Керенский спросил об этом, ему ответили: «Не могли арестовать, ибо он член Исполнительного (?) Комитета».

Гадко! Противно!

Мы, сатириконцы, заслужили право говорить с любым правительством резким прямым языком, заслужили тем, что до революции с заткнутым ртом и связанными руками все-таки кричали девять лет о русских безобразиях и не боялись ни конфискаций, ни арестов, ни лишения нас свободы.

Так неужели мы теперь побоимся исполнить свой гражданский долг и бросить в лицо Временному Правительству и Исполнительному Комитету С.Р. и С. Депутатов простые человеческие слова?

— Стыдитесь! Вам народ вручил власть — во что вы ее превратили?! Всякий хам, всякий мерзавец топчет ногами русское достоинство и русскую честь, — что вы делаете для того, чтобы прекратить это?! Вы боитесь, как черт ладана, насилия над врагами порядка, над чертовой анархией, так знайте, что эта анархия не боится насилия над вами, и она сама пожрет вас.

Я весь дрожу сейчас от возмущения и негодования, я знаю, что, может быть, со мной будет от горя, стыда и отвращения истерика, когда я кончу этот фельетон, но я скажу вам прямо и открыто:

— Довольно мямлить! Договаривайте все слова! Ставьте точки над «i». Вам нужна для спасения России диктатура — вводите ее! И, если Керенский для порядка прикажет повесить меня первого, я скажу: вешайте, если это нужно. Но я требую: схватите также властной рукой за шиворот

и выбросьте вон из России всех, кто развращает армию, подстрекает устно и письменно малосознательный народ, кто губит всю Россию!..

Вышвырните, а не сюсюкайте, состроив маниловскую сахарную мину: «Ах, нехорошо губить Россию, ах, постыдитесь, товарищи!..» На вас идет тигр, не карабкайтесь на трибуну, чтобы сказать ему ряд прекрасных звучных слов о задачах пролетариата и о недопустимости насилия.

Временное Правительство и Исполнительный Комитет! К вам я обращаюсь, и вам я хочу рассказать такой факт: на Литейном проспекте, на линии трамвая остановился пьяный солдат и, растопырив руки, сказал: «Почему трамвай тут ходит? Не пущу».

Понятно, трамвай остановился, и, когда уговоры сойти с рельс не помогли, — позвали милиционера.

— Товарищ, сойдите с рельс.

— Что-о? П-шел! Не пущу вагона! Желательно мне тут стоять.

— Но ведь это беспорядок. Товарищ, прошу вас сойти.

Пьяный с хитрой улыбочкой качал головой и тупо повторял одно только слово:

— Н-нет!

И когда кто-то из толпы крикнул:

— Да стащите вы его за шиворот!

Милиционер благоговейно возразил:

— Мы не для того завоевали свободу, чтобы применять насилие над свободными гражданами.

И вот — от милиционера до министра — этот принцип пропитал собой всю власть:

— Насилие над свободными гражданами недопустимо!

Верно! Над *гражданами*! А над опьяневшими, обезумевшими животными?

Власти! Власти!

Дайте нам сильную власть!

И, если вся Россия затрещит от этой власти, — и слава богу.

Это хороший треск! Так трещат кости у человека, который сладко потянулся перед тем, как засесть за долгую работу.

Министры! Жестким кулаком сотрите со своего лица сахарную маниловскую мину, пусть будет грозен и вели-

чественен лик ваш. Мы, весь русский народ, облекли вас властью — сметайте все гнусное, вредное для дела свободы на своем пути!!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НА РЕЛЬСАХ

Недавно я писал об одном развеселом молодом человеке, который пришел на Литейный проспект, встал на рельсы трамвая и, растопырив руки, твердо заявил, что он ни одного трамвая не пропустит.

Я рассказал также о том, как вагоновожатый умолял его пропустить трамвай, как публика, после долгих просьб и увещаний, позвала милиционера, и как милиционер взывал долго и тщетно к совести и патриотизму развеселого молодого человека...

Рассказал я также и о том, как кто-то из публики, рассвирепев, грубо крикнул: «Да что вы смотрите на него, милиционер! Схватите за шиворот и отбросьте эту гадину прочь!!»

Рассказал я также и о том, что милиционер сверкнул благородными глазами и с достоинством ответил: «Мы не для того завоевывали свободу и свергли насилие, чтобы производить насилие над свободными гражданами!»

Все я рассказал, кроме одного — конца этой удивительной истории. Ведь должен же быть какой-нибудь конец, черт возьми!

Ну, вот — стоит молодой человек на трамвайном пути, растопырив руки, расставив ноги, — стоит себе и стоит. Кругом публика, вагоновожатый, милиционеры — все окружили веселого молодого человека и просят, умоляют со слезами на глазах: «Сойдите с пути, товарищ! Нехорошо. Несвободно поступаете!»

А он стоит. Растопырил руки и стоит. «Уйдет же он когда-нибудь», — подумает мой свободный читатель.

Ну, так я вам расскажу и конец этой удивительной истории!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СОШЕЛ С РЕЛЬС.

Это был очень долгий, мучительный акт.

Уже смеркалось...

Пассажиры разошлись, вагоновожатые скопившихся по всему Литейному трамваев устроили митинг, на котором вынесли формулу жесткого осуждения веселого молодого человека, а он все стоял, растопырив руки, и тупо повторял усталым голосом:

— А я не пущу.

Кругом плотной стеной стояли милиционеры, поставленные комиссаром для защиты молодого человека от эксцессов несознательной толпы.

К ночи ноги молодого человека затекли, и он сел на рельсы,

— Есть хочется, — заявил он. — Дайте.

Милиционеры устроили летучий митинг на тему: «Стоит ли кормить молодого человека, и не лучше ли принудить его голодом сойти с линии трамвая?»

Резолюция:

«Так как принуждение голодом — суть насилие, а насилия в свободной стране не должно быть, то 1) молодого человека накормить, 2) еще раз разъяснить ему неправильность его действий и 3) написать письмо в редакцию пролетарской газеты с протестом против тактики молодого человека».

Было 8 часов утра. Яркое солнце взошло на Литейном проспекте, но вместе с тем чувствовался мрак и темнота: молодой человек продолжал сидеть на рельсах.

Свежие пассажиры, не могущие попасть на Финляндский вокзал, устроили экстренный митинг, на котором и постановили: сообщить о происходящем в И.К.С.Р. и С.Д., а также Вр. Пр.

Был долгий спор: сообщать ли постановление в копии П.Г.У., но потом решили, что П.Г.У. и так через милиционеров осведомлено обо всем.

Густая толпа окружила молодого человека; некоторые добровольцы из публики тщетно пытались подействовать на ум и воображение молодого человека.

— Подумайте, — печально шептал на ухо какой-то старик. — Что, если бы вы ехали по срочному делу в трамвае, а я этак бы встал на рельсы, да и не пустил вас... Хорошо бы это было?

Кто-то из публики старался повлиять на упрямого молодого человека соблазнительными эротическими образами:

— Барышня тут одна вас спрашивает... Красивая такая... Ножки, бедра, губки — одно загляденье. Вот за тем углом стоит и просит вас подойти. Можете представить, декольте — во!

— Если я ей нужен — пусть сюда и придет, — стойко возражал молодой человек.

К полудню появилась сенсация:

Вр. Пр. осудило поведение молодого человека, а И.К.С.Р. и С.Д. присоединился — в форме осуждения Вр. Пр.

— А-а, что, — злорадствовали в толпе. — Досиделся, голубчик? Дождался? Как-то ты теперь у нас повертишься?

— Товарищ! — обратился к молодому человеку милиционер. — Вр. Пр. и И.К.С.Р. и С.Д. осуждают вас! Довольно вам этого? Сойдите с рельс.

— Не п-пущу! — устало, но твердо сказал молодой человек. — Не хочу, чтобы тут трамвай ходил.

Снова смеркалось. Ввиду возбуждения несознательной толпы против молодого человека и ряда угроз расправиться самосудом, наряд милиции, охранявший молодого человека, был увеличен.

К ночи ждали Керенского.

На мостовой около сидящего молодого человека воздвигли из досок временную трибуну. Заметив это, ехидный молодой человек отполз шагов на сто по рельсам вниз, и трибуну снова пришлось переносить по линии следования молодого человека.

Прибывший министр произнес пламенную блестящую речь, указывая на гибельность таких поступков для дела революции и призывая молодого человека к организации. Наскоро сорганизовавшись, молодой человек свернулся клубочком на рельсах и уснул.

Восторженная толпа на руках донесла министра до извозчика, а митинг продолжался до самого утра: говорили представители рабочих Выборгского района и делегации черноморских моряков. Разногласий не было: все осуждали поведение молодого человека.

И снова взошло солнце, и снова наступил день, полный слез, горя и отчаяния: молодой человек все еще сидел на рельсах!..

И вдруг...

Вы помните, читатель, рассказ из хрестоматии об огромном камне, лежавшем на дороге. Поднять его и увезти было невозможно, а мешал он движению невероятно. Были инженеры, предлагавшие разные проекты удаления камня, но все это было очень дорого и малоосуществимо. И вот вдруг приходит простой рязанский мужичок и говорит:

— За сто рублей уберу камень.

Ахнули все, а мужичок вырыл у камня большую яму, свалил его туда, заровнял дорогу, а землю вывез на пяти возах. Тем дело и кончилось.

В моем правдивом рассказе об упрямом молодом человеке тоже объявился рязанский мужичок. Шел он по Литейному, посвистывая, вдруг видит: толпа. «Почему такое собрамшись?!» Объяснили ему, как могли. И ударил себя по ногам мужичок: «Так чего ж тут и думать-то?? Нешто нету выхода?! Есть выход!»

В ноги упали ему милиционеры, комиссары и прочая свободная публика: «Выручи, серый! Вызволи — во веки веков не забудем».

— Вот вы что сделайте, — сказал мужичок. — Какая есть улица, чтобы рядом была?

— Набережная Фонтанки.

— Ну, вот. Постройте вы новый рельсовый путь с Невского, чтобы не на Литейный, а на Фонтанку... А с Пантелеймоновской можно опять свернуть на Литейный пониже молодого человека. Поняли? Обгоните вы его, стервеца, — и черт с ним!

И все плакали и лобызали мужика.

— Благодаря вам, — сказал растроганный министр на торжестве открытия нового трамвайного пути, — благодаря вам принцип свободы и неприкосновенности личности в Свободной России не был нарушен!

Чтобы не подумали, что вся эта история — выдумка, я даже готов назвать имя молодого человека. Извольте:

— Иван Петров.

ВЗБУНТОВАВШИЕСЯ РАБЫ

Свежая оригинальная мысль пришла мне в голову, когда я прочитал две газетные заметки, относящиеся: одна — к Петрограду, другая — к Москве.

Петроградская заметка:

«В Совете Рабочих Депутатов большевик Троцкий заявил: “Я требую, чтобы министр Керенский явился сюда и дал объяснения по поводу своих «военных выступлений!” — “Но ведь Керенского сейчас нет — он на фронте”, — кротко возразили ему меньшевики. “Ах, нет! Ну, все равно, когда приедет — пусть сейчас же явится сюда и даст свои объяснения!”»

Московская заметка:

«... На митинг приехал и министр Церетели. Когда он заявил, что тоже хочет сказать речь, ему ответили: “Подождите, сейчас не ваша очередь. Когда дойдет до вас очередь, тогда и скажете”. Министру пришлось прождать более часа».

Вы подумайте, посадили человека за стол, а он положил ноги на стол, смачно сплюнул на сторону и говорит: «А подать сюда министра Керенского!» И что же вы думаете? Ведь приехал Керенский! Бросил все свои огромные государственные дела и приехал пред грозные очи товарища Троцкого, которому что-то в поведении министра не понравилось...

И во втором случае: министр почт и телеграфов Церетели — министр огромной России, министр, каждая минута которого должна стоить тысячу рублей, — хочет сказать толпе то, что он считает нужным, а ему говорят: «Осади назад! До тебя будет говорить товарищ Мирон, потом то-

варищ Филимон, потом товарищ Пантелеймон, а потом уже ты, товарищ».

И сидит министр на тротуарной тумбе, кротко сложив руки и терпеливо ожидая, пока кончат свои вязкие, набившие уже всем оскомину речи не известные никому товарищи Мирон, Филимон и Пантелеймон.

В чем тут дело, господа?

Что они — мальчишки и щенки, что ли, эти самые Церетели и Керенские? Нет! Это цвет России, ее яркие звезды на фоне общего серого новоказарменного неба. Они мало популярны? Ну, у кого же повернется язык сказать это? Они враги революции?

Нет, они главные творцы ее и создатели.

Верно?

А вместе с тем, в одном случае неведомый развязный господин кладет ноги на стол и скучающе говорит: «А не вызвать ли сюда Керенского? Скушно чивой-то. Пусть порасскажет чего, развлечет... Эй, мальчик! А звякни-ка ты Керенскому, чтоб он сейчас же заявился, — мол, Троцкий требовает».

А за шестьсот верст от этой неживописной, унылой картинки можно наблюдать другую, совсем уже не живописную, унылую картину: сидит министр, пригорюнясь, на тумбочке и ждет, пока дойдет до него очередь сказать слова, нужные всей России... Ждет полчаса, час... Длительный час, в который выбрасывается на воздух и тонет бесследно сто тысяч унылых, серых и скучных, как старое расписание поездов, слов...

В чем же тут дело?

Вы помните, что такое были министры старого, проклятого Богом и людьми режима? Помните, какими они Юпитерами, какими Зевсами-громовержцами держались? Перед ними ходили на цыпочках, перед ними склонялись... Мне возразят — ну, кто там склонялся — хамы и холопы... Неправда. А Нахамкес? Тот Нахамкес, который «верноподданнически» просил, молил о перемене фамилии, и даже что-то повергал к каким-то стопам... Нет, все, сверху донизу, от развитого интеллигента до низшего индивида склоняли перед министрами голову, говорили пониженным голосом и не только не требовали министра к себе, а, наоборот,

у него в передней верноподданнически простаивали целыми часами...

И опять я спрошу: в чем же дело?

Лучше, умнее, благороднее были прежние министры? Ни боже мой! Дурак на дураке, хам на хаме. Теперешние министры перед ними — это сверкающие бриллианты перед кучей гниющих отбросов. Может быть, они, прежние-то, любили Россию? Любили так же, как поросенка под хреном — слопать бы его поскорее.

В чем же дело?!!!

Я вам скажу, только вы на меня не обижайтесь: все дело было в их мундирах, орденах, лентах и золотом шитье. И, когда они в таком чучельном виде выходили перед толпой, все почтительно склоняли перед ними головы, и по рядам несся благоговейный шепот: «Министр идет, министр»... И важно проходил этакий позолоченный идол с каменным лицом, весь расцвеченный разноцветными балаболками, ленточками, крестиками, расшитый, расписанный, разрисованный — точь-в-точь та знаменитая писаная торба, которая, по свидетельству пословицы, так мила дурню.

Граждане! Товарищи! Братья! Сделайте вывод: раз коллективному всероссийскому дурню нужна писаная торба (ибо неписаную он пренебрежительно тычет сапогом при каждом удобном случае) — так дайте ему эту «писаную торбу»...

Министры! Снимайте ваши скромные рабочие куртки, которые так умиляли первое время — снимайте свои затрапезные пиджаки!.. Свободные русские товарищи еще не доросли до того, чтобы уважать благородную бедность народа. Они недостойны этого символа братского единения с ними... Дайте им убогую роскошь наряда, нацепите на себя фунтов десять золота, увешайтесь «Белыми орлами», «Красными подвязками» и «Зелеными крокодилами», и когда вы в таком попугаечьем виде прибудете на митинг, перед вами растянут красный ковер, возведут под руки на трибуну и скажут: «Говорите, ваше высокородие». И никто не хлопнет вас по плечу, не попросит сигарку, и даже сам товарищ Троцкий уберет ноги со стола и привстанет при вашем появлении, а товарищ Нахамкес верноподданнически припадет к стопам и замрет так в припадке идолопоклоннического экстаза.

* * *

Ах, товарищи министры, товарищи министры!... Если вы еще промедлите и не снимете ваших рабочих курток, то вас, Керенский, будут называть Сашей, одобрительно похлопывать по спине, а при виде Церетели радостно и общительно кричать: «Хады на мой лавка!»

Итак, солдаты — в окопы, рабочие — к станкам, министры — к голубым лентам через плечо, к «подвязкам», «орлам» и «крокодилам» всех цветов и оттенков...

Мало этого? — вызолотите себе лицо, устройте так, чтобы флейтщики бежали перед вами, скороходы, гладиаторы и тимпанщики — за вами, чтобы вас носили в паланкинах, и тогда, может быть, товарищ Троцкий уберет ноги со стола, а председатель митинга предоставит слово раззолоченному бедняге Церетели вне очереди.

САЛАТ ИЗ БУЛАВОК (1)

I

Логический вывод.

На один митинг, устроенный большевиками, явился скромный господин с интеллигентным приятным лицом и сдержанными манерами.

Это был я.

Когда я приблизился к председателю митинга, он спросил меня:

— Чего вам?

— Хочу говорить. Запишите меня оратором в очередь.

— Хорошо. Как ваша фамилия?

— Виктор Гюго.

Он был ошеломлен.

— Что-о-о?!!

Я приятно улыбнулся ему и твердо повторил:

— Моя фамилия — Виктор Гюго.

— Но... ведь... Виктор Гюго... давно уже умер.

— Разве? Какой удар. Впрочем, я что-то такое слышал об этом. Да-а... Не живут на свете талантливые люди.

— Как же вас записать?

— Виктор Гюго.

Председатель с расширенными от удивления глазами и суеверным ужасом на лице встал и дрожащим голосом обратился к аудитории:

— Товарищи! Происходит что-то странное: явился человек и говорит, что его зовут Виктор Гюго.

Сотни глаз впились в меня, и вдруг среди тишины прозвучал чей-то голос:

— Да позвольте: я его знаю. Это — Аркадий Аверченко.

Председатель бросил на меня взгляд, полный упрека:

— Как же вы говорите, что вы — Виктор Гюго, когда вас зовут Аркадий Аверченко?

— О, могильные черви! — завопил я. — У вас не хватает даже крохотного, микроскопического мужества — быть справедливым!! Если ваш Бронштейн называет себя Троцким, Андельбаум — Зиновьевым, Розенфельд — Каменевым, Нахамкес — Стекловым, Гиммер — Сухановым, Гольдман — Горевым, Гольденберг — Мешковским и Лурье — Лезиным, если все вы изменили свои немецкие фамилии на русские, то почему же мне не изменить свою малороссийскую фамилию на французскую!? Только вкуса-то у меня будет побольше, чем у вас! Виктор Гюго!! Разве плохо?

Я пожал плечами и повернулся, чтобы уйти... И услышал за своей спиной:

— Меняет фамилию... Гм! Наверное, провокатор.

Трудно быть справедливым в революционной России.

II

Уничтожение классовых перегородок.

— Здравствуйте, голубушка. Вы кто?

— А я горничная новая. Вы ведь публиковали.

— Как же, как же... Присядьте. Наши условия вот какие...

— Может быть, вы раньше выслушали бы мои условия?..

— Сделайте одолжение.

— Вот: жалованье — 120 рублей в месяц, служба от 9 до 5 часов, отдельная комната, пища ваша, праздники свободные, ежегодно месячный отпуск, наградные на Рождество и Пасху. Нравятся вам эти условия?

— Очень.
— Подходят?
— Очень подходят. Я от них в восторге.
— Ну вот и хорошо.
— Я от них настолько в восторге, что хочу даже предложить вам одну комбинацию.
— Ну-с?
— Не возьмете ли *вы* меня в горничные на этих условиях?
— То есть?!!
— Сделаем обратное: вы переходите в барыни, а я с удовольствием поступлю к вам на ваших же условиях — в горничные.

III

Сознательные граждане.

Шесть русских граждан явились в ресторан поужинать.
Посмотрев карточку, один из компании предложил:
— В меню есть целое седло молодого барашка. Давайте закажем на всех целое седло.
Другой из компании поморщился:
— Ну, какая теперь баранина! Черствый сухарь с сальным запахом. Давайте закажем лучше на всех целого гуся.
— Гуся? Да что вы, батенька! Ведь гуси мороженые!!
— В июне-то?
— И очень просто. Из холодильников. А седло барашка...
— К черту ваше седло! Вы бы еще подпругу предложили.
— Вы думаете, это очень остроумно?..
— Во всяком случае, остроумнее, чем...
— Ну, поехали! Господа! Я предлагаю поставить вопрос о седле или гусе на голосование. Кто за седло — поднимите руку!
— Идет... Извольте... Получается — три руки за седло, три — за гуся!..
— Голоса разбились! Давайте выберем председателя и посчитаем его голос за два. Я предлагаю выбрать Кумекина.
— Ишь ты, ловкий какой. Они оба с Кумекиным за седло, так он предлагает Кумекина, чтобы иметь перевес за седло. А я предлагаю Чертобатькова...

— Гусевика-то? Не менее ловко. Нет уж, если по справедливости, — предлагаю выбрать председателя закрытой баллотировкой.

— Принимаю! Но только имею заявление по вопросу голосования...

— Ну-с?

— Считаю, что прения еще недостаточно осветили то или иное содержание нашего ужина, и поэтому предлагаю прения продолжать...

— А я предлагаю выделить из нашей среды комиссию и командировать ее для ознакомления на месте, на кухне, с качеством как гуся, так и седла.

— Да, но если в комиссию попадет большинство гусевиков — они будут тянуть в свою сторону и провалят седлистов...

— Ну так пусть в комиссии будут равномерно представлены гусевики и седлисты.

— Но ведь тогда опять голоса разобьются.

— Прошу слова! Господин председатель...

— Какой председатель? У нас нет председателя.

— Так выберем! Закрытой баллотировкой. Вот вам бумажки — пишите же...

....

— Итак, господа, большинство получил Чертобатьков.

— Гусевик! Долой его!

— Позвольте, господа! Ввиду того, что при голосовании были допущены правонарушения...

— Прошу слова!

— И я! Меня запишите за ним.

— И я прошу слова... А вот идет официант... Он хочет что-то сказать... Вы тоже просите слова, товарищ ресторанный служащий...

— Да... я...

— Господа! Предлагаю предоставить слово товарищу ресторанному служащему вне очереди.

— С какой стати? Пусть запишется!

— Поставим на голосование!

— Говорите, товарищ ресторанный служащий!

— Слушаем, слушаем! Браво!

— Я... я только хочу сказать, что ресторан сейчас закрывается, и вы...

— Позвольте, товарищ! Мы есть хотим...

— Надо было заказывать раньше. Кухню только сейчас закрыли.

— А все гусевики, черт бы их драл...

— И вы, седлисты, тоже хороши. Вот и иди домой, не солоно хлебавши.

Много, очень много у нас говорят. Так много, что, боюсь я, останется Россия в конце концов и без седла, и без гуся...

ИХ КОКОТСТВО

— Большевики напоминают мне ночную фею, которая никогда не выходит на «работу» без грима...

— А какой у них грим?

— Ну как же: Роберт Гримм.

Я ПРИПОДНИМАЮ ЗАВЕСУ

И война России с Германией кончилась так, как хотели того товарищ Зиновьев, товарищ Ленин и товарищ Луначарский: Россия заключила с Германией сепаратное перемирие и зажила на обещанную Германией за перемирие субсидию, а Германия всеми освободившимися силами снова набросилась на Францию и Англию.

— Ф-фу! — сказал товарищ Зиновьев, облегченно вздохнув. — Поработали. Теперь можно и отдохнуть.

— Настоящий отдых только за границей, — мечтательно проворковал Луначарский.

— И то верно... Куда бы нам поехать?

— Хорошая страна — Франция, — мягко заметил Ленин.

— Хорошая, да не для всех, — угрюмо возразил Зиновьев.

— Почему? Страна очень красивая, плодородная, да и население прекрасное.

— Ну, да? Суньтесь-ка туда. Это прекрасное народонаселение так даст вам по шее, что не будете знать, как и выбраться из «красивой плодородной страны».

— Да, правду сказать, и зачем нам Франция, когда существует на свете Италия... О, Dio mio! Венецианские каналы, римские антики, чудесная полента, макароны!

— Макароны бывают разные, — проворчал Зиновьев. — От некоторых так болит шея, что свинцовой примочки ведро понадобится.

— Я слышал, — вставил Луначарский, — что многие туристы очень одобряют Англию. Этакие коттеджи, ростбиф, футбол, Вестминстерское аббатство.

— Та-ак. В качестве кого же вы поехали бы в Англию?

— Натурально: как турист.

— А вы думаете — турист происходит от слова турнуть?

— А что?

— Вот то: турнут нас из Англии так, что дорогу забудем...

— Ну и черт с ней, с Европой!! Поедем в Азию. Кто, например, из вас бывал в Японии? Гейши, бумажные фонарики, дженерикши. Ах, красота! Одни изделия из слоновой кости чего стоят! Ширмочки разные, шелковые кимоно. Вообразите: теплая японская ночь, процессия, — пестрая, красочная, все унизано фонариками. И тут же мы стоим и любуемся...

— Фонарики-то, пожалуй, будут, — только у нас под глазами... Японцы — народ серьезный, и за такую штуку, которую мы выкинули, по головке не погладят.

— Нет, Азия, по-моему, нехороша. В ней есть что-то такое, этакое... азиатское. Что касается меня, то вот что меня тянет, как магнит: свободная Америка.

Зиновьев скорбно усмехнулся.

— Хотите поехать в Америку?

— Да! Чудесная страна! Ковбои, бизоны, небоскребы. Едва только ступим мы с парохода на твердую землю...

— Не ступите!

— Это почему же?!

— Потому. Американцы еще покруче англичан. Узнают, что мы русские, и тово...

— Чего?

— Этого-самого. Не забывайте, что мы их подвели больше всех, втянув в войну, а сами тут же взяли, да и обсепаратились.

— Казус! Куда ж нам тогда ехать? Не в Болгарию же или в Турцию!..

— Эх, вы, бардадымы! Шапку ищете, ан она на голове. «Куда, куда ехать?!» В Германию надо ехать!

— А ведь верно! И примут нас там хорошо, все-таки поддержали мы их.

— Да уж, поработали!

— На совесть!

— Господа! Только условие: если предложат бесплатную квартиру, или там стол, или даже что-нибудь из носильного платья — не брать! А то подумают, что мы с корыстной целью для них работали.

— Ни-ни! Чистота партийной программы — одно, а подкуп — совсем другое. Мы люди честные!

— Конечно. Не из-за ихних паршивых обедов работали, а по Циммервальду. Верую, как говорится, и исповедую...

* * *

В Германии.

— Вы кто будете?

— А народ мы необидный. Русские мы: Ленин товарищ, да Зиновьев товарищ, да опять Луначарский, товарищ же.

— А-а... Понимаю. Пожалуйте к канцлеру. Он там все сделает.

— Да что делать-то?! Нам ничего не нужно.

— Ну, как не нужно. Это так говорится, что не нужно. А на самом деле нужно...

— Фу ты, пропасть! Ну, пойдем...

— Что?! Чек? Вы, господин канцлер, с ума сошли! Мы честные русские большевики, и немецких денег нам не надо!!

— Как — не надо? Так из-за чего же вы старались?

— Мы... так... Сами по себе.

— Да что ж вам за смысл был продавать своих союзников так просто, зря?!

— А мы... не знаем... Мы были в Циммервальде... и там нам сказали...

— Эх, вы! Да у вас кто там председательствовал, в Циммервальде?

— Роберт Гримм...

— Ну, вот. Могу вам показать и расписочку его в получении. Вот она, видите?

— Гм! Неприятно. Ну, пойдем.

— Вот оригиналы! Да вы зачем в Германию-то приехали? Я думал — за расчетом.

— Вы с ума сошли! За кого вы нас принимаете?

— Да чего ж вам надо?

— Ничего. Желаем, чтобы нам оказывали уважение, как представителям равного с вами народа.

Канцлер кисло поморщился и развел руками.

— Ну, знаете... Еще деньги я мог бы дать, но уважение... это, видите ли, — не марки, его не разменяешь и в карман не положишь.

— Да что ж, мы не такой народ, как другие, что ли?

Канцлер побарабанил сухими пальцами по портсигару.

— Выходит — не такой.

— А какой же мы народ?

— Вам лучше знать.

— Однако, мы вам помогли, освободили вас от войны.

После некоторого колебания канцлер вдруг встал и решительно сказал:

— Да! Все это правда. Все это хорошо, прекрасно, замечательно! Существуют государства, напоминающие людей, которые, не задумавшись, всадят нож в спину другу своему, союзнику и брату. И мы даже часто пользуемся услугами этих людей. Но никогда я, честный немец, не посажу такого «полезного» человека за свой стол и никогда не познакомлю его с моей честной семьей. Такие люди приходят ко мне ночью с черного крыльца, и я говорю с ними, не пожимая протянутой руки! Ферштейн зи?

— Яволь, — вздохнули трое горемычных «товарищей» и, толкая друг друга в дверях, стали выбираться из комнаты.

— Вот скотина, — пробормотал Луначарский. — Даже спасибо не сказал.

На другой день все трое долго стояли около географической карты, бессистемно и тщетно тыкали в нее пальцами, а вечером долго расспрашивали швейцара гостиницы, как лучше проехать в Сиам и Абиссинию...

— Люблю черных, — вяло, с некоторой натугой объяснял Луначарский.

* * *

У кого повернется язык сказать, что этого не будет, если мы продадим по совету Ленина, Луначарского и Зиновьева союзников и братьев наших — Францию и Англию?

Аминь.

КРОТКИЕ ГОРОДОВЫЕ

«А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить...»

Это присказка, а сказка впереди...

Всем, конечно, известен старорежимный анекдот о городовом и пьяном? Существовало такое постановление начальства, что городовой мог арестовать пьяного и отвести его в участок лишь тогда, когда пьяный упал на землю. До тех же пор, пока пьяный еще держится на ногах, он для городового неприкосновенен...

И вот идет по улице пьяный, шатаясь, как былинка под норд-остом, но на лице широкая блаженная улыбка, в сузившихся глазах — самоуверенность и сознание своего права:

— Пока стою на ногах, посмей-ка меня тронуть!

А за ним, как шакал за раненым оленем, упорно и настойчиво шагает городовой.

Он терпеливо ждет, когда благородная дичь свалится и на нее можно будет обрушиться всей силой своих лап.

Так и бредут они оба через весь город, один сзади — упорный, терпеливый законник, другой впереди — весь обвисший, обмякший, но еще сознающий, что единственно, что делает его неприкосновенным — это вертикальное положение...

Упади он — конец. Мрак. Отчаяние. Участковые скорпионы, заушение и мордобой.

Амплитуда колебаний пьяного такова, что все прохожие в ужасе шарахаются от этой падающей, но не могущей упасть пизанской башни.

И почти всякий понимает, что эта колеблющаяся и спотыкающаяся фигура на приличной людной улице — верх непристойности, верх разгильдяйской глупости, но ничего

не поделаешь — закон. Раз человек не упал — он такой же полноправный прохожий, как и другие.

Но вот шаги его делаются все неувереннее и неувереннее...

Раза два он сильно споткнулся, один раз обрушился даже всей тяжестью своего распухшего, налитого спиртом тела на проходящую девушку... И в ответ на ее крик, полный ужаса и возбуждения, городовой только развел руками:

— Пока ничего не могу сделать. Не доспел.

И вот, наконец... шаги делаются все слабее, слабее... Вот он покачнулся, задержался на мгновение в наклонном напряженном положении и тяжело рухнул на каменные плиты тротуара.

— Сто-ой! — кричит он, приподнимаясь с усилием на одном локте. — Я еще не упал. Не смей касаться! Я сейчас встану.

И стоит над ним молчаливый городовой, и спокойно наблюдает жестокую борьбу человека с алкоголем. Ждет.

— Вр-решь, брат! Не возьмешь!.. Встану!..

Но подворачивается слабеющая рука, и снова рушится врастяжку грязное пьяное животное.

И тут по лицу его расплывается жалкая, бессильная улыбка:

— Вот теперь забирай. Твоя взяла.

Это присказка, а сказка впереди.

* * *

Заключается же она, сказка эта, в том, что роль безобразного пьяного, обрушивающегося на прохожих и угрожающего движению, взяли на себя анархисты и большевики, совершенно разнуздавшиеся, призывающие к грабежам, захватам и убийствам.

Бредут они через всю Россию, пьяные от безнаказанности и жажды крови, а за ними тихо и кротко шествует городовой в виде Временного Правительства, и на лице его написано такое благоговейное преклонение перед свободной личностью гнусного пьяницы, что оторопь берет.

— Да что вы на него смотрите! — вопят шарахающиеся в сторону прохожие. — Схватите его и отведите в участок! Пусть проспится.

— Не могу-с — отвечает благородно настроенный городовой. — Пока не упал, он — такой же гражданин, как и вы. Вот если рухнет на землю, если падет в фигуральном смысле, если прольет чью-либо кровь, если перережет десятка два ваших родных и знакомых, тогда другое дело. Тогда участка ему не миновать.

А пока?

И пустеют улицы, и бегут мирные граждане — кто куда, а по пустынной улице бредет, пошатываясь, пьяный, нагруженный до самых ушей бомбами, пироксилиновыми шашками и пулеметными лентами.

— Упадет! — в паническом страхе кричит редкий прохожий, сворачивая в переулок. — Стоит ему упасть — все взлетит на воздух!

— Вот когда упадет, — благодушно отвечает временно-правительственный городовой, — тогда мы его и — того... Немножечко арестуем.

Идут оба так через всю людную всероссийскую улицу.

Странная, глупая, позорная, нелепая процессия.

— Ведь упадет! Хватайте скорее его за воротник.

— Подождите, упадет — тогда и схватим.

* * *

Если бы наше Временное Правительство и Совет Р. и С. Депутатов были частными лицами, этакой воркующей парочкой, и если бы к ним однажды ночью забрались в квартиру разбойники, — я представляю себе классический диалог между супругами:

— Машенька! Ты закрывала на ночь окно?

— Ну, как же! На задвижку закрыла.

— Вот странно, а оно открыто. И даже кто-то, я вижу, в него лезет.

— Гм! Кто бы это мог быть?

— Не знаю. Какие-то незнакомые лица.

— А, может быть, это кто-нибудь из наших родственников?

— Ну что за вздор, Вася, — какой родственник может в три часа ночи лезть в запертое окно третьего этажа?!

— Интересно, что им нужно?

— Не постигаю! Вася!

— Ну?

— Это, может быть, какие-нибудь нехорошие люди?

— Ну что ты, Машенька, — откуда же они возьмутся? Все люди хорошие.

— У одного я вижу в руке нож...

— Действительно, нож. А вилки и ложки не видно. Вот чудак.

— А вдруг они нас ограбят?

— Ну, как можно оскорблять людей таким подозрением?!

— Револьвер близко?

— Револьвер у меня в комоде, в нижнем ящике... Вот я их сейчас спрошу о цели такого странного позднего визита. И если из их ответа выяснится, что они действительно хотят нам принести вред, то я выну из кармана брюк, которые висят в шкафу, ключ от комода, открою комод, выну револьвер и, зарядив его, пригрожу им огнестрельным оружием.

— Так делай же это скорей!

— Постой, друг мой! Раньше нужно с ними поговорить, выяснить... А вдруг они просто заблудившиеся люди! Вот я сейчас... Здравствуйте, товарищи! Смею спросить, чем обязан... постойте, что вы!!! Я... кр... кр... кар-раул, убив-в...

Поговорил.

КАПЛИ КРОВИ

Аркадия Аверченко

Рассвет. Тихое, тяжелое, как свинец, море.

Катер отделяется от миноносца и, рассекая, вспенивая винтом свинцовую воду, направляется к маленькому, забытому богом и людьми островку — Березани.

Предутренний ветерок чуть рябит тяжелую воду у песчаного берега. Катер остановился, и из него трусливо и злобно выталкивают худого изнуренного человека без шапки, босого, в одном белье.

Много побеспокоил народу этот жалкий, безоружный человек: это из-за него выстроился взвод матросов с винтовками, это из-за него взвод матросов окружен ротой пехоты, получившей приказ стрелять в матросов в случае их неповиновения. Это из-за него несколько военных судов,

окружив остров, навели пушки на роту пехоты для устрашения ее — на тот случай, если она откажется стрелять в матросов, в свою очередь могущих отказаться стрелять в босого безоружного человека. Если можно было бы окружить чем-нибудь и военные суда для устрашения их, на тот случай, если они откажутся стрелять в пехоту, — окружили бы, заперли бы безоружного босого беднягу в четыре железных кольца — чтобы покрепче было, попрочнее.

И вся эта грандиозная суматоха поднялась только из-за того, что нужно было всадить в маленькое красное сердце босого несколько свинцовых пуль.

А он шел к своему месту, спокойный, гордый и вместе с тем ласковый, ко всем неся в себе, босом, избитом и истерзанном, огромную любовь к русским людям, к истерзанной России.

Дошел до своего места. Встал. Поглядел на восход солнца, тихо вздохнул, сказал: «Пожалуйста, повязки на глаза не надо. Умру так».

И умер, успев крикнуть с пулями в теле:

— Да здравствует революция! Умираю за свободу России!

Лейтенант Шмидт! Я хотел бы, чтобы твоя святая бессмертная душа витала где-нибудь за моим плечом в то время, как я пишу эти строки. Я хочу, чтобы ты прочел то, о чем я скажу ниже...

Раз ты, благородный, чистый сердцем моряк, сказал перед смертью: «не надо повязки на глаза!» — я исполняю твою предсмертную волю: действительно, к черту повязки! Смотри, взгляни прямо на то, что происходит в России, что делают русские, — те самые русские, за которых ты положил алмазную жизнь свою, за которых мученический венец приял.

Ведь тебе не страшно взглянуть на нас, тебе, который так смело, не моргнув глазом, смотрел в черные дула ружей, направленных в твою голову.

Взгляни через мое плечо, прочти, что я расскажу тебе — это будет чистая, как хрустальный родник, правда, потому что тебе, твоему светлому духу, нельзя лгать.

А может быть, бедный ты мой, легче тебе было переглянуться с черными глазами ружейных стволов, чем увидеть сейчас то, что я покажу.

Тогда, по крайней мере, была у тебя надежда на *будущее*, а теперь вот оно, это будущее, перед тобою... Оно уже настоящее...

Гляди:

* * *

Это, конечно, не все, но их много.

В 9 часов утра, в 11 часов утра, в 3 часа дня их можно встретить повсюду — от широкого многоверстного Невского до какого-нибудь окраинного Кривоколенного переулка. Они бродят, лениво волоча отяжелевшие ноги, грызут семечки, торгуют папиросами, торгуют увядшими в крепких потных ладонях цветами, таскают пассажирам вещи в вагоны, а чаще всего просто висят этакой живописной гроздью на трамвайной площадке, влекомые неведомо куда, неведомо зачем...

Кто они?

Назовем их точно: это неизвестные люди, одетые в солдатскую одежду.

Это не солдаты, нет. Солдаты не такие. Если в военное время солдат не воюет — он не солдат.

Солдат не может торговать папиросами и получать на чай от щедрых железнодорожных пассажиров...

Я слишком уважаю солдата, чтобы думать, что солдат может торговать из-под полы необандероленными папиросами или получать на чай от пассажиров. Солдат благороден. Солдат защитник отечества, солдат гордость страны, а не маклак, спускающий у набережной Фонтанки казенные сапоги и гимнастерку презренному скупщику.

И вот бродят они по городу — ленивые, вялые, бездеятельные и корыстолюбивые, — эти «неизвестные люди, переодѐтые в солдатскую одежду».

Видишь ли ты их, Шмидт?

Ведь это те сыны свободной России, на долю которых пришлось несколько капель твоей святой крови.

Помнишь рассвет, песчаный берег, свинцовую тихую воду, запах порохового дыма, — это для них ты сделал.

* * *

Это, конечно, не все, но их много.

До революции они получали то, что обнищавшее государство могло заплатить, и работали, работали до седьмого

пота на оборону. Теперь, в первые же дни после революции, они взвинтили плату за труд втрое, ввели 8-часовой рабочий день и почили на лаврах.

Конечно, это все нужно: и восьмичасовой день, и увеличение платы, но зачем они так спешили? Почему такая торопливость?

Разве их первая революционная мысль была о России? О родине? Нет. О себе.

Прочти надписи на их знаменах, Шмидт, на тех самых знаменах, которые они так гордо несут впереди на всех манифестациях:

— «Да здравствует пролетариат».

— «Да здравствует Интернационал».

— «Да здравствует Циммервальд».

А ведь так было бы просто написать:

— «Да здравствует Россия».

Никому из них в голову не придет этот архаический лозунг.

Он только тебе пришел в голову, когда ты стоял перед ружейными дулами. Это ты, смешной старомодный чудак, крикнул, падая:

— «Да здравствует революционная Россия!»

И на их долю тоже пришлась часть твоей святой крови — на долю людей, гордо несущих шикарный плакат:

— «Да здравствует Циммервальд».

О! Ты, мирный Циммервальд, никогда не знал, не видел свинцовой, притихшей от ужаса, воды, песчаного унылого берега, и холодный предрассветный ветерок никогда не шевелил тебе в последний раз волос на обнаженной голове.

* * *

— Извозчик, на Николаевский вокзал.

— Хм!.. Повезти, что ли ча?.. Давай восемь целковых.

— В уме ли ты? За пятнадцать минут езды.

— А дорого — не садись. Чего зря язык чесать!

— Но ведь ты пользуешься моим безвыходным положением! Раньше ты и не подумал бы...

— Чего там раньше. Раньше было одно, а теперь свобода.

Вот он сидит передо мной — невыносимо-развязный, опьяневший от безнаказанности и сознания своей силы,

мелкий, темный, жалкий хам, а ведь он сын русского народа, а ведь и за него ты пролил частицу твоей крови, и он украшен одной рубиновой каплей твоего простреленного сердца.

И всплывает ужасная мысль:

— Нужен ли был, подлинно ли был так необходим песчаный пустынный берег, кольцо кораблей, одинокий босой человек без шапки и ружейный залп, направленный в затравленного босого человека.

Гляжу я в немую пустоту и задаю тебе, Шмидт, страшный вопрос:

— Если бы знал ты тогда о том, что я тебе рассказал сейчас, пошел бы ты на свою Голгофу? Стоила бы наша позорная шулерская игра такой прекрасной Божьей жертвенной свечи? Зная о том, что делается теперь, встал ли бы ты под выстрелы?

Ответь же мне, Шмидт!

И слышится мне, вместе с далеким благовестом далеких колоколов, еле уловимый в городских шумах ответ:

— Все равно пошел бы. Встал бы.

— Почему?! — мечется мысль моя. — Ответь!

И отвечает еле слышимый:

— Ибо не ведают они, что творят.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНЕРОВ

— Товарищи! — бил себя в грудь (и по заслугам) Ленин. — Я предлагаю вам верное средство для разрешения финансового кризиса! Арестуйте просто десяток-другой буржуев-миллионеров, и пусть они выдадут нам секреты своего обогащения!

— Верно, — ревела толпа. — Правильно!

— Товарищи! Я вас назову ослами и идиотами...

— Правильно! Верно, — ревела восторженная толпа. — Тонко подмечено!

— ... Назову вас ослами и идиотами, если вы упустите такой хороший случай: разузнать источники и происхождение колоссальных богатств, награбленных капиталистами-миллионерами! В тюрьму их! К допросу! Пусть признаются!

Момент был благоприятный: поблизости не было никого из министров, кто мог бы запротестовать против такого остроумного разрешения финансовой проблемы: министры-социалисты сидели по казармам некоторых запасных полков и убеждали товарищей солдат, что продажа необандероленных папирос и беспрерывная езда в трамвае не являются одним из средств уничтожения живой немецкой силы на фронте.

Министры-буржуи были вызваны на митинг работников самоварного цеха, где должны были дать объяснения: за сколько они запродались английским империалистам, и почему эти деньги не обращены в пользу трудящихся... Министр юстиции Переверзев со сбившейся на затылок шляпой, вылезшим сзади галстуком и мокрыми растрепанными волосами метался по всему городу, отыскивая очередную квартиру для очередной партии а.-в. (анархистов-взломщиков) — одним словом, все министры были заняты своими делами, и им было не до Ленина.

А Ленин был тоже не дурак и, как говорится, парень себе на уме. Заметив, что надзора за ним нет, он проревел с балкона свою вышеприведенную речь, подмигнул кому следует — и в следующую же минуту нестройная толпа вихрем помчалась приводить в исполнение демократическое предложение своего идейного вождя.

Полчаса спустя десять самых богатых, самых матерых и отборных капиталистов со скрученными на спине руками уныло предстали перед трибуналом, руководимым все тем же прилежным, вездесущим и всеведущим Лениным.

— Ну-с, ребятушки, — избочась, усмехнулся Ленин, — погуляли вы на воле, попили нашей кровушки, да и будя.

— Верно, — проревела толпа. — Будя! Правильно.

— Исходя из этого, — начал Ленин...

— Вер-рно, — подхватила неприхотливая толпа. — Правильно сказал! Именно, что «исходя из этого!» Так их и надо! Исходи их покрепче.

— Исходя из этого и не видя других путей...

— Во-во! Именно, что путей! Правильно говорит он: других! Не видя других путей, и больше никаких гвоздей!

— Дайте же мне слово сказать, — взмолился Ленин. — Что за хамство...

— Верно, хамство! Правильно сказано: дайте же мне слово! Не бойся, товарищ!

Поддержим!

— Одним словом, господа капиталисты, я от имени революционного пролетариата требую, чтобы вы указали нам источники вашего обогащения.

— А зачем вам это, господа? — несмело спросил самый крупный капиталист.

— А затем, — сказал один черный, как жук, угрюмый большевик, — что мы все равны, и то, что известно вам, должно быть известно и нам. Мы такие же люди, как и вы, и тоже, может быть, хотим сделаться миллионерами!

— Да ведь у нас особых секретов нет.

— Ну, да. — тоже! Знаем мы, — нет! Даром же, зря, из воздуха, деньги не возьмутся, — как-нибудь вы их сделали. Говорите!

— Говори, падаль! — зашумела веселая толпа. — Говори, как сделался миллионером.

— Хорошо, — вздохнул миллионер. — Слушайте...

И вся толпа притихла так, что слышно было лишь тяжелое прерывистое дыхание черного жукообразного большевика.

Нервы всех напряглись, как струны, — вот сейчас они сами, своими ушами услышат, узнают секрет богатства, тот таинственный и сладкий «сезам», который должен перед каждым из них открыть золотые двери роскоши, уюта и благоденствия.

— Тссс! Не сопи ты носом, бегемот несчастный!

— Кто сопит? Я соплю? Сам сопишь, а на меня...

— Тихо, вы там!

— Говорите!

— Итак: начал я, господа, с пустяков... Был конторщиком в угольном товариществе. Получал 50 рублей и кое-что откладывал. Ну, конечно, приходилось себе во многом отказывать: пил чай с ситным, иногда покупал селедку, по воскресеньям изредка доставал чего-нибудь мясного и разогревал на лампе. По вечерам чинил себе сапоги и стирал носовые платки, до глубокой ночи сидел за ведением конторских книг одного похоронного бюро, что давало мне еще рублей 20... Таким образом, через пять лет у меня скопился капиталец в две

тысячи. На эти деньги я, улучив удобный момент, купил по знакомству пять вагонов угля и продал их в розницу, нажив около тысячи.

Дальше — больше. Узнал рынок, приобрел знакомства. На десятой тысяче бросил службу и открыл маленький склад лесных материалов. Потом купил участок леса на сруб, хорошо его сплавил, расширил свой лесной двор, взял два-три представительства, ну и пошло. Теперь имею миллионов десять.

— И теперь, конечно, ходите, заложив руки в карманы, да посвистываете?

— Не совсем так. Встаю я в 7 часов утра и, наскоро проглотив завтрак, сажусь за корреспонденцию. Работаю до девяти. В девять являются мои секретари, докладывают все сводки вчерашнего и материалы сегодняшнего дня. Занимаемся до 12, в 12 мне дают московский телефон, и я разговариваю до часу. В это же время — второй завтрак, чтобы не терять времени. В час еду в свое общество, где принимаю просителей и беседую по делам до 4. От 4 до 5 — обед с кем-нибудь из деловых клиентов, а после 5 до 8 — работа над вечерней корреспонденцией. В 8—9 еду на какое-нибудь из деловых заседаний и, вернувшись в 11, до 1 работаю со своим младшим секретарем над материалами завтрашнего дня. Чашка слабого чаю — и сон. Не пью, не курю, в театрах, к сожалению, бывать не приходится.

Минуты две длилось глубокое, мертвое молчание. Председатель тяжело дышал, у президиума на лбах выступил пот.

— Вот тебе! — сказал кто-то сзади. — Узнали.

— Вот скучища-то!

— Да теперь любой солдат в Петрограде живет веселее и интереснее.

— Это сколько же часов работы выходит? — осведомился специалист по 8-часовому.

— А вот и считай: от 7 до часу ночи — 18 часов.

— Ну-ну. Закрутил.

— Вот те и миллионер.

— К чертям собачьим от таких миллионов сбежишь...

— Н-да-а-а... Не по носу табак.

— Отпустите их, братцы. Чего зря людей держать. Узнали, и хорошо.

— Идите, товарищи миллионеры!.. Да здравствует 8-часовой рабочий день для вас!!

— Боритесь за него! «Марсельезу»!

* * *

А расторопный Ленин, потоптавшись немного, влез на стол и проревел:

— Товарищи! Вы замечаете, что эти буржуи-капиталисты захватили не только все наши деньги, но и все наше рабочее время!!! Ничего нам не оставили... Вот оно — засилье!

ИСТОРИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

I. Ужас

Первые дни были днями всеобщего сплошного ужаса, смятения и скрежета зубовного... Это были дни, когда они, только что проехав торжественным маршем через всю Германию, с размаху въехали в Россию и с размаху же осели в особняке Кшесинской.

Вся Россия побледнела и осунулась.

— Боже, что же будет?.. Вот оно: начинается! Приехали неведомые заморские люди, проехали с дозволения германского начальства через всю Германию и с первых же шагов показали, что им на все Россию и российскую революцию наплевать с высокого балкона.

Приехали — и сразу же въехали в чужой дом. Конечно, ежели разбирать так, по человеческой логике, то они не имели на это никакого права... Но, однако же, въехали, и правительство смолчало, — черт их знает, может, так оно и полагается.

Все было необычно, все страшно: и то, что немцы чуть не на руках донесли их до границы, и то, что они, въехав, сразу же ограбили мирную, теперь уже частную танцовщицу, и то, что они стали говорить только с крыш и балконов, и то, что разговор их был все на одну и ту же тему: немцы, мол, такие же люди, как мы, а французы и англичане — империалисты, а наши русские буржуи этих империалистов поддерживают, и что за это-де русских буржуев нужно

резать и громить, а животишки и достатки их обратить в доход режущих...

И все очень испугались, что так будет, газеты в ужасе завопили, а Временное Правительство заметалось перед балконом, как бес перед заутреней, или, выражаясь культурнее, как Мефистофель перед крестом...

Бледность покрыла все лица, холодный пот выступил на всех лбах, и всеобщее, равное и тайное дрожание поджилок захватило с силой и мощностью андижанского землетрясения всю Россию:

— Погибаем!

II. Разногласие

После первых дней ужаса мнение о большевиках стало разделяться надвое:

— По-моему, простые жулики, — решал один недоверчивый.

— Это легко сказать — жулики! А где у вас доказательства?! Если они жулики, почему же народ их так слушает? Почему они пользуются таким успехом?

— У кого? — прищуривался недоверчивый. — У народа, по-вашему? Да разве это народ? При таком народе к карманам нужно висячие замки привешивать. Нет, продувной фруктец эти приезжие.

— Однако они же агитируют, говорят, хлопочут, волнуются. Во имя же чего-нибудь они свои идеи несут народу?

— Во имя чего? А во имя того, что на войну в окопы идти не хотят! Дело простое.

— А тогда зачем же им было приезжать? Сидели бы у себя в Швейцарии.

— А Вильгельм послал их для смуты, — вот они и приехали. Немецкие-то денежки не пахнут! Хи-хи!

— А у вас есть основания так говорить?

— Оснований у меня нет, да я и плевать хотел на ваши основания...

— Ну, так я вам скажу, кто вы: вы безответственный хам!

— А вы большевистский прихвостень, немецкая затычка, чтобы вас холера в кольцо согнула!

— После этих слов — вот вам моя карточка!

— Хоть десять.

— Драться до первой крови...
— Хоть до двадцатой.
— Расстояние — тридцать шагов.
— Хоть тридцать тысяч!

Эти горячие споры слышались повсюду, пока не надоело. Спорили этак с месяц.

III. Сомнение

— Ну, что же, — большевики-то ваши, а?..
— А что?
— Хвалилась синица море зажечь...
— Да-а... Кишка тонка оказалась.
— А говорили, что за ними миллионы.
— Маленькие!
— Я так думаю, что дурацкая это партия. Так себе, мыльный пузырь.
— И, заметьте, пузырь, который вот-вот лопнет. А ведь как горячились!
— А я даже сомневаюсь, чтоб они были искренни. Врут, передергивают, а когда их ловят с поличным — отмалчиваются.
— Да и что-то уж слишком подозрительны отношения некоторых из них к охранке: Черномазов, Малиновский.
— А ихнего Ганецкого прямо называют темной личностью.
— А Радека ихнего называют «крадек».
— А Зиновьева ихнего прямо в лицо честят «нечестной личностью».
— Гм!.. Все это оч-чень, оч-чень странно.

IV. Юмористическое отношение

Прошел в этих сомнениях целый месяц.

Надоело и это. Кое-кто начал пересмеиваться.

Извозчики понукали своих кляч:

— Н-но, ты, большевик несчастный!!!

Ночные девушки с Невского плакались друг другу:

— Приходит он до мине, а потом уходит и дает мине усего три рубли. «Я, — говорю ему, — думала, что ты приличный гость у котелке, а ты просто большевик, выходит!»

Мальчишки ругались:

— Вот дам я тебе по шее, большевистская морда!..

Улица захватала слово, затаскала, заиграла его, как вердиевский мотив на шарманке.

В солдатских казармах иногда среди мертвящей скуки поднимался веселый хохот:

— Братца, большевика поймал.

— Врешь?..

— Верное слово. «Империалисты», говорит, «буржуи», «долой десять министров-капиталистов» — смехи!

— А ну, тащи его сюда!

— Вот он. Да не брыкай ты, падаль.

— Ну и рожа... А ну, представь чего-нибудь.

— Товарищи! — загорался большевик. — Эта буржуазная война навязана нам империалистами, которых поддерживают все наши продажные министры-капиталисты!..

Раздавался взрыв хохота сотни здоровенных глоток.

— И Керенский продажный?

— И Керенский, и Церетели!

— Хо-хо-хо! Ну и чудачина! Экое отколол! А плясать можешь?

— Товарищи! Не слушайте ваших буржуев-офицеров! Вас посылают в окопы — не идите!

— Хо-хо-хо! А ну, еще что-нибудь! Ты нам насчет интернационала изобрази!.. Ха-ха! Животики надорвешь с этим народом. Михайлов! А ты все же гляди, чтобы, часом, не упер он чего... А то они: емперлизм да буржуазиат, а сам глазом новые сапоги под койкой нашаривает.

— Товарищи! Вооружайтесь и идите на улицу завоевывать себе свобо...

— Во-во. Оно самое! Только тебя для этого и ждали. Ш-ш-ш!.. Хо-хо-хо!

V. Скука

— Вы что? Вам чего? Да позвольте! Вы почему на стол лезете?

— Товарищи!..

— А-а... говорить хотите? Ну ладно. Послушаем.

— Товарищи! Наша империалистическая война, поддерживаемая капиталистами и продавшимися им министрами Временного Правительства...

— Послушайте, дорогой мой! Ну как вам не надоест — все одно и то же, одно и то же. Глупо, скучно, в зубах навязло. Мы тут вели серьезный, интересный разговор, а вы лезете, как дурак, на стол и начинаете бубнить какую-то пошлятину. Больше ничего не имеете сказать? Слезайте!

— Товарищи! Нам нужно с оружием в руках выйти на улицу и доказать напившимся нашей крови буржуям...

— Боже, какое дерево! Это, знаете, господа, есть такие анекдотисты: расскажет он какой-нибудь неприличный анекдот — ну, посмеются, заинтересуются. Так он обрадуется, еще раз его расскажет, и еще — уже никто не слушает, вся скучающая публика разошлась, а он все свое бубнит.

Ну-с, итак, на чем мы остановились?..

И смахнут большевика со стола, как надоедливую муху со лба, а он потрет лапками и полетит дальше, жужжа как муха, в длинный, скучный, томительный, пыльный июльский день:

— Товарищи! Наш буржуазиат, поддерживающий войну, навязанную нам английскими империалистами, наши капиталисты-министры... Ж-ж-ж-ж...

Хорошо в летную истомную жару спать под мушиное жужжание.

И в этом будет конец большевизма на Руси.

САЛАТ ИЗ БУЛАВОК (2)

Точный ответ

Группа загорелых казаков обступает большевика. Лица у них решительные, прямолинейные.

— Вы, собственно, о чем хотите говорить, товарищ? — критически осведомился казак.

— Я, товарищи, за войну! Но за войну против буржуазии, против капиталистов!..

Его сухо обрывают:

— Ну, это мы бросим. А как по-вашему, товарищ, на фронте наступать нужно или не нужно?

— Видите ли...

— Нет, «видите ли» — не надо. Отвечайте прямо: да или нет!

— Собственно, товарищи, если принять во внимание...

— Да нет, «собственно» тоже не надо, и «принимать во внимание» тоже не надо, а ты говори нам прямо: да или нет? Должны ли наступать на немцев, или сидеть сложа руки и ждать у моря погоды?..

— На немцев?

— Да!

— Наступать?

— Ну да, черт тебя возьми, а то что же?.. Наступать! На немцев! Должны?

— Но вы не забывайте, товарищи, что кроме немцев есть еще австрийцы...

— Хорошо — все равно, на кого наступать: немцы ли, австрийцы — один черт!

— Да, конечно, разница небольшая.

Пауза.

— Ну?

— Что — ну?

— Наступать нужно или не нужно?

— На немцев?

— Ах, чтоб тебя громом убило!.. Долго ты будешь вертеться?! Отвечай прямо: нужно наступать на немцев или не нужно?

— Тогда я вам отвечу прямо: задача революционного пролетариата заключается прежде всего в укреплении завоеваний против капита...

Р-раз!

С большевика летит шляпа.

Подняв ее, он стряхивает с полей пыль и, испуганно озираясь, говорит:

— Вы, собственно, что хотели от меня узнать?

— Надо наступать или нет?

— Ясно, как палец: конечно, надо.

И в этот момент издали доносятся чьи-то тихие рыдания: это плачут даром потраченные немецкие денежки.

Слепорожденные

— Подайте слепенькому!..

— Да ведь ты совершенно зрячий.

— Я не для себя и прошу.

— А для кого?

— Для Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

— Да разве Исполнительный Комитет слеп?

— Помилуйте-с: от рождения.

— Может быть, только бельмо на глазу?

— Бельмо-с на глазу тоже есть: контрреволюция и буржуазия. Но вместе с тем — полная, абсолютная слепота!

— Врешь ты все.

— Я вру? Пес врет, господин. «Правда» тоже врет. А я не вру. Зачем мне врать.

Вильгельм мне за это денег не заплатит. Вот мои какие к вам истинные слова будут: Ленин с Зиновьевым и компанией проехали через Германию. Сами немцы их привезли. Всей России ясно, для чего. А Исполнительный Комитет слепенький. Где ему видеть! Приехал Ленин. Занял чужой особняк. Кто мог это сделать? Жулик мог это сделать. Всякому двуглазому человеку это видно. А наш слепой бедняга — Исполнительный Комитет — пошарил дрожащей рукой стены ограбленного особняка да и отошел прочь. «Живите, мол, миляги. А я ничего видеть не вижу и слышать не слышу».

Расселись эти германские шпионы в особняке и стали с балкона говорить: «Грабьте, режьте, захватывайте! Дезертируйте из армии, да здравствует Германия, долой союзников, долой Керенского!» А Исполнительный Комитет с тихой кроткой улыбочкой слепенького, несчастненького, схилил головку набок, пришипился, молчит. Дальше — больше. Не только с балкона говорят изменники-ленинцы — газеты стали выпускать. В каждом номере — читали, господин, что написано? — «Солдаты, бросьте войну! Идите резать буржуазию! Солдаты, не слушайтесь командиров! Не исполняйте приказы». Вся Россия читала эти немецкие лозунги, кроме?.. — Конечно же, кроме Исполнительного Комитета! Ведь он слепенький... Для них ведь, для слепеньких, нуж-

но издавать особые газеты — с выпуклыми буквами. Пока пальцем не дощупается, конечно, не прочтет.

И что же вышло — Керенский на фронте делает одно, а ленинцы при молчаливой, тихой, кроткой улыбке Исполнительного Комитета — другое Уже два месяца назад Исполнительному Комитету было документально сообщено, что приезжая сволочь работает для немцев и на немецкие деньги, а Исполнительный Комитет не мог прочесть этого официального донесения контрразведки. Почему? Да ведь он слеп же, я вам говорю, — слеп на оба глаза.

Наконец — восстание!! Восстание на немецкие деньги, организованное немецкими шпионами — на улицах льется кровь! Весь Петроград предвидел эту кровь — кроме? Ну, конечно же! Кроме Исполнительного Комитета! Слепой ведь не может предвидеть. Наконец, во все горло заголосила вся Россия: «Вот они, изменники и предатели России! Лови их, Исполнительный Комитет!» А Комитет положил руки в брюки и, как некий Вий, важно пробасил: «Поднимите мне веки — ничего не вижу!» Ну, что ж — ну, и подняли! Да ведь слепому что — не только веки, самого его подними на аршин над землей — все равно ничего не увидит. Такое уж наше горе, господин, что и сказать нельзя...

Вот теперь хожу, собираю на убежище для слепых. Подайте, господин, слепеньким!

— Бог подаст.

— Бог-то подаст... Да не поздно ли уж тогда будет?..

....

Подоходный налог

— Милочка! Вас ли я вижу?!

— Меня, меня, голубушка! Обязательно меня. Ну, как поживаете? Как муж? Работает все?

— Черта с два работает! Второй уже месяц баклуши бьет...

— Позвольте! Да ведь он был такой трудолюбивый... такой деляга!

— Вот вам и деляга! Сейчас целые дни по комнате в халате ходит и песню мурлычет: «Вставай, поднимайся»...

— Какая оказия!.. Да из-за чего же это?

— Из-за подоходного налога...

— Неслыханно!

— Уверяю. Вы, вероятно, читали, что теперь будет взыскиваться такой подоходный налог, что с тех, кто зарабатывает в год сорок тысяч, берут семь тысяч!!

— Ну, что ж... Это, пожалуй, справедливо.

— Это бы, конечно, ничего, но министры устроили так, что чем больше человек зарабатывает, тем он больше должен платить!.. Как это называется?.. Ну, еще такой паралич бывает?..

— Прогрессивный?

— Вот! Так понимаете, за сорок тысяч берут семь тысяч, за восемьдесят — тридцать тысяч, а за триста — двести шестьдесят!!

— Позвольте... Что же они возьмут за 500 тысяч?

— Приблизительно я могу сказать: четыреста девяносто тысяч. Мой муж и зарабатывал в год около этого. А раз, говорит, у меня все отбирают — не хочу работать!

Не буду на десять тысяч жить! Мне богатые родственники вдвое больше дадут.

— Но ведь с этих родственных двадцати тысяч ему тоже придется платить...

— Да! Но всего две тысячи! Прямой расчет. Теперь уже все не хотят работать.

Ужас! Ужас!..

— Позвольте, голубушка. За пятьсот тысяч они взыскивают четыреста девяносто тысяч... Ну, а если человек зарабатывает семьсот тысяч в год? Что тогда?

— Тогда? Тогда с него взыскивают семьсот двадцать тысяч! Это же прогрессивно — поняли?

— Да откуда же он возьмет еще двадцать тысяч, раз он всего семьсот тысяч заработал?

— Откуда? Гм! Ну, он их, эти двадцать тысяч, должен потихоньку от правительства заработать. Так, чтобы не знали.

— Почему же потихоньку?

— Неужели вы не догадываетесь? Если узнают, что он еще двадцать тысяч заработал, — взыщут и с них две тысячи — и опять ему для оплаты налога не хватит.

— Какой странный налог... Как он, вы говорите, называется?

— Прогрессивный. От слова паралич.

НОВЫЙ ТЕЛЕГРАФ

У телеграфного окошечка.

— Барышня, примите телеграмму.

— Вот эту? Гм! Не могу.

— Новости! Почему?

— Тут есть приветствие.

— Ну так что ж... Не могу я собственную жену приветствовать, что ли?

— Это все равно. У вас тут написано: «Горячо обнимаю мою дорогую Нюсю, шлю привет и целую тысячу раз». Этого нельзя.

— Новости! Ну, напишите «пятьсот раз».

— Да дело не в количестве раз. А просто по последнему циркуляру министра почт и телеграфов Церетели, для облегчения переобремененного работой телеграфа все телеграммы, заключающие в себе приветствия, не могут приниматься...

— Новости! А чем же я могу выразить свою любовь к жене, как не приветствием и объятиями?

— Это не мое дело. Я не замужем и не знаю, как это делается.

— Прекрасно. Послушайте, барышня... войдите вы в мое положение: получает жена телеграмму с таким сухим деловым текстом: «Тетя Котя выздоровела, ботинки купил. Еремей». Все! Где же ласка? Где же привет?! Где крик любящего сердца?

— Не знаю. В циркуляре о криках сердца ничего не сказано.

— О боже, какая чушь. И вот, получает моя жена телеграмму... Она ведь не знает о ваших циркулярах! Раз нет привета — значит, я ее разлюбил. Слезы! Подозрения! Разговор! Ужас!

— Не знаю-с. Без привета приму.

— Ну, так вот! Я напишу другую... Вот:

«Тетя выздоровела ботинки купил не посылаю привета и тысячи поцелуев потому что на телеграфе запрещено пересылать приветы боялся чтобы ты не подумала чего-нибудь потому и сообщаю об этом запрещении. Еремей».

Такую телеграмму примете?

— Такую? Конечно, приму. Раз не посылается привета, я обязана принять.

— Ф-фу!..

КОГДА МНЕ ЖАРКО

Вот проклятые мухи: кусаются как волки. Чтоб вы подохли!

А тут еще жара, а тут еще и пыльно. Петроградишка наш такая каверзная дрянь, что сидишь и диву даешься: кто это ухитрился в одно место нагнать столько дураков и мошенников? Девяносто девять сотых тунеядцы, альфонсы, взломщики и идейные тупицы.

Ничего нельзя достать... Белый хлеб встречается не чаще, чем стокаратовый бриллиант, за сапожишки дерут полтораста рублей, — а все почему? Никто не хочет работать как следует. Добились восьмичасового рабочего дня и от радости стали работать четыре часа. И то — в неделю. Будь я доктор, я бы всех этих тунеядцев отказался лечить. Очень просто.

И именно на основании ихнего же 8-часового рабочего дня.

— У вас что болит? Живот схватило? Холера? Чего же вы ко мне лезете ночью?! У меня тоже, как и у вас, 8-часовой рабочий день: от 9 до 5, с перерывом на обед. Что? Умереть можете? А мне какое дело? Сейчас вон вся Россия из-за вас умирает, — однако же вы и часом лишним для работы на пользу России не поступитесь. Так мне-то чего же из-за вас свой отдых ломать?

Не прав я? Прав. Сейчас мы все — тот же доктор, у постели тяжко больной России толчемся. И если мы ее только 8-ю часами небрежного ленивого труда лечить будем — скоро она, матушка, протянет ноги от такого лечения.

А то еще завели моду — даже самые первейшие министры — твердить к месту и не к месту преглупую фразу:

— Мы должны стоять на страже революции. Спасайте революцию.

Россию вы, голубчики, спасайте, а не революцию. Что она за цаца такая, ваша революция? Революция это болезнь, это жестокая лихорадка, которую переживает Россия.

О спасении больной, милые мои, думайте, а не о сохранении лихорадки.

Хороши те доктора, которые тычутся близорукими лицами в термометр, вынутый из-под мышки больной, и шепчут встревоженными голосами:

— У нее лихорадка. Ради бога, спасайте лихорадку! Поддерживайте лихорадку!

Опять проклятая августовская муха укусила за щеку. Так и цапнула, свинья этакая!

И вообще, я думаю, что я лично был бы лучшим министром, чем те, которые таскают под мышкой министерские портфели.

Что требуется от министра? Чтобы он был умный, дальновидный, предусмотрительный.

Возьмите старые номера «Сатирикона» — кто вопил и кричал насчет Ленина? Министры? Как бы не так! Я вопил, я кричал. А они бродили, как слепые куры. Кто заговорил первый о железной власти, о диктатуре? Они или я? Я первый. Они дошли до этого с таким опозданием, что и смешно и, главное, — страшно.

Так почему же они — министры, а я не министр?

Обождите, голубчики: история вам пропишет ижицу!

Кто упустил Ленина? Я? Нет. Исполнительный Комитет упустил. А я говорил:

— Не упускайте. Держите. Убежит.

И опять я скажу: почему меня не выбрали в Исполнительный Комитет?

Вы скажете, что там только рабочие и солдатские депутаты.

Ну что ж такое! А я вас спрошу: что лучше, — штатский ум и проницательность или рабоче-солдатская близорукость?

Ах, как я разволновался, просто ужас.

Главное, мухи кусают.

А вы заметили, как теперь не только голодно живется, но и скучно: на митингах уже скучно, лица у всех или злые, или тоскливые, а карманы набиты продовольственными карточками, на которые нельзя получить ни шерсти, ни молока.

И слова пошли какие-то все серые, скучные, как пыльное департаментское дело в синей обложке за 1891 год.

— Комиссариат.

— Подрайон.

— Делегат.

Единственное есть краткое русское выражение, и то — «домовой уполномоченный».

Потом мне вот тоже еще не нравятся эти украинские дела: Винниченко такой же писатель, как и я — однако я не лезу в гетманы и не сочиняю универсалов, а тут человек прямо сдурел: хохлы плачут, упираются, не хотят отделяться, не хотят учить малокультурный, полузабытый в городах украинский язык, а он тащит их за шиворот: учитесь, анафемы! Отделяйтесь!

Я так смотрю, что — препустейшее и преничтожнейшее существо этот Винниченко.

А наше Правительство, не осведомившись даже у кротких покладистых малороссов, хотят ли они сами этого отделения, — бух в колокола!

— На, мил человек! Забирай себе всю Украину! Владей, Фаддей, моей Маланьей.

Винниченке я прощаю — с него что взять: не вышло дело — встряхнулся, да с тем и пошел, а ведь Временное Правительство, оно — ответственно.

Что оно запоет, если вся украинская авантюра превратится в глупейший, стыдный для всех фарс?

И, пожалуйста, не думайте, что я какой-нибудь там черносотенец или буржуй, попивший читательской кровушки.

Такой же, как и вы, республиканец и разбираюсь во всем не хуже многих, а, пожалуй, даже и получше...

Да! Забыл совсем: почему это почта у нас работает так позорно, что вся Россия воет? Это вам тоже восьмичасовой рабочий день? Вот... дали людям свободу: отблагодарили, нечего сказать...

А, проклятая! В самый глаз куснула! Вы заметили, какая сейчас продается бумага от мух? Если даже хилая, умирающая от истощения муха сядет на мушиный лист, то, посидев минутку и объев какую-то штуку, которой лист вымазан, — вспорхнет и полетит, веселая и здоровая, дальше — будто живой воды хлебнула.

Изобрели, нечего сказать.

Вот, например, хочется пить, а пить нечего. Пили вы когда-нибудь петроградскую фруктовую воду? Делается она так.

Профессиональный отравитель, избежавший благодаря хитрости и подлогам народного самосуда, берет бочку тухлой воды, выбрасывает захлебнувшихся в ней распухших крыс и, влив полведра скисшей патоки, взбалтывает, после чего эта «фруктовая вода» разливается по посудинам. Хотя она и не газируется, но при питье получается шипение (шипит отравившийся потребитель).

С одной стороны — жажда, с другой — то, что упустили Ленина, — все это делает мое мироощущение совершенно невыносимым.

Я все предсказывал: и экономическую разруха, и 3 июля, — почему же меня не хотели слушать? Это не штука, что теперь уже, постфактум, подстилают соломку на месте совершившегося падения. Ты, брат, подстилай раньше... А то...

* * *

Нет, не могу! Позову горничную: пусть она делает с мухами что хочет.

* * *

Что значит простой житейский ум: взяла горничная полотенце — выгнала в окно всех мух.

Очень мило. И благодаря открытому окну — прохладно сделалось.

Что же касается утоления жажды, то вот: в большой бокал выдавить лимон, немного сахару, 2-3 куска льду и чистой воды. Просто, но приятно до чрезвычайности.

Нет-с, голубчики: не такая страна Россия, чтобы погибнуть! Выплывем. В худших положениях бывали, выкручивались. Господи! Пока существует бриллиантовая роса на изумрудной траве, пока в небе блещут рубины и опалы, пока есть на свете море, пахнущее солью и йодом, — чего нам вешать носы? Разве девушки перестали целовать нас свежими, как лепестки сирени, губами? Разве исчезнут из наших библиотек благоуханные книги?

А главное — скоро мухи подохнут!

ОТРЫЖКА

Вы, юноши, сделавшиеся мужами!

Помните?

Эта женщина была вашей мечтой, вашей грезой, которая туманила голову, посылала бессонные ночи, когда тщетно переворачиваешь горячую подушку с одной стороны на другую, чтобы коснуться раскаленной головой прохлады и успокоения, — и нет этой прохлады, нет успокоения...

О ней, об этой девушке, все мысли, для нее вся жизнь и дыхание.

Будет ли она когда-либо моей?.. Да ведь это такое счастье, что сердце разорвется, дыхание захватит или будешь кататься по полу, визжа от восторга.

И все мы бродим ошалелые, натыкаясь на прохожих, глядя вперед широко открытыми бессмысленными глазами.

Но вот — добились!

Помните свадебный пир, вы, юноши, сделавшиеся мужами?

Ты — герой дня. На тебя — все взоры. А взгляд невесты, этот невинный, стыдливый взгляд, который говорит: «Я твоя, я люблю тебя, мой бог, мой господин!» А?

Самое лучшее платье на ней, самое лучшее платье на тебе, цветы, огни, радостный, веселый праздничный шум — как пышно, как сладко.

Ну вот, наконец, и поженились. Вот, наконец, и медовый месяц промелькнул — именно месяц, не больше, черт его возьми.

Так-с. Поженились.

Сидите вы утром за чаем, она непричесанная, с заспанным лицом и с таким разговором:

— Черт его знает, чего и на обед заказывать. Того нет, это дорого, прямо хоть с голоду подыхай.

Вы нерешительно замечаете:

— Я бы съел этого... Пирожка с говядинкой.

— С говядинкой?! Кусок бы еще бриллиантовый ты от меня потребовал... Хи! «С говядинкой! Пирожок!» Мясо-то... я тебе собственное отдам? А мука? У тебя мельница своя, что ли? Что закажу, то и будешь есть.

Голос у нее сухой, серый, совсем неприятный.

Разглядываешь ее лицо. Оно тоже серое, помятое, на правой брови зацепилась пушинка от пуховки, а на носу две неприятных черных точки.

Чай жидкий, теплый и чуть ли не припахивает керосином.

А помнишь, как мечтал об этом, о гнездышке вдвоем, о «бодром шаге рука об руку с любимой навстречу лучезарному будущему».

Шагай, шагай. Дошагался уже до черных точек на носу, до теплого жидкого чаю, до такого, например, разговора:

— А я у тебя хотела попросить денег...

— Да ведь я тебе на прошлой неделе пятьсот дал.

— Мало ли что дал. Все вы давать мастера. Дал на то, чтобы истратить их. Вот я и истратила!

— Помилосердствуй, матушка! Ведь у меня не денежный завод! Если ты каждую неделю будешь тратить по 500 рублей, это никаких капиталов не хватит!

— На то ты и мужчина, чтобы зарабатывать!

— А ты на что, женщина? На то, чтобы целыми днями валяться, ничего не делая, по диванам, грызть шоколад и читать глупейшие книжки?! Для этого я на тебе женился?

— Ах, вот ты куда метнул?! Отчего же, буржуй ты несчастный, когда делал мне предложение, и то и се обещал, и на руках носить, и молиться на меня, а теперь...

—Поехала!.. Разве знал я, что ты окажешься дурой и распустехой?!

Брань. Плач. Истерика. Любопытные соседи, подхихикивая, заглядывают в окна. Стыд. Позор. Хочется вскочить и убежать — да куда убежишь из собственного дома? Сиди, проклятый, на своем месте и мучайся.

Связаны вы друг с другом и уже не «рука об руку к лучезарному будущему», а два каторжника, прикованные к общей тачке до конца жизни.

А ведь — помнишь? — были цветы, была белая фата, были приветственные клики радостных гостей.

Где это все — ау!..

Кончился медовый месяц.

Как мы все мечтали о свободе для России — помните? О свободе с заглавной буквы. Сколько было бессонных

ночей, сколько согретых раскаленной головой подушек... Да ведь, если бы взять все это подушечное тепло да собрать в одно место, так целый город можно отопить.

Лучшие наши люди на виселицу, на плаху шли — только за то, чтобы губами прикоснуться к краю красной мантии этой высокой, гордой, смелой, прекрасной, замечательной красавицы.

О, боги! Обладать такой неземной, роскошной женщиной — впору добиться этого и умереть у ее ног от разрыва сердца.

Добились... Что эта была за великолепная, пышная свадьба: красные цветы, веселые огни горящих участков, поздравления соседей, милая стыдливая любящая улыбка на лице прекрасной невесты Свободы, ликующие, восторженные лица свободных граждан на улицах, — так отпраздновали свадебку, что дай бог каждому.

Ну, что ж... Вот и отпраздновали.

И медовый месяц был очень хороший — март.

Как в угаре были молодожены.

А теперь сидим мы друг против друга и пьем чай.

Чаишко-то паршивенький, потому сахару нет, самовар позеленел — некогда почистить; хлеб... вместо хлеба какой-то тяжкий полусырой кирпич. (Горничная мне объяснила, что булочники, вынув хлеб из печи, бросают его в холодную воду для весу). У жены волосы растрепаны, на носу следы плохо стертой пудры, и одна бровь — конечно, левая, — совсем растаяла, потекла грязной струйкой по потному от десятого стакана чаю лицу.

— Денег-то... дашь? — жадно спрашивает она, звучно схлебывая чай с блюдечка.

— Матушка, да откуда же я тебе возьму? Работаю как каторжный, даю, даю, — куда это все девается?!

— Новое красное платье закажу.

— У тебя уже и так их чуть не сотня. В глазах рябит! Ты бы лучше делом занялась, чем по диванам валяться да семечки лущить.

— Да у меня и есть дело. Я с контрреволюцией борюсь.

Гляжу я не ее сонное ожиревшее лицо и думаю:

— Эх ты, матушка! Да знаешь ли ты, что эта контрреволюция в тебе самой сидит, в этом заспанном лице, в этой широкой жадной пасти, в этом объемистом чреве, которое я никак не могу наполнить, как я ни работаю, как ни тружусь.

— Ты бы лучше в комнатах прибрала... Погляди: грязь, мусор, семечная шелуха и яичная скорлупа. Да и сама бы ты причесалась, что ли... Да сняла бы этот вековечный красный засаленный капот. Ведь соседи смеются.

— А начихать мне на твоих соседей! Французишки-буржуи да англичане-империалисты! Важное кушанье! Мне главное — что обо мне Каролина Карловна думает, а остальные — фунт внимания, пуд презрения...

Гляжу я на нее — и холодный ужас сковывает мои мысли: ведь это уже навсегда! Всегда эта жирная, жадная, неопрятная женщина будет около меня, будет сосать мои соки и держать меня в грязи и забросе.

Где исход?

Исход единственный... Я молитвенно гляжу на старый потемневший образ, перед которым давно не теплилась лампада, и шепчу дрожащими устами:

— Боже, сделай чудо! Только Ты один можешь сделать чудо. Сделай ее, эту женщину, навсегда невестой в подвенечном наряде, сделай, чтобы она всегда любила меня, как любил ее я; сделай так, чтобы нам было хорошо друг с другом, и сделай так, чтобы никогда ни одно слово проклятия не вырывалось у меня по адресу этой женщины, которая вместо того, чтобы «идти рука об руку навстречу лучезарному солнцу», попросту ухватила меня за шиворот и тащит меня, — безграмотная, невежественная, — в какую-то страшную тьму, где гады, паутина забвения и мрак...

Спаси, Господи, люди Твоя.

ДОСКОЙ ПО ГОЛОВЕ

Странное ощущение. Такое ощущение, которого никто и никогда в жизни еще не переживал.

Вот я сегодня, 27 августа 1917 года, сижу у себя (Петроград, Троицкая, 15) за письменным столом и пишу этот фельетон.

Для чего я его пишу?

Для того, чтобы мои читатели прочли его.

А прочтут ли они его?

Представьте себе, что вы написали письмо, в котором в глубоких, сильных и прочувствованных выражениях выразили все свои стремления и ощущения, излили лучшие сокровища своей души.

Написали вы это письмо, вложили в конверт, а на конверте вдруг взяли, да и хватили такой адрес:

«Пустыня Сахара, юго-восточная часть, поворотя направо, третий оазис. Передать чернокожему, сидящему под пятой с краю кокосовой пальмой, в собственные руки.

Весьма спешное».

Конечно, все может быть. Возможно, что это письмо и дойдет по почте до последнего населенного местечка на краю Сахары. Возможно, что тамошний почтмейстер упросит начальника арабского каравана, идущего вглубь Сахары, захватить это письмо, возможно, что караван пройдет именно мимо третьего юго-восточного оазиса... Чем черт не шутит, — возможно, что арабы и найдут под пятой с краю кокосовой пальмой искомого чернокожего адресата и честно вручат ему ваше письмо.

Он его даже вскроет... Но что дальше?

Повертит его в своих черных, как голенище сапога, лапах, повертит да и бросит.

Напрасно вы начинаете свое обращение к нему словами:

«Русским языком я говорю тебе, проклятый темный негр, и т.д.»

Именно русского языка проклятый темный негр и не понимает.

И вот — письмо, в которое вы вложили лучшие сокровища вашей души, будет брошено в далекой знойной дикой Африке на берегу прозрачного ручья, и тяжкой мозолистой ногой верблюда будет оно — этот нежный росток вашего сердца — втоптано в сыпучий, могильный песок пустыни.

Зная это, стали бы вы писать вышеупомянутому чернокожему пламенное письмо?

Сомневаюсь.

А вот я пишу.

Не говорите мне, что нет аналогии между сахарским чернокожим и нашими русскими белокожими, — это одно и то же.

Я вам тысячу раз буду повторять: «Русским языком я тебе, анафема, говорю» — это бесплодно.

Именно русский язык и перестали понимать в этой жуткой аравийской пустыне.

Даже вот это: зачем я вам пишу?

Как гадательно, чтобы начальник арабского каравана взялся передать это письмо проблематичному негру, так гадательно и то, что до вас, до негров, дойдут и мои слова.

Разве я могу за что-нибудь поручиться? Вот сегодня, 27 августа, я сижу спокойно у себя на Троицкой, а, может быть, через две недели, когда должен бы появиться в Петрограде мой фельетон, это уже будет не Троицкая, а какое-нибудь Дрейштрассе, и от моего журнала останутся несколько разнесенных по ветру обрывков бумаги да куча бесформенных обломков типографских машин.

Вы скажете:

— С ума ты сошел! Это не может так скоро случиться!

В России-то? Ого-го. Сколько угодно.

Ну, не немцы придут. Вынырнут большевики и, улучив удобную минуту, перережут нас всех.

Черт вас знает, готтентотов, чего от вас ожидать?!

Оцените же мое мужество и терпение: зная, что мой фельетон, эти строки моего сердца, пойдут через неверные руки начальника верблюжьего каравана в неизвестный оазис, где под неизвестным деревом его прочтет неизвестный дикарь, — я все-таки пишу. Пишу!

Отчаяние, безнадежность светится в моем взгляде, а я все-таки пишу...

Дойдет ли?

* * *

О чем же вам написать?

Я мог бы написать, что довольно мы уже говорили, что довольно слов — пора приступить к делу, но ведь это, вот это самое воззвание, ведь оно тоже — слова.

Господи, дай нам уйти от этого ужаса, от этого потока слов.

И вот это мое воззвание к Господу Богу, — ведь это тоже слова!

Будьте же вы прокляты, слова!

Керенский в отчаянии восклицал на московском совещании:

— Где же найти мне те огненные, те настоящие слова, которые дошли бы до сердца, до ума русского народа.

Не будьте ребенком, Александр Федорович, — таких слов нет.

Я бы хотел писать свои фельетоны так: взять хорошо обструганную доску длиною в аршин и взять фунт вершковых гвоздей... Вместо пера взять в руку молоток и вбить эти гвозди в доску — погуще к центру, пореже к окраинам.

Вот мой фельетон, вот мои слова.

Изготовленный таким образом мой фельетон рассылается каждому читателю в двух экземплярах... Способ чтения: на один экземпляр усадить читателя, другим бить по голове читателя до тех пор, пока он не проникнется со всех сторон идеями моего фельетона и не поймет, что нельзя сидеть бесплодно на месте...

«Работать!»

Вот одно словцо, которое бы я написал на всех зданиях, на всех стенах и фронтонах, перекинул бы вдоль улиц белые полотнища с этим черным будничным словом:

— Работайте!

Я бы ловил толкущихся на улицах людей и железным тавром выжигал бы у них на лбу одно слово:

— Работайте!

Вот уж, действительно, подлинно русское, не циммервальдовское слово — такое простое, понятное даже для чернокожего, такое общедоступное:

— Работайте!

Иногда глаза мои открываются, как у пророка, и я подлинно вижу, что Россия — страна безумцев и идиотов.

Подумайте, полгода революции, — и отменен ли хоть один церковный праздник?

Их было, пожалуй, 20 за это время, — все эти Сретенья, Усекновения и Преображения.

Пришло ли кому-нибудь в голову отменить их?

Удивительная вещь: русский народ со времени революции стал таким безбожником, таким атеистом, что со Святыми Дарами на версту к нему не подходи, а подвернется ему какое-нибудь Сретенье или Введение во храм, — да ведь он зубами в этот праздник вцепится:

— Стоп! Праздник! Не работаю.

И вы думаете, если бы он работал, он осквернил бы святой праздник своей работой?

Врете, мытари, подлецы и лицемеры! Он освятил бы этот праздник святой работой.

А что он теперь делает в праздник? Пьянствует, лущит семечки и, шатаясь по митингам, как губка впитывает советы о лучшем и самом выгодном способе распродажи России...

20 праздников за полгода.

Идиоты, слепые! Умеете ли вы считать?!

Пусть на 200 миллионов населения работает всего 50, пусть каждый делает работы по нынешним ценам на 5 рублей, — итого каждый праздник съедает четверть миллиарда рублей абсолютных ценностей!! Двадцать праздников за полгода — пять миллиардов.

Идиоты, трижды идиоты! Ведь вы совершенно бесплодно, прямо псу под хвост вышвыриваете в год десять миллиардов.

Русским языком вам надо говорить?

Нет, негры русского языка не понимают.

Хочется отбросить ко всем чертям бессильное маленькое перо и завыть в горе и ужасе:

— Почему это перо не доска, утыканная гвоздями, доска, которой можно прошибить ваши каменные, налитые свинцом, головы?!!

* * *

Ну, вот... прочли вы этот мой фельетон...

А что от этого изменится?..

Слова!

КАК УНИЧТОЖИТЬ ДУЭЛИ

История с колумбовым яйцом мне не особенно нравится... Подумаешь, важность: взял и поставил яйцо.

Ни тонкости, ни практичности. Только яйцо испортил.

Вот я — другое дело.

Я, конечно, в Колумбы не лезу, Америки открывать не собираюсь, но если дело пойдет на сравнения, то и мы кое-кому нос утрем, ха-ха!

Что, по-вашему, лучше, что выше, что умнее: поставить ли торчком ничтожное яйцо или уничтожить дуэли — этот пережиток варварства и барского недомыслия?

Дуэли более страшное зло, чем безобидное куриное яйцо, — и что же? Колумб уничтожил яйцо, я берусь уничтожить дуэли!!!

Ну-ка, кто выше, кто умнее?

Правители и благомыслящие люди всего света боролись с дуэлями, как с ужасной зияющей раной на общественном организме, — удалось им вылечить эту рану? Дудки. Они только набрасывали на нее разные смягчительные покровы — компромиссы, вроде постановлений офицерских судов, разрешения дуэлей только привилегированным классам (подумаешь, тоже привилегия!) — и прочей дребедени.

Не такой я человек, чтобы довольствоваться каким бы то ни было компромиссом... Дуэль вредна? Так к черту ее, к дьяволу — раз и навсегда.

Я! Я! Я придумал скорый и верный способ уничтожить дуэли в любом населенном месте.

Преимущество моего метода в том, что: 1) чем населеннее данное место, тем удобнее уничтожить там даже самый дух дуэли, и 2) чем дуэльнее, чем драчливее данное место, — тем действенней и вернее мой способ...

Я уже вижу, как горят читательские глаза любопытством, как читатель перескакивает с пятой на десятую строчку, чтобы только поскорей узнать, что же это за удивительный способ уничтожения дуэлей? Потерпите, голубчик.

Дайте мне еще немножко поговорить о дуэлях вообще.

Что такое дуэль? В огромном большинстве случаев это такой акт, когда человек, отбивший у вас любимую жену, может за это вам же пробить лоб.

Перенесите вы эту бессмыслицу в другую сферу: это все равно, как если бы жулик украл у вас самовар, а судья постановил бы, что он, жулик, будет обелен только в том случае, если украдет у вас и письменный прибор.

Даже это еще слабый пример: во втором случае вы лишаетесь только письменного прибора, а в первом, дуэльном, — жизни, этого лучшего существования на земле!

Нет, да что там говорить!

Дуэль порождает массу уродливостей.

Не будь дуэлей, то иной муж, застав у жены возлюбленного, просто вздул бы его как следует. А тут он, конечно, призадумается: «Гм! Вишь ты — жену целует. А вызови я его за это на дуэль, — он же меня еще и укокошит. Нет уж, лучше уйти от греха»... И уйдет на цыпочках, оставляя сзади себя разрушаемый домашний очаг.

Бывают, конечно, и другие поводы для дуэлей. Вот простейшая схема: ротозей наступил вам на ногу, не извинился, вы кротко заметили: «Воспитанные люди обычно извиняются»; он бьет вас по щеке, вы обижаетесь, тогда он заявляет, что готов дать вам удовлетворение, требует указания места, времени и свидетелей; вы соглашаетесь; бегаете, высуня язык, по городу в поисках пистолетов, встаете в шесть часов утра, ежась от холода, тащитесь в какой-то перелесок, где вас на лужайке и убивают.

Нужно было столько хлопотать из-за такой дряни?

Что вы получаете от этого «аристократического института»?

Вам наступили на ногу, вас заушили, вас подняли ни свет ни заря и вас же — не его, а вас — убили!

Вот что такое дуэль, и вот почему колумбово яйцо — мальчишка и щенок перед моим нижеописанным способом.

* * *

Случилось мне проживать в немецком городе Гейдельберге — этом самом знаменитом, мировом центре дуэлей.

Дерутся там по всякому поводу: зацепили ли вы своим плечом прохожего, опрокинули ли чужую кружку пива или просто перетянули палкой чужого мопса — вас тянут к барьеру безо всяких разговоров.

У меня началось просто: сидел я в погребке, мирно пил пиво. А когда кружка кончилась, я оглянулся и, заметив стоящего бесцельно у притолоки скромного человечка, сразу решил, что это кельнер:

— Пссст! Кружечку пива, герр кельнер! И карточку кушаний!

Скромный человек приблизился ко мне и сказал, вынимаю маленькую карточку:

— Я не кельнер. Вот моя карточка. Я надеюсь, вы понимаете, чего я от вас ожидаю?

— Совершенно не понимаю, и что это за карточка? Для карточки кушаний она слишком мала, на ней указано всего одно кушанье, и то не особенно важное: *Отто Август фон Шульце*. Этим не пообедаешь.

— Оскорбление номер второй, — хладнокровно зарегистрировал скромный человечек. — Дайте мне вашу карточку.

— Да сделайте одолжение. Нате и засушите ее в книжке на память, как лучшее произведение, лучший цветок великого российского сада!.. Эта карточка откроет вам двери любого салона, кроме салонов для стрижки и бритья, где вы, вероятно, свой человек.

— Оскорбление номер третий. Издевательство. Мои друзья будут завтра у вас.

— А я как раз собирался бросить рассеянный образ жизни!

— Когда ваш приемный день?

— Двадцать девятого февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года.

— Я вас спрашиваю: когда вы можете принять моих друзей?!

— В десять я принимаю ванну, в двенадцать — желудочные пилюли, в час могу принять и ваших друзей. Могу и одновременно с пилюлями, как хотите. Дирекция идет навстречу многоуважаемым заказчикам.

* * *

На другое утро, около полудня, два тощих белобрысых немца в корпоративных шапочках с ленточками явились ко мне.

— Мы к вам от фон Шульце.

— А-а... От этого маленького, с вывороченными ноздрями? Ну-ну.

Мы помолчали.

— Укажите нам ваших свидетелей.

— Свидетелей чего? — осторожно спросил я.

— Свидетелей дуэли.

— Какой?

— Вашей с фон Шульце.

— Так ведь ее же не было, как же я могу указать свидетелей?!

— Но она будет.

— Вы думаете? — с сомнением спросил я.

— Обязательно.

— А я думаю наоборот.

— Это почему?

— Мне не хочется.

— Но ведь вы его оскорбили!

— Едва ли. Впрочем, если он так думает — бог с ним. Пусть подает в суд.

— Знаете, кто вы?! — раскипятился тот, что был подлиннее. — Вы низкий трус.

— Ничего подобного. Наоборот, вы — высокий осел. А ваш пыхтящий товарищ такой же осел, но поменьше. Пошли вон!

— О-о-о-о, — застонали оба. — Вы нам за это ответите у барьера!! Завтра наши свидетели будут у вас.

— Сколько угодно. Любопытно взглянуть на эти подонки населения.

— О, Teufel!

— Сам такой.

* * *

На другой день их, этих немцев, пришло четыре человека, по паре. Почти в одно и то же время заявили:

— Вчера вы нанесли оскорбления двум нашим товарищам, — Штоль и Гансбрук. Они требуют удовлетворения.

Французы говорят: вино откупорено — его нужно пить. Мы, русские, говорим: кто сказал **а**, нужно говорить и **б**. Взявшись за гуж, не говори, что не дюж.

И я с головой бросился в затеянную мною авантюру.

— Ну, чего вы шатаетесь ко мне зря, безо всякого толку. Лучше бы работали.

— Вы не смеете так нам говорить!

— А что вы за цацы такие? Дуэль, вишь ты, им понадобилась. Спустил бы я вам штанишки, да...

— О-о-о-о!.. — закудахтали они. — Вы за это ответите! Завтра наши свидетели будут у вас. Укажите место и время.

— Я им укажу место! — кричал я вслед. — Я им укажу такое место, что они нос заткнут! К чертям в болото я их направлю!!

Эти четыре оскорбленные человека прислали на другой день восемь человек.

В силу принципа пришлось оскорбить и этих — всех восьмерых...

Один долго не поддавался на словесные обиды и все время благодушно кивал головой, что бы я ему ни говорил. В силу принципа пришлось со стесненным сердцем оскорбить действием.

Тогда только он обиделся и сказал, что потребует меня к барьеру и что его свидетели будут у меня завтра.

Не знаю, какие именно были его свидетели, потому что всего явились шестнадцать человек, — точная геометрическая прогрессия.

Работы у меня прибавилось, но принцип я сохранял в чистоте: обезвреживание секундантов в первой стадии, не допуская их до второй, самой опасной.

* * *

Через неделю у моего подъезда в приемный час теснилась толпа народа. В комнате они не помещались; я выходил на балкон, оскорблял их оптом и уходил, чтобы увидеть на другое утро вдвое большую толпу «секундантов».

А через три недели уже никто почти не явился ко мне: в городе не хватило секундантов.

Я переоскорбил весь город.

Тщетно бегали немцы от одного к другому; только что они начинали:

— Герр Шмидт, не согласитесь ли вы пойти в качестве секунданта к русскому господ...

— Как же я пойду секундантом, когда я сам вызываю его на дуэль? Я думал, вы ко мне в свидетели пойдете...

— Нет, я сам с ним собираюсь драться...

Стали ловить на вокзале приезжих. Но приезжих было мало, и я быстро, с точностью машины, переводил их в разряд оскорбленных и жаждущих удовлетворения.

После этого я зажил спокойно.

Вот вам и колумбово яйцо.

Вы подумайте: в Гейдельберге! В мировом центре дуэлей! Оскорбить десяток тысяч самого дуэльного, драчливого народу! Приобрести репутацию задиры, забияки и головореза! И ни разу не понюхать ни пороху, ни кончика рапиры, — это ли не гениально-мудрое разрешение дуэльного вопроса?!

* * *

Ну, посмотрим, посмотрим... как-то ценит Россия своих гениальных людей?

На какой площади будет поставлен памятник?..

ГРИМАСЫ НАШЕГО БЫТА

Он: — Простите, голубушка, но мне ваше лицо почему-то кажется очень знакомым!

Она: — Да и я вас, помнится, где-то видела... Позвольте! Вы не Каплюшкин ли с Верейской?

— Ну, да!

— Так я же у вас второй год в горничных служу! Только я целый день в очередях — вот, гляди-ка, впервой и встретились!

ПУСТАЯ МЕЛЬНИЦА

История о деловитом мукомоле...

Кто слышал ее?

* * *

Одному праздному мукомолу достался по наследству участок земли, находившийся в самом центре знаменитой африканской пустыни Калахари. Весь участок состоял из обширной пустой площадки, покрытой зыбучими песками и усеянной десятком львов.

— Что бы мне сделать с этой землей? — призадумался наследник.

И после совещания с близкими друзьями придумал:

— Устрою я на своем участке мукомольную мельницу.

Работа закипела.

Одна часть рабочих закрепляла зыбучие пески, другая гонялась за львами, истребляя их безо всякого милосердия, третья — подвозила на верблюдах строительные материалы и жизненные припасы...

Долго ли, коротко ли, но прошло некоторое время, и на месте зыбучего участка выросла громадная шестиэтажная мельница, выстроенная по последнему слову мукомольной науки: со складами, элеваторами, собственной электрической станцией и прочими штуками.

Мельницу окружала сотня домиков для рабочих и служащих. Ничего не было забыто: устроили больницу, пенсионную кассу и клуб.

Открытие было очень торжественно: окрестные львы чуть с ума не сошли, наблюдая издали шествие рабочих с оркестрами музыки, знаменами и речами в честь тароватого хозяина.

На другой день наступили будни — рабочее время.

Весь рабочий и начальствующий персонал собрался на мельнице, отслужили, как водится, молебен, директор сказал речь о пользе труда — и...

И все с недоумением посмотрели друг на друга.

— Что же дальше?

— Как что? Работать надо.

— Да чего ж работать?

— Да мельница-то какая? Мукомольная? Вот, значит, и нужно молоть зерно.

— А где же зерно-то?

— Гм! Зерна, действительно, нет.

— Может, в окрестностях где найдется?

— На-кось, выкуси... В окрестностях. Тут только песок да львы. Не будешь же ты льва на муку молоть.

— Оказия!

— Дела-те, в халате.

И рабочие, и директора, и сам многоумный и многодумный мукомол чесали в затылках так, что до кости доскреблись.

Директора формулировали создавшееся положение довольно кратким, но определенным присловьем:

— Комики в нашем домике.

Рабочие высказались несколько резче:

— Ну и публика — не стоит и рублика!

И разбрелись кто куда.

* * *

Вот и вся «история о деловитом мукомоле»...

Когда я вспоминаю о минувшем демократическом съезде, сочинявшем настоящую народную власть — я смеюсь горьким смехом — вся история демократического съезда ярко напоминает мне «деловитого мукомола».

Собирались люди на частные совещания, спорили, агитировали, выбирали демократических делегатов, те бросали все свои дела, летели в Петроград, набивали снизу доверху Александринский театр, опять спорили, шипели, перекорялись, инсинуировали, говорили благородные слова, горели, потели, пыхтели, хлопотали, аплодировали, «сконструировали» власть, дали народу правительство — и что же?

Выстроили люди огромную мельницу в пустыне Калахари.

Совсем, как там: и мельница есть, и машины, и служащие, и рабочие, и электрическая энергия, — а муки для помола нет.

Потому — где же в Калахари зерно? Кроме диких львов, никого и ничего.

Так и в нашей российской Калахари: все есть — и правительство, и комиссары, и уполномоченные, а слушаться и исполнять распоряжения — некому. Никто не хочет.

Стоит огромная, созданная по последнему слову науки мельница, а работы нет.

Никто не хочет идти молоться.

Всякий сам молоть хочет.

И чешет себе директория затылки до крови:

— Ну и публика! Не стоит и рублика.

А наиболее добродушные ухмыляются:

— Комики в нашем домике.

* * *

И распорядился главный мукомол:

— Хотя и нет зерна, а вы все-таки пустите мельницу в ход. Пусть хоть для Европы будет видимость, что работает.

Завертелись колеса, замелькали шестерни, зашуршали приводные ремни — посыпались распоряжения, резолюции, приказы и уговоры — только все впустую: зерна-то между жерновами и нет.

Мне представляется, что работа нашего кроткого благодушного Правительства происходит так:

Получилось известие о том, что в Аткарском уезде крупные беспорядки и погромы.

Собралось Правительство, осудило, вынесло решительное постановление:

«Прекратить беспорядки, не останавливаясь перед применением вооруженной силы!»

Составили телеграмму аткарскому комиссару, и вот уже один из министров вышел из зала заседаний, и вот уже он зовет курьера:

— Вот, голубчик, снеси на телеграф, сдай.

— А что это за телеграмма? — скептически спрашивает курьер.

— Телеграмма, голубчик. аткарскому комиссару. О подавлении беспорядков, голубчик, вооруженной силой.

— Позвольте, — говорит голубчик. — Как так вы меня посылаете сдать телеграмму, с которой я не согласен?!

— Но ведь ты, душечка, — один, а нас было десять человек, которые вынесли эту резолюцию.

— Что значит — один? А за мной, может, стоит весь организованный пролетариат! Я, может быть, пятьдесят миллионов собой представляю. А вы мне резолюцией в нос тычете! Да я вам могу такую резолюцию вынести...

— Но ведь, пойми, мамочка, что мы не можем ждать вашей резолюции... Вопрос слишком экстренный.

— И ждать не надо, — лихо подмигнув, говорит мамочка. — Вот отойду в тот уголок, посовещаюсь сам с собой, проголосую и вынесу резолюцию!

И действительно: идет сознательный пролетарий в угол, перешепнется сам с собой и уже, глядишь, подносит резолюцию, нацарапанную на клочке бумажки:

«Как эти самые, которые корниловцы, хотят производить насилия над организованной аткарской демократией, то, считая это противным интернационала, не понесу телеграммы, хоть ты тут лопни! Требую также мира на осно-

ве федеративной социологической классовой повинности буржуазиата.

Представитель организованных курьеров
Еремей Загвоздакин».

— Так не пойдешь? — уныло спрашивает министр.

— И очень просто.

— Ну и не надо. Подумаешь! И не нуждаемся. Сам пойду.

Надев пальто и шапку, бредет кроткий печальный министр на телеграф...

— Примите, товарищ, телеграммку.

— Вот эту? Извините, не могу принять.

— Почему же, товарищ телеграфист? Телеграммка, ей-богу, очень важная.

— Нет, не приму.

— Пожалуйста, объясните...

— Да и объяснять нечего! У меня в Аткарске брат в запасном полку служит. А вы пишете — усмирять их, «не останавливаясь перед вооруженной силой»...

— Ну?..

— Ну, вдруг во время усмирения моего брата возьмут, да ранят — приятно это мне будет?

— Но, может быть, и не ранят, товарищ?

— Да, все вы так говорите. А потом ранят, что с вас возьмешь? Знаем мы вас, безответственную демократию. Нет уж, увольте. Не приму.

* * *

— Ничего не поделаешь... — кротко шепчет министр, поднимая к небу страдальческие глаза. — Придется самому ехать в Аткарск. Как-никак, целый город гибнет...

На вокзале:

— Товарищи! Нужен мне экстренный поезд до Аткарска. Из одного паровоза и одного вагона.

— Хоть один вагон, хоть сто — все равно не дадим.

— ??!

— Бастуем.

— Чего ж вы требуете?
— Сто рублей на брата.
— За что?
— Вообще, — сто рублей. Все берут, чего ж нам зевать?..
— Да за какой срок вы хотите получить? За год, за месяц, или так — единовременно?
— И за год хотим, и за месяц... Но, конечно, и единовременно тоже хорошо получить.
— Так как же... не дадите паровозика?
— От имени организованного пролетариата говорим вам: проваливайте. Тут забастовка, а он — с пустяками.
«Придется на велосипеде ехать, — думает про себя кроткий министр. — Что ж, поеду. Не мы первые, не мы последние».

* * *

Через три недели — в Аткарске.
— Ну, что, зачинщики мятежа арестованы?
— Арестованы, как же. Прокурор арестовал.
— Позовите прокурора.
— Да прокурор тоже арестован.
— Вот тебе раз! Кто его арестовал?
— Комитет по борьбе с контрреволюцией.
— Позовите ко мне президиум этого комитета.
— Нельзя. Он арестован.
— Кем?!
— Местным исполнительным комитетом С.Р. и С.Д.
— Ну, зовите сюда исполнительный комитет.
— Он арестован местной армейской организацией.
— Черт вас возьми! Ну, зовите эту организацию!
— Мятежную-то? Ведь она мятежная. Я же вам докладывал, что она арестована прокурором.
— Да почему же их никто не освобождает?
— Некому. Арестовывали, арестовывали друг друга — да до того доарестовывались, что замкнули круг, так и сидят все.
— А комиссар есть у вас?
— Есть. Только он большевик. Он сидит вместе с борцами с контрреволюцией.
— Позвольте! Есть же какая-нибудь правомочная организация, к которой бы я мог обратиться?!

— Не арестованная? Есть. Общество для изучения красот аткарских окрестностей. Только они больше, г. министр, в девятку жарят. Если желаете перекинуться — с удовольствием.

— Да беспорядки-то еще продолжаются, или как?

— Что вы. Давно прекратились...

— Кто же их прекратил?

— Два гимназиста. Взяли по винчестеру, залегли в воротах и стали стрелять в бунтующих. Те испугались и убежали. Тем погром и кончился.

* * *

Читатель! Велик Бог земли русской! И пока на страже твоего спокойствия, читатель, стоят два мужественных аткарских гимназиста с винчестерами в руках — можешь спать спокойно, читатель.

А Правительство?

Стоит в пустыне Калахари мельница, и суетливо вертятся маховики и приводные ремни.

Только один недостаток — зерна нет, черт его возьми!

НЕДЕРЖАНИЕ СЛОВА

Кто сейчас самый мужественный человек?

Вот:

— Чхеидзе.

Это он, и никто другой, — это он первый сказал замечательное по силе, правде и убедительности предисловие к своей речи...

Именно: когда состоялось первое собрание Правительства по вопросу об организации коалиции и председатель предложил ему высказаться, то этот самый Чхеидзе встал и заявил:

— Меня уже тошнит от этих бесконечных речей и разговоров, и я беру слово только в силу крайней необходимости. А иначе не могу ни говорить, ни слушать, — тошнит!

Это был редкий случай, редкая форма морской болезни на суше, когда под ногами не зыбкая палуба корабля, а паркетный пол Зимнего дворца, — и все-таки тошнило человека.

Лучшие врачи России (к ним я, конечно, причисляю и себя) определяют эту удивительную болезнь так:

— Как морская «морская болезнь» моментально возникает и прекращается в зависимости от возникновения и прекращения качки на море, так и сухопутная «морская болезнь» возникает и прекращается в зависимости от начала и конца разного рода речей, словопрений, голосований и резолюций.

До сих пор никто не мог, кроме Чхеидзе, поставить диагноз этой болезни:

— Тошнит меня и тошнит. А почему тошнит — черт его знает! Съел чего-нибудь нехорошего.

И только Чхеидзе первый догадался:

— Батюшки! Да ведь это меня от речей тошнит!

Вас ли одного, милый Николай Степаныч! Всю Россию вот уже который месяц тошнит.

И уж если вы — старый сухопутный волк революции — не выдержали, то каково же нам, простым рабочим людям?

Тошнит...

Не знаю — может быть, я очень изнервничался, — но при виде человека, поднимающегося со своего места и поднимающего руку со словами: «Товарищи, прошу слова» — меня так и подмывает крикнуть:

— Слова он просит? Дайте ему лучше по шее.

Всякий паршивец, всякая мразь, всякий пошляк и дурак сейчас просит слова, а собрание вместо того, чтобы ясно и четко ответить: «пошли вон, дураки!» — начинает орать восторженно и пылко:

— Говорите, товарищ! Дайте слово товарищу.

Выходит этакое сокровище на трибуну и начинает вязко и клейко, спотыкаясь, как полуиздыхающий мул, на каждом шагу, тянуть многоверстную кишку, на протяжении которой, как серые телеграфные столбы на скучной проезжей дороге, мелькают все одни и те же десять тошнотворных, набивших оскомину слов:

— Организация, резолюция, самоопределение, классовые задачи, демократический пролетариат, пролетарская демократия, живые силы страны, капиталистическая буржуазия...

Смотришь на него и думаешь:

— Лучше бы ты, паршивец, за это время, что мычишь тут, лучше бы ты взял веник да подмел бы свою улицу или притачал бы каблук к сапогу.

Вот уж это будут такие ценности, которых никто в мире не отнимет!

А «диктатура пролетариата» и «классовая борьба» это такая вещь, что появись завтра околоточный да схвати тебя за шиворот, так ведь ты первый же расхнычешься:

— Отпустите, дяденька, не буду.

Не дай бог, если вернется самодержавие, но если оно вернется, то знаете, какой акт раньше всего будет обнародован?

«Вследствие возобновления настойчивых и усиленных верноподданнических просьб Нахамкеса о перемене ему фамилии на «Стеклов», означенная фамилия ему Высочайше даруется»...

Вот те и диктатура пролетариата.

* * *

Однако я замечаю, что эпидемия чхеидзевской морской болезни все ширится и растет, проникает в самую глубь, и недалеко то время, когда мы услышим такой разговор:

— Какое безобразие на этом тротуаре! Пьяных здесь вытряхивали, что ли?

— Никак нет, ваша милость. Митинг тут был, оратель говорил... Ну, публика и того... Не выдержала. Стошнило.

Собрание в эти недалекие времена будет протекать так:

Председатель: — Объявляю собрание открытым. Слово по записи предоставляется товарищу Смердякову.

Смердяков: — Товарищи! Классовое самосознание пролетариата в борьбе за демократич...

Собрание (все, все, все): — Вон его! Пошел вон с трибуны! Он разговаривает!

Смердяков: — От имени передовых отрядов революционной демократии и в соответствии с кинтальскими тезисами...

Один из членов собрания (приподнимается с места и молча стреляет в оратора).

Смердяков: — Одним словом, я кончил! (Вихрем уносится с трибуны.)

Председатель: — Слово предоставляется Сидорову.

Голос с мест: — Помолчали бы вы лучше! Тошно слушать вас. Неужели нельзя короче?!

Председатель: — (Сконфуженно) Мож. Сло. предста. Сидо.

Сидоров: — В горо. го. Нуж. подве. хл.

Некто (к соседу): — Я его не понимаю. Что он говорит?

Сосед: — Не будьте идио. Он ясно гово, что в городе голод и нужно экстренно подвести хлеб.

Некто: — Да ведь слово «экстренно» он не гово.

Сосед: — И так поня... Если бы не экстре... он бы и вообще не гово... Отста.

Некто: — Что это значит: отста?

Сосед: — Отстаньте, или я хлопну вас чернильницей по башке. Тошно от разгово!..

Председатель: — Поступило предложе... о посы... делега... на Стокго конфер от имени револю демокра. Прошу выска.

Одни из членов совещания (встает): — Прошу сло...

Председатель: — Сло предоста това Григорь.

Григорьев (встает на трибуну, качает отрицательно головой, потом сходит.)

Все (хладнокровно, с мест): — Бурнаплод.

Новичок: — Что это они все говорят: бурнаплод. Что это за слово?

Сосед: — Отвяжи!.. Это знач «бурные аплодисменты». Теперь не аплодир, а просто гово: «Бурнаплод».

Сидоров: — По вопро о посы делега про сло!

Председатель: — Предоста.

Сидоров (всходит на трибуну, делает такую гримасу, будто раскусил гнилой орех, плюет и сходит с трибуны.)

Все: — Бурнаплод! Бурнаплод!

Председатель: — Объяв засе закры.

Голос: — М-м-м! (мычит что-то).

Председатель: — В чем де?

Голос: — М-м! Когда следу засе?

Председатель: — Воскре, деся ча вече.

Все: — Мм-м. До воскре!

* * *

Если вести заседание таким образом, то оно отнимает времени не более 15-20 минут.

* * *

Я против самосудов, конечно.

И одобряю самосуд над человеком только в том случае, когда он долго говорит.

Тут уж разрешаю вам, читатели, бить чем ни попадя.

А будут все гово — Росс погиб.

ТРАМВАЙ

(Ценные мысли по пустяковому поводу)

Стоя у остановки трамвая, я пропустил десять вагонов: все они были переполнены.

От нечего делать я принялся разглядывать публику, набивавшую трамвай, висевшую на подножках, отдельных лиц, зацепившихся сзади за какую-то кишку и даже искусников-эквилибристов, стоящих одной ногой на крохотной гайке, ввинченной внизу наружной стенки, а рукой державшихся за выступ оконной рамы.

От бесцельного разглядывания публики я перешел к более систематическому наблюдению за ее свойствами и составом. Путем анализа, путем разложения трамвайной публики на ее составные элементы я вывел следующее заключение:

$^{1}/_{5}$ всей трамвайной публики — штатские обоего пола.

$^{4}/_{5}$ трамвайной публики — солдаты одного пола, именно сильного.

Сильного потому, что эти мужественные люди давили и тискали жалкие крохи затерянной среди них штатской публики с большой стратегической сноровкой и чисто военным искусством.

Наблюдая их умелые бравые эволюции, я только теперь оценил мнение иностранных военных авторитетов, что «русский солдат в военном отношении одна из лучших боевых единиц».

У меня пытливый ум, и мне было скучно в бездеятельности ждать свободного трамвая. Поэтому я погрузился в размышления и статистические вычисления.

— В Петрограде народонаселения два с половиной миллиона, — сообщил я сам себе. — Большинство этого народа

ездит в трамваях. Теперь: если $^4/_5$ всей едущей в трамвае публики солдаты и только $^1/_5$ штатских, то что мы получим? А то, что в Петрограде живет два миллиона солдат и полмиллиона остальной публики.

Эти гигантские цифры так поразили меня, что я бесхитростно поделился ими с незнакомым мне товарищем по ожиданию свободного трамвая.

Он отнесся к моему сообщению скептически.

— Что вы за вздор говорите! Два миллиона солдат в Петрограде! Их и сотни тысяч не наберется!

— Однако, раз четыре пятых публики в трамвае — солдаты, значит и общее количество солдат, умноженное на...

— Ничего не умноженное. Я вам говорю, что их не больше ста тысяч. А только дело в том, что они, эти сто тысяч, целый день ездят в трамвае, — вот и кажется, что их много.

— Как — целый день? А... утром?..

— Они ездят в трамвае.

— А... вечером?

— В трамвае. Ездят.

— Но когда же они едят?

— Они ездят в казармы обедать — в трамвае же, а пообедав, бегут к трамваю, садятся в него и опять едут.

Я удивился.

— Но ведь это очень хлопотливо.

— Ничего не поделаешь — военная служба.

— Значит, они все едут по военной надобности?

— Нет, по штатской.

— То есть?

— Кто в кинематограф, кто на Невский, а большинство доезжает до конечного пункта трамвая и потом едет обратно.

— Но ведь это им должно стоить больших денег, — встревожился я. — Правда, им прибавили жалованья, но...

— Тю на вас! Они ездят в трамвае бесплатно.

— Почему?!!

— Завоевание революции.

— Какое странное завоевание. Послушайте... А мне нельзя тоже немножко бесплатно поездить в трамвае?

— Что вы! С какой радости? Они — солдаты, значит, свергли царизм, они дали России свободу.

— Что вы говорите! Но ведь я тоже помогал свергать царизм, я тоже, знаете ли, боролся за свободу. Мало ли мной было написано статей и фельетонов против старого режима. Меня даже штрафовали за это.

— Так чего ж вы хотите?

— Тоже бесплатно ездить в трамвае. Не знаю, — может быть, это нескромность, но мне кажется, что я для революции сделал больше хотя бы вот того молодого низколобого, плохо одетого солдатика, который пускает дым папиросы даме под шляпку. А раз я сделал больше него для революции, почему он едет бесплатно, а я нет?

— Гм... Не знаю. Обратитесь в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, — может быть, вам и разрешат.

— А все-таки городская дума очень великодушно сделала, что в ознаменование завоевания революции дала солдатам право бесплатного проезда.

— Что вы!.. Она вопит как зарезанная. Она говорит, что солдаты ее, думу-то, разоряют, она плачет, что трамвай в этом году дает недобор в несколько миллионов, она даже недавно потребовала от военного министерства возврата этих наезженных солдатами денег!

— Военное министерство, конечно, вернуло деньги?

— И не подумало. Оно заявило: «какое нам до этого дело, раз солдаты ездят не по военным, а по своим надобностям».

Мы, понуренные, стояли плечом к плечу и молча долго следили за уносившимися от нас переполненными вагонами.

— Скажите, — осведомился я. — У них только бесплатный трамвай — завоевание революции, или и другие бесплатные штуки?

— То есть?

— Да вот, я недоумеваю: почему только один трамвай? Одним трамваем сыт не будешь. Раз они завоевали нам революцию, почему бы им не ходить бесплатно и в театры, и в кинематографы.

— Не знаю... Гм! Вероятно, не догадываются.

— Да, странно. Ведь, скажем, шоколадные конфеты. Тоже приятная вещь. Еще более приятная, чем трамвай. Почему бы солдату, как завоевателю революции, не заходить изредка в конфетный магазин и не брать себе фунтика-другого шоколаду?..

— Что вы? Тогда бы для обыкновенной штатской публики шоколаду совсем не хватило.

— Позвольте! А сейчас ведь тоже: штатской публике не хватает трамваев, — однако, ничего?

— То трамвай, а то шоколад.

— Тем более! Ведь трамвай — предмет первой необходимости, а без шоколада штатская публика могла бы и обойтись... Ну, будем логичны: почему трамвай — награда за революцию, а сотня папирос — не награда за революцию? Почему участок Финляндский вокзал — Литейный — Владимирский можно бесплатно проехать, а нельзя взять бесплатно в галантерейном магазине полдюжины фильдекосового белья? Почему трамвай больше награждает за революцию, чем хороший провесной балык от Елисеева или коробка омаров, соус провансаль? Почему никто не догадался устроить анкету среди солдат? Может быть, ему трамвай уже опротивел, может быть, ему уже надоело носиться целый день, как угорелому, без толку, по всему городу?! Может быть, если «Союз распределения наград за чужой счет завоевателям революции»...

— С ума вы сошли?! — воскликнул мой собеседник. — Такого и союза нет!

— Как нет? Нет, так должен быть! Это дело нужно упорядочить! Вот я и говорю: «Союз распределения наград за чужой счет завоевателям революции» должен разнообразить эти награды: нынче трамвай, завтра все солдаты получают по тысяче папирос, через неделю им предоставляется забор из мануфактурных магазинов разных материй в любом количестве, месяц они могут пользоваться гастрономией и колониальными товарами, парфюмерией, косметикой, театральными зрелищами, «дворянскими банями» и увеселительными поездками на южный берег Крыма! Я вас спрашиваю: чем трамвай лучше первого ряда на «Фауста» с Шаляпиным? Где логика?

Нас окружили другие штатские, дожидавшиеся трамвая.

Когда я замолчал, усталый, один из них взял меня за руку, наклонился ко мне и сказал предостерегающе:

— Тсс... — говорите о чем угодно, но забудьте логику.

— Почему?!

— Потому что логика в наше время — контрреволюционна!

НАМ ПРИСЛАНО

В г. Выборге на главной городской гауптвахте есть книга для записи арестованных, содержащихся под стражей.

И вот в этой книге красуется такая страница:

На 29-е августа 1917 г.

Звание, имя и фамилия.	Кем арестован.	Причина ареста.	На какой срок.	Время принятия под арест.	Когда кончится срок.	Отметка об освобождении.
Генерал от кавалерии Орановский.	Председателем армейского комитета 42-го корпуса.	Неизвестна.	До распоряжения.	29/VIII 17 г. 4 час. 30 мин.	—	Насильственно взят солдатами гарнизона и сброшен в воду с Абосского моста 29/VIII 17 г. в 5 час. 5 мин.
Генерал-лейтенант Васильев.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	—	Тоже.
Генерал-майор Степанов.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	—	Тоже.
Подполковник Карениус.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	Тоже.	—	Тоже.

Вот поистине страшный документ, который войдет в историю наряду с другими документами о великих злодеяниях.

На сухом разграфленном листке официальной книги сама жизнь усмехнулась так страшно, что волосы шевелятся на голове:

«Отметка об освобождении» и — «взяты и сброшены в воду»...!

Да, это настоящее освобождение! Освобождение навсегда — от всей официальной и неофициальной подлости, попустительства, лжи и подлизывания к «хозяевам положения».

Да будет вам, мученики, там, в мире бестелесных теней, лучше, чем здесь, среди живых откормленных подлецов!

Я РАЗГОВАРИВАЮ С КЕРЕНСКИМ

В апреле этого года я получил от одного из приятелей ценный подарок: портрет А.Ф. Керенского под стеклом.

Я тепло поблагодарил дарителя и поставил портрет на почетное место — на пианино.

Там он стоит до сих пор.

Но странные вещи происходят с этим портретом: начиная с въезда большевиков в особняк Кшесинской, этот портрет упорно поворачивается лицом к стене, а ко мне — тылом, и в последнее время — все чаще и чаще.

Я не верю в чудеса и на окружающее смотрю трезвыми глазами: конечно, портрет не сам поворачивается лицом к стене и тыльной частью к зрителю. Его поворачивают некоторые из гостей, приходящих ко мне.

Мне ни разу не удалось застать кого-либо на месте преступления. Но, если в моем кабинете сидят 4-5 человек и я на минуту вышел в столовую, можете быть уверены — портрет повернут лицом к стене.

Очень хочу, чтобы эти тихие, кроткие, беспристрастные строки прочел сам А.Ф. Керенский и вместе со мной призадумался над историей с портретом.

Сядьте около меня, Александр Федорович, я вам что-то скажу.

Давайте побеседуем тихо, мирно, без криков и угроз, как обыкновенный писатель с обыкновенным адвокатом, как простой адвокат с простым писателем.

Ведь у меня, у писателя, большая симпатия к адвокатскому сословию... Сколько раз я попадался в нескромном желании свергнуть царский режим, и сколько раз милая благородная адвокатура выпутывала меня из беды.

Замечательный народ, право.

Ну так вот, слушайте, мой дорогой министр-председатель...

— Александр Федорович! Как вы думаете — те вздорные мелочные люди, которые злорадно и мстительно поворачивают ваш портрет лицом к стенке, — контрреволюционеры или нет?

Конечно, нет. У меня контрреволюционеров не бывает. Я за своих гостей вот так — головой ручаюсь: это те самые люди, которые 28 февраля ходили именинниками,

подпевали «Марсельезе» и, вздев (совершенно искренно) красные банты на грудь, лобызались с солдатами, как с архангелами-провозвестниками нового счастья и новой славы свободной России.

Один из этих восторженных людей и подарил мне ваш портрет, Александр Федорович... А знаете, я не поручусь, что это именно не он поворачивает теперь втихомолку ваш портрет к стене.

Конечно, и другие поворачивают, но я подозреваю, что и его рука изредка непочтительно прикасается к вашему изображению.

Пустяк, Александр Федорович, а ведь симптоматичный пустяк.

Было, значит, что-то такое, что в марте и апреле заставляло этих людей говорить о вас, захлебываясь от восторга, потом пришло что-то, что в мае и июне заставило их сжаться, притихнуть и взирать на вас уже молча, не восторженным, а просто выжидательным взором, и случилось же что-то, что теперь заставляет их при вашем имени презрительно морщиться и цедить сквозь зубы: «слякоть (простите, привожу единственно для характеристики положения), размазня, мямля, пустой говорун, безвольная мельница».

А ну, Александр Федорович, спросим честно: кто изменился — они, эти люди, или вы?

Честно, только честно, милый Александр Федорович, скажу: изменились сначала вы, а потом, конечно, уже вслед за вами и они.

С них что взять — они обыватели. А вот вы...

Признаться ли?

Иногда даже у меня является против вас глухое бессильное возмущение: подсчитывали ли вы когда-нибудь, сколько самых роскошных, самых замечательных вещей дала вам Россия авансом в самом начале вашей головокружительной карьеры: нежную любовь к вам, полное доверие, пылкие надежды, крепкие руки, спины и свежие головы дала вам страна.

— Нате, Керенский, стройте новую Россию! Распоряжайтесь, мы с вами и за вас.

И как вы, Александр Федорович, распорядились этими сокровищами?

Голодная страна вручила вам, как некоему замечательному повару, лучшие свои продукты: рябчиков, цыплят, муку крупчатку, лучшие яйца, свежее масло, душистые яблоки и ананасы, — что вы из этого изготовили? Какое кушанье? Мутную болтушку для свиней, которой голодная страна давится вот уже который месяц.

Искать ли виноватых во всей этой разрухе и завале?

Извольте: вы виноваты!

Говорю это с большой душевной болью, но... виноваты вы, как главный ответственный повар той дьявольской интернационалистической кухни, которая чадит сейчас на весь мир...

С чего началось ваше падение? Большинство относит это к моменту занятия большевиками дома Кшесинской и вашего перед ними расшаркивания.

Не морщьтесь, дорогой Александр Федорович, не нервничайте, оно было, это расшаркиванье.

Может быть, вы, адвокат, не знали, что надо было делать тогда? А я, писатель, знал: вызвать батальон верных вам войск и вышвырнуть всю эту гниль. Пусть бы особняк был даже разрушен до основания, черт с ним, пусть бы даже пролилась кровь! Тогда это были бы капли, а теперь льются из-за вашего топтания на одном месте потоки крови. Что лучше? Вы (какой стыд!) вели даже переговоры с жуликами, занявшими дом герцога Лейхтенберского, вместо того, чтобы смыть всю эту дрянь одним росчерком пера.

Вы и теперь такой же человек слабости, апологет нерешительности, апостол жалких полумер.

Вот вам пример: в Донецком бассейне анархия, шахтеры взбесились, не хотят работать, изгоняют хозяев рудников и служащих, диктуя такие условия заработка, что пуд угля будет стоить чуть не сто рублей.

От отсутствия угля воюющая Россия может погибнуть — что же вы делаете, чтобы спасти ее, чтобы уничтожить разруху?

Вы, ваше Правительство, решило, видите ли, послать особого комиссара.

Псу под хвост он нужен, ваш комиссар.

Не комиссара нужно этим дикарям без чести и совести, а две-три тысячи казаков с неограниченными для них полномочиями. Это говорю я — мирный, кроткий писатель.

Увидите, как хорошо в присутствии казаков заработает эта наглая, жадная, развращенная вашими же большевиками (ведь это вы допустили их в Россию) банда.

Удивительная вещь: вот я написал слово «казаки» и я уверен, многие из читателей поморщатся: «о-о, опять казаки? Без казаков ни на шаг».

А что же, господа, — что же иное? Где другой выход? Не лгите себе и другим, не обманывайте, будьте честны как и я, до конца... Ведь другого выхода нет!

Договаривайте! Наше спасение, спасение всей России только в казаках, в этих единственно благородных организованных защитниках революции и свободы.

А Керенский боится опереться на казаков, он опирается на комиссара.

Он и к большевикам послал «комиссара» для переговоров, и к анархистам с дачи Дурново.

Многие считают, что падение Керенского началось именно с этих смехотворных переговоров с подонками России.

Я не согласен с этим.

Мое искреннее мнение, что ваше падение, Александр Федорович, началось именно с того, казалось бы, умилительного момента, когда вы в марте, приехав первый раз в министерство, поздоровались с курьером за руку.

Может быть, этот курьер был хороший, прямо-таки замечательный человек, но зачем вы с ним здоровались за руку?

Ему это нужно было? Нет. Вам? Для чего?

А вы пожали ему руку, и в этот момент раздался характерный всплеск: это впервые в России престиж власти шлепнулся в лужу.

Безумец вы! Разве может министр жать руку курьеру в той стране, где сотни лет все строилось на зуботычинах, начальственном окрике и начальнической фуражке с кокардой.

Должен же быть переход помягче... Человеку, голодавшему неделю, нельзя сразу дать пуд мяса. Объестся и протянет ноги.

Да ответь вы только этому курьеру на поклон милостивым наклонением головы — ведь он бы счастлив был!

А пожали руку — отчего же простодушному курьеру не пойти и дальше: не зайти к вам в кабинет, не присесть, не поболтать, не выкурить товарищескую папиросу.

Не спорю, пожатие руки курьеру жест красивый, оригинальный жест, о котором в свое время много говорили...

Но этот жест поплыл по всей России, причудливо меняя тона и окраску, извиваясь, гримасничая и хихикая.

И знаете, например, в каком виде он, благородный жест ваш, доплыл до Киева? (факт!)

Судили какого-то демократического человека... Подсудимый на суд опоздал — все судьи ждали его. А когда он явился и председатель суда спросил, где это он был так долго, — то подсудимый ответил буквально так:

— А тебе какое дело?

Вот оно, ваше пожатие руки курьеру... Во что оно вылилось через семь месяцев.

Старо, а верно: у нас в России или — в морду, или — ручку пожалуйте, градации нет.

Конечно, морда уже отжила свой век, отпала, но и для «ручки» слишком рано. Приветливый кивок головы — вот что нужно было всероссийскому забитому курьеру.

Не спорю, вы можете возразить мне, Александр Федорович, что пожатие курьерской руки — это просто присущая вам оригинальность, как была же у Суворова оригинальная манера кричать петухом на заре, звонить на колокольне и прыгать через стулья, когда к нему приходили с докладом.

Верно. Но не забывайте, что за всем этим Суворов был гениальный полководец и неоднократно вплетал пышные лавры в венок славы российской. А если бы все его деяния только и сводились к перепрыгиванию через стулья и кукареканью, он бы не был так славен.

В вас же, Александр Федорович, заметна пока только первая половина Суворова — вы хорошо перепрыгиваете через стулья и кричите петухом в угоду С.Р. и С.Д.

* * *

Послушайте, Александр Федорович... Я не хотел вас обидеть, ей-богу. И не будь вы сейчас у власти, мы, может быть, были бы большими друзьями. Мы оба одинаково любим Россию, но в то время, как вы пытаетесь слабой

дрожащей рукой опереться на дряблое плечо комиссара, я и иже со мной предпочитаем твердый, честный ствол революционной винтовки.

И если вы прислушаетесь к этому голосу людей, любящих Россию, то... может быть, ваш портрет и не будет перевернут лицом к стенке.

ДИПЛОМАТ ИЗ СМОЛЬНОГО

Знаете ли вы что-либо о дипломатах?

Самый умный дипломат подарил мир ценной фразой:

— Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли.

Если это так, то демократические дипломаты из Смольного института — самые подлинные, настоящие дипломаты: языком работают на диво и мысли свои скрывают так замечательно, что при всем желании в дипломатическом наказе, который повезет в Париж «товарищ», и кончика мысли не найдешь.

Наказ — вещь высокой дипломатической бессмыслицы, и поэтому ее надлежит признать тонкой, хитроумной, настоящей талейрановско-макиавелливской.

Сам черт ногу сломит, разбираясь, чего же хотят дипломатические смольные институтки.

Если выгод России — так нет! Почти весь документ построен на доставлении удобств Германии. Если документ поддерживает Германию — кой черт! Ведь это тоже невозможно — Германия воюет с Россией, Германия наш враг... Зачем же ее поддерживать?

Тонкая дипломатическая штучка этот наказ из Смольного!

* * *

Для того, чтобы рассеять туман, я обратился к дипломату Скобелеву.

— Вы везете наказ на конференцию?

— Нет, думаю отказаться.

— А кто же повезет?

— Вероятно, поедет товарищ Капитулякин.

— Дипломат?

— Ого!

— Он что же... при чем аккредитован?

— При заводе «Новый Парвиайнен», токарь по меди. Но это ничего не значит... Голова! Мозги!

С некоторым трудом отыскал я товарища Капитулякина. Когда я вошел в его скромный кабинет, этот головастый паренек шагал энергично по комнате и, поглядывая в какую-то книжку, которую держал в руках, бормотал:

— Бонжур маман. Коман ву порте ву? Донне муа вотр мушуар де пош. Э муа з'осси маляд, тре бон.

— Здравствуйте.

— А-а... Бон суар, гран-пер. Кескесе вам нужно?

— Видите ли, внучек, — раскланялся я. — Мне бы хотелось знать: это вы едете от Смольного на парижскую конференцию?

— Вуй. Се муа.

— Вы что же... давно дипломатией занимаетесь?

— Уже полторы недели. С языками у меня только что-то не ладится. Французский язычишко — самый каверзный. Пишется «мои», а читается «муа» — вот тут и разберись. То ли дело честный русский язык: «Мандат, делагат, кооптация без аннексий и контрибуций»!

— А вам принципы дипломатии известны?

— Ого! «язык дан, чтобы скрывать свои мысли». Вот те и принципы!

— Ну, например?

— Ну, вот, скажем, мысль у меня такая: чего этот субъект притащился ко мне, мешая работать! А языком я говорю вам: «присядьте, пожалуйста. Не хотите ли чаю?»

— Merci.

— Падекуа, товарищ?

— Значит, вы все эти дипломатические тонкости уже раскусили?

— Не трудная вещь. Раскумекал. Я ведь себе и фрачишко уже такой закрутил, что — тре бон.

— Неужели фрак заказали?

— А то как же, — раз дипломат, неужто ж без фрака?

— Однако совместимы ли демократические принципы и буржуазный черный фрак?

— А кто вам сказал, что он черный? Такое красное суконце завинтил — в глазах рябит. С моноклем вот беда.

— А что? — спросил я участливо.

— В глазу не держится. Думаю перед отъездом раз навсегда вставить. Вмазать вроде этакой зимней рамы. Проборчик смастачим, а, главное, язык... он так скроет мысли, что в три года не докопаешься.

— Какие же тезисы будете вы поддерживать?

— Очень простые. Вся земля — народу, без выкупа.

— Ну, да, но ведь это внутреннее наше дело. При чем тут конференция?

— А все-таки. На всякий случай. Второе — полная автономия Франции и Англии...

— Как автономия? Но ведь эти государства совершенно независимые!

— Ну, пусть. Это неважно. Третье — восстановление Бельгии и Испании из международного фонда.

— Но ведь Испания не разрушена. Она даже не воевала.

— Ну, тогда дадим им автономию. Англии мы предложим плебисцит — куда хочет присоединяться: к Великобритании или Германии? Эльзас отдадим Лотарингии, а...

— Как вы не спутаетесь? — удивился я. — Столько государств, а вы один.

— Да уж... дипломатия — это не лапти плести. У меня, правду сказать, ворошится в мозгу одна идейка. Она еще не оформлена, но если ахнуть ее на конференции — глаза у всех на лоб полезут.

— А ну — ахните сейчас.

— Между нами?

— Ну, что вы...

— Так вот вам: думаю я предложить самую справедливую штуку, с нашей демократической точки зрения: взять все европейские земли, обмерить их да потом и разделить поровну между всеми участниками конференции... Скажем, сидят за столом двадцать государств, у которых двадцать миллиардов десятин на всех. Вот каждому и достанется по миллиардику.

— Значит, и Сербии целый миллиард?

— Да, это, положим, я хватил. Многовато им. Ну, мы сербов к Германии посчитаем.

— А маленькая Румыния? Тоже миллиард?

— Ее можно к Венгрии. Это, впрочем, уже детали.

— Боюсь я только...

Дипломат ласково улыбнулся.

— Не стесняйтесь, договаривайте.

— Боюсь я, что Россия на этом деле с дележом — потеряет.

— Почему?

— У ней земли сейчас больше, чем миллиард десятин.

— Сейчас! Но я говорю о том, что будет после войны.

— А что же...

— Тогда будет меньше. Так что мы на этом дележе только выиграем.

— А с министром Троцким вы уже сговорились?

— Почти. Он парень понимающий. Единственное разногласие у нас — насчет выхода какой-то страны к морю.

— Ну и что же вы?

— Я не понимаю: зачем им этот выход к морю? Еще утонет кто-нибудь. То ли дело суша!

— До свидания.

— Адью, ма тант!

Я вежливо расшаркался:

— Адью, гранд-мер!

Вместо этого я хотел сказать совсем другие слова, но... недаром мы, дипломаты, твердо усвоили принцип:

— Язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

ПРЕДЛОГ ДЛЯ РАЗВОДА

— Хочу с женой развестись...

— Ка́к?! Но ведь она же чудесная, добродетельная женщина!! Что за причина?!

— Видите ли... она в свое время Смольный окончила... А я не могу теперь слышать этого слова!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

— В Москве большевики разгромили орудиями несколько церквей и Иверскую часовню.

— И правильно. Это именно такой образ правления, когда «хоть святых вон выноси».

ОПАСНОСТЬ ЦАРИЗМА

— А здорово мы буржуям замазали рты...

— Что толку? А во рту у них все-таки остались золотые коронки...

ЗА ГРОБОМ МАТЕРИ

Есть такое выражение:

— Смеяться до слез.

И сейчас так смеется вся Россия: смеется до слез.

Это именно тот горловой удушливый смех, который вырывается помимо вашей воли. Прекратить этот смех нельзя — вслед за ним следует истерика.

Это грандиозное зрелище: вся несчастная Россия катается по земле, корчится в припадке смеха, смешанного с рыданиями, с воплями:

— Ой, не могу больше, пустите. О-ой, пощадите, умру!

Вся Россия опьянела от свободы, как Ной от вина.

А пришел Хам, открыл ее худое немытое тело и показал это непристойное зрелище всему миру:

— Видели пьяную дуру? Дорвалась, хи-хи.

Несчастная, обокраденная, изнасилованная Россия валяется — голая, во прахе, а Хам подталкивает ее, мать свою, ногой и хохочет.

И Россия хохочет вслед за ним.

Пьяная истерика.

* * *

Россия! Мать моя! За что я люблю тебя, пьяная ты, несчастная, жестокая дура? Ведь мы за тебя рисковали своей свободой и головой — все Симы и Иафеты, мы, все, старающиеся сейчас прикрыть твою наготу, пьяная ты дуреха, мы, отталкивающие своей слабой рукой огромную лапу Хама, совлекшего с тебя ветхие одежды твои.

Ах, если бы все, что сейчас происходит, касалось не тебя, как бы мы посмеялись!

Подумайте, какая трагедия: смех — это наша профессия, это стихия сатириконцев, а мы не можем смеяться.

Мы могли бы плавать в смехе, в этом чудовищном бурлящем океане смеха, а мы, беспомощные, лежим на берегу этого океана на песке и только судорожно открываем рот.

Улыбка это? Точно такая же улыбка бывает у дохлых собак, когда пасть раскрыта и зубы оскалены. Не думаю, однако, чтобы такой собаке было весело.

И как назло, в последнее время во многих газетах появились отдельные строчки и даже целые статьи, твердящие одно и то же:

«Переживаемое нами время достойно страниц «Сатирикона».

«Вся большевистская авантюра будто бы только для того и затеяна, чтобы доставить материал «Сатирикону».

А в одной газете даже целая статья по поводу сконструирования большевистского кабинета так и называлась:

— Министерство из «Сатирикона».

Странно: всюду склоняется — «Сатирикон», «Сатирикона», «Сатирикону», а нам, сатириконцам, не смешно.

Отчего бы это? Целый океан смеха, а мы задыхаемся на сухом берегу, судорожно открывая рты.

Нельзя сказать, чтобы чувство юмора оставило нас...

Разве не смешно, что Керенский вызвал Корнилова против большевиков, на полдороге спохватился, объявил Корнилова контрреволюционером, предал Корнилова большевикам, потом сам попал им в лапы, потом вырвался, потом пошел на них, по корниловскому рецепту, с войском, а потом, преданный войсками, был теми же большевиками, которых он спас от Корнилова, объявлен контрреволюционером и корниловцем.

* * *

Разве не смешно, что Ленин и Троцкий, обвиняемые в государственной измене, сели править государством, что Плеханов, Савинков и Брешко-Брешковская, наоборот, объявлены черносотенцами, а те министры, которые раньше садили в Петропавловскую крепость царских министров, сели теперь сами с ними.

* * *

Разве не смешно, что какой-то продувной Викжель (это что еще за новое кушанье?) объявил себя нейтральным между войсками Ленина и правительственными войсками, и разве не юморически смешно, что нейтралитет его выразился в охране войск Ленина от нападений правительственных войск и, наоборот, в недопущении правительственных войск к мятежному Петрограду, в котором в это время мятежники расправлялись с правительственными юнкерами. Если бы этот Викжель был человеком, я смело назвал бы его полуидиотом, полумошенником, но Викжель не человек, это организация.

Уколупни-ка ее.

* * *

Разве не смешна история появления «министра иностранных дел» Троцкого у английского посла и ответ посла: «таких я не принимаю».

Дьявольски смешно то, что английский посол не пустил русского министра далее передней, — отчего же нам как-то не хочется смеяться?

* * *

Разве не смешно, что большевики за отсутствием знающих людей назначили начальников по тюремному ведомству из бывших уголовных, — они, мол, все-таки ближе к этому делу.

Да дай нам в другое время этот «комический» материал, мы бы из него такое кушанье сварили, что читатель за животики бы схватился...

* * *

И, наконец, последнее — «гомерический хохот, всемирный боевик, русская золотая серия или берегитесь надорвать кишки» — это история получения из Государственного банка десяти миллионов рублей.

Власти, правящей Россией, скажем, нужно получить для нужд России десять миллионов.

Раньше как это делалось? Министр финансов писал ассигновку, артельщик ехал в Государственный банк, кассир выдавал ему пачку сторублевок, тот пересчитывал, вез куда надо — и все!

А теперь? Смейтесь же!

Для того, чтобы власть (имеющая по логике вещей в своем распоряжении миллиарды) могла получить жалкие десять миллионов, она собирает сухопутную армию, отряд матросов (?) и с музыкой (ей-богу, сам слышал — играла музыка!!) идет реквизировать (?) эти десять миллионов.

Кассир твердо заявляет, что он денег неизвестным лицам не выдаст... и вот вся армия, весь флот бодро поворачивают назад. Не знаю, играла ли музыка, когда армия возвращалась из банка без денег, — думаю, что не играла, но подумайте! Ведь это же я не выдумал! Новая власть получает деньги (да ведь и не получила же) при помощи солдатских ружей, штыков красногвардейцев, оркестра музыки и при непременном присутствии верховного главнокомандующего Муравьева.

Может быть, он, впрочем, и не верховный главнокомандующий, да разве не все равно теперь? Издаст Ленин декрет, что быть Муравьеву французским президентом, — и будет человек президентом. Легкость в мыслях такая необыкновенная, что сочинить декрет — как раз плюнуть. Ведь это же смешно, господа!!!

Однако, почему же, черт его побери, не хочется смеяться?

Да потому, что не Хамы мы, а страдающие Симы и Иафеты, страдающие за всероссийского брата нашего, за Хама нашего...

Вот она, — видите? — несчастная, голая, пьяная, с испитым грязным телом лежит во прахе у ног наших... У кого из нас, детей ее, хватит чести и совести разразиться над полутрупом насмешливым хохотом?

Нет. Мы не из тех, которые идут за гробом матери, приплясывая.

Креп на руке, проклятие убийцам на устах, открытая рана в сердце.

Плачьте, русские!

ВСЯ ВЛАСТЬ — МНЕ

Уже несколько дней подряд я ходил как неприкаянный и все время не мог понять, что со мной делается...

— Что с тобой такое? — спрашивали друзья.

— И сам не понимаю, что. Чего-то мне хочется, а чего — и сам не знаю.

— Может быть, ты жениться захотел?

— Фи, какая гадость! Тоже выдумаете... Нет, мне хочется чего-то этакого... Ну, понимаете? Такого.

— Какого?

Я беспомощно вертел рукой.

— Ну, такого, знаете... большого. Важного.

— Родзянки, что ли?

— Глупо. Понимаете, чего-нибудь такого, чтоб оно было большое и приятное.

— Ну, это довольно расплывчато. Вагон белой муки под это подходит. Гарем египетского хедива подходит. Доходный дом на Невском. Бриллиант величиной с куриное яйцо. Жесточайшая подагра у твоего врага. Мало ли что бывает большое и приятное!

Однажды кто-то спросил:

— Может, тебе сладенького хочется?

— А чего бы, например? — задумчиво прищурился я.

— Скажем, земляничный торт. Да нет их теперь. Власти запретили.

Вдруг я, осененный, стукнул кулаком по столу.

— Есть! Вот чего я хочу!

— Торт? Но торты запретили власти.

— Нет! Вот этого именно я хочу: власти! Власти мне уже который день хочется!

Окружающие засмеялись.

— Ишь, чего захотел! Власти! Раньше была «Вся власть Советам», а теперь вся власть у большевиков. Опоздал, голубчик!

Снова я стукнул кулаком по столу.

— Так будет же по-моему! Товарищи пролетарии! Объединяйтесь под знаменем: «Вся власть Аркадию Аверченко!» На наш век пролетариев хватит.

Я был как в горячке. Вдохновение горело на челе моем.
— С чего же вы начнете? — спросили меня.
— Ясно с чего: с декрета.

* * *

Через день мой первый декрет был уже напечатан и расклеен.

ДЕКРЕТ

Главного сверхнародного комиссара, поставленного волей самых что ни на есть беднейших крестьян, невероятно солдатских солдат и поразительно матросских матросов...

Товарищи! Большевики вас обманули и обсчитали. Что они дали вам? Землю? А вы спросите их — кто будет ее обрабатывать, эту землю? Придется вам же! Очень весело, нечего сказать! Нет, товарищи! Если вы объединитесь под священным лозунгом нетрудящихся масс: «Вся власть Аркадию Аверченко!», — то вы будете иметь землю и не вы будете ее обрабатывать. Дудки-с! Довольно вы уже поработали. Пусть другие работают на вас! И эти другие — буржуи и аристократы! Скажем, так — Родзянко и Милюков впрягаются в плуг, а графиня Кантакузен идет сзади и подгоняет их. Косить будут Сумароковы-Эльстон — вся семья, а молоть — те же большевики. Это их дело! Довольно они попили вашей кровушки! Пусть коров пасет председатель сельскохозяйственного общества, а крыши чинят сами братья Тонет. Большевики глупо, как попугаи, повторяли: «вся власть беднейшим крестьянам!» Почему? Я, наоборот, говорю: «Вся власть богатейшим крестьянам», потому что среди вас не будет бедных!

Вы, товарищи рабочие! Большевики и вас обманули! Подумаешь, важное кушанье — контроль над производством! А заводы и фабрики все-таки у буржуев-капиталистов! Нет, я вам дам побольше! К нам пожалуйте, первый сорт — у нас покупали! Каждый рабочий у меня получит собственный небольшой завод или фабрику на сто персон, и пусть он отныне ходит по заводу, заложив руки в карманы, да только покрикивает — рабочими у него будут Крестовников, Коновалов и прочие Рябушинские. Это тебе не контроль какой-нибудь паршивый! Итак, идите все на улицу и носите

по улице писаную торбу, на которой должны быть начертаны великие слова: «Вся власть Аркадию Аверченко!», «Долой контрреволюционеров, всех этих буржуев — Каледина, Керенского, Троцкого, Ленина и других, продавшихся капиталу!»

Товарищи солдаты и матросы! К вам слово мое! Вы так жадно хотите мира — разве его вам дали обманщики-большевики? Что они сделали? Послали к немцам для переговоров какого-то несчастного Шнеура, да и тот оказался жуликом! Нет, вот у меня будет мир, так мир! За ухо от него не оттянешь. Такой скорый, что не успеете и оглянуться. И что это за скромность такая — без аннексий и контрибуций? Почему? Наоборот! С массой аннексий и контрибуций! С чьей стороны — это не важно.

Те же из вас, которые все равно не воевали и которым будет ли война или нет — ни тепло, ни холодно, — одним словом, петроградскому революционному гарнизону, — я обещаю на ухо пять словечек: 1) Государственный, 2) банк. 3) Погреб, 4) Зимнего и 5) дворца!

Теперь посчитайте, кто больше дает — я или большевики? За кем вы пойдете, за мной или за большевиками? Дураки вы, что ли, чтоб идти за ними, когда я даю втрое больше?

Итак, пусть перед вашими духовными очами ярко горят два огненных лозунга:

1) «Вся власть Аркадию Аверченко!»

2) «Господин, у нас покупали, — пожалуйте».

Подписано:

Сверхверховный сверхкомиссар
Аркадий Аверченко

Да здравствует углубление революции!
В борьбе обретешь ты лево свое!

* * *

Не прошло и нескольких часов, как ко мне в квартиру влетели бледные, растерянные Троцкий и Ленин.

— Что вы наделали? — с порога крикнули они. — С ума вы сошли?

— А что? — спросил я с невинным видом. — Садитесь, господа.

— Уже? — крикнул хрипло Троцкий. — Мы не хотим садиться! Вы не имеете права нас арестовывать!

Я вспыхнул.

— Это почему же, скажите пожалуйста, — надменно спросил я. — Отныне вся власть перешла ко мне! Вся власть Аркадию Аверченко!

— Вас никто не выбирал.

— Выберут! Я таких обещаний в свой декретишко насовал, что все за мной побегут.

— Но ведь это ложь! — стукнул кулаком по столу Ленин. — Где вы возьмете столько фабрик, чтобы наделить каждого рабочего фабрикой? Где вы наберете столько Родзянок и Кантакузенов, чтобы пахать на них землю? Какой это мир можно в два дня заключить? Мы неделю не могли, а вы...

— За ним все равно никто не пойдет, — пробормотал дрожащими губами Троцкий.

Я ядовито улыбнулся:.

— Вы думаете? А вы слышали уже эти крики на улице: «Вся власть Аркадию Аверченко! Долой капиталистов Троцкого и Ленина!»?

— Пощадите! — застонал, простирая ко мне руки, Ленин. — Отступитесь!

— Поздно, — сказал я роковым голосом, показывая на появившихся в дверях красногвардейцев. — Арестуйте этих двух...

Я устало указал на Ленина и Троцкого.

— Куда их потом? — презрительно спросил красногвардеец.

— Ну, как обыкновенно: в Петропавловку. Ступайте, господа. Все там будем.

* * *

И что же! Последняя моя фраза оказалась пророческой: я пошутил, а через три дня появилась новая власть, и я, сверхкомиссар, был сверхарестован и посажен в сверх-Петропавловку сверх всех министров.

Моим преемником по власти над страной оказался какой-то Федька Кныш — он так и подписался под декретом, свалившим меня:

«Федька Кныш, крючник калашниковской пристани».

И знаете, чем он взял в свои руки все нетрудящиеся массы, чем он победил?

Краткий лозунг был у Федьки, а крепкий, черт его побери!

Вот этот лозунг:

«Шантрапа! — писал грубый, невоспитанный Федька. — Делай что хошь! На шарап! Мой лозгун (?): Всем — все!»

И долго ходили толпы по городу с яркими плакатами в руках:

«Вся власть Федьке».

* * *

Ничего не поделаешь. Федька оказался левее.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедельный журнал САТИРЫ и ЮМОРА
на 1918 год
«НОВЫЙ САТИРИКОН»

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Увидев это симпатичное объявление о подписке, большинство наших верных подписчиков спросит с недоумением:

— Виноват, как же вы смотрите на наше ближайшее русское будущее, если среди общего крушения и обломков все-таки объявляете солидную, спокойную подписку?

Читатель наш и подписчик! Несмотря ни на что, мы бодро и уверенно смотрим вперед.

За ночью наступает день.

За преступлением — наказание.

1917 год был годом гнусного, подлого преступления. 1918 год будет годом рассвета и годом жестокого наказания для негодяев, годом ужасного разочарования для дураков.

Мы с вами, читатель, не дураки, не негодяи.

Мы судьи и прокуроры...

Итак — суд идет!!

* * *

Суд, конечно, судом, но тут же рядом принимается и **подписка** на этот год — год правосудия, расчета и мести.

А условия ее по нынешним временам очень даже сходные:

за 12 мес. (с премиями) — 30 руб.,
за 6 мес. — 15 руб., за 3 мес. — 7 руб. 50 коп.
и за 1 мес. — 2 руб. 50 коп.
Адрес редакции и конторы:
Петроград, Невский пр., 88.
Телеф. 59-07

Хоть при пересылке за границу стоимость журнала, обыкновенно, повышается, но мы посылаем журнал на Украину, Сибирь, Кавказ, Финляндию и др. — по той же цене.

Чихать нам на такую заграницу!

Издательство

ПОСЛЕДНЯЯ ЕЛКА

(Рождественский рассказ Арк. Аверченко)

Был декабрь 1917 года.

Наступило Рождество.

Еще в сочельник можно было видеть, как оживленные веселые толпы покупателей наполняли магазины, покупая к великому празднику разной снеди — у всех были свертки и пакеты с индейками, гусями, поросятами, консервами и прочими вкусными вещами.

Не были забыты и детишки: отцы и матери семейств, как их будущие елки, были увешаны пакетами с конфетами, шоколадом и прочими вкусными вещами.

Молодой, сияющий радостным свежим лицом офицер вышел из конфетного магазина, чуть не сгибаясь под тяжестью большой коробки шоколада, и крикнул зычным голосом:

— Извозчик! На Можайскую.

— Пожалуйте, ваше благородие. Н-но, ты!..

Когда подъехали, дом генерала Филатова на Можайской, куда так стремился наш прапорщик (его звали Семенов),

сиял тысячью огней изо всех окон: всюду был праздник, всюду резвились дети и солидно беседовали за стаканом доброго вина взрослые.

Быстро взбежал Семенов по лестнице.

— Генерал принимает? — осведомился он, сбрасывая шинель на руки бравому денщику.

— Так точно, ваше благородие! Их превосходительство принимают.

— А старшая барышня дома?

— Так точно.

Одернув парадный мундир и сверкая матовой позолотой погон, Семенов прошел прямо в гостиную и здесь немедленно столкнулся с той, которая была ему дороже всего, — с Марусей Филатовой.

— Ах! — застенчиво вскрикнула она. — Здравствуйте. А я тут возилась около елки.

Видите, какая огромная.

— Вот вам, во-первых, ваш любимый шоколад с ванилью, а во-вторых...

— Что во-вторых? — тихо прошептала Маруся.

— Я хотел бы с вами поговорить... Вы знаете о чем?

— Н-нет...

— Маруся! Я хотел бы... если вы меня любите, как и я... одним словом... Будьте моей женой!

— Ах! — вскрикнула Маруся, пряча свое изящное смущенное лицо у него на груди. — Это так неожиданно... Я еще такая молодая... Вы видите, даже интересуюсь елкой...

— Маруся, — тихо сказал Семенов, гладя ее изящную ручку. — Вы и потом будете интересоваться елкой, но уже не для себя... Для тех, кого мы будем нянчить вместе и...

— Ах, — застенчиво вскричала девушка и, закрыв лицо руками, убежала.

Семенов посмотрел на нее любовным взглядом и, мелодично смеясь, прошел в кабинет генерала.

Важный, покрытый орденами Филатов встретил его очень приветливо.

— Здорово, поручик, — шутливо поздоровался он.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— По вверенному вам округу все обстоит благополучно?

— Никак нет. Неблагополучно. Я влюбился и прошу руки вашей дочери.

— Ха-ха-ха! — густым басом засмеялся генерал. — Ловко подвел махинацию. Что ж, я ничего не имею против этого. Только приданого могу дать гроши. Всего несколько тысяч. Ведь я живу, как вы знаете, на жалованье. Вот разве в окружном суде дело выиграю, тогда смогу дать Марусе и больше.

— О, — сказал Семенов. — Нам ничего и не нужно. У меня от тетки остался дом, да кроме того есть небольшое именьице в Тульской губернии.

— Ну, дело ваше, — захохотал генерал. — Еремей!

В дверях вытянулся бравый денщик.

— Шампанского! Хе-хе!.. Значит, «Исайя, ликуй»? А после свадьбы куда?

— Я думаю, поедем в Малороссию или на Кавказ, а, может быть, даже за границу.

Хлопнули пробки.

— Ну, Маруся, — сказал генерал, подмигивая дочери, — думала ли ты, что это будет твоя последняя елка?

И опять возразил Семенов, которого все солдаты любили в полку за его ум, прямоту и находчивость:

— Последняя? Но, я думаю, годика через два мы снова начнем устраивать елки.

Не правда ли, Маруся?

— Ах!.. — вскричала девушка, пряча смущенное лицо в изящных ручках.

— Бам-м! — раздался густой звук рождественского колокола, будто благословляя молодую чистую любовь г-на Семенова и m-lle Филатовой...

В гостиной зажигали елку.

Арк. Аверченко

P.S. Должен признаться откровенно: из-за этого написанного мною изящного рождественского рассказа в редакции у нас произошла тяжелая сцена.

Дело в том, что некоторые из своих произведений, которые я считаю особенно удачными, я читаю сотрудникам, не без основания рассчитывая на их шумное одобрение... К сожалению, рассказ «Последняя елка» вызвал совершенно противоположное отношение.

— Дрянь, — сказал художник Р.

— Ходульная чепуха, в которой ни одного слова правды, — поддержал поэт Ф.

— Я бы на вашем месте, — деликатно заметила секретарша, — выкинула все те места, которые теперь как бы... гм!.. устарели.

И все хором поддержали ее.

— Например? — хладнокровно поднял я одну бровь, тщательно пряча в глубине души больно уязвленное самолюбие творца.

— Например? Да вот, начнем с самого начала: «Был декабрь». Ну... это... Декабрь, конечно, был; против этого не поспоришь. «Наступило Рождество». О каком Рождестве вы говорите?

— Даже ребенок догадается! — вскричал я запальчиво. — Я говорю о Рождестве Христовом!

— Так-с! А вы знаете, что народные комиссары из Смольного для уравнения нашего календаря с западным отменили в этом году Рождество?

— Гм... Ну, тогда слова «наступило Рождество» вычеркните.

— Хорошо-с. Теперь дальше: где это вы видели «оживленные веселые толпы покупателей»? С чего им веселиться? С чего оживляться? Не с того ли, что каждую минуту может прихлопнуть из-за угла пуля пьяного красногвардейца или матроса?

И что они могли покупать, эти «веселые толпы»? Веревку, чтобы повеситься? Но нет! Вы говорите о «снеди»! И даже перечисляете: гуси, индейки, поросята. А знаете ли вы, что фунт гуся стоит десять рублей, что за поросенка берут столько же, сколько раньше за корову?!

— Они... маленьких покупали, — робко пролепетал я. — Дешевеньких.

— Каких маленьких? Кого, чего? Маленький, дохлый гусенок все равно пятьдесят рублей стоит. А деньги откуда взять? Вы ведь знаете, что частные банки выдают, благодаря закрытию Государственного банка, только гроши, на которые впору не умереть с голоду! И у вас эти «веселые» идиоты покупают шоколад и конфеты! Где? В Америке они его покупали? Который шоколад? Вычеркиваю! И гусей вычеркиваю, и шоколад!

— У него тут тоже какой-то невероятный «сияющий офицер» с погонами выведен, — ядовито заметил поэт. — Какие теперь к черту погоны, когда солдаты просто избивают и даже убивают за ношение погон. Очень тут засияешь!

— Вычеркнем сияющего офицера.

— А извозчик! Какой это невероятный, фантастический извозчик мог посадить седока без торгу, не содрав с него три шкуры? Извозчик сей — плод горячечного бреда рассеянного автора.

Я сдавался не легко.

— Отчего же, господа? А вдруг это был добрый русский человек, у которого сердце растаяло от праздничка... вот он и повез.

— Ерунда! Если у доброго русского человека растает от праздничка сердце, он не седока за грош повезет, а пойдет скорей винный склад громить.

— Верно! Он те покажет праздничек. Вычеркивайте извозчика!

— Тут у него тоже «дом сиял тысячью огней». Это при недостатке-то топлива на электрической станции, когда свет дают через пятое на десятое? А какие дети теперь резвятся? Какие взрослые «солидно беседуют за стаканом доброго вина»?! Все вычеркивайте — и детей, и солидную беседу, и доброе вино!!

— Ну, хорошо, — мужественно отступил я. — Пусть резвящихся детей и доброе вино — к черту, но «бодро взбежал Семенов по лестнице» — это ведь может быть?

— Офицер? Бодро? Гм!.. Сумлеваюсь, штоб. Ну, да ладно. Может, и есть офицер, который даже теперь способен козлом прыгать. Для вероятности поставьте: «прихрамывая». Но что это за дикий бредовый денщик, рапортующий «так точно» в ответ на вопрос: «барышня дома?» Не так теперь денщик ответит офицеру. «А черт ее знает, эту дрянь!» — так он теперь ответит.

— Да денщики нынче и вообще отменены, — подсказал художник.

— Вычеркивай денщика! И «любимый шоколад с ванилью» вычеркивай. Теперь, брат, не «любимый», а «лопай, что дают». С тараканом шоколад съешь, если хочешь, а не с ванилью!

— Предложение руки и сердца тоже вычеркни, — посоветовал поэт. — Сейчас офицеры переведены на солдатское жалованье. Не очень-то на пять рублей в месяц женишься.

— Но ведь у моего Семенова и дом есть, и имение в Тульской гу...

— Декрет из Смольного отменил право домовладельцев на дома! Имения сожжены, и земля забрана добрыми мужичками. Кукиш с маслом имеет твой Семенов!

— И генерал у него какой-то дурак: хохочет. Ну, чего теперь русские генералы будут хохотать? Теперь русские генералы плачут или вообще умирают. Затем: покрыт орденами — вздор! Смольный отменил ордена. И «ведь я живу на жалованье» — глупо. Генерал теперь тоже получает рублей пять в месяц. И «дело в суде» он не выиграет — ведь суды отменены Смольным. И шампанского у генерала нет — что он, матрос, что ли, или красногвардеец? Зачеркните. И эту непонятную фразу зачеркните: «поедем в Малороссию, на Кавказ или даже за границу». Ведь сейчас и Кавказ, и Малороссия — заграница!

— А «хлопали пробки» измените на: «хлопали выстрелы». Теперь они по всем местам каждую минуточку хлопают. Опять же, солдаты не могли «любить Семенова за ум, прямоту и находчивость». Убили бы его солдаты за эти буржуйные свойства!

Вычеркните. Кроме того, и ликующего Исайю необходимо вычеркнуть...

— Все?

— Вот тут — колокольное «Бам-м!» я бы тоже вычеркнул. Какие теперь «Бам-мы!», когда большевики отделили церковь от государства?! Не очень-то нынче разбамаешься, раз религия упразднена официально по декрету. Вычеркните.

— Позвольте! — вскричал я, скрежеща зубами. — Но ведь так от рассказа почти ничего не останется! Знаете, что? Оставьте его так, как он написан, и сделаем подзаголовок: «исторический рассказ».

— Такие вещи, как исторические рассказы, уместны в «Историческом Вестнике», — сухо возразил художник, — а не в злободневном сатирическом журнале! Я так советую: все невероятное, все вычеркнутое — выбросьте и печатайте то, что осталось.

— А что осталось? — уныло спросил я.
— Кое-что, все-таки, есть...
И секретарша громко прочла:

ПОСЛЕДНЯЯ ЕЛКА

Рождественский рассказ Арк. Аверченко.

Был декабрь 1917 года.
Офицер Семенов, прихрамывая, взбежал по лестнице.
Хлопнули выстрелы.

УМЕНЬЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

— Устроили мы елку, а хлопушек, которые так любят дети, совсем нет в продаже...

— А как же вы устроились?

— А мы позвали пьяного солдата из винного погреба... Он стрелял, по обыкновению, вверх, и детишкам было весело.



ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ЖУРНАЛА “НОВЫЙ САТИРИКОН“ (1917)

в дни содома и гоморры



№ 1

А. Петроград.

Сюсе. — Сюся решил сообщить нам свои ценные соображения насчет мировой гармонии.

«Ни один самый лучший гармонист не сыграет польки на мировой гармонии».

Глубина-то какая! Дух захватывает!..

Ерема, Ерема... Сидел бы ты дома.

Тамб., И. П.О.П. — Описывая даму, гуляющую в фойе театра, П.О.П. несколько увлекся:

«Это была роскошная женщина с белыми, стройными бедрами»...

Глупости вы пишете, г. П.О.П. Лучше бы работали на оборону.

Б. Провинция.

Кострома — Нагок — Можем вздохнуть с облегчением: наконец-то бич сатиры попал в верные руки:

«На мосту стоит волк в овечьей шкуре
И ухмыляется в усы, шельма.
Неужели вы не узнаете в этой натуре
Нашего (?) кровопийцу Вильгельма.
Эх, Вильгешка, брось дурить,
А то придется тебя протурить.

Злой у вас язык, молодой человек. Очень злой.

Охота такой язык во рту держать... Откусили бы и выплюнули...

№ 2

А. Петроград.

Сезаму. — У Сезама семейные неурядицы, и он хочет откровенно поделиться ими с читателями «Сатирикона».

Жена ушла в Гостиный двор,
Лежу в кровати с давних пор.
А, может, не Гостиный двор?
Какой позор! Какой позор!
И шелестят (?) часы: тик-так,
Какой дурак! Какой дурак!

Мы первый раз слышим, чтобы на такую жестокую откровенность были способны безобидные висячие часы.

Не спутали ли вы их с попугаем?

В письме вы пишете: «За стихи хотел бы получить, что следует».

Нехорошее вам следует за такие стихи. Лучше откажитесь.

Бородинск. Самолюбивому Леле. — Самолюбивый Леля, по случаю отсутствия сахара, приходит на помощь всем нуждающимся:

«Если у вас нет сахару, то попробуйте несколько раз внятно произнести вслух: "сахар, сахар, сахар". После этого вы почувствуете во рту сладкий вкус».

За этот и другие аналогичные советы Леля просит «по 40 коп. за строчку».

Попробуйте несколько раз произнести внятно вслух:

— «Гонорар. Гонорар. Гонорар».

После этого ваш боковой карман сразу распухнет, и вы будете довольны и счастливы.

Кстати: разгрузчики товаров на железнодорожных станциях получают сейчас по 6 руб. в день.

Примите к сведению.

Б. Провинция.

Самара. Альбатросову. — Этот молодой человек совсем закусил удила, раззудилось его плечо, и размахнулась его рука:

«Для любимой все достану!
Видишь в небе Млечный Путь?
Хочешь, я его достану,
Возложу тебе на грудь».

Если ваша любимая — девушка со смыслом, то она должна отказаться от этого странного предложения. Ну, посудите вы сами, какой вид будет иметь девушка с Млечным Путем на груди? И некрасиво, и неопрятно.

Есть вещи более уместные — например, написать хорошие стихи для нашего журнала, а то вам это не под силу.

Кишинев. Бер-голь. — Только первая строка:

«Поздняя осень. Свернулись листочки»...

Так точно. Свернулись и выбросились куда следует.

№ 3

А. Петроград.

Сене Унылому. — Более гордого человека, чем Сеня, редакции «Нов. Сатирикона» не приходилось встречать:

«И то, что к людям я иду —
Мой каприз.
Я на них всех смотрю
Сверху вниз».

Неужели чистка снега с крыш может так развратить простого скромного человека?

Стихи, Сеня, не подошли.

Д.П.К. Преображ. 32. — «Мои стихи тем хороши, что я их посылаю всего (?) четыре штуки...».

А можно бы сделать их еще лучше: прислать одну штуку.

И еще лучше можно сделать...

Залкинду. — Есть ли у рифмы волосы?

На первый взгляд — вопрос странный, дикий, но стихи Залкинда дают ключ к этому вопросу: у рифмы волосы есть.

Ибо все рифмы у Залкинда притянуты за волосы:

«Раз влюбился в Тома Биль,
Сел он с ним в автомобиль...» и т.д.

А ну, попробуем и мы:

Том и Биль вылезли из автомобиля и сели на кочки.
Рвем мы стихи Залкинда на кусочки.

Неуклюжесть наших стихов искупается их искренностью и неподдельной правдивостью.

№ 4

А. Петроград.

Бре-ке-ке. — Это свежее дарование придумало такую шараду, что разгадка ее может сокрушить голову самому крепкому умному человеку...

Вот...

«Мое первое — женское имя,
А второе — водяное устройство,
Но не с мягким-то (?) знаком, а с твердым.
Целое же отгадать будет геройством,
Оно всегда подделывается с видом гордым.

Знаете, что такое — целое?

Сура-гат.

Ни более, ни менее.

Что можно ответить на такую шараду?

Наше первое — отвя. Наше второе — житесь от нас.

Самуэлю. — У Самуэля тоже шарада, но она проще и свежее:

Мое первое — половина чепчика.
Мое второе — кушанье.
Мое целое — нехорошее слово.

Ответ:

— Чеп-уха.

И верно.

Клину Клинычу (Захарьевск) — Описывая журфикс у видного сановника, автор, между прочим, зарисовал такую сцену:

За чаем Нина Федоровна наклонилась к своему соседу Иволгину и шепнула:

— Мы с вами только полчаса как познакомились, а вы мне уже исщипали всю ногу.

— Вы мне нравитесь, — ласково (?) отвечал Иволгин.

Подобного рода ласковые люди после избиения их стулом или другим каким предметом сразу приобретают характер угрюмый, замкнутый.

Но, однако: как хорошо изучил автор быт наших великосветских гостиных!..

Д.К.Л. — «Эти стихи написаны кровью моего сердца».

Странно: кровь сердца, а стихи слабые. Плохая кровь у вас, молодой человек.

В.О. 9-я линия. Автору «Дружеской откровенности». — Упрекать человечество в стихах стало ныне занятием дешевым, особенно если стихи неважные...

Б. Москва.

Энче. — Плохо.

В. Провинция.

Старая Русса В.Т. — Стихи слишком личного характера. Так можно писать для знакомых, а не для широких читательских масс.

Харьков. Э.Л. — Неплохо, но для «Нового Сатирикона» не подходит.

Тифлис. Студенту. — Минск. И.В. Бобров. — Николаю Мухину. — Рязань. Гидальго. — Воронеж. В. — Симбирск. Всеволоду Г. — Бугульма. М.Е. — В пространство. Nето — П-ию Эн-эру. Не подошло.

№ 5

А. Петроград.

Савоське. — Вы пишете, что «хотите вступить в русскую литературу»... Ну посудите сами: можно ли с таким странным псевдонимом встать в ряды Пушкиных, Лермонтовых и Достоевских?

Можно ли представить себе такую фразу: «Россия должна гордиться такими титанами мысли, как Пушник, Лермонтов, Савоська и Лев Толстой»?..

Эти соображения властно повелевают нам отговорить вас от вступления в литературу.

П.И.К-у. — Этот автор создал незабываемую вещь под заглавием «Конец романа»:

«По тропиночке лесной
Шла одна девица.
Всяк: и стар и молодой
На нее дивится.

Почему же на нее
Дивятся мужчины?
Очень просто: у девы той
Скоро уж крестины».

Вот и все. Просто и мило. Шаловливо и изящно.

С огоньком вещь. В особенности, когда мы приложили к ней спичку.

Илье Дымоходову. — «Я пишу для собственного удовольствия», — пишет этот веселый человек.

И верно. Очень хорошо. Стоит ли себе отказывать в таких пустяках, как собственное удовольствие.

Когда начнете писать для удовольствия читателей, тогда известите: вероятно, напечатаем.

В. Провинция.

Кременчуг. Симеону Лирнику. — Остроты Лирника хороши тем, что в самое холодное время небу жарко делается:

— Наш настоятель очень настойчивый.

— Почему?

— Настойку настаивает.

И еще:

— Молодой человек! Как вы попали к моей жене под кровать?

— Я болен блуждающей почкой. Она блуждает (?) куда попало, и я за ней.

Если молодой человек, вытащенный из-под кровати, не мог найти лучшего ответа, то ему простительно. Все равно сейчас бить будут.

А Симеону Лирнику повторять такие вещи стыдно. Его из-под кровати никто не вытаскивал.

№ 6

А. Петроград.

Чингисхану. — Чтобы увековечить в литературе свое имя, Чингисхан решил сочинить несколько афоризмов...

Нате их, читатель, держите крепче:

«Самый опытный охотник не убьет зайца барабанной дробью».

«Почему покойники лежат сложа руки? Неужели нельзя заставить их делать что-нибудь?».

«Блохи увертливы и ловки потому, что им часто приходится спасаться от человека. Попробуйте не ловить их — они за отсутствием тренировки разжиреют, отяжелеют, и их тогда легко будет поймать».

«Осел отличается длинными ушами. Но отрежьте ему уши — разве он перестанет быть ослом?»

Не перестанет. И в этом большая драма. Афоризмы не подходят.

Кокоше (7-я рота). — Развязный Кокоша пишет: «Если я подхожу хоть немного — мигните мне, и я примчусь как пуля».

Если бы вы знали, что Суворов сказал о пуле, вы избрали бы другое мерило быстроты.

Вообще же, торопиться не надо, тем более, что мигание не предвидится.

Б. Провинция.

Сумы. — Энка. — «Почтительнейше прошу дорогую редакцию не отказать любезным ответом и осчастливить благосклонным приемом, за что заранее приношу наинижайшую благодарность».

В этом вашем обращении столько сахару, что кое-кто в редакции по привычке встал даже в очередь.

Сахару много, а смысла мало. Уничтожили.

№ 7

А. Петроград.

Ван Ванычу. — Ван Ваныч будто не в журнал пишет, а девице в любви объясняется:

«Скажите, дорогой редактор, одно только маленькое, но полное глубокого значения словечко — «да», и я брошусь к вам со всех четырех (?)!..

Зачем же так много. Нам бы и двух было довольно.

К сожалению, вместо маленького «да» можем застенчиво пролепетать большое «нет!»

Закорючке. — Вы еще чего тут под ногами вертитесь со своими анекдотами? Не до вас.

Ну, полюбуйтесь сами, Закорючка: разве это хороший анекдот?

— «Какой теперь самый модный человек?

— Дурак.

— Почему?

— Да как же: теперь есть мясопуст, лифтопуст и прочий пуст.

— Ну?

— И дурак тоже пуст».

Другие закорючкины анекдоты не лучше.

Сиду (Б. Мон.). — Сид отмечает в своем рассказе такой штрих:

«Груди молодой девушки тяжело дышали».

И правильно: всякий дышит за свой страх и риск... девушка дышит сама по себе, ее груди — сами по себе.

А еще говорят: что написано пером — не вырубишь топором.

Вырубить не вырубишь, а выбросить можно.

Б. Провинция.

Лицу, заведующему в «Сатириконе» отделом «Почтовый ящик», часто приходится получать запросы недоверчивых читателей: правда ли, что все цитаты в почтовом ящике берутся из присылаемых рукописей, или эти цитаты сочиняются тут же, в редакции? В тысячу первый раз мы энергично утверждаем, что наш почтовый ящик — отражение действительной умственной и поэтической жизни пишущей России. В тысячу первый раз мы должны указать на то, что гораздо легче брать из присылаемого готовый материал для ответов, чем трудиться над сочинением его. Вот, например, пусть читатели верят или не верят — это их дело, но мы целиком приводим подлинное стихотворение какого-то Поля Шелегова, присланное нам для напечатания. Пусть кто-нибудь из самых изощренных юмористов сочинит что-либо подобное:

«... *Это было давно, я не помню, когда это было...*

Было это ночью, на Невском, давно,
Шла тихо брюнеточка дама,
Была она в черном красивом манто
И с гибкою стройностью стана.

Так чья же, вы спросите, это жена?
Извольте, моя вам услуга,
На что и отвечу, коль спросят меня:
Она ищет пропавшего мужа.
— Где он? Быть может, ограблен, убит —
Так думает, слезы роняя, брюнетка;
А муж в Гранд-Отеле в объятьях лежит
И клубится в зубах сигаретка.
Вот как жили и живут семьянины,
Вот вам примеры отцов:
Каждый день ресторан, Шуры, Нины
И кутеж бесшабашных глупцов...

Поль Шелегов».

Послал это стихотворение бедный Поль Шелегов, теперь сидит и думает: «Вот распечатают в редакции мое письмо, прочтут стихи, обрадуются, засуетятся, сейчас же в типографию сдадут: печатайте, мол, скорее — ради бога, печатайте эти чудесные, эти замечательные стихи».

А мы взяли их да выбросили...

Где-то. Дрякве. — Дряква взывает:

«Терзай мое тело! Я боли хочу!»

Все вы так говорите до первого тумака. А вздуй мы вас как следует — крику не оберешься.

№ 8

А. Петроград.

С.М.Б. (Черненькому). — «У меня, может быть, нет слов, — пишет Черненький, — но зато внутри кипит много чувства».

А слов действительно нет:

«Зачем ты смотришь так на меня,
Будто я уродец какой.
Не смей же так смотреть на меня,
С миной ужасной такой».

Ввиду того, что внутреннее кипенье чувства не может быть набрано наборщиками и оттиснуто на бумаге, мы принуждены отказаться от наружного выражения внутреннего чувства в той форме, какую вы избрали.

Агну Супостатову. — Отрывок из рассказа:

«... Микушин вынул папиросу, всунул ее мундштуком в рот, потом чиркнул спичкой, приложил ее к другому концу папиросы и, когда папироса загорелась, стал с наслаждением втягивать в себя табачный дым...»

Вот как оно делается! А мы не знали.

К сожалению, описание не совсем подробно. Не указано: 1) обо что Микушин чиркнул спичкой, 2) куда он потом положил обгорелую спичку и 3) в чей рот он всунул папиросу.

Просим, ввиду нашего нетерпения, сообщить телеграфно.

Б. Действующая Армия.

Инженерно-технический отдел. — Технику Шуцман. — Книга Лидии Лесной называется «Аллея причуд», издательство «Прометей». Первое издание распродано. Кажется, печатается второе.

В. Москва.

N. Bopogoc`e. — «Леля жила в четвертом этаже, считая (?) снизу».

Какой странный счет... А мы думали, нужно считать сбоку.

Рассказ скомкан.

И вами, и нами.

№ 9

А. Петроград.

Мусс-Кусс'у. — «Если рассказ пойдет — ответьте только одно слово, как говорят англичане: «Yes».

За присылку рассказа «merci», как говорят французы, что же касается его пригодности, то «он слаб», как говорят русские.

Больш. Мон. 11. — С.О.П. — Этот молодой человек — лингвист более низкого пошиба, чем Мусс-Кусс. У С.О.П., например, один американец:

«... Шепнул что-то по-американски своему соседу».

Пусть наше разоблачение ввергнет вас в бездну беспросветного отчаяния, но мы должны осведомить вас в самой категорической форме: американского языка нет! Поняли?

Суконный язык есть — и то не у американцев.

Б. Провинция.

Казань. Собаководову. — Решил развеселить мир остротами этот самый Собаководов:

— «Что это вы, Петр Иваныч, нервничаете, будто на иголках сидите?

— Вы угадали!.. Я нечаянно уселся сейчас на граммофонные иголки...

Картина».

Действительно — картина. Только какая? Очень плоская картина.

И Петр Иваныч ваш тоже глуп. Зачем ему было сидеть на иголках? Неужели так трудно пересесть на другой стул. Может быть, другого стула не было?

Так вынь из-под себя эти иголки, кретин ты этакий, и сиди спокойно!! Не заставляй посторонних людей из-за твоей недогадливости плоско острить!!

Простите, Собаководов, нас за резкость, но ведь этот ваш Петр Иваныч способен ангела из себя вывести.

Ст. Грачево. Ки-мо-но. — «Посылаю лучшее, что написал»:

«Бубенцы, рассыпьтесь, словно бы горох.
Эх, помчись ты, взвейся, тройка»...

— Тпррру... Не надо. Зря скачете.

№ 10

А. Петроград.

Аничке С.М. — Описывая охотничье приключение своего друга, Аничка с увлечением рассказывает:

— «Медведь вскочил и, как тигр, прыгнул на Балконина»...

Медведь может прыгать только как медведь. Это первое. Второе: рогатиной зверя нельзя «резать». Третье: рогатиной не «тыкают» в бок медведя, как простодушно сообщаете вы, а, наоборот, медведь сам должен лезть на рогатину, подставленную ему охотником.

И вообще — охота вам описывать медведей. Не женское это дело.

Силе Драконову. — «Мои стихи —- это не какое-нибудь декадентство, а это здоровая сытная пища», — сообщает скромный Сила.

Вот она, здоровая пища:

«Сброшу я с себя порфиру (?)
И пойду я босиком,
Проповедуя всему миру
О воздержании во всем».

И особенно — в писании стихов.

Не сочтите наш вопрос нездоровым любопытством: на каком основании вы носите порфиру и, вообще, какой у вас чин?

Губе-не-дуре. — Отрывок, достойный самого широкого распространения:

— «Эта девушка верхом на лошади напоминала знаменитую Венеру Милосскую...»

Добавьте: если приделать этой статуе руки и посадить верхом на лошадь.

Но мы того мнения, что — стоит ли переделывать хорошую статую из-за плохого рассказа?..

№ 12

А. Петроград.

Пятнистой гиене. — «Если вы меня напечатаете, — признается Пятнистая гиена, — я утру тогда кое-кому нос!»...

Ввиду того, что печатание материала в журнале происходит вне зависимости от осушения чьих бы то ни было носов, мы принуждены освободить присланный вами материал от напечатания.

С.Д.К. (Фонтанка, 127). — ... «Дай ответы на проклятые вопросы», как говорил поэт.

И вот С.К. спрашивает.

«Отчего говорят:

— Ги-папа-там.

А не:

— Ги-мама-здесь?»

Во-первых, никто не говорит «гипапатам», а во-вторых, если бы даже вы и услышали слово «ги-мама-здесь», — удовлетворило ли бы это вас?

Нет. Все равно сейчас же какой-нибудь новый вздор измыслили.

Как хорошо бы было, если бы человеческие мозги свободно вынимались из черепной коробки... Вынул, прополоскал свежей водой под краном и вложил обратно.

Семянникову. — Наконец-то мы может ознакомить читателей с черточками из великосветской жизни:

«У графини в будуаре
На козетке я сижу
И, как будто бы в угаре,
За ее роскошным телом слежу».

Это занятие делает вам честь. Действительно, за телом только не последи — что из него получится?

Второй образ не менее удачен:

«И шнурочком от халата
Ее ушко щекотал».

Ах вы, проказник!

От слова проказа.

Б. Провинция.

Ст. Тула. Сойке. — Сойка признается:

«Когда я пишу стихи, мне так трудно, что голова распухает»...

Голубчик! Зачем же вы это делаете? Нам этого не надо, вам тоже не доставляет удовольствия, — к чему напрасные труды?

Мы вас и так будет уважать, без стихов...

Либер-ну. — Этот поэт жалуется: «... Дома все наши смотрят на мои писанья как на глупость».

Поверьте, что в нашем журнале вы почувствуете себя как дома.

№ 13

Царское Село. Николаю Ром-нову. — Получили ваши стихи:

За царя, за Русь святую
Стойте грудью вы своей,
И за то казну златую
Я отдам вам — ей-же-ей!

Стихи не к моменту.

Алисе Гес-ской. — Рукопись получили, но она так закапана слезами, что ничего нельзя прочесть.

Петропавловская креп. Генералу Сухом-нову. — Нет, план крепости нам не нужен. У нас журнал. И потом, гонорар за это — 100.000 — слишком велик.

Протопопочке. — В стихах ваших видно постороннее влияние:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.

Вы спрашиваете:

— Стоит ли мне дальше работать?

Конечно. Например, возите тачку в Акатуйском руднике.

№ 18

А. Петроград.

Абу-Ага. — Полагаем, что незнание тонкостей военного дела могло бы удержать вас от писания военных рассказов:

«... Раздался выстрел, и огромная (?) пуля, вылетевшая из дула пушки, помчалась и т.д.».

Этого не могло быть даже в том случае, если упомянутая пуля отлита лично вами.

Ранчеросу. — Рассказ напоминает ту превосходную ватманскую бумагу, на которой он почему-то написан: шероховато и плоско.

И. Ко-ву. (Казанск. 7). — Вот мужчина, который берет от жизни все, что можно:

«Когда-то я любил позабавляться
И с девушками много колесил.
Теперь же я решил за дам хвататься,
Зная, что с девушкой уходит много сил».

Видно, что вы большой шалун, и прямо таки позавидуешь разнообразию вашей пышной рассеянной жизни: сегодня муж с балкона сбросил, завтра с лестницы спустил, там просто зонтиком оттузил... Недаром говорят: жизнь — борьба.

Со стихами сделано все, что следует в этом случае.

№ 19

А. Провинция.

Орел. Юморенку. — Юморенок мобилизовал все отпущенные ему от Бога способности для того, чтобы разрешить наболевший вопрос:

«— Почему говорят бур-жуй, а не англичанин-глотай?»

И действительно — почему? Черт их знает, почему!

Дураки, потому и говорят.

Ст. Клин. Лизару Лизарычу. — Лизар Лизарыч горд:

«— Настало такое время, что весь мир глядит на Россию с удивлением и восторгом на лице».

Удивление-то на лице мира, может быть, и есть, но восторг... С восторгом еще подождем. Не заслужили.

Фельетон не подошел.

Александро-Грушевск. И.Д. Р-у. — «Пишу потому, что жрать хочу, — поняли? Ну, что вы мне посоветуете? Какой выход?»

Раз голод — единственный стимул творчества, то что ж тут посоветуешь? Разве одно: в рот вам ситного пирога с горохом.

Может быть, тогда и перестанете писать.

Без города. Анафеме. — Анафемски хорошо пишет Анафема:

«Голодные котики
Открывают ротики,
Однако не имели ни крошечки
И кошки-кошки-кошечки».

Большое творческое напряжение чувствуется.

Кисловодск. М.П. — Не менее игриво настроен и М.П.:

«Ты, Малашка, мне окошко отвори —
Ой, жги, жги, жги — говори».

Да, сжечь можно. Отчего не сжечь. И даже без разговора.

№ 20

А. Провинция.

Кисловодск. — Сестре Симе. — Ваш леденящий душу вопрос: «Почему Аркадий Аверченко так плохо выходит

на фотографиях?» — убивает и его самого же. Положение отчаянное. Опасаются за жизнь.

Больше никаких запросов не будет?

Повловск. — Егору Саблину. — «Я хотел бы плюнуть на ленинцев, да слюны жалко».

Эта гражданская экономия слюны делает вам честь, но не нужно распространять ее и на почтовую марку. Почему не наклеили?

Стихи о «пломбированном провокаторе» так слабы, что не могут держаться на ногах.

Мы приняли их последний вздох и похоронили.

№ 26

А. Петроград.

Трибе. (Борисовичу.) — Этот скромный юноша сочинил краткое литературное произведение под названием: «Верх рассеянности»:

«— Вы женаты?

— Да, на вдове.

— Как на вдове? Неужели вы уже умерли?»

Очевидно, вы, молодой человек, предполагаете, что господин, воскликнувший: «Неужели вы уже умерли?» — страдает рассеянностью.

По нашему мнению — он просто дурак.

А стоит ли писать о дураках? Лучше пишите о чем-нибудь возвышенном.

И посылайте в другое место.

К .В-льеву. — Эко как разбежался человек:

«— И когда мы победим всех этих тевтонов, болгар, австрияков и бельгийцев, то...»

Бельгийцев хоть пощадите — не побеждайте!

Сарпянка. — (Должно быть, самостоятельная республика? На карте не значится). *Василию Усу.* — У вас настроение не для стихов, а для приказа № 1:

«Ничего не поправится,
Все мне не нравится.
Смотрю, кому б
Выбить зуб».

А представьте вы себе, что в это же самое время где-то бродит какой-нибудь не менее решительный незнакомец и с вожделением мечтает *о вашем* зубе. Нет, плохая у вас, товарищ, платформа.

№ 28

А. Петроград.

Сумак-у. — Этого автора, если бы он захотел выступить публично, можно было бы назвать: чудесный ходок по воде или — «человек-пробка»!

Я тихо иду по реке,
Соловей свистит невдалеке,
Деревья так тихо повисли,
Какие-то бродят все мысли —
Я тихо иду по реке...

Сообщите нам способ, с помощью которого вы «идете по реке», и мы озолотим вас. Только стихов не надо.

Amico. — Amico нашел новое определение звука пулемета: «Невдалеке мягко тюхали (?) пулеметы».

Очень похоже. Барабаны пищат, пули хрипят, пулеметы тюхают, а плохие сочинители — слабые рассказы трюхают.

Графу Сак-Сусовичу. — Наконец-то Керенский получил авторитетное признание:

Да здравствует Керенский,
Талант ты наш вселенский.
Ты умный человек —
И не забудем мы тебя вовек.

Спасибо! Хотели бы мы пожать вам руку так крепко, чтобы она захрустела.

Семе Аль-нику. — «Хотелось бы и мне приложить свою руку и мозги к вашему журналу».

Прилагайте. С благодарностью жмем эту руку и целуем мозги.

№ 29

Провинция.

Казань. — Коке с соком. — Из самопризнаний Коки:

«Как только возьму ваш журнал в руки, так сейчас же хочется писать».

Завтра же прекращаем «Новый Сатирикон».

№ 35

А. Петроград.

Le. Ca. — Автор, обращаясь к неизвестному собеседнику, спрашивает его стихотворным манером:

«Ты видишь этот шрам на лбу?
Святой то шрам, то — революции следы».

Вишь ты... Еще и Богу не молились как следует, а уже лоб разбили...

Стихи лохматы, как борода алкоголика, и неуклюжи, как подрядчик во фраке.

Вот-он-тот`у. — Этот мужчина по мере сил старается нащупать слабое место редактора:

- «Эти стихи, г. редактор, я посвящаю Зиночке Б. Если вы когда-нибудь любили, вы их напечатаете»...

Да, я любил, мой милый друг. Но я любил все, кроме безграмотных стихов. И поэтому ваши стихи не увидят света. Тьма их удел.

Алейнику. М. — Вот еще человек, который не прочь обделать свои амурные делишки при помощи нашего журнала:

«Ты придешь ведь ко мне поболтать вечерок
И приласкать меня своими руками-крошками.
И будешь сидеть, пока заалеет восток.
Приходи своими маленькими ножками».

Все указано, даже — чем девушка должна прийти: маленькими ножками.

А большими ногами придет — глядишь, уж и не то.

Л.А. (Спасск. ул.) Л.А. — Подлинно деловая душа. Пишет:

«Так как теперь рубль упал, то я хочу за строчку рассказа не меньше полтинника»...

Но так как теперь и полтинник упал, то вы могли бы взять четвертак. Но ужас в том, что и четвертак упал.

Так что вы ничего не получите.

Ире Смел-нской. — Только первые две строки:

«Однажды Лидин подошел к Вере и, наклонив к ней ухо (!?), шепнул: «Люблю!»...

Ухом-то? Вот что любовь делает! До скорого.

№ 36

А. Петроград.

А. Бут-кину. — Восклицает экзальтированный Бут-кин:

«Люблю грозу в начале мая,
Когда все свежести полно... и т.д.».

И мы тоже любим упомянутую вами грозу именно в указанное вами время года.

Но только не любим одного — когда воруют у другого писателя первую строчку.

Ввиду этого все отношения между вами и нами приостанавливаются до начала мая 1927 г.

Карлику с Бассейной. — Антиклерикализм этого юного атеиста с Бассейной выливается в довольно странные формы:

«Вот собралася толпа —
Что там за веселье?
Переехало (?) попа —
Вот те новоселье».

Действительно, вот те и новоселье.

Порвешь бумажку с такой поэмой, ощущение — будто клопа раздавил.

А.С.С. (Alecо) — Стиль точеный. Червями:

«Глядя в темное окно, было так страшно, что все звуки битвы наполняли своими аккордами жутких звуков молчаливые стены улицы».

Впечатление такое, что всунул кто-то вашу голову в куль с паклей, и бормочете вы там что-то невероятное, бессмысленное.

Б. Сте-ку. — «... Но Ганька забыл закрыть парадных дверей на ключ».

Паршивец ваш Ганька! Болен он был, что ли? Закрыть не парадных дверей, а парадные двери!

Дайте ему с вашей рукой хороший подзатыльник.

Рассказ нечаянно порвался.

№ 37

А. Петроград.

О.С. И-чик. — «На первое время посылаю редакции четырнадцать рассказов».

У Крылова об этом событии сказано так:

«Крестьянин ахнуть не успел,
Как на него медведь насел»

Из четырнадцати рассказов нам больше всего понравился пятнадцатый. Догадайтесь, почему?

Гузинаки (Верейская ул.) — Этот туземец клеймит большевиков меткими эпиграммами:

Вот Зиновьев — ах, злодей,
Он обманывает всех людей.

Очень язвительно. Беспощадно продернут и Ленин:

В пломбированном вагоне он приехал
И Керенскому лишь служит помехой.

Тонкий выпад.

Такие все хорошие эпиграммы, что мы вам, Гузинаки, прямо-таки удивляемся, почему вы их отдаете в чужие руки? Держали бы при себе.

Б. Провинция.

Кисловодск. Огурцову. — Огурцов решил порадовать нас: «Я в своих вещах никому не подражаю. Лучше пить из маленького стакана, да из своего!».

А вот он, этот огурцовский «маленький стакан»:

«Я впился острым глазом (?) в горизонт, в котором реет (?) какая-то точка. У ног моих расположился широкий океан».

Точный адрес океана... Где находится океан? У ног господина Огурцова. Расположился и лежит. Отойди Огурцов от берега, как тогда найдем мы океан?

Нет, господин Огурцов. Не нравится нам ваш стакан.

Ст. Дергачи. Вортеп'у. — «мне интересно, — спрашивает любознательный Вортеп, — сколько лет всем «Сатириконцам»?..

Можем сообщить совершенно точно: 543.

№ 38

А. Петроград.

С.Б.Б. — «Куплеты» ваши, говоря откровенно, отвратительны. Ну что это такое, подумайте сами:

«Однажды порою ночною
Франт встретился с чужою женою,
Что дальше — сказать не берусь —
Вот это свободная Русь!
Торгуют солдаты на Невском,
Сбывая продукты все с треском, (?)
А прибыль на ханжу для Марусь —
Вот это свободная Русь!»

Этакую вещь пропеть на эстраде плохого кинематографа да пересыпать ее чечеткой — да ведь за это на руках вынесут!

А для нас — дело неподходящее.

Кругликову с М. Подьяческой. — «Если моя рукопись неразборчива, пусть кто-нибудь в редакции перепишет», — пишет добродушный Кругликов.

И верно. Мы это редактору поручим — пусть переписывает. Не зря, чай, жалованье получает.

Бра Руле (туземцу). — Тех же мыслей держится и Бра Руле:

— «Если есть в рассказе шероховатости, пусть редакция погладит».

Рассказ не собака — зачем его гладить.

Плохой рассказ такое животное — ежели его порвешь, то всем хорошо — и автору, и редакции, и читателям.

Провинция.

Рыбнинск. И. К-ву. — Товарищи начинающие! Осторожнее обращайтесь с литературными образами!.. И. К-в пишет:

— «Ее маленькие белые ножки навсегда вошли в мой мозг».

Хорошо еще что «маленькие». Мозгу хотя и тесно от такого соседства, но, очевидно, не особенно. Писать может. Плохо, но пишет.

№ 39

А. Петроград.

Мусику. — Стихи:

«Дни теперь летят как птицы,
Прямо хоть не умирай,
Вдвое жить теперь хотится —
Ну не жизнь, а прямо рай!»

Отрывок из препровод. письма: «Я считаю «Сатирикон» своим духовным отцом».

Нечего сказать, сынка бог послал — родителям на утешение. Не было печали.

Кирочн., 16 А.Б.К. — Этот А.Б.К. твердо решил поразить наше воображение своими остротами:

«— А моя жена уже разрешила земельный вопрос.

— Как так?

— Бьет меня по голове цветочным горшком с землей!».

Следствие этого разрешения земельного вопроса — вышеупомянутая острота. Прощайте, небоже.

№ 40

А. Петроград.

Кук-ку. — Неподдельная грусть, которой проникнуты ваши стихи, все-таки не оправдывает некоторых дефектов:

«...Прощай, о Рига ты родная, —
Тебя ли посетю (?) я вновь?..
И мыслю я, певец твой пылкий,
Увижу ли свои (?) могилки».

Верх запасливости: живой человек обзавелся могилкой — и даже не одной, а несколькими.

Только что собрался, как говорится, зажить своим домком, но пришли немцы и все испортили.

Стихи неподходящи.

Недоходя-пройдя, № 1047. — Неизвестный «поклонник» обращается к редактору в несколько фривольном, не оправдываемом взаимоотношениями тоне:

«Милейший Арк. Тим.!

Как вы поживаете? Много ль наживаете?»

Нет, немного. Благодаря таким веселым людям, как вы, нажито только разлитие желчи.

Рад поделиться львиной долей.

А. Пуцыковичу. — Цветы невинного юмора:

«Одного господина, который поссорился с женой, спросили:

— На ком вы женаты?

— На хамке-с.

— При чем тут Совет Рабочих Депутатов?»

И подумать, что, если бы царь в свое время разрешил именоваться Нахамкесу Стекловым, все эти изящные остроты пропали бы в неизвестности!!

А может быть, тогда Пуцыковичи острили бы так:

— Зачем вы разбили в окне этих Стеклов?

— Ах, при чем тут институт красоты?

Тонкая штука ум человеческий.

Б. Провинция.

Ирбит, графу Мендоза. — Неинтересно.

№ 41

А. Петроград.

Дорону Мылову (здесь)... — «И мы, революционные солдаты, — пишет обиженный чем-то Дорон, — покажем сатириконцам наши штыки!»

Спасибо, видали уже. 3 июля.

Странная вы публика, Дорон и иже с ним: нам, мирным сатириконцам, вы показываете штыки, а немцам — пятки.

Хорошо, если бы наоборот.

С.О.О. — Отточенное жало сатиры этого поэта больно жалит сильную половину рода человеческого:

«Ах, вы, мужчины,
И там и тут
Все сплошь скотины (?),
На женщин врут».

Стихи таковы, что мы готовы оторвать их у вас вместе с руками.

Все-таки будет гарантия, что больше не напишете.

Кази-Козеичу. — «... Брюки на нем были подержанные, а одна брюка (?) была даже с дыркой».

Есть слово — сани. Но это не значит, что одни сани — сани, а половина саней — саня.

Такими рассказами, как ваш, и на одну брюку не заработаете.

П.В. Обо-ву. — «Я уверен, что Керенский потому боится арестовать матросов «Петропавловска» (убийц офицеров), что у него кишка тонка».

Если это так, то очень печально, что несовершенство внутренних органов правящих классов мешает Фемиде быть честной женщиной.

Базичке М. (Нижн. Новг.) — «Если мои стихозы подойдут, то могу эти мои естественные отправления в «Сатирикон» делать еженедельно».

Выброшено все. Так любовь к витиеватым выражениям губит человека.

№ 42

А. Петроград.

Мальчику с бородой. — Плохое настроение у этого странного мальчика:

«Уйди, моя муза,
И ты, мой Пегас.
Талант мой — обуза,
Порыв мой — погас».

Раз даже вы считаете свой талант обузой, то мы-то — посторонние, жестокие — как должны мы на него смотреть?

И. Сечевому. — А Сечевой, знаете, разбарабанился так, что хоть уши заткни:

«Я пролетариям всех стран
Все барабаню в барабан:
Под красный стяг идите к нам —
Тара-ра-рам, та-трах-та-там».

Именно, что «татрах-та-там».

Барабанить вы все мастера, а заняться делом — на это вас нет.

С. Ст-пу. — Помимо того, что рассказ скучен, вы еще огорчили нас и тем, что у вашего героя:

«Кудрявое лицо».

В другом месте вы утверждаете, что:

«Левкович ввинтил в лицо своего врага острый, как штопор, взгляд».

Откупорил ли Левкович своего врага или нет — вы умалчиваете.

Панне-Стасе (Верейск. 7). — Или панна Стася совсем не знает собак, или ей приходилось знакомиться с исключительно дрессированными экземплярами:

«... Я так любила Юзефа, что готова была, как собака, чистить ему сапоги».

Рассказ ваш настолько нам не подходит, что мы, как собаки, готовы забраковать его.

Б. Москва.

Л.Ф. — Не подошло.

В пространство. — Синему студенту, Галчонку, Якову Удскому — не подошло.

В. Д. армия.

Пор. Фирсову. — К сожалению, не подошло.

№ 43

А. Петроград.

Мусс-Куссу. — Хотя этот номер «Сатирикона» и траурный, но вы такой чудак, что можете разогнать самое траурное настроение...

«... Дом Липиных состоял из нескольких комнат, украшенных (?) шестью окнами и крытый крышею...»

Неужели? Какая странная постройка.

По этому же рецепту можно вашего Липина описать так: «Сам Липин состоял из туловища и нескольких конечностей, украшенных пальцами, и крытый человеческой головой».

Иначе, очевидно, читатель ни дома, ни Липина представить себе не может...

О.Ц. (приезжему). — О.Ц. приводит такой разговор:

«— А знаете, большевики пошли уже ва-банк.

— Да, плохо только, что они пошли ва Государственный банк».

Осмелимся заметить, что предлога «ва» нет. Есть предлог «в».

Правда, тогда не вышла бы ваша острота.

Ну и не надо.

№ 44

А. Петроград.

Руслану-без-Людмилы. — Не только без Людмилы, но и без гонорара. Не такие это стишки Руслановы, чтобы их «ухнуть» в журнале, как вы просите.

Самуилу С. — «Надеюсь, что этих моих 11 стихов вам надолго хватит».

Ничего подобного. На одну минуту хватило. Что ж делать: не умеем жить расчетливо.

М.Д.Р. — «Прошу, если нужно, рассказ обтесать».

Ввиду неясности возлагаемой на нас задачи — рассказ просто выбросили.

№ 45

А. Петроград.

Б`Агу. — Этого автора снедает мелкое любопытство:

— «Интересно, что вы сделаете с моим литературным первенцем?»

Малютка скончался на наших руках, закатив полуслепые глазки.

Чертовой бабушке. — Наконец, и эта почтенная родственница вспомнила о нас. В виде гостинца — не совсем салонные стихи:

«Как у нашей милой Кати
Груди — белых две подушки.
Ножки, ручки — прямо пух
У прекрасной сей резвушки».

С толком описана девушка.

Только напечатать нельзя. Такая пышная девушка Катя, что тесно ей будет на наших страницах.

И.Б.К. — Это очень деликатно по отношению к лошадям, но не совсем грамотно:

«... Лица лошадей были опушены инеем».

Конечно, морда слово грубое, но, если вы назовете лошадиное лицо мордой, ни одна лошадь не обидится.

Саянскому (Псков). — Верх тонкости слуха:

— Что это — опять пулеметы трещат на улицах?

— Нет, это головы у большевиков трещат после пьянства в погребах.

Вообще, Саянский против большевиков:

— На лицах у них написано хамство, — сообщает он в рассказе.

Неужели? За открытие Америки поставим памятник.

М. Дзедзицу. — «Не могу ли я, — пишет сей зоил, — заполнить и собою плеяду сатириконских сотрудников?»

Нет. Вся плеяда против этого.

Гавриилу Одинокому. — И Гавриил не прочь попасть, как говорится, в плеяду:

— «Временно я без работы. Служил в градоначальстве. Пописываю давно. Как с «Сатириконом?» Нельзя ли туда? На постоянное бы? А? С фиксом и прочей антимонией по положению? А? Буду сотрудником, а? Поступить можно? А?».

Что ж, поступайте. После того, как безграмотный прапорщик Крыленко сделался российским верховным главнокомандующим, идите и вы к нам в сотрудники.

Все равно уж. Один черт.

Мистеру Попову. — Мы протестуем против того, что вы, во имя вашей безграмотности, готовы поставить всякого газетчика на уголь...

Вы пишете:

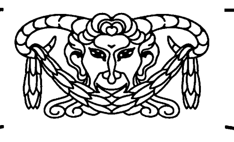
— «Газетчик, как и обыкновенно все газетчики, стоял на угле».

Желаем этого стояния на том свете всем безграмотным писателям!

Вас. Ник. Ор. — Из всего скучного длиннейшего рассказа выхватываем только один яркий образ:

— «Нос Владимира Петровича еще в молодости провалился от стыда за своего хозяина».

Тонко. А что тонко, то — рвется.



ИЗ ЖУРНАЛА "НОВЫЙ САТИРИКОН" (1918)

в дни содома и гоморры



САМОЕ ВАЖНОЕ

I

У постели маленькой девочки, метавшейся в бреду и горевшей нездоровым жаром, сидел человек, положив подбородок на руки и упершись локтями в колени.

Во взоре его сквозила тоска, смешанная с беспокойством...

Наконец, он, услышав легкий шум, поднял голову.

— Ты уже вернулась, Глаша?

— Вернулась, — раздался голос горничной. — Весь город, почитай, обегала. Ни одного доктора не было. Наконец, нашла какого-то завалящего. Да вот он — звонит!

Доктор вошел в комнату, неторопливо протер очки, шумно вздохнул и подошел к сумрачному отцу.

— Ну-с, — сухо и недоверчиво пробормотал он. — Выслушаем вас.

— То есть не меня, — поправил отец, — а мою малютку.

— И до малютки дойдет очередь. А сначала я должен выслушать вас.

— Но ведь я не болен!

— А разве я говорю, что вы больны? Но я, прежде чем лечить девочку, должен выслушать вас.

— Ах, вы хотите знать о ходе болезни девочки?

— Да оставьте вы девочку в покое, — раздраженно вскричал доктор. — Девочка от нас не уйдет. В зависимости от вас обратим внимание и на девочку.

— Хотите знать наследственность? — удивился отец. — Но ведь у нее, кажется, скарлатина.

— Если вы не оставите пока девочку в покое — я уйду! — сердито проворчал доктор. — Я должен *сначала выслушать вас* — поняли?

— Раздеться? — тоскливо прошептал отец, опасливо поглядывая на гостя.

— На кой черт! Что, вы не можете разговаривать так, что ли? Просто отвечайте на мои вопросы.

— Я вас слушаю.

Доктор уселся в глубокое кресло, откашлялся и спросил:

— Как вы смотрите на отделение Украины?

— То есть? — осторожно прищурился отец.

— То есть, считаете ли вы, что она должна быть самостоятельной республикой, или ее отделение только временное — с целью дальнейшего федеративного устройства под верховной властью всероссийского правительства?

— А какое это имеет отношение к болезни дочери? — отшатнулся от доктора отец.

— Огромное. В зависимости от ответа я буду решать — лечить ли мне вашу дочь или уйти.

— Позвольте... Чем же виновата моя дочь?

— Довольно! Дети отвечают за грехи отцов. Отвечайте: Украина — отдельная республика или автономная часть России? За что вы стоите?

— А вы? — осторожно спросил отец.

— Это вас не касается. Не лукавьте! Перед телом умирающей дочери будьте, по крайней мере, искренни!

Отец снова тоскливо взглянул на дочь, махнул рукой и будто в воду бухнул:

— Отрицаю Украину как республику. Признаю федеративную зависимость от России.

— Ну, то-то, — одобрительно кивнул головой доктор. — Давно заболела девочка?

— Второй день.

— Температ... Впрочем, позвольте... Вы где служите?

— В городской управе.

— В большевистской или прежней?

— В прежней. Законной.

— Очень хорошо. Бредит?

— Ночью бредила.

— Саботируете или штрейкбрехерствуете?

— Конечно, саботирую.

— Ну... Ну, попробуем пульс...

Когда доктор написал рецепт, он протянул его горничной, но потом спохватился и, отдернув руку, спросил:

— Вы, голубушка, за какой список голосовали в Учредительное?

— За второй.

— Ну, то-то. Я так и в рецепте напишу. А то иначе в аптеке и лекарства не выдадут!..

II

Через Марсово поле зимним вечером проходил человек. К нему приблизился другой, в солдатской шинели, и попросил прикурить.

Когда штатский вынул спички, солдат схватил его за шиворот, повалил в снег и крикнул:

— Отдавай шубу, гадина.

Но «гадина» был сам, очевидно, не промах. Лежа на боку (падая, «гадина» вывихнул ногу), он успел выхватить из кармана револьвер и выстрелили два раза солдату в живот.

Со стоном рухнул солдат около него.

— Вот тебе! — жестко сказал штатский. — Теперь будешь знать, как нападать солдату на мирного гражданина.

— О, чтоб тебя... — стонал солдат, держась за живот. — Да я и не солдат вовсе. Безработный. С голоду полез на этакое...

— Безработный? — спросил штатский, потирая вывихнутую ногу. — А ты бы работал лучше.

— Где ж там работать, если из-за проклятых большевиков все заводы закрылись.

— Так ты против большевиков? — дрогнувшим голосом спросил штатский. — Прости, я не знал, голубчик. А то бы и не стрелял.

— Неужто вы не большевик? — с мучительным стоном вырвалось у безработного. — А я вижу — шуба хорошая — значит, большевик. Теперь они одни только и одеваются. Ну, я и тово... на вас... А вы зря бабахнули.

— Ну, извини, голубчик. Недоразумение. Хочешь папиросочку?

— Ой, худо мне.

— Худо? Ах, ты ж, оказия! Вот бедняга... Ну, ты полежи тут, а я поползу — нога у меня вывихнута — и пришлю тебе помощи.

— Ладно. А я скажу — матросы меня нечаянно подстрелили. Чтоб, значит, вам неприятности не было.

— Всего хорошего, голубчик.

И, превозмогая боль, штатский пополз на животе по направлению к Троицкому мосту...

III

... Едва лакей, зажегший в этом уютном номере гостиницы электричество, вышел, как Нина Сергеевна упала в объятия Молокина.

— Наконец мы одни! — прошептала она, содрогаясь от внутренней, пожаром охватившей ее страсти. — Сколько раз я в тайных мечтах моих представляла себе этот момент: когда мы впервые будем наедине друг с другом.

— Как? — вскричал Молокин, прижимая ее к груди, — ты... ты думала об этом? Значит, ты уже давно хотела быть моей?!

— Глупенький... Конечно. Только мы, женщины, никогда не показываем вида. Догадайся ты тогда каким-нибудь чудом о моих этих нескромных мечтаниях — да я бы умерла со стыда!

— Радость моя... Наконец... Ты... со мной... И наедине... И никто нам... не помешает.

И после каждого слова Молокина следовала пауза — это он жадными поцелуями осыпал щеки, губы и шею молодой женщины.

— Сними с себя все-все, слышишь? Долой эти одежды, которые скрывают от меня все самое дорогое, самое любимое!!

Дрожащими руками он расстегнул ей платье, и когда перед ним сверкнула пышная белая грудь и нежные округленные руки — он, как бешеный, бросился к ней — целый дождь, целый ливень поцелуев опрокинулся на нее.

— Счастье мое невиданное! Звездочка моя серебряная.

— Пусти же, — смеясь, отбивалась она. — Ты мне не даешь раздеться. Смотри-ка, сумасшедший, что сделал с корсетом!

Он смотрел на ее длинные, стройные ноги, полные икры которых так соблазнительно обрисовывались черным ажуром чулка — и в крови его вспыхнул огонь, томительно и сладко разлившийся по жилам.

— Погляди-ка, — шаловливо сказала Нина Сергеевна, расшнуровывая высокий ботинок. — Сегодня только надела новые чулки — и один уже лопнул.

— Непрочный шелк, — объяснил молодой человек, нежно целуя розовеющее пятнышко на пухлой ножке.

— Ну, ничего, — утешилась Нина Сергеевна. — Вот скоро немцы привезут свои товары — тогда будем иметь прочные хорошие вещи.

— Откуда ты взяла, что немцы привезут свои товары?! — удивился молодой человек.

— Да ведь на днях большевики заключат мир. Сейчас же закипит такая торговля...

— Послушай! Неужели ты серьезно думаешь, что большевики способны заключить мир? Ведь это шарлатаны, которые...

— Большевики — шарлатаны? — ахнула Нина Сергеевна, всплескивая беломраморными руками с восхитительными ямочками на локтях. — А кто такой твой Керенский? Жалкая слякоть, на которой большевики ездили, как хотели...

— А почему? — горячо вскричал Молокин, развязывая галстук. — Потому что он был порядочный человек. А эти развязные молодцы, для которых нет ничего святого, эти германские агенты...

— Постой! — вскочила с кресла Нина Сергеевна. — Какое ты имеешь право называть их германскими агентами?!! У тебя есть доказательства?

— Да сколько угодно! Да я...

— Что — ты? Что — ты? Конечно, самого кристального человека можно опорочить...

— Ах, так? Значит, твои паршивые большевики — кристальные люди?! Я вижу, что ты сама не далеко от них ушла. Позор! А я на них чихать хочу — слышишь?

— Что? И это ты говоришь мне, любимой женщине?!

— Хоть самой разлюбимой скажу! На плахе, на гильотине скажу: чтоб они провалились, твои большевики! Жулики вы все!

— Ах, так? Ну, после этого, знаешь ли... ты можешь нацепить себе на нос своего дурацкого Керенского...

— И нацеплю!! А вас всех скоро на фонарь нацепят — слышишь?

— Ах, такие разговоры! И ты думаешь... И ты думаешь, что после этого я позволю тебе прикоснуться ко мне хоть пальцем...

— Сделайте ваше одолжение!! Если бы я знал, что ты большевичка...

— Я не большевичка, но прошу вас больше меня на «ты» не называть! Где мой корсет? Потрудитесь отыскать его!

— Нина!.. Ну, опомнись. Ну, не надо...

— Отстань! Целуйся со своими кадетами!

— И поцелуюсь! — загремел Молокин. — С ними и поцеловаться приятно — они каждый день умываются! А твои грязные разбойники...

— От грязного разбойника и слышу!..

Оба одевались молча, кое-как напяливая дрожащими руками сорванные страстью и любовью одежды. Приколов у зеркала шляпу, она презрительно взглянула на него, уже одетого и угрюмо сидевшего в кресле, процедила холодное: «Прощайте!» и вихрем вылетела из номера. Он подождал минуту, пробормотал какое-то проклятие, и, вскочив с кресла, тоже выбежал вон.

Дремлющая кровать спокойно и лениво стояла в глубине номера. Когда номер опустел, красное шелковое одеяло интимно подтолкнуло развалистую пуховую подушку и шепнуло, хихикнув:

— Видала ли ты что-либо подобное? Это первый раз в моей жизни здесь, что меня даже не откинули.

— И слава богу, — лениво процедила сквозь прошивку лимфатическая подушка. — По крайней мере, не измяли нас...

БОЛОТНЫЕ ТУМАНЫ

Сейчас большевики хотят возродить русскую армию, сделать ее вновь сильной и мощной.

Оглянемся назад...

Я вижу, как по площади, мерно и аппетитно отбивая шаг, идет рота солдат. Все молодцеватые, подтянутые, с такими мило-серьезными русскими лицами. Штыки ружей — как нарисованные на фоне бледно-голубого зимнего неба, погоны, если на них посмотреть, прищурив один глаз, вытянулись в прямую нитку. Как по линейке.

Подходит, поскрипывая по снегу щеголеватыми сапогами, ротный — и застоявшийся морозный воздух рвет звонкое:

— Ррота, стой! Смир-р-рно!

Р-раз!

Отчетливый стук одного общего сапога.

Замерли. На диво слаженная машина сразу, от одного маленького поворота винтика, — стала!

— Здорово, р-ребята! — весело поблескивая бойкими глазами, рвет ротный.

— А-рр, а-пп, ап-п, ап-п! — рубит на диво слаженная машина.

— Доценко! У третьего с правого фланга нет пуговицы... Ты чего смотришь? Под ружье захотел?

— Так что, наверное, только что оборвалась, ваше благородие!

— Ты мне поговори! Ежели пуговица хорошо пришита — как она сама оборвется? Чтоб у меня это — последний раз!

— Слушаю-с! Ваше! Благородие!!

И офицер не сердится, и солдат не испугался — просто надо же, раз беспорядок.

В машине должно быть все пригнано до последнего винтика. Вот потому-то, когда человеческая машина будет двинута в атаку на другую такую же вражескую машину, — машина застучит, запыхтит и, рявкнув «ура!», всем своим машинным корпусом ринется вперед.

— Р-ряды вздвой!!

Рраз! Два! Три!

Идеальный механизм!

И вдруг, оглядываясь мысленно назад, вижу я, как из кривого переулка выходит на площадь трусливая, крадущаяся, как шакал, фигура штатского.

Он подходит, озираясь, сзади к стройной шеренге и начинает нашептывать что-то — одному, другому, третьему...

Солдаты переглядываются, начинают хихикать, подталкивают друг друга локтями, шеренга ломается, скручивается и... чудесное превращение!

Шапки сдвинуты на затылок, шинель одним краем волочится по земле, походка развинченная...

Растерянный офицер что-то кричит, бегает от одного к другому, уговаривает.

Его отпихивают. Молодой солдат с сонным веснушчатым лицом лениво поднимает винтовку и стреляет в своего офицера.

Падает офицер, ставя красную точку на первом этапе «социальной революции».

Сделав свое дело, штатский человек снова уползает в кривой темный переулок, но и без него кипит организационная работа: уже одна часть «на диво слаженной машины» взвалила на плечи сундучки и мешки и, пробивая прикладом окно вагона, лезет внутрь на голову буржуя — тяга домой! Уже другая часть примостилась тут же на площади с корзинками, ларьками, просто с коробками папирос — второй этап «социальной революции». Уже третья часть поймала жалкого, беспомощного буржуя и тянет с него шубу, уже звенят бутылки разбитых погребов — третий и последний этап «социальной революции».

И опять вижу я, как, крадучись и по-шакальи виляя задом, выходит человечек в штатском, сокрушенно оглядывается и говорит, разведя руками:

— Где же наша армия? Ах, жалость!.. Товарищи! Объявляю священную войну против империалистов! Организуйтесь, товарищи! Да здравствует дисциплина!

Гляжу я на него — шакал, форменный шакал. Уткнул морду в труп и с наслаждением разворачивает лапой выпавшие внутренности.

— «Священная война»!

На-кось, выкуси!

* * *

Когда я был маленький, мой отец имел в Севастополе три бакалейных лавки.

Хорошее было время... Могу сказать с гордостью, что я вырос на руках черноморских матросов. Они — большие,

плечистые, с шеями мощными и стройными, как колонны — приходили к отцу покупать для судовых команд товары, и я, как живой мяч, все время переходил из одних рук в другие. Как я их любил, этих огромных здоровяков!

Так было уютно и безопасно покоиться на их твердых руках, по которым шариками бегали развитые крепкие мускулы; такие широкие, как прибрежные скалы, мышцы груди, такие могучие, не стесненные воротниками, шеи.

Тонкая «голланка» трещит от малейшего движения стальных рычагов рук, а матрос подбрасывает меня к потолку темной лавки и голосом, привыкшим к конкуренции с воем шторма, кричит:

— Любишь так? Не боишься?!

Еще бы! Да это приятнее перекидных качелей.

От матросов так приятно пахло махоркой и здоровым молодым потом, что я, свернувшись на теплых руках калачиком, часами слушал их непонятные разговоры с отцом о макаронах, чае и свечах.

И они мне делали чудесные подарки. Морских коньков с закрученным спиралью хвостом, ракушки, а большей частью — огромные акварельные рисунки броненосцев и миноносок, где недостаток искусства живописца скрашивался изумительной точностью деталей, — целая паутина вантов и рей, и «все», как с гордостью говорил мой простодушный отец, «все на своем месте»...

Не было на свете чудеснее человека, чем черноморский матрос, когда он шел по узеньким севастопольским улицам в снежно-белом костюме, немного наклонив вперед прекрасную голову на бычачьей шее и переваливаясь с ноги на ногу с какой-то львиной грацией. С правой стороны брюк — обязательный огромный желвак — это карман, набитый семечками. За спиной теплый ветерок чуть-чуть вздымает черные ленты шапки, а если сбоку шагает товарищ, то оба идут, обязательно обнявшись — такая уж мода.

Как я любил вас, мои милые жилистые черноморские орлы, мои дорогие друзья!

Но... из грязного вонючего переулка, вихляя задом, выполз шакал, шепнул вам два страшных по своей простоте и доступности словечка — и вот уже полетели на Малаховом кургане головы ваших благородных офицеров, и носите вы по

притихшим от ужаса славным севастопольским улицам эти головы, насадив их на обагренные святой кровью штыки...

Львы превратились в шакалов, орлы — в коршунов-стервятников, а где вы, которые баюкали меня в теплых ласковых объятиях — слышите ли вы меня, чуете ли, что делают дети ваши, черноморские «орлята»?

Нет! Нет! Пусть не на них кровь мучеников — бедные они, темные, задуренные, затуманенные люди!

Видите вы эту шакалью морду, которая хохочет во мраке?

На ней кровь.

ОПОНОС ИЛИ РУСКИЕ В 1918 ГОДУ

Охотничья идиллия Арк. Аверченко

Большой роскошный кабинет, украшенный дорогим оружием, бронзой и великолепными шкурами диких зверей, разбросанными по полу и на оттоманках.

Хозяин и гость сидят у камина в глубоких креслах. Сигары. Кофе. Ликеры. Тихая задушевная беседа.

Происходит это в 1928 году.

— Да-да... — лениво шепчет хозяин, попыхивая сигарой. — Пришлось мне на своем веку поохотиться — могу сказать. Стрелять и сороку, и ворону, и ясного сокола. Видите вон ту полосатую дуру в углу, налево?..

— Тигр? — догадывается гость.

— Тигр. Недалеко от Бенареса я его ухлопал. На всякого зверя своя сноровка нужна. С этим я выкинул прехитрую штуку.

— Любопытно, какую? — раздался голос невидимого из-за клубов ароматного сигарного дыма гостя.

— А вот: заказал я в Калькутте железную разборную клетку аршин пять в поперечнике. Привезли мы ее с индусами к реке, куда эта полосатая тварь шлялась на водопой. Собрали мои ребята клетку, всунули меня внутрь, в компании с живым ягненком, и ушли подобру-поздорову. Сидим это мы с ягненком час, другой, вдруг вдали — этакий рев.

Ну, дернул я своего товарища за хвост, заверещал он — и вижу я, на голос выпрыгивает из бамбуков вот это самое полосатое чудище. Прямо на клетку так и прет. Ухватился лапами за прутья, да и давай их мять. Ну, я — раз! раз! Прямо в сердце. Даже шкуры почти не попортил. Растеряйся я — конец бы мне. Клетку он, анафема, все-таки помял, как картонную...

— А это что за серебристая шкура? Кажется, лев?

— Так точно, дорогой. Атласский, так называемый, лев. Прямо на круп моей лошади свалился... Ну, я, не будь дурак — ножом в бок — р-раз! Не пикнул.

— А это — бизон?

— Бывший. 28 штук загнали в частокол в форме римского V. В широкий конец загоняли, в узком убивали. Проводник наш, кафр, прозванный нами Бульденеж, три ребра потерял на этом деле. Очень это хитрая штука — загнать рогатых проходимцев в римскую пятерку. Бывает, что проломают частокол и все вытекут наружу, как вода из разбитой бутылки. Для этого и делают широкую часть пятерки пожиже, понебрежнее, а где уже поужмем — и колья потолще, и ставим их в два ряда. Для всякой охоты, голубчик мой, нужна своя сноровка.

Что это вы головой вертите, как удав перед змеей?

— Странная вещь... — замечает гость неуверенным тоном. — Я вижу тигровую шкуру, медвежью... Вон там пара волчьих, вот барсовая, но одной шкуры я совсем не понимаю...

— Которой, которой?..

— Вон той, которая хотя и лежит, разбросив передние лапы, как всякая другая шкура, но, во-первых, — ни задних лап, ни хвоста у нее нет, а во-вторых, она больше напоминает мужское драповое пальто с каракулевым воротником.

— Ну, так что же? — хладнокровно мычит хозяин, попыхивая сигарой.

— Я не понимаю, почему среди трофеев охоты затесалось драповое пальто с барашковым воротником?

— Тоже трофей охоты. У меня их много было, часть раздарил. Были подпорченные пулями экземпляры. А это новехонькое. Ни одной дырки.

— Не хотите ли вы уверить меня, что охотились на человека? — с беспокойством спросил гость.

— Представьте. Одна из самых опасных охот. И как всякая охота, требует своей сноровки.

Хозяин встал, ласково погладил ладонью воротник драпового пальто, раскинувшегося по полу между шкурой тибетского медведя и карпатского волка, и начал рассказ тем же тоном, каким он рассказывал о бенаресской охоте на тигра...

— Было это в 1918 году, когда, помнится, страной правили пресловутые народные комиссары. В то время дрова, привозимые по Фонтанке, выгружались на берегу, в районе между Пантелеймоновским и Аничковым мостом. Сюда же к берегу сгребался и снег, так что к середине зимы у берега образовались дремучие завалы из дровяных и снежных глыб, смерзшихся в одну компактную массу... И вот завелись в этих отрогах уральских гор фрукты, подобные тому, шкура которого лежит, распростершись у наших ног... Были они, нужно признаться, опаснее американских бизонов и кровожаднее бенаресских тигров...

— Что же они делали? — спросил заинтересованный гость.

— Убивали всех, кто подворачивался им под руку. Раздевали донага и убивали. Народные комиссары в это время углубляли революцию — не до того им было, — а это прибрежное зверье, так называемые «туварыщи», резали и душили всякого конного и пешего, кто попадал в их джунгли. Ужаснее всего, что и джунгли-то эти находились всего в пятиста шагах от Аничкова моста — центрального пункта Невского.

— И вы... охотились?

— Отчего ж?.. Тогда все было дозволено, а для любителя сильных ощущений такая охота — мед!..

— Как же это происходило?..

— Как обыкновенно на охоте. Нас была целая такая компания. Был даже свой устав. Называлась компания: «Общество правильной охоты на околофонтанскую сволочь». Телеграфный сокращенный адрес «Опонос». Хлопотали даже о субсидии обществу, но нам предложили получать от уха.

— Как... от уха?..

— Просто. У каждого убитого членом общества отрезывается ухо и представляется в комиссариат, за что выдается сто рублей награждения...

— Черт знает что!

— Именно — вышло черт знает что. Вышло так, что наше околофонтановское зверье после этого не только раздевало прохожих, но еще и отрезывало им уши на предмет получения ста рублей. Ведь на ухе-то не написано, чье оно: буржуя или его раздевателя. После этих «подделок» комиссариат сам уничтожил меркантильную сторону охоты и таким образом наши ночные приключения сами собой вылились в бескорыстную охоту ради охоты...

— Послушайте... Вы рассказываете такие невероятные вещи...

— Ну, вот: невероятные. Тогда все было вероятно!

— Как же происходила... эта... охота..?

— Традиционно. Накануне собиралось несколько этаких спортсменов — большей частью у меня и уговаривались, если ночь будет темная и безветренная, отправиться. Темная ночь самая была подходящая... На службе у нас состоял этакий разведчик, который перед очередной охотой выслеживал местонахождение очередной дичи, знакомый с ее нравами и повадками. Он же служил и проводником экспедиции. Приманка была, главным образом, на ягненка...

— На яг...ненка?

— То есть, так, иносказательно. На буржуя ловили. На всякую охоту, повторяю, своя сноровка.

Хозяин мечтательно улыбнулся.

— Шумно, помню, во время сборов было. Весело. Все с винчестерами, наганами, через плечо патронташ, сбоку фляжка с ромом — все как полагается. С вечера залегали мы за выступом каких-нибудь ворот и терпеливо ждали наступления ночи, когда дичь выползала на свой промысел. Лежим, затаив дыхание... Вдруг — звук автомобильного рожка — условный знак разведчика, что дичь вышла на работу. И вот в это время на набережной показывается один из нашей компании — буржуй или «ягненок» как мы его называли. Самая опасная была должность, и шли на это дело самые отчаянные из нас.

— Ну, ну?..

— Идет, значит, «ягненок» посвистывая, напевая из модной тогда «Сильвы» — «Красотки, красотки»... Тут-то на него и высыпала водившаяся в дровах дичь. Всегда четы-

ре — пять человек, потерявшие всякий человеческий образ, выбегали из-за штабелей и с криком: «Стой! Есть оружие?» набрасывались на ягненка. «Ты стрелял?» — спрашивали «туварыщи». Это у них платформа такая. Пальто снимут и душить начнут не сразу, а соблюдут раньше революционный декорум. Тебе, дескать, буржую и саботажнику, оружие иметь не полагается. «Нет у меня оружия», — кротко лепечет наш ягненок...

— А-а — нету? Ну, скидавай пальто. Чалый, прижми ему машинку. Но Чалому так и не удалось «прижать машинку». Согбенный страхом ягненок вдруг выпрямлялся, молниеносно ударял Чалаго кулаком в солнечное сплетение, падал на землю, а в это время наши охотнички с гиком высыпали из засады и начиналась потеха. Крики, брань, улюлюканье, выстрелы. «Шкуру не порть», — оживленно кричит «ягненок», оглушая ближайшего дровяного зверя рукояткой револьвера. — «Бей между глаз, коли его, целься в затылок». Прямо так было весело, что и рассказать невозможно.

— Гм! — пробормотал гость. — Я, собственно, не вижу здесь элемента веселья. Истреблять безоружных людей...

— Безоружных? Да они до зубов были всегда вооружены! Шансы равны, дичь здесь опасней — что ж тут преступного?...

— Ну и что же дальше?

— Заполевав несколько штучек, сдирали мы с них в виде охотничьих трофеев драповые шкуры (вроде вот этой!) и возвращались домой, приветствуемые кликами прохожих: «С полем вас! Бог в помощь! Много ли настреляли?».

— Звери, — с отвращением пробормотал гость.

— Что же я и говорю, — подхватил не совсем понявший гостя хозяин, — форменные звери. А раз звери — охота на них разрешалась, и все было к лучшему в этом лучшем из миров.

Гость промолчал. Только вздохнул, пожав плечами.

Подгоревшее полено в камине переломилось пополам и сползло вниз. На мгновение оно вспыхнуло и осветило великолепную полосатую тигровую шкуру и скромное диагоналевое пальто, скромно распростертые между тибетским медведем и карпатским волком.

ЧЕЛОВЕК! БУТЫЛКУ СЕЛЬТЕРСКОЙ!

Вы, пьяницы, гуляки, алкоголики, — помните?

Вы, русские забубенные головушки, — знаете ли вы это ужасное тягостное ощущение, когда просыпаешься где-то в незнакомом номере гостиницы — одна нога в ботинке, другая босая, волосы в пуху, голова разваливается от боли, а кривое зеркало над кроватью кажет огромнейший кровоподтек между ухом и глазом:

— Ф-фу!..

Дрожащая рука тянется к звонку.

— Что прикажете?

— Человек! Бутылку сельтерской!

Жадно глотаете вы распухшим горлом шипящую влагу и в антрактах между глотками приступаете к осторожным расспросам:

— А что, братец... Что, у вас в гостинице все вообще... благополучно?

— Ничего себе.

— А гостиница-то... эта самая... Как называется?

— Помилуйте, Гранд-Отель-с!

— Оказион! Чистейшей воды оказион! Да как же я это в Гранд-Отель попал? Ведь я в «Ницце» был!

— В «Ницце» точно не знаю — были ли, но, однако, привезли вы кучера из «Бристоля».

— То есть, кучер меня привез?..

— Никак нет, вы — кучера. Он на пассажирском месте, а вы заместо него, на козлах. Взамен же кнута лошадей саблей-с погоняли. Хи-хи-с.

— Са-аблей? Да откуда же у меня, мать честная, сабля оказалась?

— Так что, говорят, у одного офицера из ножен вытащили и убегли.

— Да что ты говоришь? А к вам мы зачем же пожаловали?

— На предмет вскрытия товарища.

— Вскры-ти-я?!

— Да-с. Один куплетист тут за сто целковых подрядился вскрыться. Ну, вы его и вскрывали. Положили на стол в седьмом кабинете да ростбифным ножом по животу — чирик!

— Ф-фу-у... Чего ж не отняли, дурачье?

— Отнимали-с. Метрдотелю, Ивану Парамонычу, пол-уха отхватили, одначе куплетиста выпростали.

— Слава богу, что хоть этим-то кончилось.

— Никак нет. Этим не кончилось. Соловья в камине на дамской шпильке жарили, отварную стерлядь кольчиком, вроде будто змеиного укротителя, на шею надевали, буфетчицу Сердюкову на ленте по залу водили и по-собачьи лаять заставляли, а опосля того вы в аквариуме нимфу изображали.

— Да ведь мокро там!

— Мокро-с.

— И холодно.

— Оченно. Проточная вода.

— Чего ж это я полез?

— Не могу знать. Мечтательность.

— А отварную стерлядь, говоришь, на шею надел?

— Кольчиком она была.

— Там кольчиком или мольчиком — это неважно, но ведь на ней соус был?

— Соус были-с. Америкен.

— Зачем же я надел?

— Устали, я думаю, очень. Опять же — самолюбие.

— Ф-фу!.. Ничего не помню. Вот убей меня, на что соловей птичка деликатная, а и соловья на шпильке не помню. Горит у меня внутре, оф-фициантушка! Еще сифон сельтерской.

* * *

Сейчас русский человек еще спит... Спит, горемыка, тяжким похмельным сном.

Но скоро откроет заплывшие глаза, потянется и, узрев в кривом зеркале мятое, заспанное, распухшее лицо, — истошным голосом заорет:

— Человек! Бутылку сельтерской! Послушай, братец, где это я?

— Так что — в Московии.

— То есть как так — в Московии? Что это за ответ дурацкий! В России, ты хочешь сказать.

— Эва! Схватились. Тю-тю Россия.

— Ах ты, мать честная. Да как же это вышло?

— А вышло с похмельного дела вещь неподобная. Спервоначалу, значит, по-хорошему с красными знаменами в феврале на улицу вышли, а потом, когда в почтение вошли, — давай этими знаменами кого ни попадя по мордасам дубасить.

— Это за что же?

— А так просто, от хорошей погоды.

— Ф-фу! Ничего не помню. Немцев-то, по крайней мере, победили?

— Победили. Своими боками. Мир с ними Карахан заключил.

— Это что же за дипломат такой?

— Никакой он не дипломат. Так просто: человек божий, обшитый кожей.

— Генерал, что ли?

— С другой стороны. Иоффе и Карахан мир подмахивали, кто-то ратифицировал, кто-то что-то лишнее аннексировал, ну и пошло тут разное.

— Ну, а дипломаты русские что же смотрели?

— Им было некогда. Лед с панелей скалывали. По вашему же декрету.

— А скалыватели где в это время были?

— А скалыватели в Красной армии работали.

— Какая Красная армия?! А где же прежняя армия? Где солдаты?

— Прежние солдаты теперь Красной армией командавуют.

— Оказия! А что же генералы делают?

— Газеты продают.

— Да ведь это дело газетчиков! Куда же они подевались, газетчики эти самые?

— Лекции в университетах читают. Вы же сами и назначили.

— Да что ж газетчик может в медицине понять? Ну, ты сам посуди.

— Не могу знать.

— Ф-фу! Ну, слава богу, что хоть война кончилась...

— Никак нет. Только начинается.

— С кем?!

— Так что — с немцами.

— Постой, братец мой, ты говоришь вздор! С немцами ведь я подписал мир.

— Это точно — распорядились. Только они Украйну сюда так ловко втемяшили, что теперь и с теми, и с другими воюем. Дело, если изволите помнить, началось с того, что когда вы вступили в войну с Румынией...

— Да нешто я вступал?! Это с союзниками-то?

— А тогда были вы в таком восторге, что — союзник, не союзник, — всех лупи по шее. С румынами, значит, навоевались — вступили в войну с Украйной...

— Из-за чего?

— Так что раньше вы объявили: «право наций на самоопределение, вплоть до полного отделения», а когда они самоопределились да отделились — обидно стало. И пошли воевать. Воевнули, так сказать, чем бог послал.

— Н-да, накрутил делов. А армия-то как же?

— Да вы ж ее демобилизовали... забыли?

— А с чем же я воевал?

— С партизанами. Партизан мобилизовали.

— Зачем же я настоящую армию демобилизовал, а партизанскую... того?

— Так что не могу знать. Объясняли вы так, что в прежней армии мандатов было мало. А в нынешней на одного человека по три мандата. Опять же координаций не было.

— Чего-о?

— Координаций совдепов с искосолами. Бывало, румчерод делегирует викжель в искосол, а наштаверх с центро-главком в обиде на викжедор... Штука!

— Ф-фу... накрутил, я вижу, тут превыше головы. Дайкось еще баночку сельтерской.

* * *

Широка, ой как широка натура у русского человека...

Разойдется — соловьев на шпильках в каминах жарит, стерлядь кольчиком вместо галстука носит, а проспится, придет в себя — только ладонями об полы хлопает.

— Мать честная, чего ж я тут надрызгал?!

Да поздно уж.

Вон там, в туманной дали, уж и счет за выпитое, съеденное и попорченное несут...

— Видишь?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ (1)

В ответ на многочисленные запросы знакомых и незнакомых о судьбе капиталов, лежавших в моем сейфе в Сибирском банке (сообщение о взломе моего сейфа финансовыми деятелями было напечатано некоторыми газетами) — спешу сообщить, что, конечно, известный материальный ущерб имел место.

Во-первых, сломан очень хороший ящик... Как сейчас вижу его: металлический, изящный и такой аккуратный, что я в свое время глаз от него не мог оторвать...

Во-вторых, меня заботит и судьба содержимого сейфа. У меня там лежал пустой конверт формата in folio из прекрасной плотной бумаги, правда, немного надорванный с одного края, но если бы надорванное место подклеить, то конверту и сносу бы не было.

Вот, пока что, все мои личные убытки от национализации банков.

Конечно, разорение — страшная вещь, но я перенес этот удар довольно кротко и безропотно.

Что ж, буду здоров — наживу еще.

Примите уверения в чем полагается.

Аркадий Аверченко
(бывш. известный капиталист).

КНУТ БЕЗ ЛОШАДИ

(Фельетон одного покойника)

В газетах промелькнуло сообщение, что левые эсеры на своей партийной конференции в Москве объясняли неуспех своей партии среди демократии тем, что у левых эсеров нет самостоятельной программы и что нужно обязательно выработать свою программу.

Должен признаться: я был на этой конференции и могу рассказать обо всем подробно.

Конференция состояла в том, что несколько десятков левых эсеров сидели на своих местах и угрюмо переглядывались.

— Ну, чего же мы так зря сидим? — спросил, наконец, председатель.

— А вам что — места жалко, что ли? Не просидим, чай, — с достоинством ответил самый левый эсер.

— Я не к тому, а... заседать же нужно.

— Мы и заседаем.

— Говорить надо!

— Говорим.

— Не то мы говорим. Надо по вопросу.

— По какому?

— Ну, вообще. Что мы, дескать, партия, что у нас есть эдакие какие-нибудь задачи. Ну, и вообще.

— О программе бы поговорить, — шумно вздохнул некто невидимый сзади.

— А какая наша программа? У нас и программы-то нет.

— Ну, перво-наперво, — вся земля — трудящимся, без выкупа.

— Это не наша программа. Это — центра эсеров.

— Ну, тогда изменим. Напишем: с выкупом.

— Это кадетская программа.

— Ишь, черти! Самое лучшее порасхватали.

Сзади опять раздался несмелый голос:

— Передать орудия производства трудящимся. Требование ввести диктатуру пролетариата!..

— То есть?

— В партию нашу, я говорю, это вставить...

— То есть в программу?

— Ну, в программу — все равно.

— Но ведь эти лозунги выставляются партией большевиков.

— Ах, бык-те заклюй! Ну и оборотистый народишко. А нельзя такое выставить, чтоб в трамваях по-прежнему пятачок с носа брали?

— Ну, что ж это за программа... Никакой дурак такой куцой партией не заинтересуется. Вот мне пришла в голову одна мысль.

— Воображаю...

— Ей-богу, товарищи, — серьезно! Мысль такая: долой власть! Всякая власть есть принуждение. Да здравствует полная безграничная свобода личности.

— Анархисту в карман залезли, товарищ. Нехорошо. Это анархистская программа.

Дюжий молодец, опоясанный двумя пулеметными лентами, встал и, рассматривая смущенно растопыренную красную руку, прогудел:

— А не зажарить ли нам что-нибудь вроде: да здравствует м... м...онархия.

— Виноват, говорите громче: монархия или анархия?

— Понимаете, такое... среднее: спереди напечатать маленькое «м», а потом «анархия» покрупнее. Оно как будто и монархия, как будто и анархия. Что-то среднее. Это ново.

— Это ново, но глупо. И, кроме того, безграмотно. Монархия пишется через «о» после «м», а слова «онархия» — нет.

— Нет? Тогда простите.

И снова все опустили головы. Напряженно задумались.

— Ну, что ж, товарищи... Выдавливайте что-нибудь...

— И что мы за такие несчастные за люди! У всех все в порядке, у всех есть своя программа, даже народные социалистки с какой-то программкой промежду нас путаются, а мы какие-то обсевки в поле.

— В цирке и то программа есть, а у нас ни малейшей.

— Сочинить надо. А то прямо неловко. Намедни меня один господин, такой настойчивый, право, — так прямо в лицо и спрашивает: «а какая, говорит, у вас, у левых эсеров, программа»?

— Что же вы?

— Ну, я и туда и сюда... Видите ли, говорю, у нас по тактическим вопросам много общих мест с большевистской платформой, теоретически мы одной, левой, стороной примыкаем к правым эсерам, хотя, расходясь с ними в кардинальном вопросе... «Нет, говорит, это ты не крути, а говори прямо — какая твоя лево-эсерская программа», — чуть не расплакался я, — так обидно. Извинился и ушел.

— А нельзя ли так: демократии нашей программы не показывать, а прямо на словах сказать, что все хорошо будет, чтобы она не беспокоилась...

— Так она, демократия, тебе и поверит. На большевиках нажглись уже. Те тоже обещали и то и се, и что все для демократии, а теперь демократия с голоду дохнет.

* * *

Тут поднял свой голос и я:

— Товарищи! А зачем вам программа?

— Как зачем? Надо. Мы, верите ли, левые эсеры. Партия такая. А программы нет.

— Так и черт с ней. О чем плачут... Нет программы, так возьмите и разойдитесь.

— Куда же мы денемся? Сейчас мы, как партия, около большевиков кормимся, а если мы не партия — так они нас сразу же выкинут. Послушайте, товарищ... Вот у вас, я вижу, умное лицо: сочините нам программу.

— Вот чудаки! Как вы не понимаете: партия без программы это кнут без лошади. Где вы видели, чтобы человек, имеющий кнут, прикупал к нему лошадь? Или иначе — если стоит на пустом месте дворник, то дом к нему, к дворнику, никогда не пристраивается. Дворника впускают в уже готовый дом...

— Но войдите в наше положение: кому мы нужны без программы?!

— А кому вы нужны с программой? — подумал я и, пожав плечами, вышел.

А за моей спиной несся стон председателя:

— Господа! Товарищи! Ведь мы же конференция! Чего же вы молчите? Говорите что-нибудь, а то прямо жутко!

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Однажды сошлись три гражданина земли русской.

Сошлись — разговорились.

— Вы кто же будете? — спросил один.

— Я — марксист. А вы?

— Я — кропоткинец. Анархист. А вы?

— А я толстовец.

— Очень приятно.

— Очень приятно.

— И мне тоже. Что поделываете?

— Да что ж поделывать... — сказал марксист. — Я, как марксист, провожу в жизнь учение великого гения Карла Маркса: вчера, например, поймали директора нашей фа-

брики, вымазали дегтем, обваляли в перьях и вывезли на тачке. А сегодня предъявили хозяину фабрики требование: работать четыре часа в день и платить по сто рублей на нос. Паршивый буржуишка в ответ на это заявил, что при таких условиях фабрика может лопнуть, но мы, марксисты, смотрим на это дело просто... Лопнет фабрика — мы распродадим машины да и махнем в деревню. Наше дело, марксистов, — простое. А вы что поделываете, товарищ кропоткинец?

— Праздный вопрос! Что может делать кропоткинец? Конечно, проводить в жизнь идеи нашего великого учителя! Вчера, например, заняли особняк одного человечка. Он, было, думал сопротивляться — ну мы его к стене приставили, да и... того-этого-разэтого. С продовольствием неважно, ну да мы по заветам нашего великого учителя кое-как устраиваемся: являемся с поддельным ордером в дом какого-нибудь буржуя.. ну, всю семью, по обычаю, загоняем в ванную, под самого буржуя подкладываем огонек и, значит, как припечет ему пятки — так он сразу все и укажет: и где у него мука, и где у него деньги, и где вино, и где бриллианты! Нет, ничего. Жаловаться не могу. Нам, кропоткинцам, живется довольно сносно.

Немного помолчали.

— А вы, товарищ толстовец? Что вы поделываете?

— Как же я могу что-нибудь поделывать, — удивился толстовец, — раз я толстовец; я именно ничего и не должен делать. Разве что для себя пару сапог смастеришь... Ведь вы знаете, что мой великий учитель, мой знаменитый граф занимался тем, что шил сапоги и учил не противиться злу. Я и шью, я не противлюсь. Ведь я давеча видел, как вы, марксист, вашего директора дегтем обмазали, видел и как вы, анархист, приставили к стене владельца особняка, да и... того-этого-разэтого... Ну, а раз не противиться злу — так и не противиться! Я прошел мимо и сделал себе вид, что ничего не вижу.

— Правильно, — одобрили марксист и кропоткинец. — Раз такое учение — нужно его соблюдать в чистоте.

— Я вам, братцы, больше скажу, — воодушевился толстовец. — У меня тут знакомый ницшеанец есть — ярый последователь Ницше, уверяю вас. Он исповедует такие

заветы своего великого гениального учителя: «Падающего толкни» и «Идя к женщине, бери хлыст». Оправдывается тем, что так говорит Заратустра. Ну, конечно, раз такое учение — так он и проводит в жизнь все тезисы очень аккуратно. На днях вижу: идет по улице слепой какой-то старикашка. Споткнулся. Ну, мой ницшеанец какак его толкнет, так тот со всех четырех! Что смеху было... А к жене без хлыста не подходит. Чуть что, так он ее по щекам и по спине так утюжит, что аж пар от него идет. При этом обкладывает ее предпоследними словами и, конечно, после каждого слова приговаривает: «Так говорил Заратустра». Признаться, иногда и мне противно на этакое смотреть... Но раз мой великий учитель заповедал «непротивление злу» — так черта с два! Пальцем даже не шевельну! Сохранить чистоту учения — великое дело!

— Сохранить чистоту учения — великое дело, — подхватил марксист. — Мой великий учитель говаривал: «экспроприируй экспроприированное». И что же! Я в трамвае почти каждый день таскаю у буржуев кошельки!

— Огромное, великое дело — сохранить учение в чистоте, — поддержал и кропоткинец. — Мой знаменитый учитель был против власти, и что же! Как только мне в темном уголке подвернется милиционер или комиссар уголовной полиции, сейчас же я ему ножом в брюхо — чик.

* * *

Был великий торжественный день Страшного Суда... Перед престолом Вседержителя стояли четыре понуренных старца.

— Кто вы такие? — прогремел Божественный голос.

Старцы представились:

— Карл Маркс.

— Кропоткин.

— Толстой, Лев.

— Ницше.

— А-а... В ад!

— Помилуйте, за что же, — побледнели старцы. — Мы ли не старались... Если вы ознакомитесь с нашей жизнью и с нашим учением...

Молнией сверкнули очи Бога, Господа сил:

— Я знаю вас, вашу жизнь и ваше учение! Ваша жизнь — святая жизнь, и ваше учение прекрасно и возвышенно! И за все это вы, наверное бы, попали в рай! Но за то, что вы расплодили гнусный, гнилой навоз, именуемый марксистами, кропоткинцами, ницшеанцами и толстовцами, за то, что вашими именами погублена вся несчастная Россия, — нет вам прощения отныне и до века. Нехорошо, старцы!

Аминь.

* * *

Мораль этой правдивой истории: то, что, скажем, например, мышьяк — вещь, безусловно, полезная и в медицине употребляемая с большим успехом для здоровья страждущих...

Но, если вы взяли бочку мышьяку да поставили ее безо всякой охраны в лечебницу для умалишенных, — не вы ли ответственны за то, что больные, как тараканы от тараканьего мора, будут лежать около пустой бочки на спине, кверху лапками.

То-то и оно, великие учителя.

ТОНКАЯ ПОЛИТИКА

Что такое профессиональный союз?

Это замечательное по мысли учреждение! Оно защищает интересы трудящихся.

Благородная задача! Возвышенная цель! Что может быть прекраснее, как защищать интересы угнетенных, интересы беззащитных, быть их охранителями, опекунами, заботливыми отцами малых сих...

Возвышенная задача! Благородная цель!

А теперь — дадим сами себе пинка в затылок и свалимся с луны на нашу презренную землю.

Что такое профессиональный союз?

Вот его схема: жила-была на свете, скажем, тысяча тружеников, из которых восемьсот были на местах, а двести пока что, в ожидании будущих благ, искали работы.

Но пришел однажды сознательный товарищ и, сверкая одухотворенными глазами, сказал мелодичным голосом:

— Довольно нас угнетали наниматели и капиталисты. Давайте сорганизуемся в профессиональный союз! Будем организованно защищать наши интересы!

Сорганизовались.

— Товарищи! Сколько кто получает жалованья?

— Я семьсот! А я триста. Я — сто пятьдесят. Я — тысячу! Я — девяносто два рубля!

— Какое безобразие! Отныне все должны получать минимум пятьсот. Все согласны?

— Все! — радостно грянуло собрание.

— Чудно! По проверке оказывается, что служат сейчас восемьсот, а без работы — двести. Пусть имеющие место вносят в фонд неимущих двадцать процентов. Согласны?

— Согласны.

— Теперь: вводим такое правило — если буржуй нанимает труженика, он должен платить ему не менее пятисот рублей. При расчете — жалованье за три месяца вперед. Все согласны?

— Еще как!

— Если наниматель на это не пойдет — объявляем место под бойкотом!

— Чудно!

— Рассчитать служащего без согласия профессионального союза наниматель не имеет права!

— Верно! Это здорово. Запишите.

Машина заработала.

* * *

Через три месяца.

— Какие результаты работы союза?

— Вот: членов союза тысяча. Из них двести на службе, восемьсот без работы.

— То есть наоборот?

— То есть — не наоборот. Дело в том, что когда мы повысили жалованье, то половина нанимателей отказались от тружеников. А из оставшихся четырехсот тружеников половина, чувствуя за своей спиной защиту союза, почти совсем перестали работать. Их уволили. Правда, при расчете мы содрали с нанимателей трехмесячное жалованье — но это нас мало устроило. Теперь мы объявили их места под бойкотом. Ловко придумано, а?

— А как же мы будем содержать восемьсот безработных?

— Очень просто. Повысим ставки тем, которые на местах! Две тысячи каждому в месяц. Помножим двести на две тысячи — это четыреста тысяч в месяц. Получится 400 рублей на каждого.

— Дельно.

* * *

Еще через три месяца.

— Результаты?

— Из тысячи служащих пятьдесят на местах, девятьсот пятьдесят без работы. Пятьсот мест под бойкотом, но их обслуживают вольные непрофессиональные штрейкбрехеры.

— Выразить им порицание.

— Выразим. Это можно.

— А чем будем содержать безработных?

— Нам нужно 400 тысяч в месяц. Делим на 50 служащих. Выходит, что нужно повысить ставки до 8000 рублей в месяц каждому из «союзников».

— Не много ли?

— А откажутся буржуи — объявим места под бойкотом!

* * *

Конец этой истории:

— Слушайте... Нет ли у вас местечка рублей на 150-200 в месяц?

— А вы не в союзе?

— Нет, ей-богу, что вы!

— А дадите мне подписку, что вы вышли из союза?

— Дам. Только и вы мне дайте подписку, что не сообщите в союз моей фамилии.

— А если союз все-таки разыщет вас?

— Выдайте меня за своего брата, который служит для удовольствия...

— Нет, лучше, когда придут из союза, вы спрячетесь в шкаф...

— Хоть в коробку от шляпы.

Обыкновенно эпиграф к произведению ставится в начале. Отступим от этого правила и для подкрепления своего произведения поставим эпиграф в конце:

Драматический режиссер-артист Нерадовский пригласил для одной оперы оркестр музыкантов. Пьеса прошла три раза, и режиссер пришел расплатиться с музыкантами.

— Нет, этот номер не пройдет! — расхохотались музыканты, — за целый месяц пожалуйте!

— Но я нанимал вас для одного спектакля, на разовых. И то — пьеса трижды прошла, вы получите больше.

— Согласно нормальному договору союза оркестрантов — платите за месяц!

Нерадовскому пришлось уплатить за целый месяц. Но от оркестра для драмы режиссер навсегда отказался.

(Из «Петр. голоса»).

МОЯ СИМПАТИЯ И СОЧУВСТВИЕ ЛЕНИНУ

(Сочувствует — Аркадий Аверченко)

Я очень добрый человек.

Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову тож.

Мне только очень его жалко.

Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь, и чем дальше, тем больше мне его жалко.

По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни (я, например, люблю уют больше всего на свете), — а у Ленина нет этого уюта.

И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное. В самом деле, ну что это за положение такое: «Председатель Советской республики»? Наверное, ему от этого скучно и для самолюбия нет никакого удовлетворения.

Я еще понимаю — быть царем: это уже что-то! Я бы сам, признаться, не отказался от этой должности и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой.

Что такое нужно от царя? Здравый смысл и любовь к родине. Я звезд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу, да никто этого не знает.

Ну так вот, царь — должность определенная, и писатель — должность определенная: знай себе платит штраф за газеты, и генерал — должность определенная: знай себе газеты продает на Невском, и князь — должность определенная: знай себе старые вещи продает.

А председатель Советской республики — это неуютно. В этом нет уклада. Нет привычного.

Мне очень интересно знать, как вообще живет Ленин: что он ест — и много ли, с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?

Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.

Я думаю, что Ленин очень сухой человек, и если даже он прочтет эти строки, то не поймет, что я жалею его по человечеству, как брат брата, а, я думаю, немного растеряется, пожмет плечами и скажет сухим, без интонации голосом:

— Какой странный этот Аверченко! Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь — какая такая его партийная платформа?

А я безо всякой платформы, ей-богу... Ну вот, как бы два человека встретились в лесу, и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Ну вот этот первый и пожалел второго — по человечеству, беспартийно и совершенно внефракционно.

Слушайте, гражданин Ленин, — неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу.

Встал утром рано — утро хорошее, теплое, солнечное. Думаю: вчера работал и позавчера работал — никто меня не заставит сегодня работать! Поболтаюсь нынче по белому свету так просто, безо всякой работы.

Умылся холодной водой, фыркая как молодая лошадка.

Чай выпил с белой лепешкой, которую ужилил у петроградской коммуны. Прочел две газеты — левую и правую. В обеих разделывали советскую власть на обе корки — прямо неприятно было читать. Вышел на улицу — сколько света, сколько тепла, сколько солнца! Что значит — ненормированный продукт!

Купил у торговки букетик весенних фиалок. Нюхал. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете,

господин Ленин, — прехорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите, без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое личико и стройную ногу, лихо обтянутую черным ажуром чулка.

Разглядывал также открытки в витринах. Оч-чень недурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать — все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал. Заинтересовался и кинематографическим плакатом. Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. Красивая. Надо пойти посмотреть, что это за картина такая.

Завернул на Морскую. У Буша выставлен эстамп: лев огромный, с царственной гривой. Этому слово «председатель» никак не подходит — именно царь. Породистый, каналья. И вдруг потянуло меня в Зоологический сад — безмерно я люблю всяческое дикое зверье.

А кто мне указ? Набрал побольше теплого воздуху в легкие и бодро зашагал в Зоологический сад — как птица я свободен в пределах петроградской коммуны.

Обедал я в кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля — ели шашлыки, осетрину на вертеле, и мошенник кавказец дал даже недурное винцо. Дорого только очень, ну да ничего — этим фельетоном покрою.

Кстати, господин Ленин, — частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина? Ведь все равно, кто хочет — пьет, и плохо только то, что переплачивает громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся оттого, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день, и довольно, потому что полбутылки водки стоила 23 копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит 200 рублей... И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонка дерет 10 рублей за фунт муки по той же причине — на водку сотни уходят.

Право, уже можно бы разрешить вино, — такое мое компетентное мнение.

Да и вообще, я бы пошел к вам в советчики — только ведь вы меня не будете слушать. Не стоится мне на партийной платформе, хоть кол на голове теши.

Однако вернемся к нашим баранам, как тонко выражались наши бывшие союзники.

После обеда отправились мы с приятелем в оперетку — очень мило играли, да и музыка приятная, легкая и пьянящая, как шампанское.

Вернулся домой пешком — такая приятная белая ночь,— слегка поужинал ужиленной у коммуны телятиной и сыром, запил доброй бутылкой контрабандного пива и лег в постель.

Вы думаете, удовольствия этого привольного дня кончились? Как бы не так!

Предстояло самое главное: лежит у меня на ночном столике томик «Замогильных записок Пиквикского клуба» — вот это, доложу вам, удовольствие! Нет ему равного в природе. В комнате тихо (нынче что-то мало стреляют), мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете — прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Диккенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им бог доброго здоровья за то, что они освещают мне страницы Диккенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих — обязательно выступлю в нем...

Как раз на этой мысли книга заботливо вываливается из ослабленных рук, я поворачиваюсь на другой бок и... желаю и вам, господин Ленин, — искренно, от души — такой же спокойной ночи.

Ну вот: разве плохо прожил я этот беззаботный денек? А вы? Как вы проводите ваши дни? Наверное, сплошная толчея и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады, совдепы, бестолочь и неурядица. С утра — ни газету толком прочесть, ни чаю как следует выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошьян являются со скучными претензиями, заявлениями и разными центропродкомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт, а тут Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.

Ни к зверям не успеете пойти, ни Диккенса почитать. До Диккенса ли, когда красноармейцы требуют прибавки жалованья и пайка, когда рабочие требуют Учредительного собрания, а тут Скоропадский, а тут корниловцы, а тут немцы.

До открыток ли в витринах, до женских ли ножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск, а матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации Дыбенки или еще чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу.

Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я... Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса — этого доброго обывателя с улыбкой бога на устах.

Не примите моего предложения как обиду, а исключительно доброта сердца и сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения —

Аркадия Тимофеевича Аверченко.

ГРОЗА НЕМЦЕВ — ЧИЧЕРИН

Немцы взяли Ростов.

Русский комиссар иностранных дел Чичерин решил проучить развязных немцев как следует.

Он отправил в Берлин ноту:

— «Считаю взятие вашими войсками Ростова нарушением Брестского договора. Протестую».

* * *

Эта телеграмма произвела в Берлине впечатление разорвавшейся бомбы.

— Что мы наделали! — хватился за голову фон-Кюльман. — Чичерин протестует!

— Въехали в историю, — простонал Вильгельм с лицом, искаженным ужасом. — Очень нам нужно было раздражать этого страшного Чичерина!

— Может, взять да вернуть им потихоньку Ростов, — несмело предложил молодой дипломат.

— А что толку? Ростов вернем, а протест, этот жуткий, леденящий душу протест, все-таки останется.

— Послушайте... А что если не считаться с этим протестом?

— К... как?! Да вы с ума сошли, молодой человек! Чтобы какая-то там Германия не считалась с протестом Чичерина, самого Чи-че-ри-на! Этой грозы и ужаса империалистических государств!

Но молодой, совсем еще неоперившийся наивный дипломат не унимался:

— А что он нам может сделать, этот Чичерин?

— Как что? Как что? В уме ли вы, молодой человек?!

— Ну да, вот я и спрашиваю — что? Армии у них нет... Раньше была огромная стойкая армия, но большевики разрушили ее всякими «Солдатскими правдами» и неправдами. Чего же вы так теперь испугались?

Маститые германцы призадумались.

— А ведь верно, господа. Чего там его бояться? Захотели и взяли Ростов!

— Хе-хе. И чего же мы бледнели, спрашивается?

— Однако, что же делать с протестом?

— А вот у вас стол в зале заседаний шатается. Сложите телеграмму протеста и подсуньте под короткую ножку.

И было так, и стал германский империалистический стол еще устойчивее, чем прежде.

РУССКИЕ КАЛИФОРНИЙЦЫ

Темная летняя душная ночь тяжело висела над перелеском Чертова Лога в то время, когда выехавший из Кривого Урочища дилижанс во всю мочь летел к оврагу Шайтана, влекомый четверкой сытых, хорошо накормленных лошадей...

Дилижанс уже проехал Три Дуба, уже сделал поворот и помчался к Сосне Висельника, как вдруг за деревьями послышался какой-то шум, хриплые голоса, замелькал огонь

смоляного факела, и на поляну высыпала ватага молодцов... Было их человек двенадцать, вооруженных до зубов, мрачных, решительных.

– Стой! – прогремел мощный голос. – Режь постромки!! Вяжи кучера!!

И притаился темный лес, глядя на ночное черное дело.

– Тащи пассажиров из дилижанса, – скомандовал предводитель. – Сколько их?! Четверо? Руки вверх, товарищи!

Извлеченные из дилижанса женщины плакали, стонали и вопили о помощи, мужчины держались спокойнее; один из них, солидный бородач, вгляделся при неверном свете факела в предводителя, в его помощника и вдруг всплеснул поднятыми руками.

– Боже! Что я вижу! Луначарский! Неужели вы дошли до этого?!

– Хо-хо-хо! – разразился грубым смехом Луначарский. – Не время теперь растабарывать. Говорите, чего хотите: живота или смерти?

Все путешественники, даже не сговариваясь, пожелали в один голос:

– Живота!

– Хо-хо-хо! – разнесся по лесу зловещий смех Луначарского. – Вы, я вижу, не дураки. В таком случае, вы должны исполнить то, что от вас потребуют.

– О, возьмите у нас все: деньги, бриллианты, – сказали, падая на колени, женщины, – только не убивайте нас!

Было видно, как при свете факелов глаза помощника сверкнули радостью, но Луначарский сурово отстранил его и, сделав широкий пролеткультский жест, воскликнул:

– Нет, нет! Наше дело идейное!! Никаких денег. Эй, секретарь редакции! Все пассажиры связаны?

– Да, масса.

– Сопротивляться не могут?

– Нет, масса.

– И убежать не могут?

– Нет, масса.

– В таком случае, начнем. У кого журнал?..

– У секретаря, масса.

– Это и плохо, что масса*), – сострил Луначарский, разражаясь горьким смехом. – Я предпочел бы, чтобы масса была не у секретаря, а у читателей!

И все двенадцать дюжих сотрудников тоже разразились хохотом.

– Итак, мы ваши пленники? – спросил солидный пассажир.

– Зачем такие громкие слова, вы теперь просто читатели моего журнала «Пламя». Кто из вас грамотный?

– Все грамотные, – сумрачно ответили пассажиры.

Легкая зависть промелькнула на лицах красногвардейцев.

– Ишь ты, – вздохнул один.

– Дайте вот этому крайнему журнал, – скомандовал Луначарский. – Пусть читает.

Крайний пассажир взял в руки журнал и с недоумением прочел:

– «Пламя», пролетарский журнал... Что же дальше?

– Все читай! – рявкнул Луначарский.

– «Социал-предатели. Которые соглашатели и которые корниловцы это не те, что скажем авангард русской революции, который краса и гордость!..»

Это была незабываемая картина, полная дикой своеобразной красоты: на краю у оврага чернел массивный кузов дилижанса, на маленькой площадке, окруженной столетними деревьями, сгруппировалась кучка людей в самых разнообразных позах, освещенная красным светом факелов; на поваленном бурей дереве сидели в ряд четверо пленников, и один из них, близко наклонившись к журналу, дрожащим голосом читал странно звучащие в этой вековой лесной тиши строки: «о мелкобуржуазных соглашателях», о «пролетарском искусстве» и о «саботаже интеллигенции».

На горизонте, между деревьями, уже показалась бледная полоска рассвета, когда пассажир кончил чтение «Пламени».

– Все он прочел? – спросил Луначарский у секретаря редакции.

– Все прочел, масса.

– Он читал «Пламя»?

*) Масса – на языке американских негров значит – господин.

– Да, масса.

– Значит, он читатель «Пламени»?

– Да, масса.

– То-то, – облегченно, полной грудью вздохнули Луначарский и секретарь. – Пусть же эти проклятые буржуазные газеты заткнут глотки и не кричат, что «Пламени» никто не читает. Развяжите их, пусть едут...

После недолгой возни кучер и пассажиры были развязаны, постромки исправлены, и дилижанс, громыхая, снова покатился к Сосне Висельника.

– Четверо, – задумчиво прошептал Луначарский, глядя вслед дилижансу. – Да вчера сколько поймали?

– Шестерых.

– Ого! Это, значит, за два дня на сколько поднялось количество читателей?

– Вдвое. До вчерашнего дня было только десять читателей, а нынче уже вдвое!!

– Еще года два такой работы – и до тысячи читателей дотянем.

– Больше! Ежели каждый день по полдесятка ловить, то и за все три тысячи перевалит!

– Здорово! Значит, не пропадут зря народные денежки... Неужели они теперь будут спорить, что пролетарская литература существует?..

Стояли в раздумье, опустив пролеткультяпные головы.

Светало.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ (2)

Милостивая Государыня, Госпожа Редакция!

Я виноват.

Я позволил себе то, чего никогда не делал. Я подсунул в настоящий «Пролеткультный» номер свой старый фельетон, напечатанный восемь лет назад в «Одесских Новостях»...

Фельетон называется «Русские калифорнийцы».

Это ужасно.

Самое же ужасное то, что я почти ничего не изменил в своем старом фельетоне...

Только у меня раньше речь шла о «Земщине» и о Маркове II, а теперь я только поставил в первом случае «Пламя», во втором «Луначарский».

Это нехорошо – печатать свои старые фельетоны.

Но не виноват же я, что как раньше Марков II был официозным лицом, так теперь и Луначарский – официозное лицо... И как раньше «Земщина» никому не была нужна, была сера, тосклива, и никто ее не читал, так и теперь «Пламя» серо, тоскливо, и никому оно не нужно, никто его не читает. И как раньше на «Земщину» преступно тратились народные деньги, так и теперь.

Остаюсь с совершенным почтением,

Аркадий Аверченко.

ОТ СИЦИЛИСТА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛИСТА К СИЦИЛИСТУ

Фельетон

Быть социалистом для русского интеллигента – это все равно, что быть рюриковичем для русского дворянина.

(Не помню, кто сказал.
Да это и не важно)

I

До революции мужицкая Россия социалиста не знала. Мужицкой России был известен только сицилист.

Впервые это слово вошло в мое сознание, когда мне было 6 лет, и произнесли это слово уста моей няньки, простой доброй деревенской бабы.

– Аннушка... Ты видела что-нибудь страшное? – спросил я однажды, прижимаясь щекой к ее могучей теплой груди.

– Видела, Аркашенька. Как не видеть.

– Что уж ты видела?

– Сицилиста видела.

Будто кто-то костлявой холодной лапой провел по моей спине...

Я прижался ближе к надежной груди и дрожащими от ужаса губами прошептал:

– А кто же он такой?

– Он-то? В очках, как леший.

– А что он делает?

– А в деревнях колобродят они.

– Кого... чего?

– Колобродят. (Какое страшное слово! Не просто бродят, а колобродят). Придет такой анафема и сунет зажигательное стеклышко в соломенную крышу.

– А зачем?

– А для пожару.

– А пожар зачем?

– Вот тебе раз – зачем! Чтоб люди погорели.

Даже та примитивная логика, которая была в то время отпущена мне Провидением для обихода, не удовлетворилась этим объяснением.

– Погорели, погорели, – недоумевающе пробормотал я. – Это мало, что погорели. А ему это для чего нужно?

– Сицилисту-то?

– Ну, да.

Она снисходительно потрепала меня тяжелой рукой по хрупкому плечику.

– Ему, брат, все нужно. Прискачет, накрушит делов, да и дальше. А ты спал бы скорей, а?

– А он в нашу крышу стекло не всунет?

– Еще чего! В городу-то? В железную-то?

– В очках? – переспросил я.

– Он-то? В очках.

– Патлатый?

– Патлатый. А спал бы ты, Аркашенька, а?

Легко сказать – спи! Напугала меня, дура, до родимчика, а потом спи.

Главное, меня пугало то, что поступкам сицилиста нельзя было дать никакого объяснения.

Пришел, сунул в крышу зажигательное стеклышко и запрыгал дальше.

Страшные люди водятся на суше!

Потом уже, когда я подрос, мне случилось разговориться со своим учителем – радикально настроенным хохлом Павлюком.

– Кондрат Иваныч! А что такое со-ци-а-лист?

– О-о, брат... Это не твоего умишка дело! Это люди, которые хотят, чтобы всем одинаково хорошо жилось!

Я ехидно спросил:

– А правда, что они зажигательные стекла в соломенные крыши в деревнях подкладывают?

Глубокое изумление написалось на заросшем черными волосами лице.

– Для чего?

– Чтоб пожар был.

– Какой дурак тебе это сказал?

– Один господин, – соврал я, болея душой за бесхитростную няньку.

– Преогромный болванище твой этот господин.

Этот краткий, но выразительный разговор в корне изменил мое мнение о социалисте, но деревня, очевидно, еще долго питалась легендой о подкладывании зажигательных стекол.

Потому что отношение деревни к сицилисту было прямолинейное: изловив, его убивали.

А он, кроткое существо не от мира сего, безропотно терпел эти гонения и при первой же возможности «шел в народ».

И до того был он прост и бесхитростен, что даже не прибегал к переодеванию, к мимикрии, что умела делать самая простая древесная бабочка или мелкая разная рыбешка, принимая в минуту опасности цвет окружающей ее среды... Нет! Сицилист, – как был в высоких сапогах, очках, с длинными волосами, – так он и шел «в народ», крича всей своей натурой:

– Вот он, братцы, я! Любите и жалуйте.

Неизвестно, почему, но темная деревня не любила сицилиста и не жаловала.

Его гнали. На него устраивались облавы.

– Игнашка, слышал? К попу к нашему, грят, сицилист приехамши.

– Да что ты! Ах, мать честная! Попомнит же он у нас... Где он сейчас?

– А вон, вишь ты, вышел, за огородами чивой-то с ребятами разговор разговаривает.

– Разговаривает? А к начальству ежели его предоставить – будет он разговаривать? Заходи оттелева, гони его на меня, а мы с Кузькой тут его переймем. Во-во. Держи его, лови! О-го-го! У-лю-лю!.. Вали его на землю, крути руки!

И вершила темная жестокая деревня темное жестокое дело, и расплывалась черным липким пятном деревенская страшная бессмыслица.

II

И вдруг – одним поворотом могучего рычага загнанный, забитый сицилист сразу вознесся на недосягаемую высоту, и сразу же короновался из сицилистов в Социалисты Его Величества Русского Народа.

О, Боже! Бриллианты, цветы, кружева... Красные флаги, марсельеза, алые банты и поцелуи. Брешко-Брешковскую носят на руках, Троцкого носят на руках, Ленина встречают войска со знаменами.

Потом все немного перепуталось

«Мчатся, сшиблись в общем крике»...

Потом все перепуталось еще больше...

Как сказал тот же поэт о результате этой живописной схватки:

«Делибаш уже на пике,
А казак без головы».

Но, потеряв голову, социалистический казак не опустил рук, наоборот, написав на своем знамени «Грабь награбленное», бодро зашагал в темную дремлющую деревню.

И вот уже:

«Идут мужики и несут топоры –
Что-то страшное будет...»

И вот уже претворен волей судьбы этот нарочито дурацкий стишок из «Бесов» Достоевского – в настоящую живую жизнь: пришли мужики с топорами и сделали нечто

страшное... Разоряли культурные имения, резали племенной скот, рубили бессмысленно и дико рояли, картины, редкие оранжереи...

Прошло еще немного времени – и вот уже социалистический «беднейший мужик» с топором в руке превращается в мелкого деревенского буржуя и кулака, и вот уже против него посылаются отряды самых настоящих социалистов – уже безо всякой фальши и подделки, но зато с пулеметами.

И снова, снова «мчатся», и снова, снова «сшиблись в общем крике».

Снова на деревню пришел социалист, и снова грянет своеобразная реставрация: снова социалист будет декоронован в «сицилиста».

И, боюсь я, скоро, до чрезвычайности скоро, наступит то время, когда выбежит на середину деревенской улицы растрепанный мужичонка и гаркнет на всю улицу:

– Православные, сицилиста поймал!

– Вяжи его, – грянет вся остальная растрепанная полупьяная Русь. – Бей его, волоки на начальство!

– Заходи оттелева, гони его на меня, крути руки за спину...

И замкнется на многое множество темных русских лет железный круг: от сицилиста через социалиста к сицилисту...

СЛАБАЯ ГОЛОВА

Проснулся утром Иванов, потянулся, повернул голову к окну, посмотрел на гроздья обрызганной росой сирени, дремавшей в саду, подумал немного и вдруг, дико закричав, вскочил с постели:

– Боже ты мой! Да ведь России нет больше!

– Что с тобой? – недовольно спросила жена.

– России нет больше, – повторил Иванов, сидя на кровати и покачивая головой, как при сильной зубной боли.

– Ну?

– Говорю: России больше нет.

– Да тебе-то что? Что ты, царь, что ли?

– Дура.

– Сам. Извольте видеть – спохватился: России нет! Сегодня только узнал, что ли? Давно уже к этому шло...

Я, как только впервые узнала, что обыкновенная суконная юбка обходится в четыреста рублей – так сразу и поняла: э, кончилась Россия!

– Дура.

– Сам. Чего же ты вчера не стонал, а сегодня застонал?

Иванов повернул к жене бледное серьезное лицо.

– Ты видела когда-нибудь, как мать хоронит сына? Видела, как стоит этакая старушенция и спокойными глазами смотрит, как опускают гроб на полотенцах? И вдруг – ни с того, ни с сего – как завоет старая! Почему она раньше, за минуту до этого, не плакала – не знала она, что ли, что сын умер? Не чувствовала?

Нет. Знала и чувствовала, но все это скользило мимо, и она больше хлопотала о том, чтобы катафалк был попышнее, да поминальным обедом не ударить лицом в грязь... Да чтобы свечи горели, как следует, да чтобы гроб несли прямее. И вдруг среди этих дел и хлопот, понимаешь ли, подкатило под сердце, и сразу осознала она все, с ног до головы, всем мозгом и сердцем: «да ведь сынка-то нет!»

Вот так и я. Все мы хлопотали, чтобы покойницу обрядить попышнее, а сегодня утром взглянул я на сирень, на росу, на солнце, да и взвыл, как пес по покойнику: да ведь России-то нет!

– При чем тут сирень? – тупо спросила жена.

– А бес ее знает, при чем. Старуха-то тоже воззрится на край гроба с позументом, сверкнувшим на солнце, и заплачет. Не о позументе же она ревет, прости Господи.

Жена почесала голое плечо и самодовольно сказала:

– Слава Богу, что еще сами живы остались. Выскочили очень даже счастливо.

Взяла полотенце и, напевая что-то, отправилась в уборную.

Иванов тоскливо поглядел в угол, повернулся к висевшему над столом портрету Пушкина и сказал:

– Вероятно, вы поймете меня, Пушкин. Шабаш, брат. Нет России. Я думаю, вы бы также выли от этой потери, Пушкин, как и я...

Он подошел ближе, оперся о стол и, наклонившись к самому портрету, интимно заговорил:

– Мы ее любили с вами и понимали. Как вы описывали Кавказ! А Крым... А где они теперь, Кавказ и Крым...

В Кишинев вас, помню, ссылали, в Бессарабию... А где она сейчас, Бессарабия?.. Они не только Россию, они вас разорвали на куски, Пушкин... Чудесно это у вас выходило: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут... Своей дремоты превозмочь не хочет воздух»... Как вы писали! Воздух даже вы понимали... Так ему хорошо, что даже своей дремоты не хочет превозмочь! «Луна спокойно с высоты над Белой Церковью сияет». Поверите ли вы мне, если я скажу, что в Белой Церкви сейчас германские ландштурмисты, как хозяева, гуляют!

Где вы теперь, Пушкин? «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит». А теперь охтенка никуда не спешит с кувшином, потому что, все равно, вынесешь – хулиганы отнимут... Пушкин! Я знаю, что разрываю вам сердце, но не могу не сказать. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало... Короче становился день... Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась». Почему она обнажается, эта таинственная сень? Леса рубят, Пушкин! Жгут их, рубят, уничтожают! Что мужик не вырубил – совдеп докончит.

– Кто-о? – удивленно спросил Пушкин.

– Совдеп. Вы только Лермонтову всего этого не говорите, а то узнает – расстроится. Он ведь нервный. Вам-то я это все рассказываю потому, что вы из железа сделаны, вы вынесете! А Лермонтов пусть не знает. И Гоголю не говорите. Он русскую тройку преотменно описал, а куда она поскакала – пусть лучше не знает. Да и в тройку-то эту вместо лошадей оказалась впряженной такая дрянь, что и говорить не хочется. Нет России, милые вы мои. Она была, когда Селифан был Селифаном и Петрушка – Петрушкой. Мне бы интересно, впрочем, было посмотреть на лицо Гоголя, когда он узнает, что Селифан нынче председатель Тульского исполкома, а Петрушка - первый человек в театральной секции «Пролеткульта» и к нему сам Луначарский прислушивается. Знает ли уважаемый Николай Васильевич, что Манилов расстрелян собственными мужичками за саботаж?! Знает ли, что генерал Петрищев продает на Невском газеты?!

– Я ему не скажу, – задумчиво прошептал Пушкин. – Расстроится.

– Ничего теперь нет в России, – шептал, наклонившись к уху Пушкина и лихорадочно дрожа, Иванов. – Ни тихих закатов на реке, ни душистых степных трав, ни воскресного радостного звона колоколен, ни задумчивых девушек у старых каменных ворот помещичьей усадьбы, ни лихих гусарских ротмистров, ни золотистых пшеничных кренделей в окне булочной, ни благородства и смерти за родину, ни московской селянки, ни уютных волжских пароходов, ни гуртов овец, гонимых усталым, но довольным гуртовщиком по жаркой пыльной проселочной дороге...

– Вино есть? – спросил Пушкин, будто что-то соображая.

– Которое? Где? Ни боже мой! Ханжу пьют, дымок, самогонку, денатурированный твердый спирт на хлеб намазывают, кокаин нюхают.

– Бедный Николай Васильевич, – печально усмехнулся Пушкин. – Значит, уже нечего настаивать ни на золототысячнике, ни на персиковых косточках, ни на смородиновом листу... И впрямь, неладное что-то с Россией...

– Александр Сергеевич, верьте совести, – завопил Иванов, прижимая [руки] к груди. – Верьте совести – нет России. Будем стонать мы, русские! Не зальются больше соловьи в густых курских садах, не заревет Днепр мощным голосом, не зазвенит русская песня, когда выйдут косцы косить высокую сочную траву! Хам пляшет на пожарище, воронье каркает над падалью, и горько рыдает родимая над сыном, расстрелянным за саботаж и контрреволюционные мысли. Трещит и ломается Россия, отваливаются огромные куски – нынче вольная Сибирь, завтра роскошный Кавказ, цветущий Крым, хлебородная Бессарабия, Украина, Польша, Литва, .Белоруссия... Камо грядеши, ты, русский интернационалист? Камо? В преисподнюю прешь ты, сукин сын... Поверьте, Александр Сергеевич...

Жена вернулась, обтирая полотенцем влажные руки, и замерла в ужасе, слыша бессвязный монолог, обращенный к Пушкину.

– Ванечка! Что с тобой?! – ахнула она.

– Маруся! – схватил себя за голову Иванов. – Все кончено! Луна больше не засияет над Белой Церковью, и перепела не

зальются в утреннем жарком небе. Мальчишек радостный народ больше не будет коньками резать лед. Сами мальчишки нынче перерезаны! Нет больше «на красных лапках тяжелого гуся». Слопали! Все слопали! Одна у меня к тебе просьба: встретишь если Ивана Сергеевича Тургенева – не говори ему обо всем этом, не говори ему, что Ермолай от голодухи сожрал Валетку.. Ныне отпущаеши... Жди меня, Россия! Шагаю сейчас за тобой и по твоим стопам... Прощай, брат Пушкин.

– Есть надежда? – тихо спросила у доктора плачущая жена.

– Какое! Безнадежен. Очень острая форма.

– Ванечка! Скажи мне что-нибудь...

Ванечка приоткрыл усталые глаза и прошептал:

– С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Доктор! Куда вы меня повезете?

Доктор и его ассистент дипломатично промолчали. Взяли под руки русского человека и отвезли в домик, находившийся в ведении совнарздрава.

Все там будем.

ГРАФ БРЯНЦЕВ И ТЕРЕНТИЙ БРЮКИН

(Купальный рассказ)

На берегу тихой зеркальной реки раздевались рядом два челове...

* * *

Ах, да, я и забыл... Всем читателям, как молодым, так и старым, порядочно-таки навяз в зубах сюжет сотен рассказов, юмористических рисунков в отделе смеси и прочее – сюжет, заключающийся в следующем: оборванец и солидный господин рядом раздеваются на берегу реки. Оборванец, выкупавшись раньше солидного господина, надевает его платье, цилиндр и уходит, а солидный господин с плачем напяливает на себя лохмотья и – ха-ха... ой, не могу дальше продолжать – чистая уморушка!

Ну так вот, должен предупредить, что сюжет моего правдивого рассказа не такой затасканный. Наоборот. Самый свежий. Как молоденькая редиска, раскушенная в майское утро белоснежными зубами молоденькой девушки. Чего уж свежее!

Так вот.

* * *

На берегу тихой зеркальной реки раздевались рядом два челове...

* * *

Кстати! Совсем забыл сказать, что вся эта поразительно правдивая история произошла в этом совнаркомном 1918 году – земля ему пухом, этому прелестному году. Без этого предупреждения рассказ делается совершенно непонятен, будто написанный на латгальском языке.

Итак: на берегу тихой зеркальной реки раздевались рядом два чел...

* * *

Да! Еще, чтоб не забыть... Впрочем, нет, ничего. Извиняюсь. Прошу не перебивать.

* * *

...овека. Один из них был одет в потасканный, закапанный масляными пятнами френч и рыжие сапоги, вероятно, только в далеком детстве знакомые с приятным для всякого умного сапога запахом ваксы и сладостным ощущением от пылких прикосновений бойкой сапожной щетки. Белье у первого было не первой свежести, а у второго, наоборот, первой. Да и одет второй был в свежевычищенный рукой любящей жены серенький пиджачок, лаковые ботиночки и сверкающую белизной соломенную шляпу. А у первого была каскетка с оторванной пуговицей в центре и сломанным посередине козырьком...

Раздевались...

– Как вы думаете, холодная вода? – спросил элегантный господин измызганного пролетария.

– Не твое дело, жидовская морда, – находчиво отвечал пролетарий, стаскивая рыжие сапоги.

– Что вы! – удивился элегантный. – С чего вы взяли, что я еврей. Я князь Брянцев.

– Тоже хорошая птица. Поездили на нас.

– Даю вам честное слово – никогда я не позволял этого. Раньше у меня была пара серых в яблоках, а теперь пешком хожу...

– Понимаем-с. Для моциёну? Обжирели больно.

– Что вы! Я ведь по четвертой категории: одну шестнадцатую хлеба и пять селедок. Поверите ли – ужасно трудно есть! Непропорциональность между количеством хлеба и селедок. На каждую селедку приходится кусочек хлеба с орех.

– Лопай, что дают.

– И ем. Неприятно только, что трамваи так вздорожали – пешком приходится ходить... Опять же эти желтые билеты на буржуазных домах. Обыски в квартире через день.

Князь Брянцев грустно помолчал и потом спросил сочувственно:

– Боюсь, что вам все эти затруднения еще тяжелей?

– Мне-то? (Измызганный господин самоудовлетворенно захохотал). Я хоть и не князь какой – Терентий Брюкин моя фамилия – одначе, слава те, господи! Паек у нас по первой категории – полфунта, яйца нам опять же полагаются, крупа, но это дело десятое. А главно-делыча, что мотор завсегда к моим услугам, потому как я состою выборным лицом в нашем профециальном союзе трамвайных метельщиков... это тебе не твои паршивые серые в яблоках! И вопче говоря, дивлюсь на вас, буржуазов: как вы еще скрипите? Подыхали бы скорей, только под ногами путаетесь.

Брюкин лукаво подмигнул задумчивому князю и первый полез в воду.

– Будьте любезны сказать, как температура? – осведомился князь, снимая через голову белую с полосками шелковую рубашку.

– Здоровый градус, едят его мухи с комарами! Ого-го-го!

Он жизнерадостно прыгал, нырял, растирал волосатую грудь корявыми мозолистыми руками и, наконец, лихо гикнув, поплыл на противоположный берег...

Лицо князя Брянцева озарилось дьявольской улыбкой. Он хищно оскалил зубы и, как змея, стал подползать к пролетариеву белью. Еще минута – и заношенная серая рубаха и прочее очутились на его плечах и ногах. Еще минута – и рыжие сапоги облекли князевы изящные ноги, а замасленный френч заболтался на его худом теле, как на вешалке.

Он пренебрежительно ткнул ногой валявшееся на песке свое шелковое белье и аккуратно сложенный костюмчик, издал радостный, полный гнусного торжества крик и побежал вверх по отлогому берегу, где между деревьев маячил черный сверкающий лимузин.

А простодушный Терентий Брюкин доплыл до противоположного берега, присел на камушке, оглянулся, и леденящий душу крик исторгся из груди его: с одного взгляда понял он, какую страшную шутку сыграл с ним великосветский злодей.

– Князь, куда! Стой! Отдай мой костюм! Кня-я-я-зь! Пощади!

В несколько взмахов своих жилистых рук он очутился на противоположном берегу.

Но было поздно! Князь, заливаясь демоническим хохотом, затрубил победно и нагло в рожок, и автомобиль плавно двинулся вдаль.

Дрожащий от холода и ужаса Терентий Брюкин схватил пиджак князя и стал шарить в карманах...

Так и есть! В очень щегольском, но очень потертом бумажнике он обнаружил следующее: паспорт на имя светлейшего князя Брянцева, две скомканные сиротливые керенки желтого цвета, на рубль марок, сообщение о реквизиции сейфа, сообщение о муниципализации совдепом двух княжеских домов, сообщение о захвате крестьянами имения «Брянцево», сообщение о наложении штрафа за контрреволюцию в десять тысяч и... продовольственную карточку по четвертой категории: 1/16 фунта хлеба и пять селедок...

Горько зарыдал несчастный Брюкин и грянулся о сыпучий песок... Все погибло: его положение в свете, его первая категория, его мандат и, главное, связанные с ним лимузин и почет!

Кто он сейчас? Несчастный светлейший князь Брянцев, владелец двух домов, сейфа и имения... А кем он был до этого? Трамвайным метельщиком!..

И вот – из метельщиков в светлейшие князья, как в сказке – у разбитого корыта очутился бедный обокраденный Брюкин Терентий.

А по полям, по лугам мчится сверкающий совдепский лимузин, и оттуда несется сардонический хохот сиятельного злодея, гнусной интригой превратившегося в метельщика Терентия Брюкина...

Но есть же Бог на свете! Есть же справедливость!

И сделает же Бог так, что снова будет добродетельный Терентий Брюкин подметальщиком улиц, а гнусный псевдокнязь Баринцев – настоящим князем!

Или иначе – нет справедливости на свете!!!

P.S. Хорошо, что этот рассказ я написал теперь, летом 1918 года. А напиши я его летом 1915 года – никто бы ничего не понял, и все бы решили, что я с ума сошел.

Нет, я себе на уме.

В БУДУЩЕМ...

После Брестского мира у России
отрезаны все выходы к морям.

Из газетн. передовицы.

Русский. – Скажите, товарищ, что это у вас за странный такой полосатый костюмчик?

Иностранец. – Это купальный костюм для морского пляжа.

Русск. – Чево-о?

Иностр. – Для морского пляжа...

Русск. – Для пляжа... Это где пляшут, что ли?

Иностр. – Нет же! Пляж. Берег, где купаются. Море, понимаете? Мо-ре.

Русск. – Какое, вы говорите, слово?

Иностр. – Мо-ре.

Русск. – Первый раз слышу. Оно вроде чего?

Иностр. – Ну, как вам сказать... Реку знаете?

Русск. – Ну как же! Этого добра, слава богу...

Иностр. – Так вот – вроде реки, только не течет.

Русск. – Не течет, говорите? Это очень любопытно. Это как же выходит: не течет, а... тово. Вода-то там есть?

Иностр. – Воды там в тысячу раз больше, чем в самой большой реке.

Русск. – Тссс! Это что ж такое будет! И противоположный берег видать?

Иностр. – Ну что вы! До него, может, тысяча верст.

Русск. – (Задумчиво). – Н-да!.. Пущена водичка. Я думаю, тысячу лет будет пить публика – не выпьет.

Иностр. – Да морскую воду нельзя пить.

Русск. – Скажете тоже! Это почему же, дозвольте?

Иностр. – Она горько-соленая.

Русск. – Кто же это ее так?

Иностр. – Никто. Сама по себе.

Русск. – Слабовато. Я думаю, рыба в ней дохнет как муха.

Иностр. – Рыба? Да там такие рыбины встречаются, каких вашим рекам и не снилось: акулы, киты с дом величиной.

Русск. – С дом? И не муниципализиваны?! Прямо чудеса в решете. Эх, счастливый вы народ, иностранцы... Хоть бы разочек выкупаться!

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Будучи в трамвае, услышал я у себя за спиной такую фразу:

Как говорит русская пословица:

– Кто в Ростове-на-Дону не бывал, тот горя не видал!..

Я быстро оглянулся, и врожденная аккуратность и любовь к точности заставила меня поправить незнакомца, худого костлявого господина:

– При чем тут Ростов-на-Дону? Пословица ясно гласит: «Кто на море не бывал, тот горя не видал»! Вы путаете.

Костлявый господин саркастически покосился на меня провалившимся красным глазом.

– Я путаю? А вы в Ростове были? То-то и оно! На вашем-то паршивом море легко!.. Ну, поднялась буря, ну, пароход дал течь, ну, пошел он ко дну... Что может случить-

ся с вами? В самом худшем случае – утонули... Раз, два, три – и готово. Ни хлопот, ни разговоров. А вот скажите: вас когда-нибудь к стенке приставляли!

– Зачем? – удивился я. – Что я, шкаф, что ли?

– Ага! Так и нечего лезть с замечаниями, если вы не шкаф... А меня, голубчик мой, шесть раз к стенке приставляли!

– Кто? – недоуменно спросил я.

– А всякий, кто в Ростов входил, тот и приставлял. Посчитайте сами: большевики, казаки, опять большевики, белогвардейцы, опять казаки, немцы – да всех разве упомнишь! Вы знаете, какая-такая наша жизнь была в Ростове?!

– Какая?

– Такая! Вот я вам расскажу. Предположим, вы православный...

– И предполагать нечего. Я – православный.

– Тем лучше. И вот вам, скажем, 35 лет и вы все православный, православный и православный. И вдруг приходит человек и говорит: «Если ты не будешь соблюдать Рамазана, Курбан-байрама, не будешь брить башку и делать намаза, я тебя сейчас же к чертям собачьим расстреляю!» Что бы вы сделали?

– Не могу себе представить такого случая, – уклончиво усмехнулся я.

– Не можете? А такой случай можете представить, что только вы обрили голову и отпраздновали Курбан-байрам, как приходит этакий ксендз Кржепршездецкий и заявляет: «Если ты сейчас же не отрастишь на голове волосы и не пойдешь до костелу, то я тебя, пся крев, к стенке приставлю, да и того...» А тут, только что я до костелу пошел, встречает меня Мошка Халамейзер и кричит: «Ой, так он еще паршивый католик!! Или ты переходишь в нашу прекрасную иудейскую религию, или я тебя – к стенке!» Можете вы представить такое положение русского человека?

– Ничего не могу представить, – серьезно сказал я.

– Не можете?! А это вы можете представить, что я за эти семь месяцев в Ростове поочередно должен был сделаться: большевиком, казаком, опять большевиком, белогвардейцем, немцем, чертом и дьяволом! Я человек русский и хочу быть русским, а вместо этого большевики входят в город –

и я должен быть большевиком, немцы – и я немец! Хорошо, что негры еще не входили... Ну как бы я сделался негром?!

– Чего же они от вас требовали?

– А черт их разберет! Прежде всего – ориентации. Сорок лет я был русским человеком, жил в русском городе, говорил по-русски... Вдруг – ты, говорят, большевик! Что значит большевик? Интернационал, говорят, признаешь? В Циммервальда веруешь? – Никакого я вашего собачьего Циммервальда и знать не хочу. – Ах, не хочешь? К стенке!

Немцы вошли – требовали, чтобы «гох» кричать. Отчего, говорят, у тебя лицо печальное? Да я, может, пессимист, у меня, может, жена сбежала... Нет, говорит, это ты, наверное, потому, что Брестского мира не признаешь! А согласитесь сами – что мне его признавать: без меня меня женили. А затем, кроме ориентации, и расходы тоже...

– Какие же расходы? – недоверчиво спросил я. – Ведь в Ростове, говорят, жизнь дешевая!

– Тю на вас! Дешевая... Жизнь-то дешевая, да я на цветы, все-таки, половину своего заработка тратил!..

– На какие цветы?

– Какие бывают. Сорта-то мы мало разбирали – роза так роза, бегония так бегония, нарцисс так нарцисс.

Он усмехнулся горько и жалобно.

– Победителей, вишь, цветами нужно было встречать!.. Ввели такое правило, чтобы при встрече победителей в городе все гражданское население цветами их встречало!!

Верите, на четвертом перевороте в городе цветов не хватило... Лотосы из оранжерей скупали! Городское самоуправление думало даже карточки на этот предмет первой необходимости ввести... А вы говорите – море! Плевое дело ваше море со всеми его бурями и штормами!

– А вы бы старались больше сидеть дома, – посоветовал я.

– Дома? Пробовал! В тысячу раз хуже. Скажем, захватили город большевики. Ну, это, действительно, такая публика, что лучше дома сидеть. А то такую социализацию разведут!.. Ну, сижу. День, два, три... Вдруг орудийная стрельба, ружейные выстрелы, радостные крики. Ну, думаешь, значит, белогвардейцы верх взяли. Выходишь на улицу, идешь в самом радужном настроении, «Боже, царя храни» насви-

стываешь. Вдруг сзади кто-то по затылку – хлоп! – Ты чего, такой-сякой, контрреволюцию высвистываешь? К стенке хочешь? – Позвольте, говорю, да разве не белогвардейцы у нас в городе? Смеется: кукиш с маслом! Были да сплыли! Опять честь имею поздравить с советским федеративным социализмом.

А на другой день выйдешь на улицу, только свистнешь «Интернационал» – ка-ак тебе свиснут! – Что такое? Помилуйте, за что? – Я т-тебе покажу большевистскую музыку разводить! Наш генерал этого во как не любит. Что же оказывается? Ночью большевики «по стратегическим соображениям» ушли, и в город бесшумно и бескровно вступили белогвардейцы... Вот тут и вертись! И недопоешь – бьют, и перепоешь – бьют.

– Вы опять пословицу не совсем точно...

– А, бросьте. С гимнами мы тоже в свое время наплакались... Как говорит пословица: «и через гимны слезы льются»... Знали мы «Боже, царя храни»... Вдруг – стоп! Пой «Интернационал». Не успел распеться как следует – кричат: а почему «Тихий Дон» не поете, щучьи дети? А от «Тихого Дона» сразу на «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес», вы думаете, легко перестроиться?.. Да еще так: сегодня чувствительно поешь «Боже, царя храни», а завтра вошли большевики, и вот уже какой-нибудь мерзавец из соседей лезет к ним и ехидно шепчет на ухо: «А вот энтот костлявый – черносотенец: «Боже, царя храни» пел! Ну, значит – и пожалуйте бриться!..

* * *

Он свесил устало голову и закончил пословицей, по своему обыкновению, причудливо ее изукрасив:

– Семь побед – ростовцу один ответ: пожалуйте к стенке!

ИЛЛЮЗИИ

В петроградском ресторане.

– Человек! Подойдите сюда... Выслушайте меня внимательно, только не перебивайте... Поняли?

– Понял.

– Главное, не перебивайте! Ну, вот... На закуску к водке дайте мне маленьких растегайчиков с икрой и соус из бараньей печенки с луком... Ну, там, конечно, провесного балыка, царского студня. Водку такую: перцовку, хинную и простую подкрасьте пикончиком... На обед дадите щи суточные с кашей, форель кольчиком, филе миньон, перепелок парочку, ну там – спаржу лесную или артишок... На сладкое – мороженое можно или крем с каштанами я вот тоже люблю... А то блинчики можно со смородиновым или вишневым вареньем, ну, конечно, кофе... К рыбе дадите легонького барзачку посуше, к мясу можно Мутон-Ротшильда подогреть, а со сладким я люблю замороженное Брют Американ. Только, пожалуйста, чтобы – в иголочку!.. К кофе абрикотину, желтого шартрезцу или даже кордиаль-медок не вредно рюмочку... Ну, вот.

Понял?

– Понял.

– Спасибо, что не перебили. Так приятно поговорить... А теперь дайте мне парочку котлет из конины, картофелинку размером побольше и бутылку ситро. Да поскорей, а то с голоду издохну!..



ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ЖУРНАЛА "НОВЫЙ САТИРИКОН" (1918)

в дни содома и гоморры

№ 2

А. Петроград.

Л. Кок-су. – Посылая стихи, вы в свое оправдание приводите такой резон: «У всякого своя манера веселиться».

Стихи уничтожены.

И это – наша манера веселиться.

Василь Степанычу. – Для того, чтобы ваше имя было опозорено на веки вечные, приведем только первые 4 строки «пародии»...

«Прибежали в Смольный дети –
В (?) торопях зовут отца:
“Ленин, Ленин! наши сети
Притащили калединца!”»

Детям еще простительно, что они рифмуют «отца» и «калединца», но вы!

Вся интеллигенция отворачивается от вас с презрением.

А.Д.С. – Этот молодой человек откровенно, но не совсем грамотно сообщает, что он «не может зайти лично вследствие урожденной (?) застенчивости».

Какое имя носит эта урожденная застенчивость в замужестве – неизвестно.

Эгоисту. – «Эгоист» смотрит на жизнь крайне легкомысленно, чуть не приплясывая:

«Вследствие того, что не имею сапог, решил сделаться поэтом!»

Гораздо проще в этом случае сделаться сапожником. Тем более, что некоторые характерные черточки в ваших

стихах дают основание надеяться, что в этой несложной профессии вы достигнете шумного успеха.

Коле Донгалекову. – У Коли юмор примитивный, пересыпанный грубой крупной солью:

– «Большевик за словом в карман не полезет.

– А за чем полезет?

– За кошельком. И то за чужим».

Или:

– «Я этого комиссара недавно смазал.

– Неужели он берет?

– По морде! А что ж ему делать, если я даю».

Все остальное «замешано еще круче». Не подошло.

Polisson'у. – Точность описания деталей изумительная: «Один бок у Марьи Кондратьевны был немного выше другого, а другой ниже».

Не скажи вы о втором боке, что он «ниже» первого – ни за что бы не догадаться.

Гансу Об-бу. – «Хочу вступить в ряды сатириконцев».

Нельзя. Вы из ряда вон выходящий.

№ 3

А. Петроград.

Н. Семенову. – У вас стихи чудесные. Мы получили от них огромное удовольствие. Присылайте еще и еще. Пятьсот рублей перевели почтой.

Люциферу. – Ваш рис. производит очень выгодное впечатление. Можем предложить вам место постоянного художника при журн. Жалованье – 800 руб. Согласие – телеграфируйте.

Касе Дребкону (Астрахань). – Оба рассказа приняты. Не согласитесь ли вы предоставить «Сатирикону» издание книги ваших рассказов?

Всем трем. – Потому только так ласково и пишем, что номер этот идиллический.

А вообще – и рисунки Люцифера, и стихи, и мазня Каси Дребкона – вещи самые тошнотворные.

№ 4

А. Петроград.

С. Сел-вину. – Ваша Евгения Николаевна говорит фразы более чем загадочные:

«Ах, Дубецкий, я не могу петь. У меня голосовые связки развязались (?)».

Нельзя представлять себе человеческое горло чем-то вроде плохо зашнурованного башмака.

В. Н. М. Е. М. – Инициалов у вас много, а толку мало. Не стыдно ли сочинять этакий вздор:

«Лодка плывет по волнам
моторная,
В каюте сидит старичок
мещанин,
«Ишь ты, подите, какая проворная»
Рядом в цилиндре сидит господин».

Для мистификации это слабо, а «всерьез» – просто скверно.

Серебряной ручке. – Эта ручка задает глубокомысленный вопрос:

– Почему говорят «яблоки», а не «тысоглашения»?

Отчего же. Можно сказать и по-вашему: дайте десяток «тысоглашений».

Только одна опасность есть: дураком назовут.

Иоганну Ч. – А это вот евонные стихи:

«Белыми ножками дойди до меня,
Черными глазками взгляни на меня.
Красными губками коснись до меня –
И тогда, может быть, полюблю тебя я».

Начало препровод. письма:

– «Стихи пишу я в первый раз»

Ах, если бы и в последний!

Зотику. – Вот это характер!

«За то, что я считаю правдой, –
Готов лежать и на костре».

Излишне: жареные сотрудники не требуются.

№ 8

А. Петроград.

Семен Семенычу. – «Если какое из стихотворений и сумбурно, то не взыщите: сейчас в голове такая каша...»

Какое счастье, что не нам ее расхлебывать.

А.Н. Бо-ву. – Бо-в запрашивает довольно неопределенно: – «Сообщите, какие большие вещи можно вам присылать?»

Рояль.

Эдде. – Эддины стихи:

«На моем полу в гостиной
Вот (?) раскинулся медведь
Весь оскален мордой (?) длинной,
Но медведь же мертвый ведь».

Мертвый-то медведь, а попробуйте ему на ухо эти стихи прочесть... Так за руку тяпнет, что света не взвидите.

Все четыре стихотв. с чисто немецкой аккуратностью уничтожены.

Betti. – Betti гораздо практичнее предыдущей воздушной Эдди:

«Гонорар за мой рассказ можно прислать с мальчиком».

Представьте, мы так и хотели сделать. Но мальчик стал ломаться:

– А за что, говорит, я ей деньги понесу?

– За рассказ.

– За какой? Покажите.

Показали.

– Вот за такой рассказ, да деньги? Убейте меня – не понесу!

Так и не понес.

Может, другой какой способ укажете?

Человеку с шелковым ухом. – Нет. Вы будете слишком нарядны в скромной толпе других сотрудников.

№ 10

А. Петроград.

Е. Т-ной. – Странная манера устраивать свое произведение: «Ну что вам стоит, – пишет автор, – плюньте и напечатайте!»

К сожалению, наше хорошее воспитание мешает нам исполнить даже первую половину вашей просьбы.

Бастучину. – Стихи подходящие. Приняты. Увидите их в ближайших №№ журнала.

Никчему. – К сожалению, не подошло.

С. Ж-в'у. – «Из дневника интеллигента» так длинно, что еще не прочли. Читаем до сих пор. Надеемся, к осени получите тот или другой ответ.

Маковке. – Препровождая стихи, Маковка извиняется «за их двусмысленность»:

«Огонь в камине извивается на поленьях
Манечка у меня сидит на коленях,
Огонь уже в камине потух,
А у меня от поцелуев захватило дух».

Так-с...

Огонь в камине извивается
Маковка за двусмысленность извиняется.
Не можем уловить мы пишущего мысль лица.
Это не двусмысленность, а бессмыслица.

Опомнитесь, Маковка.

Эльдаже (Спасская 7). – «Я смотрю на «Сатирикон» как на alma mater»...

Смотреть – это можно. Ничего. Не слиняем.

Писать только не надо.

А то – что это такое:

«– Мы питаемся кониной.

– А мы лошадь уже съели. Теперь пролетку доедаем».

Съел человек колесо и написал такое, что читать тошно.

№ 11

А. Петроград.

Куси-Куси. – Этот наивный простодушный юноша задает чисто академический вопрос:

«Назвавшись Мессией,
В себе неизменен –
Кто правит Россией:
Ульянов иль Ленин?»

Ни тот ни другой. А третий:

– Гогенцоллерн.

Н. Граеву. – С французским языком у вас неладно. Объехать «полсвета» и «полусвет» не одно и то же. Плохо переводите, Граев.

Вы напоминаете нам другого такого же переводчика, который французскую фразу: «здесь есть одно маленькое но (mais)» – перевел так:

– Здесь есть одна маленькая кукуруза.

С.С. К-ару. – «Как вы смотрите на мои литературные дебюты?»

Косо.

Эмкаде. – журнал «Барабан» закрыт без суда и следствия

....

....

....

Зинаиде Веселой. – И действительно: Зинаида очень веселая.

«Лети мой стишочек
К редактору в руки
И пусть он кусочек
Посмотрит от скуки»

Так и сделано. Оторвал я кусочек, просмотрел, бросил, оторвал, посмотрел, бросил, – пока ни одного кусочка и не осталось.

Страннику на Кирочной. – «Я уже второй раз посылаю свои рассказы – и никакого результата. Я безо всякого преувеличения (?) считаю их замечательными. Во Франции бы меня носили на руках».

Может быть. Во Франции и покойников на руках носят.

Суковкину. – Насчет Анатолия Луначарского и его «Пламени» не согласны с вами.

Луначарский одарен свыше. Получил крупную субсидию.

№ 12

А. Петроград.

Сашке-Канашке. – Ваш развеселый псевдоним никак не совпадает с присланным произведением, унылым до упаду. Читаешь – будто грязную суконку разжевываешь:

«Верю я, наступит время такое,
Когда достигнем мы желанного покоя,
Когда не будет ни Маннера, ни Токоя –
Вот это будет время какое!»

Одним словом, время такое-сякое.

«Одному из немногих» (Гатчина). – Стихи вам не удаются. Попробуйте себя в прозе.

Например: колоть дрова.

Авто-пису (Борису З.). – Автор взял эпиграфом к своему длиннейшему и скучнейшему фельетону о большевиках известные стихи Федора Сологуба:

«Мы – плененные звери.
Голосим, как умеем...»

Плохо вы голосите, пленный зверь.

Молчите уж лучше.

Семену Новикову. – Пишет суровый Семен: «Прошу моего произведения не критиковать в почтовом ящике, который мне неприятен, а просто сказать: да или нет».

Слушаю-сь, ваше сиятельство.

«Критиковать» не будем, но разрешите привести отрывок для любителей прекрасного:

«Раньше в Городской Думе
Все сидели толстосумы,
А нынче большевики,
Которые задними мозгами (?) крепки.
И всякое ихнее мероприятие,
Одно для публики неприятие,
В прессе делается сплошной тара там,
Да воз и ныне там».

Еще раз обещаем: «критиковать» не будем.

Разве можно критиковать Венеру Милосскую?! Высечено произведение – и довольно!

Капитану Н. – «Боюсь, может быть, рисунок не совсем твердый»...

Ну чего там бояться. Ведь нам на нем не сидеть.

Рисунок как рисунок. Только что плохой, а то – ничего.

Вс. Ч-хину. – «... Помню, сидел я с покойным дядей – пьем чай». Господи помилуй – какие ужасы! Ну вас. Читатель спать не будет.

Марусе Эмбе. – «Может ли редактор принять меня наедине, без свидетелей!»

Не может. Ему мама не позволяет заниматься такими глупостями.

№ 13

(Ответы «Пролеткульта»)

А. Петроград.

Иерониму Ясинскому. – Зайдите в редакцию нашей «Правды». Получите мандат на звание первого писателя земли русской. Кооптируем в Пантеон с правом решающего голоса.

Якову Окуневу. – Будьте внимательнее, товарищ. Опять перепутали. В нашу «Красную Газету» дали оборонческую, антинемецкую статью, а написанную вами для нас большевистскую – опять, очевидно, загнали в другое место.

Не путайте.

Натану Альтману. – Просим зайти лично в редакцию нашего «Пламени» и указать, где верх, где низ вашего рисунка, а также получить за него тысячу рублей.

Салтыкову-Щедрину. – «Истории города Глупова» напечатать не можем. Изображенные в ней нравы петроградской коммуны считаем наполовину преувеличенными.

Вилл. Шекспиру. – Собрание сочинений не можем напечатать, т.к. коломенский районный совдеп заявил протест по поводу империалистического уклона вашего творчества. В самом деле, что это такое: «Король Лир», «Принц Гамлет», «Король Ричард». Видно сильное влияние правых эсеров и меньшевиков. Гоните их в шею.

Село Михайловское (провинция). *Наталье Пушкиной.* – По справкам, вашего мужа на Гороховой, 2 – нет. После допроса он препровожден в Кресты.

Фаддею Булгарину. – Условия подходят. Зайдите в редакцию.

Ясная Поляна. – Товарищу Льву Толстому. – Получили вашу рукопись «Не могу молчать». Если не можете молчать – товарищ Володарский научит.

Завед. почтов. ящиком
Малютка Скуратов

№ 14

А. Петроград.

Черкесу. – Из трех присланных вами виньеток – одну узнали: женщина и павлин. Она категорически заимствована из «La vie Parisienne». Что же касается других, то...

«Единожды солгав, кто тебе поверит»...

Де-Кретину. – Нехорошо вы пишете. Ударение ставите на первой подвернувшейся гласной: гражданин, коршуны.

Это чешский акцент, а не русская литература.

Поэту – Не подошло.

Свирскому. – Тоже.

Рабочему Б. – Не совсем понимаем, чего вы хотите:

«За стих я хотел бы получить гонорар (?)»

Что это? Лекарство? Кушанье? Оптический прибор? Стихи же ваши таковы:

«Только что завоют гудки,
Уже иди на работу ты».

Можете же вообразить, как завоют гудки, если работа ваша будет заключаться в сочинении таких стихов. Не пишите.

Мане Брясовой. – «Почему не выходит милый «Барабанчик?»

Его закрыла коммуночка без объяснения причиночек.

Альду. – Альд сообщает с кротким выражением лица: «Я в своих стихах преследую, главным образом, художественность»...

Именно, что преследуете. Пожалели бы вы ее.

Герасиму Огурцу. – Огурец сей настроен решительно контрреволюционно...

Сочинил остроту.

– Вы знаете, Россия сейчас самая еврейскаи страна в мире. Почему?

– Обрезана со всех сторон».

Не хихикайте, Огурец.

Л.П.К. (Каменный остр.) – «Нина Петровна подняла край юбки и тут (?) обнаружилась изящная нога; одетая (?) в щегольской туфель (?)».

При дороговизне сукна суконный язык теперь, пожалуй, ценнее мясного.

Б. Провинция.

Ввиду того, что провинция теперь отошла от России и распалась на отдельные республики, этот отдел временно упраздняется.

№ 17

А. Петроград.

Сергею Пруткову. – Приведем начало «Размышления об изразцовом камне:

«На дороге мостовой
Лежал камень небольшой...
С него пыли толстый слой
Я смахнул слегка ногой...»

Как сказано у поэта:

«И, пыль веков от камня отряхнув,
Ногой стихи плохие он напишет».

Увечные воины, в пользу которых вы направляете гонорар, не поблагодарят вас за такую благотворительность.

Д. А. 8. Э. Г. Ч. – Нет, не подошло.

М. Больному. – Одна только строчка вашего стихотв.: «Он, румянцем слегка обагренный» – и вы уже ясны нам

и понятны, будто мы прочли том ваших стихов. Вы спрашиваете:

– «Ну, как вам показался мой первый шаг»?

Шагайте обратно.

Нельзя ходить с вывихнутыми ногами.

Попову. – К сожалению, не подходит.

Брачеру. – Тоже.

С.А. Гемму. «Проза у меня получается неплохая, а стихи я еще писать не насобачился»...

Собачьтесь скорее. Потому что без ваших стихов едва ли мы долго протянем.

Не мешает подсобачится и в прозе.

Шоферу Иванычу. – Шофер Иваныч делает странное и не совсем вразумительное заявление:

– «Мои стихи пишутся для небольшой кучки».

Ну, положим! Эта «кучка» всегда зависит от количества забракованных рукописей.

№ 18

А. Петроград.

Мусе Эф. – Объяснение в любви, обращенное к редактору А. Аверченко, принято последним к сведению и зарегистрировано.

Вследствие отсутствия свободного времени и нескольких других причин он на ваше чувство не может ответить в той мере, в которой это, вообще, делается.

Карагезу. – Ряд умилительных картин из жизни пернатых и хладнокровных позвоночных:

«Птичка на веточке
в клеточке
Бьется.
Рыбка у Кеточки
В сеточке.
Рвется».

Ваше стихотворение находится в более счастливых условиях: сейчас оно спокойно лежит на столе, но скоро будет тоже рваться.

Н. Бер-никову. «Насчет сотрудничества у вас могу сказать, что у меня, вообще, золотая голова».

Именно как раз в этой части тела металл и не требуется.

Екатерине-ин-й. – «... Что если бы я попробовала сочинять стихи?»...

А что вы думаете! Ей-богу, мысль.

И годика этак через три прямо и катайте их по нашему адресу.

D.O.S. – У всякого поэта есть своя кухня творчества, но не хорошо, когда от этой кухни перегорелым жиром несет...

> «В саду, где воздух напоен душистым ароматом,
> «Гулял однажды я с двоюродным там братом».

Признайтесь, ведь «аромат» для «брата» понадобился? Гуляй вы со снохою, так и воздух был бы пропитан росою... А будь около вас шурин – так и сад был бы ароматами окурен.

Если бы нам, вообще, были нужны плохие стихи, мы бы лучше поручали сочинять их своему экспедитору или артельщику.

Пусть лучше свой человек заработает...



ИЗ ЖУРНАЛА "БАРАБАН" (1917)

в дни содома и гоморры



РОКОВОЕ СХОДСТВО

Помню: было 25 февраля. На улицах уже появились пулеметы, а в то время в Александринском театре состоялась премьера «Маскарада».

– Извозчик! К Александринскому театру!

– Пожалуйте! За четыре рублика свезу.

Я в полуобмороке опускаюсь на обледенелый тротуар и сквозь слезы говорю:

– Это с Пяти-то углов, да четыре рубля?! Извозчик! Есть ли на тебе крест?

– Так точно, а только дешевле никак нельзя.

Усаживаюсь. С ненавистью гляжу на его красный обветренный затылок, на кожаные огромные рукавицы.

– Да ведь раньше такой конец стоил в десять раз дешевле!

– Что раньше? Что раньше? Раньше – вы, барин, то́ возьмите во внимание, что овес стоил рупь шесть гривен, а нынче? 8 целковых.

– Ну так что ж. Это в пять раз больше. А ты с меня в десять раз дерешь!

– А ковка? Нынче, барин, вы то́ возьмите во внимание, что за ковку семь шкур сдерут, да еще ободранное место сольцой посыплют.

– Ты скажешь тоже!

– А кнут? Нонеча, брат, кнут – что целая лошадь стоит. Рупь стоит. А раньше дашь двугривенный, так еще ручку поцелуют. Опять же сбруя; опять же харч; опять же...

– Молчи, надоел.

– Чего мне молчать. Я, брат, разговорчивый, – прохрипел извозчик.

Я обиженно помолчал и потом буркнул себе под нос с едким презрением:

– Впрочем, чего и ожидать от извозчика! Что ты ему ни говори, как ни стыди – все равно семь шкур драть будет! Нет, голубчик, – наш брат, интеллигентный человек, не таков! Он возьмет, сколько нужно, а не будет ныть и врать, что и то, дескать, дорого, и это дорого. Конечно, он свой справедливый процент на дороговизну накинет, но чтобы в десять раз?... Хм!

Подъехали к Александринскому театру.

– Позвольте билет на сегодня, третьего ряда.

– Пожалуйте. 32 рубля.

– Что-о?! За один билет третьего ряда? 32 рубля? В уме ли вы?

– Да-с. Такая уж ему цена, билету.

– Но ведь раньше это место стоило 3 целковых?! Нет, я этого так не смолчу. Где Теляковский? У себя в кабинете? Позвать его сюда! Нельзя? Ну, я сам к нему пойду... Вы Теляковский? Послушайте, голубчик... Ну есть ли на вас крест?

– Помилуйте! Три даже. Захочу – всю грудь увешаю. А что?

– Сейчас с меня за место в вашем театре потребовали 32 рубля.

– Да-с. «Маскарад» идет.

– Я, конечно, понимаю. Лермонтов был хороший писатель. Но и Островский не плохой. Почему же я в прошлом году за Островского платил 3 рубля?

– Помилуйте, господин, – дороговизна. Вы то́ возьмите во внимание, что раньше холст стоил семь гривен аршин, а теперь? И все три целковых заплатишь.

– Да! Но это в четыре раза дороже. А вы с меня вдесятеро требуете.

– Опять же – хор. Раньше хору я шестьдесят целковых на нос платил, а нынче что? 50% прибавки!

– Ну, да, но ведь 50% не 500. А вы с меня 500% хотите взять.

– А краски для декораций? Нынче вы то́ возьмите во внимание, господин, что за краски семь шкур с тебя сдерут да еще ободранное место сольцой присыплют... Опять же

харч вздорожал; опять же плотники, машинисты, атлас для костюмов...

Он шел за мной и бормотал что-то извиняющимся голосом, и в тоне его слышались мне мутно знакомые хриплые нотки и казалось, что затылок у него красный, обветренный, а на руках огромные кожаные рукавицы...

* * *

Где-то теперь твое личико смуглое
Нынче смеется – кому?

АНЕКДОТ

Стоит на улице редактор «Речи» И.В. Гессен. Плачет.

Подходит прохожий:

– Почему плачешь?

– Да как же мне не плакать? – отвечает Гессен. – Где справедливость: якшалась все время с Распутиным, а называют все: Гессенская.

СТРАШНЫЙ ДНЕВНИК.

Memento mori!

28 февраля.

Меня! Министра! Взяли, как какого-нибудь паршивого щенка, сунули в какую-то пролетку и повезли... Куда? В Государственную Думу. Недаром всегда, всегда – и раньше – я ездил в это место неохотно.

Везут меня, а в голове под стук колес неугомонно вертятся слова глупой, пошлейшей песенки, которую усталый мозг неведомо где, неведомо когда подцепил:

Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда...

1 марта.

Сидим в павильоне. Преглупое положение. Стыдно, неловко – будто мальчишки в карцере.

А усталый мозг все время долбит и долбит две строки, вычитанные когда-то, где-то, – кажется, у Достоевского:

Идут мужики и несут топоры –
Что-то страшное будет.

10 марта.

Повезли в Петропавловскую крепость. Ну – дело конченное. Наверное, повесят.

Последнее время я привык мыслить и подводить итоги, не связанными представлениями и ассоциациями, а какими-то обрывками неясных, неведомых то ли стихов, то ли песен.

Вот и сейчас:

Вырыта заступом яма глубокая...

Въезжаем в ворота крепости...

Свершилось!

Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал...

Ну, конечно, не совсем мертвый, а полумертвый – это уже верно.

20 марта.

Читал газеты. Настроение – отчаянное. Не вижу исхода... Они там как-то устраиваются, организуются – ясно, прошлого не воротишь.

Неужели так и останусь замурованным?

А раньше-то...

Минувшим годам нет возврата;
Да, – нет возврата...
Да, – нет возврата...

Чудесная ария.

Но грустная. Думаю о смерти.

30 марта.

Оказывается, ничего с нами не сделали. Живы и здоровы, чего и вам желаем.

Но положение неопределенное. И по газетам и так.

В сущности, новое правительство очень доброе и культурное. Я его даже готов полюбить...

Как, бишь, это?

Люблю ли тебя я, не знаю –
Но кажется мне, что люблю.

10 апреля.

Нынче опять читал газеты. Приехал какой-то Ленин и захватил особняк Кшесинской. Говорил с балкона речи.

Прочел я одну. Гм... гм!.. Вот тебе и организация ихняя...

Интересно, что будет дальше?

Задумался об этом и вспомнил очень милые стихи.... прямо-таки – к моменту:

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной...

20 апреля.

Что-то у них там такое делается, чего я еще не понимаю, но что мне очень хочется понять.

Ленин мне начинает нравиться... И где эта умная башка раньше была?

Сегодня встал очень бодрый. О смерти перестал думать. Еще поживем!

И долго буду я народу тем любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Вот странно... почему мне вспомнились эти стихи. Хе... хе...

И долго буду я народу тем любезен...

21 апреля.

Что это?! Выстрелы? На улицах Петрограда свалка...

Проза не идет на ум. Прямо-таки привык мыслить стихами:

Люблю грозу в начале мая
Когда весенний первый гром
Те-ре-де не де-ре-де-рая
Те-ре-де-ре – тром-то-том.

Хе... хе...

2 мая.

Читал газеты. Большевики требуют сепаратного мира: гм! За что же нас тогда маринуют? Нынче вышел в отставку Гучков. Те-те-те. Анархисты занимают особняки...

Вспомнил по сему случаю Некрасова:

Долго не сдавалась любушка-соседка,
Наконец шепнула: есть в саду беседка...

И верно – есть! Масса беседок. Приходи – занимай.

Хорошо, если бы Временное Правительство мою беседку заняло... Я бы тогда... ничего, ничего...

Как ныне собирается вещий Олег
Отомстить неразумным хазарам...

Без числа. Второпях не успел записать.

Хороший человек у меня тюремщик. Обещал в будущем что-нибудь для него сделать... Ей-богу, хороший. Вот, например, все газеты мне притащил...

....

Нет, не могу читать...

Какие-то смешные, шаловливые слова вьются между строчками, прыгают и складываются в тривиальный мотив:

Маргарита, пой и веселися,
Маргарита, смейся и резвися...

Солнышко светит в окно – какие-то весенние звуки и шорохи доносятся до меня... Шорохи громче и громче... Это уже не шорохи... Это крики! Это звуки музыки! Марш! Мое старое ухо слышит старый наш марш... Шире двери! Окна долой!! Греми, свисти, бей в барабаны, взвейся к самым небесам...

Так громче музыка, играй победу...
Мы победили – враг бежит.
Так за царя, за Русь, за нашу веру
Мы грянем громкое «Ура»! – «Ура!» «Ура!»

Ныне отпущаеши раба твоего...

АНАРХИСТЫ

Неподходящее лицо.

– Послушайте, товарищ, идите к этому князю и скажите, что мы отнимаем его особняк. А если будет сопротивляться – убьем!

– Мне он не поверит, господа...

– Почему?!!

– У меня слишком доброе лицо.

Детальная разработка вопроса:

– Товарищи! Никакой частной собственности не должно быть. Все – общее!

Добросовестный голос из толпы:

– А как же быть с визитными карточками?

К анархисту подходит неизвестный господин:

– Скажите, какая у вас, анархистов, программа?

– Мы отрицаем частную собственность. Все, что есть у вас, вы должны разделить со мной. Ну вот, например, что вы имеете?

– Аппендицит и камни в печени.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО С ТРИБУНЫ

Наблюдение Арк. Аверченко.

Целый месяц бродил я от одного митинга к другому, от другого к третьему, и все силы своего ума и наблюдательности направил на одно: разгадать, раскусить – в чем заключается успех одного оратора, провал другого, чем вызваны бурные овации или презрительное шиканье, почему одного выносят с митинговой площади на руках, а другого сбрасывают с трибуны, как котенка за шиворот, стараясь, чтобы неудачливый оратор обязательно и непременно сломал себе ногу или вывихнул позвоночник.

Газетные отчеты о митингах совершенно не удовлетворяли меня. Что-то такое недоговаривалось, что-то – по моему, самое главное – упускалось из виду.

Что можно понять, например, из такой беспристрастной рецензии:

«Вчера на митинге служащих похоронных бюро один из ораторов, факельщик Надькин, заявил:

– Товарищи! Разве вы свободные граждане? Кнута бы вам хорошего! (Возгласы одобрения). Орать как осел всякий может, товарищи! (Шумное одобрение). Ни одного разумного пролетарского слова я не слышу здесь, ни одного осмысленного лица – какие-то святочные хари... (Шумное одобрение переходит в овацию). Товарищи!! Стоять бессмысленно на задних лапах и хлопать, как петухи крыльями, передними лапами – вот все ваши идеалы и политические убеждения! (Крики: «браво». Оратору устраивается неслыханная овация. Его на руках выносят из зала.)

После него говорил гробовщик Хохоталов.

– Товарищи! Отечество наше в опасности, и долг каждого, искренно любящего родину... (Крики: довольно! Следующего!) каждого любящего родину – принести все свои силы на служение народу – тому народу, который... (крики: Следующий! Довольно! Ограничьте его!.. Чего смотрит председатель?)

– Товарищи! Я сидел в тюрьме за неподчинение старому режиму, и я... (Свистки, шум, шипение, под которое оратор и удаляется.)

Можно понять что-нибудь в этой рецензии?

Почему одного милого порядочного человека гонят как собаку, а другой, развязный и наглый оскорбитель, с почетом качается на руках?

В чем дело? Нельзя же предположить, что все собрание состояло сплошь из дураков?! Наоборот, насколько я знаю, занятие похоронным и могильным делом развивает ум и дает душе высокое парение – так что упомянутое собрание, наверное, состояло из людей с высоким интеллектом.

В чем же дело?! Я ничего не понимал, пока самолично не посетил дюжины две митингов.

И теперь я знаю, в чем дело, и я знаю, в чем успех и неуспех оратора и почему в беспристрастных газетных рецензиях слова ораторов так не совпадают с репликами и настроением толпы – я все знаю!!

Вот, по-моему, что нужно для оратора:

– Сейчас будет говорить товарищ Аверченко, – анонсирует председатель.

Я вскакиваю на трибуну и, мощным жестом подняв руку к небу, жду, пока толпа успокоится.

– Товарищи!!! – кричу я во всю силу посланных мне Вседержителем легких. – Товарищи! Все мы знаем, что Волга впадает в Каспийское море – да, знаем! (Энергичный удар кулаком по столу. Крики: «Да, конечно, знаем! Верно! Он правильно говорит!») Товарищи! Вы все, я вижу, со мной согласны! Волга впадает в Каспийское море! Но справедливо ли это, товарищи!? (Голос повышается до истерических нот. Общее волнение. «Ишь, как убивается», – слышу я около себя сочувственный шепот.)

Справедливо ли, чтобы наша великая пролетарская демократическая Волга впадала в буржуазное капиталистическое Каспийское море? Почему же не наоборот, товарищи!!! (голос – громовые раскаты. Два удара кулаком по столу, один – себе в грудь). Почему же, спрошу я вас, не Каспийское море впадает в Волгу?!.. В интересах пролетариата я требую этого, товарищи... (восхищение слушателей переходит в овацию) и, конечно, не от нашего буржуазного коалиционного правительства будем мы ждать исполнения нашего справедливого требования!! Нет!! (Обрушиваю оба кулака на свою грудь. Грудь трещит, скрипит и гнется, как парусная шхуна в шторм). Товарищи!!! (от удара кулаком одна ножка стола отлетает – общий восторг.) Товарищи!! Мы сами сделаем это!! С ножом, с пулеметом в руках добьемся осуществления наших справедливых требований. Буржуазный поэт твердил, как попугай: «Не течет река обратно». Вре-ешь!.. У нас потечешь! Довольно многострадальная Волга питала разжиревшее Каспийское море! Довольно Каспий попил волженой водички! Отречемся от старого мира, товарищи!! Да здравствует самоопределение Волги, да здравствует Третий Интернационал!!! (Восторженная

аудитория подхватывает меня на руки, рев толпы напоминает шум океанского прибоя.)

Вот вы прочли, читатель, мою речь. Без ложной скромности могу признаться, что она чрезвычайно глупая. Почему же меня приветствовали? Почему овация? Нужно ли предположить, что вся аудитория состояла из членов той горемычной партии, которая на образном русском языке называется: «Олухи Царя Небесного». Ни-ни, боже сохрани. Народ все обыкновенный, а обыкновенный русский народ – это значит неглупый русский народ.

Тогда чем объяснить мой успех?

А вот: я кричал! Я вопил!! Я избил сам себя до полусмерти!!! Легко ли видеть, когда человек дубасит сам себя кулаком, как мужик цепом на молотьбе? Тут у слушателя сложная психология: и уважение к человеку, обладающему такой на диво слаженной глоткой, и неловкость перед человеком, который в угоду идее калечит свою грудную клетку, и убеждение в том, что не будет же человек так себе, зря, за здорово живешь, без достаточного основания распластываться в лепешку, выворачиваться, как перчатка, наизнанку и сокрушать самого себя чуть не в порошок.

И вот он – оглушенный, замотанный, задерганный ревом слушателей «браво» – и тащит меня за ногу, дабы удостоиться заманчивой чести подбросить мое полуразбитое тело к потолку.

Зато когда он придет домой и, попив чайку, полежит с полчаса на диване, отлежится, отстоится, он вдруг вскочит с дивана и крикнет в ужасе и тяжком испуге:

– В чем дело?! О чем этот идиот вопил? Как может Каспийское море потечь в Волгу?! Почему мы его качали, почему кричали браво?! Почему не сбросили его с трибуны, надавав затрещин?

Но поздно уже. Но уже никто не слышит этого запоздалого назначения и никто о том не знает.

А я уже красуюсь на трибуне другого митинга и снова терзаю свою грудную клетку, стол и уши слушателей:

– Товарищи! В наше время, когда всюду вьется красный флаг свободы, мы допускаем, чтобы в буржуазных отрывных календарях были черные числа! Долой их. Пусть все числа отныне будут красными, как та кровь (оглушительный

кулачный треск по своей груди), которую мы пролили за нашу свободу! (Крики «браво». Овация.)

* * *

И вот пусть теперь выйдет на трибуну умный, хороший человек, которому есть что предъявить, но который не знает, как это сделать публично.

– Товарищи, – забормочет он тихим срывающимся голосом. – Я был военнопленным и изучил настроение германского народа... И я скажу вам (Крики: Довольно! Долой! Очисти место! Смойте его оттуда!!)

Вот и все выступление.

А почему? Потому – не ревел. Потому – не бил кулаками по всему, что подвернется под руку, вплоть до собственного горячо любимого тела. Вот и кайся. Еще скажи спасибо, что не поколотили...

* * *

Кратко сформулировать мои наблюдения можно так: выступая на митинге, колоти сам себя в грудь, если не хочешь, чтобы тебя колотили другие, рви себе глотку сам – а то перервут недовольные слушатели.

Вот и все мои наблюдения.

А спорить со мной было бы безумием.

СЛЕД ОТ ЯДРА НА НОГЕ КАТОРЖНИКА

Помните?

Каторжника приковывали к ядру или ядро к каторжнику – это как вам больше по вкусу – и волочил каторжник это ядро у ноги много, много лет.

И иногда его выпускали на свободу, и он делал блестящую карьеру, попадал в высший свет, и ничто не напоминало в нем каторжника, кроме одной детали...

Кроме одной детали: он всегда, до конца жизни, слегка волочил правую ногу – ту самую, к которой когда-то было приковано ядро.

Все мог изменить он: голос, лицо, волосы, но этой ужасной волочащейся рабьей ноги переделать он не мог: привычка волочить правую ногу навсегда въелась в беднягу.

Кстати о ноге: недавно ехал я в вагоне с офицером-инвалидом, потерявшим под Красноставом правую ногу. Сидели. Разговаривали. Вдруг он наклоняется, делает рукой какое-то странное движение, но сейчас же, будто опомнившись, откидывается назад, смущенно смеющийся, растерянный.

– Что вы? Что с вами?!

– Хотел почесать ногу. Сейчас поймал себя на этом.

– Зачем же остановка? – улыбнулся я. – И чешите на здоровье.

– Да дело-то в том, что хотел я почесать *деревянную ногу*...

Я всегда вспоминаю эту деревянную ногу, когда сталкиваюсь с целым рядом старых въевшихся привычек, так смешных при нашем трехмесячном республиканском строе.

* * *

Идет по Невскому солдат... Вид у него самый «свободный»: шинель внакидку, шапка на затылке, в зубах папироса. За поясом огромный красный бумажный тюльпан. Одним словом, каждая пуговица, каждая складка громко и торжественно поет: «Отречемся от старого мира!».

Навстречу важно шагает полный седоусый генерал.

Увидев его, солдат моментально подобрался, вытянулся в струнку, сделал четкие пол-оборота... но в этот момент какое-то новое молниеносно-быстрое соображение мелькнуло на каменном лице его... Молодецки подобранные плечи сразу увяли, опустились, вытянутые в струнку руки размякли, заболтались, глаза сощурились и приняли самое ироническое выражение. Не выпуская изо рта папиросы, он засвистал и, еще больше спустив с плеча шинель, развинченной походкой проследовал дальше.

Я сразу понял всю сложную гамму его переживаний: сначала, при виде шинели на красной подкладке, выскочила в клеточке мозга совершенно определенная, привычная эмоция: красная шинель, генерал, руки по швам, фрунт, поедание глазами – все такое сложившееся, внедренное годами. Это – инстинкт, привычка, деревянная нога, которую хочется почесать.

Но тут же всплыл, как масло поверх воды, твердый разум его, воспоминание о том, что было так недавно, что идет вширь, вглубь, вкривь и вкось – и вот уж разум победил

привычку, и вот снова свободный солдат элегантно и гордо скользит по людному Невскому.

Но все-таки я узнал в этом гордом человеке – его, бывшего каторжника, так долго протаскавшего на ноге обременительное ядро.

* * *

Мне рассказывали.

Приехал в деревню агитатор просветить народ насчет нового строя.

Крестьяне и без него были настроены крайне республикански, царя ругали безо всякого милосердия, требовали земли, воли и всяческих свобод – в очень энергичной форме.

И вот, когда агитатор просветил темный народ насчет переворота и всего прочего, – один ершистый волосатый мужичонка вдруг вспомнил о мандатах пришельца.

– Постой, – сказал он. – Да ты кто будешь?

– Я социалист-революционер.

И страшный, злобный вой был ему неожиданным ответом:

– Как так сицилист?! Как так леворюционер? При царишке нашем не могли мы от вас, чертей, избавиться, да и теперь при свободе вы тоже не сгинули, окаянные?!!

Вот тебе и республиканское настроение. Вот и поняли момент.

Рванулся вперед коллективный русский мужичок, ан нет: не тот шаг – одна нога волочится. Два ядра на ней, два привычных, вбитых сотней лет в голову жупела: «сицилист» и «леворюционер».

* * *

В театре миниатюр на Невском идет веселая пьеса из жизни дома Романовых.

По ходу этой зазвонистой, развеселой забубенной пьесы, когда выходят бывшие министры с Гришкой во главе, оркестр начинает играть мотив «Боже, царя храни», который через минуту переходит в бесшабашный напев из «Прекрасной Елены»: «Я муж царицы».

И вот – верьте мне, я говорю правду, – когда раздались первые звуки «Боже, царя храни», вся публика как один человек встала с места и стояла так с минуту, и только рез-

кий переход на сумасшедшего Оффенбаха бросил обратно на места сконфуженную, смущенную публику.

Вот вам... На сцене – «Гришка с Алисой-распутницей» откалывают канкан, а в это время публика стройно и объединенно вскакивает с мест при первых же звуках привычного гимна – тяжелого ядра, которое было привязано к ноге десятки лет.

* * *

И последнее:

На перекрестке мирно стоит милиционер.

Подходит пьяный человек в том периоде опьянения, когда весь мир кажется враждебным, холодным и подлежащим уничтожению.

Тупо спрашивает:

– Милиц-ционер?

– Да, товарищ.

– Хочешь в морду?

– Что вы – с ума сошли? Проходите.

– Хочешь в морду?

– Если вы не отстанете – я вас в комиссариат отправлю.

– Ах, ты так? Н-на-ж тебе!!

Милиционер падает с ног, и улица оглашается болезненным призывным криком:

– Гор-родовой!!!

* * *

Все мы, бывшие каторжники, еще долго будем волочить нашу правую ногу, и только дети наших детей зашагают вольно, бодро и прямо к тому Далекому Неизвестному, которое будет ведомо только им – настоящим детям свободы.

РАКЕТА И БУДНИ

Все знают, все часто встречали этого элегантного живописного молодого человека в голубеньком галстуке, который (конечно, молодой человек, не галстук же, прости господи!) влетает к вам ясным майским утром и, плюхнувшись с размаху в мягкое кресло, начинает с вами эффектную беседу

тоном, насквозь пропитанным барственной снисходительностью и даже этаким красивым, еле уловимым презрением к собеседнику:

– Па-ас-сюшьте, э-э... любезнейший! Мне, право, обидно и грустно смотреть на вас!.. Ну что вы сидите, как сыч, когда... э-э... вся страна кипит в ярком горниле творчества! Так нельзя. У вас есть деньги?

Вопрос этот соскакивает с румяных губ так неожиданно, что вы не успеваете даже что-либо сообразить:

– Деньги? Ка..кие деньги?

– Что значит – какие? Ну, зеленые, красные, синие – любого цвета. Деньги есть деньги, и ваш вопрос более чем странен. Гм... да! Так вот – тысяч десять у вас есть? Да не мямлите вы, ради Создателя! Ну, что? Нет? Есть? Да?! Есть! Ну и слава богу. Давайте-ка их мне!

– То есть... как – вам? За что?

– Вот это мне нравится – за что? Петухов я их них наделаю, а потом свой птичник заведу! Хе-хе... Право, я удивляюсь вам, русским людям.

Вы бледно улыбаетесь:

– «Вам, русским»... А вы кто же – американец, что ли?

– Да! Да! Трижды – да! Я американец! Я не могу видеть, когда у этакого простофили зря лежат деньги, в то время как он за эти десять жалких тысяч через две недели может получить полтораста!! Не могу я этого видеть равнодушно!! Меня тошнит! Я на суше заболеваю морской болезнью! Компренэ?..

– Не...ужели на десять тысяч можно заработать полтораста? Каким же это образом?

– Да очень просто: все заложенные леса берутся нашей компанией на учет, и в единении с земствами при помощи крестьянских обществ, в этом заинтересованных, мы входим в контакт с железными дорогами, кои в свою очередь и в своих интересах начинают координировать свои насущные стремления с таковыми же – земств, о коих я говорил выше, и кои, как я уже говорил, жизненно в этом заинтересованы!!

Несколько раз хлопнув глазами, вы вежливо, но бестолково переспрашиваете:

– Заинтересованы?

– Ну да.

– Жизненно?

– Всеконечно.

– Да... тогда это... действительно... как же, как же... Раз земство и железные дороги...

– Что же я и говорю! Вот видите – даже и вы поняли! Чеком?

– Что-с?

– Чеком или петрушами?

– Как – петрушами? Какими?

– Ну, пятисотрублевками, чудак. Как вам удобнее – мне все равно. Сегодня же нужно вносить в депозит лесопромышленного комитета срочных перевозок и страховок мелкой земской единицы. Что вы так пыхтите? Ей-богу, о нем же думаешь, заботишься, возишься с ним. Да поскорее! Мне еще нужно поехать в общество мелиоративного кредита и в Соединенный Кегельбанк платить проценты. До четырехсот тысяч у меня сегодня платежей!!! Двести шестьдесят есть, ну, да остальные где-нибудь через полчаса перехвачу.

Вы оглушены. Вы смяты. Вы подавлены, вы раздавлены всеми этими мелиоративами, земскими обществами срочных перевозок, этими сотнями тысяч, рядом с которыми ваши десять тысчишек кажутся такими жалкими, такими мещански-мизерными и будничными.

– Извольте... я чеком... А что же... я какую-нибудь квитанцию получаю за это?

– Обязательно! Что вы! Я бы даже заставил вас взять, если бы отказались. Вот!

Он открывает от узкой книжечки, вынутой из кармана, листочек и пишет на нем между печатными словами:

«*Квитанция* на получение от такого-то десяти тысяч чеком на такой-то банк, номер такой-то».

– Видите, – снисходительно объясняет молодой человек в голубеньком галстуке, – я даже номер чека тут указал. Нельзя, знаете. Для порядка. Ну – лечу. Так не забудьте же и не потеряйте квитанцию. Ох, черт собачий, – уже половина второго!! Лечу.

Летит. Улетает. Навсегда улетает. Уже на другой день вы уныло ходите по комнатам, тихо рвете на себе волосы и спрашиваете самобичующе:

– Зачем? Зачем я дал эти десять тысяч? Сказал бы, что нет – и конец. Обокрал, мерзавец – обольстил и уволок десять тысяч.

Нет денег. Погибли, утонули, растаяли в воздухе.

Ну, даже скажем, вы через два месяца встретили этого господина в голубеньком галстуке. Стоит ли его спрашивать? Ну спросите даже так, для шутки:

– А что же наше дело?

– А! – махнет он рукой – не напоминайте. Вы-то хорошо отделались – всего десятью тысячами, а я на полтораста нажегся... Ого! Уже половина второго? Лечу!..

Летит.

* * *

Приходит к вам этакий грузный солидный господин в чесучовом пиджаке и говорит он, задыхаясь:

– Не хотите ли: купим пополам очень недурной дом. Доходу, правда, всего 20 процентов, да ремонт потребуется, но дело верное и спокойное... Хотите?

– Гм... А стоит ли, а? – нерешительно мямлите вы.

– А уж это вы сами смотрите.

Он невыносимо скучен, невыносимо солиден. В его плане нет ярких мест, все так обыденно – начиная с ремонта и заканчивая 20 процентами. Только 20 процентами!!

– По-моему, – говорите вы, – не стоит.

– Ну, как хотите, – устало говорит он, поднимаясь с места. – Думал, заинтересуетесь. Ну-с – пойду я.

Ушел. Не полетел, а ушел скромно, устало, понурив голову.

Верное, прекрасное, спокойное дело ушло сейчас от вас на двух грузных ногах.

* * *

Вы, русские граждане, которые гонитесь за золотоносными ошеломляющими делами, вы, обжигающие крылья на молодых людях в небесного цвета галстуках!

У вас сейчас сидит солидный усталый мужчина с предложением небольшого, но такого верного дела, что вы можете сделать его, закрыв глаза.

Этот солидный мужчина – русское государство, и этот мужчина без суеты и зазвонистых криков предлагает вам замечательное, прекрасное дело:

– Подпишитесь на Заем Свободы. Это спасет не только Россию. Это спасет нечто более драгоценное и прекрасное для вас – это спасет вас, несчастный мозгляк.

ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ

Стоило мне только раскусить, в чем загвоздка, как я сразу же решил действовать.

Подмигнул ближайшему товарищу по перу, и мы оба, не тратя лишних слов на организацию и пропаганду, отправились к нашему издателю.

Пришли. Зловеще уселись по бокам его письменного стола красного дерева.

– А, это вы, други? – приветливо спросил издатель.

Мы оба выдержали длинную паузу. И, наконец, я заговорил глухим надтреснутым голосом, от которого мороз должен был продрать по коже:

– «Други?» Вы говорите – други. А какие мы вам други?! Какие мы можем быть «други», когда мы – бедные загнанные пролетарии, а вы сытый буржуй.

- Да-да-да... Так-с, так-с, так-с, – поддержал меня товарищ по перу. – Вот оно что, значит, выходит! Вы буржуй. Ну-ну! Нечего сказать – красиво.

– Довольно! – стукнул я кулаком по столу. – Довольно вы попили нашей кровушки!

– Насосались, – скорбно вставил мой товарищ.

– Да уж дальше куда же! Буржуй!

– Попил кровушки да и молчит, будто не он.

– Что же вам нужно, господа? – испуганно пролепетал издатель.

– Вы нам за строчку платили по 30 копеек? Не густо. Рубль будете платить. За тысячу книг 300 рублей платили? Корявая плата! 800 будете платить.

– Да на каком же это основании? – угрюмо спросил издатель.

– А вот на том же. На том, что вы буржуй, а мы пролетарии.

– Довольно попили нашей кровушки, – стойко поддержал меня товарищ по перу.

– Окромя того... (я так и сказал: «окромя». Оно как-то демократичнее и увесистее выходит). Окромя того, участие в прибылях и право голоса в издательском комитете.

– Опять же, контроль! – стойко подхватил товарищ.

Как ни вертелся издатель – пришлось ему согласиться.

* * *

Через месяц снова приехали мы к издателю. На этот раз на паре караковых приехали. Хороших, канальство, рысачков завел себе мой товарищ по перу.

– Здравствуйте, буржуй, – приветливо сказал я.

– Довольно вы попили нашей кровушки, – язвительно подхватил товарищ.

– Что вам нужно, господа? – побледнел издатель.

– Какие мы «господа»! – горько усмехнулся я. – Это вы господа, а не мы. Мы только жалкие пролетарии, кровь которых вы пьете...

– Да уж... попили, – машинально пробормотал товарищ по перу. – Нечего сказать – хороши!

– Что вам угодно?

– Это самое. Вы нам платите по рублю за строчку. Мизерабельно! По 2 с полтинником надо нам получать.

– Опять же, книга. Какие это, будем сказать, деньги – 800. Полторы тысячи – и то еле-еле на табачишко хватит.

– Это правильно, – подхватил мой товарищ по перу. – В точку попал, бык его заклюй!

Повертелся, повертелся издатель – да куда пойдешь, кому скажешь – согласился.

Ничего не поделаешь. На то мы организованы.

* * *

Прошел еще месяц.

Однажды я заехал к моему товарищу по перу на паре золотистых, а он в это время садился уже в свой сорокасильный «Бенц».

– Хорошая повозка, – одобрительно сказал я.

– Да оно и цена – 18 тысяч – тоже хороша, – подмигнул он. – Ты куда?

– К издателю. Думаю еще поприжать буржуя.

– Да уж. Довольно они попили нашей кровушки. Пересаживайся в мой «Бенц», а своих золотистых отправь к чертям собачьим.

– Зачем к чертям... Я их пошлю лучше за Клаpомондой из «Виллы Родэ». Мы с ней нынче обедаем.

– Хи-хи... – засмеялся товарищ по перу – А хороша француженочка, канальство.

– Да и «булавки» тоже хорошие – пятнадцать катеринок ежемесячно. Я думаю, что...

– Шоффер, черрт – тише! Чуть на бедного пешего старика не наехал.

– Гляди-ка! А пеший-то старичишка нам кланяется!

– Да-да... Постой! Да ведь это наш издатель! Куда это его несет, буржуя разнесчастного?

– Попил нашей кровушки. Эй, вы! Куда идете?

– К вам! – угрюмо пробормотал издатель, поглядывая то на одного из нас, то на другого.

Сердце мое – сам не знаю отчего – екнуло.

– Вы? К нам? Зачем?

– А вот затем, – злобно проворчал издатель, хлопая себя шапкой то тощим коленям. – Затем я иду к вам, проклятые буржуи, чтобы сказать вам: довольны вы попили нашей кровушки.

– Кто буржуи? – взвизгнули мы оба с товарищем по перу.

– Вы оба буржуи, а я есть пролетарий, а как я пролетарий, то и говорю – будя! Довольно попили – отвалитесь. А требования мои такие...

– Вы?! У нас?! Требуете?!

– А ежели я, ка-грится, пролетарий, то отчего же мне и не требовать... Требую я, перво-наперво...

Мы упали перед ним – грозным, решительным – на колени и испуганно завопили:

– Ради бога – не называйте нас буржуями – мы все что угодно сделаем. Пожалуйста, будьте лучше вы буржуй!..

– Не-ет! – загремел старик. – Понял я теперь, в чем дело – будя! Довольно вы попили нашей кровушки...

Вокруг нас собиралась толпа.

А я, бледный, вскочил с колен и сказал товарищу по перу трясущимися губами:

– Все погибло! Проклятый старикашка раскусил всю нехитрую махинацию.

* * *

Теперь мы (с товарищем по перу) опять бедны...

Хитрый старикашка организовался, и он шатается к нам каждый день и все вырывает новые и новые уступки, обзывая нас буржуями и попрекая выпитой кровью.

* * *

Вчера его видели покупающим автомобиль.

* * *

Какая простая система!

ИСТОРИЯ ОДНОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Вот что было бы на войне, если бы армия воевала по принципам газеты «Правда» и по разумению тов. Зиновьева.

Разведчики донесли своему командиру, что неприятель обнажил весь свой участок, оттянув все войска на другой фронт.

Когда командир сообщил эту радостную весть в штаб армии, командующий армией подпрыгнул до потолка, а вернувшись вскорости на землю, сказал одно только слово:

– Наступление!

Господи, что тут такое сделалось!.. Забегали адъютанты, запрыгали писаря, зазвонили телефонисты – такой веселый кавардак заварился, что розы в сердце расцветали:

– Наступление! Мы переходим в наступление!!!

– Могу оказать предпочтение 1126-му полку, – распорядился командующий. – Объявите ему радостную весть: он первый начнет наступление! Это великая, историческая честь, но пусть другие полки не обижаются – им тоже предстоит славная работа. Наступление начать завтра на рассвете.

....

Ночью прискакал в штаб на взмыленной лошади полковой адъютант:

– Господин генерал! К сожалению, на рассвете полк выступить не может...

– По-че-му?!!

– Полковой комитет собрался для обсуждения целесообразности наступления, и резолюция ожидается только к десяти часам утра.

Генерал ласково улыбнулся, запустил руку в свои густые седеющие волосы и, отделив часть их для неизвестной цели, стряхнул несколько прядей на пол.

– Хорошо, – благожелательно сказал старый служака. – Подождем десяти часов утра.

* * *

В десять часов утра на еще более взмыленной лошади прискакал еще более взмыленный адъютант.

– Победа! – закричал он. – Наступательная тенденция в полковом комитете победила. Решено подчиниться вашему буржуазному требованию.

– Слава богу! – облегченно вздохнул вояка. – Значит, уже пошли?

– Положим, что не пошли. Сейчас полковой комитет передал свою резолюцию на усмотрение батальонных комитетов. Батальонные комитеты собираются, чтобы обсудить эту буржуазную резолюцию, и, если ничего не помешает, то батальонная резолюция будет вынесена завтра к 12 часам дня.

Генерал с тихой радостью покачал головой и, запустив ласково обе руки в свою полуседую шевелюру, отделил от общей массы несколько прядей волос.

Небрежно стряхнув их, благосклонно сказал:

– С такой рассудительной армией воевать одно удовольствие!

– Кому удовольствие? – бестолково спросил адъютант.

– Ясно, кому... – благосклонно усмехнулся генерал, издав зубами очень мелодичный музыкальный звук.

* * *

Ровно в полдень на другой день в штаб прилетел взмыленный адъютант на такой взмыленной лошади, что долго не могли разобрать, где кончается лошадь и начинается адъютант.

– Есть еще Бог на небе! – хрипло крикнул он, подбегая к генералу. – Полная победа по всей линии!! И батальонные комитеты ничего не имеют против наступления, хотя эта война, по их глубокому убеждению, и навязана нам империалистами и банкирами.

– Да в наступление-то пошел полк или нет!!! – спросил генерал, шутливо поднеся кулак к носу адъютанта.

– Теперь уж наступление не за горами... Батальонные комитеты препроводили свои резолюции ротным комитетам, а те... Осторожнее, господин генерал. Тут у меня как раз шея...

* * *

Была тихая погожая осень.

Уже листья окрасились пурпуром и багрянцем, уже солнце не жарило, а тихо ласкало землю кроткими лучами, уже нежная паутинка медленно летала в посвежевшем воздухе, уже... Ну, да, один словом, хорошо было, черт его передери!

По усыпанным опавшими листьями дорожкам бешено, безумно неслось что-то, до того покрытое мылом, что издали казалось, будто целая мыльная фабрика сошла с ума и несется куда-то, вывернувшись наизнанку...

Но нет! Это была не мыльная фабрика. Это был наш знакомый взмыленный адъютант на взмыленной лошади. Эту пару уже хорошо знали в окрестностях, и даже местные жители собирались образовать анонимную компанию для добывания и выделки мыла из этого мыльного комка.

Однако вернемся к нашему адъютанту.

Свалившись с лошади и выбравшись с трудом из густого облака мыльной пены, адъютант ворвался в помещение штаба и еще с порога крикнул генералу:

– Ура! От имени организованного 1126-го полка поздравляю вас с наступлением! Сегодня утром на общеполковом митинге решено идти в наступление большинством 5127 голосов, против 327 и 14 воздержавшихся.

Генерал радостно улыбнулся, поднес руки к своей голове, пошарил пальцами по ее совершенно голой поверхности и, не найдя для себя пищи, обратил пристальное и благосклонное внимание на пышную шевелюру молодого адъютанта.

– Не смейте этого делать! – вскричал напуганный адъютант. – Я нахожу ваш поступок контрреволюционным!

Успокоившись, деловито спросил:

– Когда прикажете наступать?

Генерал вынул из кармана бумагу и ласково ткнул ее адъютанту под нос:

– На, собака! Понюхай, чем пахнет!

На бумаге было написано:

«Команда разведчиков доносит, что тот слабый участок, на который весной предполагалось наступление, снова занят вражеской артиллерией и пехотой, вернувшейся с другого фронта. Возведены новые сильные укрепления»...

* * *

Вот что было бы, если бы вся доблестная армия работала «по Зиновьеву»...

К счастью она работает «по Керенскому»!..

МИНИСТР У АНАРХИСТОВ

(Новые сцены из «Ревизора»)

Действие происходит в особняке Кшесинской.

Анархист – Иван Александрович.

Большевик – Осип.

Переверзев – Городничий.

Бессарабов – Добчинский.

Большая комната с лепными потолками и позолотой. Золоченая мебель с белой шелковой обивкой, белые портьеры... Углы завалены окурками, коробками от консервов и рваной бумагой.

Анархист (входя в комнату, отдает большевику револьвер и бомбу). – На, прими это. Это что? Опять шелковыми портьерами сапоги вытирал?

Большевик. – Да зачем мне вытирать? Не видал я ваших портьер, что ли?

Анарх. – Врешь, вытирал. Вся портьера грязная!

Больш. – Да на что мне она? Не знаю я, что такое портьера, что ли? Кто же о портьеру ноги вытирает? Высморкаться – другое дело.

Анарх. – Ну, ладно! Поехал... У поверенного Кшесинской был?

Больш. – Был.

Анарх. – Что же он говорит?

Больш. – А говорит – выселять буду. Вы-де, говорит, с анархистами вашими – мошенники и анархисты, говорит, – просто жулье. Мы-де, говорит, этаких шаромыжников и подлецов видали.

Анарх. – А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Больш. – Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, после и выгнать нельзя». «Я, – говорит, – шутить не буду, а прямо с жалобой, чтоб – на съезжую да в тюрьму».

(За дверью какой-то шум.)

Анарх. – Пойди узнай, в чем дело... (Больш. уходит). Это скверно, однако ж, если нас выселят. Да... трудно стало работать в столице. Придется перебираться в провинцию. Вот где можно себя показать! Хорошо бы этак, черт побери, подъехать на автомобиле с черным флагом, этаким чертом, к какому-нибудь соседу-помещику прямо под крыльцо! Воображаю, как бы все переполошились... «Кто такой, что такое»? А товарищ входит с револьвером прямо в гостиную: «Анархисты приехали из Петрограда – руки вверх!» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «руки вверх». К ним если приедет какой-нибудь местный гусь из беглых, так прямо без разговоров – чик ножом по горлу... Нет-с, мы раньше программу покаже...

(Входит большевик.)

Больш. – Там зачем-то министр юстиции Переверзев приехал, спрашивает вас.

Анарх. – Вот тебе на! Эка бестия Хесин, уже успел пожаловаться. Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что же, если благородным образом, – я пожалуй. Пусть войдет!

(Входят Переверзев и прокурор Бессарабов.)

Переверзев (вытянувшись). – Желаю здравствовать!

Анарх. (с ужасом) – М...мое п...почтение.

Переверзев. – Извините.

Анарх. – Нич...чего.

Переверзев. – Обязанность моя, как министра юстиции, заботиться о том, чтобы всем захватчикам не было никаких притеснений...

Анарх. – Да что же делать! Я не виноват... Я выеду. Вы думаете, нам тут хорошо?

Переверзев. – Осмелюсь предложить... переехать вам на другую квартиру...

Анарх. – Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть – в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?! Да вот вы хоть тут со всей своей командой – не пойду! Я – прямо в Совет Рабочих Депутатов! Смотри ты какой!

Переверзев. – Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие!

Анарх. – Какое мне дело до ваших детей! Из-за того, что у вас дети, вы не имеете права делать контрреволюционных поступков!!

Переверзев. – А ва...ва...ва...ва

Анарх. – Что такое? Ничего не разберу. Все вздор!

Переверзев. – А в...в... Осмелюсь ли просить вас... Но нет, я недостоин.

Анарх. – А что такое?

Переверзев. – Нет, нет! Недостоин, недостоин.

Анарх. – Да что ж такое?

Переверзев. – Я бы дерзнул... Я вам подыщу светлое хорошее помещение с балконом. Хозяин – человек хороший и убеждений самых радикальных. Но нет – чувствую сам, что это уж слишком большая честь!

Анарх. – Напротив, извольте, я с удовольствием. Ищите. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом... капище!

Переверзев. – Ну вот и хорошо. Сейчас же мы с Петром Иванычем (Бессарабов кланяется) и побежим искать.

Анарх. (благосклонно, ковыряя кинжалом в зубах). – Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение, уважение и преданность.

Переверзев. (откланивается; на ухо Бессарабову). – А он, однако ж, совсем не гордый!

(Занавес с отвращением падает.)

В ЭПОХУ РЕЗОЛЮЦИЙ

– В последнее время запасные батальоны в тылу каждый день выносят резолюции недоверия Временному Правительству... Сегодня тоже вынесли.

– Так-с. Очевидно, они не знают русской пословицы: сору из избы не выносить.

ПОБАСЕНКА

– Что это у тебя все лицо в крови?
– На митинге большевиков был.
– Возражал?
– Возражал.

———

– Что это у тебя весь карман трехрублевками набит?
– На митинге большевиков был.
– Соглашался?
– Соглашался.

ГОРОД, В КОТОРОМ МНОГО ДУРАКОВ

Кто из вас, господа, видел суворинское издание «Весь Петроград»? Посередине книги вы найдете несколько сот красных страниц, на которых мелким шрифтом обозначены имена и фамилии петроградцев.

Конечно, не все туда попали.

Но добрая треть Петрограда красуется там.

Так вот: если бы мы вздумали поместить на этих сотнях красных листков имена и фамилии всех петроградских дураков, выявивших свое «национальное дурацкое лицо» 3-5 июля, нам не хватило бы места: столько дураков оказалось на петроградских улицах.

Вообще, вся вооруженная демонстрация 3-5 июля, по справедливости, должна быть разделена на две неравные части демонстрирующих:

1) 1/100 мошенников, шпионов и просто мерзавцев.

2) 99/100 самых отборных российских дураков, шествовавших и едущих на грузовиках по приказу первой 1/100.

Ах, уважаемые провинциалы! Какого дико забавного зрелища лишились вы, сидя в своих Чухломах и Козьмодемьянсках 3-5 июля!..

Мы видели разные демонстрации: инвалидов, сорокалетних, артистов, кухарок, но видеть многотысячную демонстрацию вооруженных до зубов дураков – это редкое, неудобно-забываемое счастье.

Трогательнее всего, что Петроград не остался одинок в этой знаменитой демонстрации: Кронштадт прислал на помощь ему лучших своих представителей.

И вот – ряд редких по вдохновению и красоте моментов: сотня мошенников и германских шпионов, залезши в закрытые бронированные автомобили, поехала по городу, а за ней унылая сонная многочисленная гвардия дураков лениво поплелась, изредка постреливая и оглашая воздух бессмысленным ржанием и ревом:

– Долой 10 министров-капиталистов (половина из них, как известно, ушли раньше).

– Вся власть Совету Р. и С. Депутатов! (Совет от этой власти отмахивается руками и ногами).

– Да здравствует Интернационал! (кричавшие уверены, что Интернационал – господин с бородой и усами, раздающий демократии деньги налево и направо и набивающий отверстые рты кашей с маслом).

Вы помните первые февральские дни революции, когда благородные солдаты и благородные рабочие, рискуя своей жизнью, разъезжали на автомобилях, сражались с упорной полицией и подчиняли себе непокорных? Помните ощети-

нившиеся ружья на грузовиках и эти солдатские фигуры, лежавшие на крыльях автомобиля, – с ружьями, грозно направленными вперед, на ожидаемую грозную опасность?..

Это было захватывающе красиво.

А третьеиюльские дураки решили, что все дело не во враге, который впереди, а просто в самом факте сидения на грузовиках и лежания на крыльях автомобилей с ружьями, направленными вперед.

И носились так эти ощетинившиеся дураки, грозно хмуря брови и тщетно ища глазами: где же враг, против которого они выехали?

Было стыдно и скучно, несмотря даже на веселую стрельбу.

Говорят, что, когда некоторых кронштадтских дураков переловили и осведомились у них, зачем они в количестве 6000 приехали, вооруженные, в Петроград, они вспыхнули от смущения, потупились и кокетливо отвечали:

– А мы не знаем. Нам сказали – ехать, мы и поехали.

– Да кто сказал-то?

– А вот мы теперь будем их искать и обнаруживать – пусть они объяснят нам.

И вот – удивительная психология этого дурацкого, бессмысленного, возглавленного десятком мошенников бунта: вооруженные до зубов солдаты и матросы от первого же выстрела бросались, как безумные, бежать, роняя по пути винтовки и рассыпая патроны... А ведь нельзя сказать, что эти люди – трусы. Мы уверены, что при наступлении на неприятельские окопы или в столкновении с неприятельским броненосцем эти самые люди храбро бросились бы вперед.

Но там был бы план, был бы ум, была бы честность.

А что было тут? Десяток дурацких распоряжений, исходящих от мошенников.

Вот так оно все по-дурацки и кончилось.

* * *

До сих пор всякий большой русский город имел свою резко выраженную физиономию – кроме Петрограда.

Петроград не имел своей резко выраженной физиономии.

Боимся, как бы он ее не получил:

– Петроград? А, знаем! Это город дураков и головотяпов. Как же! Знаменитый город.

И это после прекрасной февральской революции... Стыдно.

ВСЕГО ТРИ ГОДА

1

Стоял ясный погожий июль 1914 года.

Как сейчас помню: Бранделясовы устраивали журфикс и пригласили на этот журфикс много народу, в том числе и меня.

Было очень мило: сидели, пили чай с вареньем, говорили о Государственной Думе, барышни очень мило кокетничали с кавалерами. Вообще, пожаловаться не на что – хорошо было.

... Вдруг из соседней комнаты донесся какой-то шум, крики, и в то же мгновение в гостиную вбежала сестра хозяйки дома, растрепанная, красная от возмущения.

– Это уже бог знает что такое! – закричала она еще с порога. – Это уже превосходит всякое вероятие!..

– А что такое? Что случилось!?

– Вот пойдите, полюбуйтесь! Является сейчас Сеня Утконосов – и что же? Оказывается, мертвецки пьян.

– Не может быть?! Фи, какая мерзость!

– Вот вам и не может быть. Главное дело, пришел и стал безобразничать.

– Что же он такое делает?

– Ну, что пьяный человек может делать... Как вошел, упал и закатался в ковер, а когда его откатали, поднялся, вынул канарейку из клетки и стал ее есть. Теперь надел на голову шелковый абажур, схватил Глашу в охапку и танцует с ней матросский танец.

Хозяйка дома вспыхнула.

– Ну, эта наглость переходит через край! Я сейчас же велю его вышвырнуть!!

Она вскочила и вылетела в соседнюю комнату, мы все за ней.

Сеня Утконосов засунул себе сзади за шиворот метелку из перьев, которой сметают пыль, взял в руку ножик для разрезания книг и, приплясывая, вскричал:

– Честь имею представиться: редкий белый индеец из Миссисипи, за умеренную плату снимаю скальпы. Подходи, кто желающие!

– Вон! – величественно сказала хозяйка дома.

– Монах! – в ужасе попятился Сеня. – Как монах сюда попал?

– Я вам не монах и, вообще, прошу вас...

– Мамаша! Господи! Гора с горой, как говорится... не сходится, а мы... Откуда ты, прелестное дитя? Чуть свет уж на ногах? И я у ваших ног!

Он покачнулся и, действительно, упал к ее ногам.

– Какая грязная личность! – негодующе сказала одна гостья, брезгливо подбирая платье.

– И вы заметили, какой у него красный нос? Тошнотворнейшая фигура!

– А спиртом от него разит, как из винной бочки. Чего вы на него смотрите? Выбросьте его за двери поскорее.

– Я бы его еще спустила с лестницы, чтобы он разбил свою подлую башку.

– Мер-рзавец!

– Свинья двуногая!

2

Вы помните, у Чайковского есть романс:

«Забыть так скоро...»

3

Стоял ясный, погожий июль 1917 года.

Как сейчас помню: Бранделясовы устраивали журфикс и пригласили на этот журфикс много народу, в том числе и меня.

Было очень мило: сидели, пили чай с вареньем, говорили о войне, о большевиках, многочисленные барышни очень мило кокетничали с немногочисленными кавалерами. Вообще, пожаловаться не на что – хорошо было.

... Вдруг из соседней комнаты донесся какой-то шум, крики, и в то же мгновение в гостиную вбежала сестра хозяйки дома, оживленная, красная от восхищения.

– Это прелесть что такое! – закричала она еще с порога. – Ей-богу, я не ожидала, что он такой милый...

– Кто? Кто такой?

– Сеня Утконосов. Представьте себе – напился пьян и ни к кому другому, а первым долгом явился к нам!!

– Сеня? Пьян? Быть не может. Чтобы этот жалкий конторщик поступил так чудесно, так сказочно красиво... Не ошиблись ли вы?

– Ну, вот глупости!.. Что я, слепая, что ли? И, потом, от него так чудно, так мягко, пьяняще пахнет винным перегаром... Будто весной в саду гуляешь.

– А что он делает сейчас?

– Ах, он так всех смешит, такой остроумный: вырезал ножиком из картины апельсин, написанный масляной краской, и съел его. А теперь из кота муфту делает.

– Ах ты, господи! Как бы его кот не оцарапал. Он такой злюка, этот Цезарь.

– Нет, ему твой муж помогает.

– Пойдемте, господа, посмотрим. Это очень любопытно...

Сеня Утконосов уже оставил в покое изувеченного кота и, обхватив талию старой княгини Кудыбиной, танцевал с ней молдаванский танец.

– Ой, замучил! – добродушно смеялась княгиня Кудыбина, – еще уронит меня Сеничка. Хе-хе...

– Молчи, зловещая старуха, – хрипел Сеня, переходя на трепака. – Молчи, осколок времен второй империи!

– А теперь – баста веселиться. Иди работать... ну?! Разложи костер.

– Где, Сеничка?

– Вот тут. Посередине. Можно из стульев и нот. Кота варить будем.

– Как это у него свежо все выходит, – закатив глаза, сказала хозяйка.

– Как неожиданно.

Смотрите: упал! Сколько непринужденной грации...

– Полное отсутствие вымученности.

– Прелестный у него нос: красный такой, блестящий. Так бы и съел!

– Да! Цвет кармина, самая дорогая краска.

– Тсс, господа! Сеничка, кажется, заснул. Подложите ему под голову подушку... Спит... Остроумный паренек: «Я, – говорит, – не человек, а чемодан летающий, и во всякую минуту могу разорваться».

– Как хотите, а мысль оригинальная! Свежий этакий образ.

– Эх, жалко, мать его умерла... вот бы ей на сынка порадоваться.

– Да-с... Достиг, можно сказать.

* * *

А в дальнем углу гостья Медыкина возбужденно шептала хозяйке дома, хватая ее за руки:

– Голубчик мой, родненькая... Если он проснется, – уступите его мне. Может быть, он не совсем еще отрезвеет, и я бы его повезла домой, к себе. У нас вечером нужные люди будут. Уступите! Нельзя же быть такой эгоисткой! Пусть и другие получат удовольствие!..

* * *

Стоял ясный погожий июль 1917 года.

ЛЯПКИНЫ-ТЯПКИНЫ
или
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЦЕНА «РЕВИЗОРА»

(Ново! Ново! Только у нас! Полная аналогия с гоголевским «Ревизором»! Новые костюмы, парики и дурацкие колпаки! Действие – при ярком солнечном свете на глазах у всей России! Разыграно лучшими силами Исполнит. Комитета С.Р. и С.Д.! Колоссальный успех! Весь мир хватается за животики, корчась от смеха – так неподражаемо разыграли гоголевские типы эту сцену!)

* * *

(Сцена представляет одну из комнат Таврического дворца. Заседание Исполнительного Комитета.)

Анархист Блейхман. – Я, товарищи, совершенно согласен с Лениным, что буржуев нужно выпотрошить как следует! В первую голову Ленин предлагает арестовать десяток капиталистов и, вздрючив их как сле...

(Врывается Алексинский.)

Алексинский. – Удивительное дело, господа! Ленин, которого мы приняли за идейного вождя эсдеков, оказывается, вовсе не вождь!..

Чхеидзе. – А кто же он?

Алекс. – Ни се ни то. Черт знает что такое!

Чхеидзе. – Как ни се ни то?! Как вы смеете идейного социалиста называть ни тем ни сем, да еще черт знает чем? Я вас под арест...

Алекс. – Руки коротки!

Чхеидзе. – Да как вы смеете?! Да знаете ли вы, что он обещал нам восстановить Интернационал...

Алекс. – Да... Держи карман шире! Вот у меня есть его письмо к Парвусу – не хотите ли полюбопытствовать? (читает): «Спешу уведомить тебя, душа Парвус, что со мной чудеса. Когда ты провез нас по приказу Вильгельма через Германию и я уже побаивался, что меня сейчас же в России за это арестуют, – случилась совершенная неожиданность: по моему развязному обращению и «крайней левизне» меня приняли за важную особу и закатили встречу такую, что лучше не надо: музыка играла, штандарт скакал, и чуть не весь Совет Рабочих Депутатов кричал мне «ура»! И я теперь совершенно бесплатно поселился в особняке Кшесинской. Почему они меня пустили – до сих пор не разберу...

Живу хорошо, жуирую напропалую и все предначертания германского генерального штаба исполняю точно. Помнишь, как мы с тобой бедствовали за границей? Теперь совсем другое. Есть и деньжишки, да и за галстук пропустить есть чего. Большевики и максималисты из Исполнительного Комитета ухаживают за мной, как за любимой женщиной! Вообще, все они – оригиналы страшные: ты бы от смеху умер. Во-первых – Чхеидзе: он такой же государственный деятель, как я китайский мандарин...»

Чхеидзе. – Не может быть! Там нет этого.

Алексинский. – Читайте сами.

Чхеидзе. – «Такой же госуд...» Не может быть. Вы это сами написали.

Алексинский. – Здравствуйте! Очень нужно мне. Ну-с, дальше... «Мартов – совершеннейшее... ну, тут нечеткое перо... совершеннейшее... в ермолке».

Мартов. – И неостроумно! Никогда ермолки не носил.

Луначарский. – Слава богу, обо мне ничего.

Алексинский. – «Луначарский...»

Луначарский. – Товарищи! Я думаю, письмо длинно. Да и черт ли в нем – дрянь этакую читать.

Все. – Нет, уж читайте.

Алексинский. – «Луначарский в сильнейшей степени моветон и в реальной политике понимает, как некто в апельсинах. Но смешнее всех министр труда Скобелев – это такой фруктец! Представь, он недавно в публичной речи сказал, что фабриканты и заводчики должны отдавать все сто процентов своей прибыли и работать только для того, чтобы не упускать клиентов, – каково? Расскажи это нашим немецким приятелям – они лопнут со смеху. А впрочем, народ все гостеприимный и добродушный. Позволяют мне беспрепятственно выпускать «Правду» и «Солдатскую Правду», благодаря которым чуть не половина солдат разбежалась с фронта, а в тылу не сегодня-завтра заварим такую кашу, что все эти государственные младенцы Ляпкины-Тяпкины глаза выкатят от удивления... Кланяйся Ганецкому и Малиновскому. Душевно обнимаю Азефа. Пиши на имя Суменсон, с передачей – особняк Кшесинской – мне».

Либер. – Какой реприманд неожиданный!

Гоц. – Удружил!

Чхеидзе. – Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, совсем убит! Ничего не вижу. Какие-то свиные рыла вместо лиц мерещатся! И мы тоже хороши – с музыкой встречали, с почетным караулом – войска стояли шпалерами! В чужой особняк пустили. Нашли важную птицу! «Интернационал». Всякого мерзавца в красный угол сажаем. А Горький тоже хорош – с самого приезда Ленина от восторга захлебывался: такой-сякой он, немазаный! Взял бы я эту «Новую Жизнь» да узлом бы ее завязал, да черту в подкладку, в шапку туда ему!!!

Явление последнее.

(Входит офицер генерального штаба.)

Офицер. – Имею честь доложить: в штабе получено сообщение, что вследствие агитации Ленина часть наших войск бежала с фронта и почти вся Галиция снова занята немцами!

Немая сцена (позы – по Гоголю).

Занавес.

В ДНИ СОДОМА И ГОМОРРЫ

Близкое будущее.

Растакого-то числа уличная жизнь города Петрограда текла своим обычным порядком. Извозчики цеплялись колесами за предохранительные решетки трамваев и немедленно же обрушивались на вагоновожатых отборной, круто замешанной бранью. Вагоновожатые отвечали не менее увесисто, стараясь в то же время увернуться от проворного извозчичьего кнута, который мелькал перед самой вагоновожатой физиономией.

Извозчичьи седоки ругали трамвайную публику, потому что презирали ее, а трамвайная публика обливала извозчичьих седоков самой сочной бранью, ибо трамвайная публика мучительно завидовала извозчичьим седокам.

– Награбила денег, акула, вот и разъезжаешь на извозчиках! На фонаре скоро будешь болтаться, а не на извозчиках ездить!

– Молчи ты, плесень трамвайная! Гнида ползучая!..

Пешеходы не вмешивались в эти классовые распри и если ругались, то строго придерживаясь своего круга. Ругались только друг с другом, пешеход с пешеходом:

– Куда тебя черти несут?! Чуть с ног не сбил, арестант этакий!..

– Вот ты у меня поговори еще! Идешь как колода: рот распялил до ушей, галок считаешь.

– Я тебе – на галок! Я тебе зубы все пересчитаю!..

– Свои придержи! Как бы не высыпались.

А на неизмеримой высоте, почти над самым Невским, парил аэроплан.

И пилот его, в кожаной куртке и шапке с наушниками, был, вероятно, единственный человек, который ни с кем не ругался: вблизи не было другого пилота.

* * *

Растакого-то числа петроградская уличная жизнь мирно текла по своему обычному руслу.

Погребальная процессия, пересекая в одном месте Невский проспект, столкнулась с целой вереницей ломовиков. Передний ломовик, рыжий, страшный детина, сделал так, что

его лошадь очень ловко отрезала заднюю половину погребальной процессии от передней, так что покойник остался позади, а принадлежащие ему по праву венки и прочее поехали вперед.

– Куда прешь, рыжий дьявол, – заорал факельщик, замахиваясь факелом на ломовика. – Не видишь нешто – покойника везем?!

– А что он за цаца такая, твой покойник, – взревел ломовик. – Сдай назад, сдай назад!!!

– Дай ему факелом по морде, – негодующе вскричал другой факельщик. – Осади, рыжий!!. Чтоб тебе с твоей лошадью подохнуть!! В самого покойника оглоблей въехал!.. Осади!

– Много вас тут, покойников, будет ездить, – проревел ломовик. – Да перед каждым еще осаживать!.. Подвинь гробик-то влево.

– Вот этим бы гробиком тебя – да по шее, – вступился родственник покойного.

Поднялся невероятный шум и крик... Все смешалось, сбилось в кучу.

Крышка гроба тихо пошевелилась, потом приподнялась... Бледное сердитое лицо выглянуло из гроба.

– И что это за народ проклятый, – с сердцем сказал покойник, перекидывая одну ногу через край гроба. – Похорониться даже не дадут как следует. Послушайте, ей! Вы распорядитель похорон? Вот что, голубчик... Я лучше пешком дойду, сторож мне там укажет место... Сил моих нету ехать при таких условиях! А вы тут распутывайтесь как знаете.

И, растолкав сцепившихся факельщиков и ломовиков, тихо побрел по улице.

А петроградская уличная жизнь по-прежнему мирно текла в своих обычных берегах...

* * *

И вдруг, среди этого мирного течения, случилось такое невероятное событие, что очевидцы его даже кулаками глаза протерли: не сонное ли это видение?..

Случилось нижеследующее на углу Невского и Караванной, – очевидцы это твердо запомнили и точно так же показали потом и интервьюерам.

29*

Было вот что: по Невскому проезжал на извозчике господин в котелке. И вдруг ветер ни с того ни с сего злобно дунул (в Петрограде и ветер беспричинно злобен) – и у проезжавшего господина котелок слетел с головы, покатившись по неровной торцовой мостовой куда-то вдаль.

Сначала было все как обычно: господин растерянно схватился за обнаженную голову, публика на тротуаре весело и радостно засмеялась, извозчик, ехавший сзади, постарался направить свою лошадь так, чтобы она наступила копытом на котелок... Но тот же ветер откатил котелок от ног лошади и подбросил под ноги мальчишки, несшего на голове какую-то кладь... Мальчишка, конечно, ударом ноги отбросил котелок обратно на мостовую, но... тут-то начинается самое удивительное, самое неслыханное, еще более удивительное, чем случай с обидевшимся на порядки покойником.

Именно: когда котелок, подпрыгивая, покатился назад на мостовую, из толпы гулявших по тротуару выбежал худощавый молодой человек и погнался за котелком.

Тот же беспричинно злобный, по петроградской манере, ветер гнал котелок все дальше и дальше по направлению к Аничкову мосту, но у молодого человека была разумная воля и ловкость, которой ни у котелка, ни у ветра не было: на углу Фонтанки и Невского молодой человек догнал котелок, поднял его и, обмахнув платком пыль и сор, приставшие к полям, понес его владельцу.

Около последнего собралась уже огромная толпа, с напряженным интересов следившая за непонятными, странными поступками молодого человека.

Шли оживленные толки, но мнения разделились.

– Я знаю, зачем он побежал, – говорил суетливый прохожий. – Догонит котелок, поднимет, плюнет в него, бросит и побежит дальше.

– Ну, это вы слишком от него большого остроумия захотели, – возразил другой. – Просто он, догнав котелок, наступит на него ногой, продавит и пойдет дальше по своим делам.

– А, может быть, он и не за котелком побежал, – высказал предположение третий. – А просто увидел вдали знакомого и бросился догонять, чтобы дать ему по морде.

– А не вытащил ли он у кого-нибудь из нас кошелек и не бросился ли он просто бежать, независимо от кошелька?..

– У тебя вытащишь, – критически заметил первый. – Ты, кажется, сам такой, что не прочь рукой в чужой карман прыгнуть.

– А вы моей палки еще не пробовали?

– Что?!! Да я, т-т...

Но тут, как по волшебству, все споры прекратились, и толпа молча, с глубоким изумлением стала следить за странными эволюциями молодого человека...

Он приблизился к господину, продолжавшему в растерянности сидеть на извозчике, вежливо поклонился ему и подал шляпу.

Все оцепенели.

– Молодой человек! – хриплым от волнения голосом спросил господин. – Зачем вы это сделали?..

– Что именно? – удивился молодой человек.

– Зачем вы погнались за моей шляпой?

– Как зачем? Чтобы поймать ее и отдать вам.

Глубокое волнение захватило дыхание господина на извозчике.

– Молодой человек! Вы, вероятно, нездешний?

– Да, я только вчера приехал. А что?

– Молодой человек! Я не верю своим глазам!.. Это такой подвиг, такая красота, такое самоотвержение, что я... Позвольте вас прижать к моему сердцу. Да нет! Этого мало! Я сейчас же еду в Думу и потребую, чтобы вам выдали медаль.

– За что же, господи?!

– Как за что? За вежливое обращение. У нас теперь такие поступки награждаются медалью на ленте, с надписью.

К месту происшествия со всех сторон бежали интервьюеры. Сзади ковылял фотограф, бормоча с отдышкой: «Молодой человек! Позвольте, я вас сниму для газеты. Это будет ударный номер!»

Потрясенная толпа долго не расходилась.

* * *

Заметка в газетной хронике:

Безумно красивый поступок

Вчера одним приезжим молодым господином, не пожелавшим назвать своей фамилии, совершен бесконечно красивый по глубокому внутреннему благородству и внешней безыскусственной простоте поступок: он поднял какому-то господину шляпу, слетевшую от ветра. Ему будет выдана медаль. Президиум «Общества борьбы со всеобщим петроградским хамством» учреждает в университете стипендию его имени.

Этого сейчас еще нет.

Но если жизнь будет идти по такому же уклону, как сейчас, то это наступит скоро: примерно через полгода.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ

До революции чиновничество несознательно, тупо относилось к своим обязанностям.

Ну, вот хотя бы телеграф – все взаимоотношения между телеграфным чиновником и клиентом заключались в том, что клиент подходил к окошечку, угрюмо просовывал телеграмму, чиновник сумрачно выдергивал ее из клиентской руки и, потыкав молча в каждое слово телеграммы карандашом, отрывисто лаял:

– С вас семь двадцать одна. Ваши десять.

Не глядя, вышвыривал сдачу и снова погружался носом в квитанционную книгу.

Все. Ни здравствуйте. Ни прощайте. Ни слова теплого привета и участия.

Однажды я попробовал вручить чиновнику старого режима такую телеграмму:

«На бирже проиграл все сто тысяч. Жена повесилась. Трое детей обварились кипятком. Сестра Леля отравилась рыбным ядом. На днях собираюсь застрелиться».

Вы думаете, хоть один мускул дрогнул на каменном лице чиновника, просмотревшего эту телеграмму?

Хоть слово утешения услышал я?

Хоть заикнулся он о том, чтобы я не стрелялся, что это грех, что мало ли что бывает и т.д.?

Ничего подобного!

Прочел. И только три слова я услышал от него:

– Рубль шестьдесят восемь.

Проклятая заводная машина без сердца и нервов.

* * *

Не то телеграфный чиновник революционного периода.

Это живой человек. Он входит не только в ваши дела, как подателя телеграммы, но и в дела вашего адресата, но и в дела своего города, но и в дела всей России.

– Здравствуйте. А что, телеграммку можете принять?

– Отчего же. Обязан даже. Для того тут и сижу. Кому телеграфируете?

– Да так, одному тут... В Псков. Родственнику.

– Ну-ну. О чем телеграмма? Вы знаете, приветственные мы не принимаем, согласно циркуляра.

– У меня деловая. Вот. «Умерла тетя, приезжай на похороны, могу тебе выслать овса десять вагонов».

Чиновник, почесав химическим карандашом переносье, задумывается.

– А знаете... я, собственно, против этой телеграммы.

– Почему?!

– Она вредная.

– Для кого?

– Да для всех. Для вас, для адресата, для нашего города, для всей России.

– Ну что вы такое говорите!

– Да вот вы смотрите... Умерла у вас тетя. Умерла и умерла. Царствие ей небесное. Чай, ведь уже не молодая?

– 60 лет.

– Ну вот. Адресату она как приходилась?

– Двоюродной сестрой.

– Ну вот. Зачем же вы его зовете? Воскресить ведь он ее не может, согласитесь сами! И удовольствия никакого не получит – только расстроится зря. А в наше

время и так всякий пустяк человека расстраивает. Значит, приезд его бесполезен, – я вам докажу больше: он вреден! Первое: человек бросает дела и летит сюда черт знает зачем. Ему ущерб. Второе: железные дороги и так забиты пассажирами. Зачем же ему еще увеличивать это? Своим телом он отнимет место у человека, которому, может быть, действительно неотложная необходимость ехать. Посмотрим дальше: приезжает он сюда. Если остановится у вас – стеснит вас, в гостинице – и того хуже. И так все гостиницы переполнены. Третье: вы его должны будете кормить. А подумали ли вы о том, что он будет есть запасы, которые пригодились бы для других – коренных жителей нашего города?

– Да, пожалуй, вы правы. Тогда я буду телеграфировать только об овсе.

– Насчет овса у меня тоже есть возражение. Вы предлагаете послать ему десять вагонов овса. А как же мы-то? Как же наши городские лошади, которых кормят ячменем и сечкой. Не лучше ли для них это оставить? Верно? Нет уж, знаете, вы и овес оставьте. Нам он нужнее.

– Гм! Ну, ладно. Тогда я только телеграфирую ему о смерти тетки – и все.

– А вы думаете, что это так необходимо? Что изменится от того, что он узнает не через день, а через четыре о теткиной смерти?

– Да, положим, ничего не изменится.

– То-то и оно. Открытка за три копейки – и все! Результаты те же.

– Да, вы правы. Пойду, напишу открытку.

– Позвольте. Это еще не все. Вы ведь хотели дать телеграмму?

– Да. Раньше хотел, а теперь и сам вижу...

– Правильно. Вы уже ассигновали на посылку телеграммы известную сумму, скажем, три рубля – и вдруг не посылаете. Экономия! Деньги, свалившиеся с неба! Верно? Что же подскажет вам долг гражданина революционной России?

– Не знаю. Что же он мне подскажет?

– Да подскажет очень просто: на эти свободные деньги купите у меня облигацию Займа Свободы.

– А разве... есть облигации по три рубля?

– Положим, у меня есть по пятьдесят, но это все равно. Поехали бы встречать вашего родственника на вокзал, да с вокзала, да кормили бы его – ей-богу, это вы всю сотню сохранили! Берите две по пятьдесят – я вам еще скидку сделаю.

– Да пожалуй что. Ведь эти деньги не пропадут?

– Тю на вас! Не только не пропадут, а еще и проценты будете получать!

– Вот это здорово!

* * *

Гражданин возвращается домой.

– Дал телеграмму? – спрашивает жена.

– Нет, не дал. Я вместо этого Заем Свободы купил.

– Как же это так вышло?

– Да так уж вышло, что я и сам не знаю, как это вышло...

....

Вот что значит – сознательное отношение к делу!

ПРИЯТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

Окружив хлебец трехстворчатым зеркальцем, можно увидеть у себя на столе сразу четыре хлеба.

ИЗ БУДУЩЕЙ ИСТОРИИ

... А потом революция так все перепутала, что митинговые ораторы на аплодисменты обижались, а на пощечины выходили раскланиваться...

НАШИ ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА

В одной из новых оперeток встречается преглупый, чисто опереточный персонаж: долговязый молодой человек, который при встрече с кем бы то ни было задает единственный вопрос:

– Послушайте! Вы на меня не сердитесь?

– За что же мне на вас сердиться?

– Ну, слава богу. Отчего же вы на меня так смотрите?

– Как?

– Так странно. Слушайте, может быть, вы на меня сердитесь?

– Да отстаньте вы от меня – за что мне на вас сердиться?!

– Ну, спасибо. А я собирался к вам.

– Зачем?

– Хотел спросить: не сердитесь ли вы на меня?

Казалось бы, персонаж вымученный, чисто опереточный. Таких в жизни не бывает.

Однако вот нет же! Бывает.

Он тут же, в Петрограде, этот растерянный человек, с виноватым лицом, мечущийся из одного посольства в другое с вековечным вопросом на устах:

– Вы не сердитесь?

Это министр иностранных дел Терещенко.

Хороши иностранные дела, нечего сказать: вся политическая деятельность человека только в том и заключается, что бегать и за всех извинятся.

Времена меняются: раньше дореволюционный министр натягивал фрак и летел к Бьюкенену извиняться за Булацеля. Теперь революционный министр натягивает фрак же и летит, сломя голову, извиняться за газету «Новая Жизнь».

Бедный Терещенко!.. Виноват ли он в том, что один из сыновей Ноя (Сим и Иафет тут ни при чем) наплодил в России большое потомство и весь цвет этого потомства сконцентрировался, осел в «Новой Жизни»?

Сегодня «Новая Жизнь» обложила предпоследними словами Англию – Терещенко, беги в английское посольство; завтра «Новая Жизнь» обложила последними словами Францию – а ну, Терещенко, сбегай, голубчик, извинись перед французами.

Совсем как у Некрасова:

«Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

Горький ругается, министр бегает, извиняется.

У всякого свое дело в стройном аппарате Российского революционного строительства.

Встал утром Терещенко и, прежде чем напиться чаю, бросился к газетам: за какую нужно ехать извиняться? Все пробежал опытным глазом – слава богу, сегодня сижу дома – ни одна не нахамила. Ф-фу!

Вдруг – телефонный звонок.

Екнуло сердце.

– Алло! Неужели, нужно изви...

Голос:

– ... нятся! Ну, конечно. Сейчас же летите к румынскому посланнику и извиняйтесь.

– О, госссп... За кого?

– За члена Совета Солдатских Депутатов офицера Лобченко.

Во взоре Терещенко привычная тоска:

– Схамил?

– Еще как! В пьяном виде пристал к двум румынским офицерам и избил их.

– Ну ладно. А нельзя ли подождать до вечера?

– Это еще зачем?

– Да, может быть, еще кто-нибудь схамит – тогда бы уж сразу. А то, что ж – все по мелочам.

– Нет, нужно экстренно. Фрак-то... на вас?

– Я в халате.

– Милый! Как же можно? Вы должны быть во фраке с утра, как пожарная лошадь в упряжи. Во всякий момент чтобы могли поскакать.

И скачет...

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

Министр Терещенко. Извиняться едет.

Кто скачет, кто мчится
Под хладною мглой?

Министр Терещенко. Едет извиняться. С поклоном едет.

Сверкнула шашка – раз и два!
И поклонилась голова.

Кланяется министерская голова, извиняясь за всенародное, всероссийское наше хамство, разгильдяйство и глупость.

* * *

Решил разделить с министром Терещенко его обязанности: каждый день буду ходить по всем дружественным посольствам и извиняться, извиняться, до потери сознания извиняться.

Все, что нам остается...

КУРОРТНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ

Арк. Аверченко

Начинается бархатный сезон.

Ввиду этого мы предвидим колоссальное количество странствующих и путешествующих.

Среди них, конечно, будет и достаточное количество иностранцев, кои с русским языком не знакомы или знакомы еле-еле.

Вот для них и составлен автором нижеследующий

Самоучитель простейших разговоров в путешествии по России и на курортах.

В Петрограде. Сборы.

– О, добрый господин, какой ужас! Неужели пожар уничтожил пол-Петрограда?!

– С чего вы это взяли?

– Я взял это, добрый мой господин, из того, что на Конюшенной посреди улицы расположились сто тысяч людей с тюфяками, подушками и домашней утварью. Моя догадка в том, что эти ужасные бедняки – суть погорельцы.

– Не они суть погорельцы, а вы суть идиот! Какой тут пожар? Просто – очередь на железнодорожные билеты.

– О, любезный мой прохожий!.. И мне тоже нужен билет на увеселительную поездку по России, и я тоже встану в сию огромную очередь.

– Становись, становись. Месяца через три получишь, иностранец несчастный.

В магазине:

Мой любезный чемоданопродавец, имеете ли вы один чемодан для одного, который желает ехать?

– Мало ли, кто чего желает!.. Нету чемоданов. Проданы.

– Не позволено ли мне будет осведомиться, о продавец, что вы мне можете предложить взамен чемоданов, но совершенно аналогичное?

– Возьмите круглый футляр для воротничков.

– Так, но он очень мал. Мне нужно помещение такое же, помноженное на десять.

– Ну, вот десяток футляров и берите.

– Не знаю, как и благодарить вас! Однако, очень недоумеваюсь, как же мне всунуть в такую штуку (по-русски: штукенцию) мой суконный пиджак?

– Распорите по швам да и уложите: рукава – в один, стан – в другой! Некогда мне тут с вами – покупатели ждут!

– Я в отчаянии, любезный продавец, что задерживаю вас, но не найдется ли у вас и один также портплед?

– Нету. Берите вместо него две скакалки. Нынче что-то эти чертенята совсем скакать перестали. Из всех дорожных вещей одни скакалки только и остались. А то гамак возьмите. Совсем нынче перестали качаться дачные анафемы. Берите гамак! Все кой-какие вещишки в него увернете.

* * *

В дороге.

– О, мой добрый любезный спутник!.. Уже третий час вы сидите на двух моих собственных ногах.

– Неужто твои? А я думал – энтого армянина, что колбасу жует. То-то он молчит! А ты не протягивай. Тоже, подумаешь, – в третий класс залез да командует. Ехал бы во втором!

– Но второй класс занят солдатами, мой симпатичный сосед!

– Езжай в первом.

– Но первый занят преимущественно и безусловно солдатами и только таковыми. Чудо-богатыри едут.

– Сиди в уборной!

– О, сударь, но все уборные заняты чудо-дезертирами.

– Ну?.. Смехи чистые! Ну, а ежели которому пассажиру понадобится уборная?

– Они ее не получают. На моих глазах, добрый господин, лопнули три пассажира. Это было ужасное, незабываемое зрелище!..

– Да ведь есть же уборные на станциях?

– О, да – таковые уборные есть, но на них есть очередь, и очередь сия достигает площадки нашего вагона и даже заворачивается внутрь вагона. И, когда поезд двигается, – упомянутая очередь разрывается на две части, причем одна часть увозится, а другая тщетно гонится за поездом, оглашая воздух болезненными криками.

Остановка.

– Не позволено ли мне будет спросить, что значит сия непредусмотренная остановка?

– Встречный поезд с солдатиками отпрягает наш паровоз. Домой, вишь, торопятся, так одному-то паровозу их не взять, а другой, вишь...

– Послушайте, добрый господин... Куда тащат эти веселые люди господина в красной шапке?

– А как же! Это начальника станции убивают.

– Любопытно взглянуть на этот старинный обычай...

– Это новый русский обычай. Недавно вошел в моду. Ну, собирайте ваши вещи. Сейчас вас будут выкидывать из вагона.

* * *

Приезд на курорт.

– Мой добрый носильщик! Не соблаговолите ли вы донести до извозчика этот один чемодан?

– Пятнадцать рублей дашь – донесу.

– Но, мой дорогой друг, – ведь вся стоимость чемодана с вещами не превышает указанных вами пятнадцати рублей.

– Тогда и брось его здесь. Чего ж таскать зря.

– Но ведь донести только из вагона до извозчика!

– Мало ли! За морем телушка полушка, да рубль перевозу.

– Бог с вами, неприветливый носильщик. Желаю вам, чтобы вы умерли в самое близкое время от какой-либо мучительной болезни.

– Иди, иди, пока не попало.

– ... Здравствуйте. Имеет ли ваш отель одну свободную комнату для моего у вас жилья?

– Чего захотел! Много вас, охочих на комнату, найдется. Все заняты.

– Но, может быть, в другом отеле найдется?

– И в другом занято, и в третьем!

– Ванная? Биллиардная? Курительная?

– Еще чего выдумал! Доверху набито. Оно, конечно, можно бы в кухне на печке спать. Днем-то она топится, а к вечеру, глядишь, повара расходятся, и спи себе на здоровье.

– Имеются ли нехорошие клопы в этой уважаемой кухне?

– Где же это видано, чтобы в кухне да клоп жил? Не такое это место. Таракан, действительно, имеет пристанище, да ведь он смирный. Ни тебе укусить, ни тебе белье попортить.

* * *

В ресторане.

– Добрый хозяин! Что это за скандал произошел в том углу? Кажись, бьют какую-то посуду, режут и калечат друг друга?

– Никак нет. Это военный оркестр играет.

– Имеете ли вы, хозяин, более хорошее мясо? Ибо это дурно пахнет.

– А вы бы спали при открытом окне...

– Но что же общего, дорогой друг, между дурно пахнущим мясом и открытым на ночь окном?

– Откройте на ночь окно – насморк получите. Получите насморк – никакого запаха в мясе не будет.

– Гм! А что это за симпатичный господин, который бьется там на полу в истерике?

– Это ничего-с. Бывает. Счет им подали.

– Да вы бы ему виски спиртом помочили.

– Слушаю-с. За спирт пятнадцать рублей – с вас прикажете получить?

* * *

Лечение.

– Любезный заведующий ваннами! Я взял одну лечебную ванну, но вода в ней была так грязна, что я взял вторую ванну. Но и эта вторая не менее грязна. Имеется ли здесь какой-либо исход из этого?

– Возьмите третью ванну.

– Но если она таковая же?

– Тогда постарайтесь высохнуть. Засохшую же грязь легко счистить с тела платяной щеткой.

* * *

В конторе отеля.

– Добрый консьерж! Там у вас в саду висит какой-то курортный житель.

– Как висит? Сняли, ведь, уже. На каком дереве висит?

– Если меня мои скромные ботанические познания не обманывают, на липе.

– А того – с акации сняли. Это, значит, другой. Жив еще?

– Синий и холодный.

– Тогда пусть висит. Побольше наберется – сразу снимем.

....

От издателей:

Вот те несложные обычные разговоры, которые придется вести всякому иностранцу, собравшемуся на русский курорт.

Да будет ему, доверчивому, земля пухом!

В СТРАНЕ ПОШЕХОНЦЕВ

(Как по собственному желанию устроить митинг)

Неопытный человек твердо уверен, что для устройства митинга нужно пройти много испытаний и принять на себя уйму хлопот: установление цели митинга, организация президиума и руководителей, выбор соответствующего помещения, публикации о митинге и, вообще, целый океан разной утомительной возни.

Ничего этого не нужно.

Теперь такое удивительное, такое замечательное время, что всякий простой, обыкновенный человек при желании может в любое время и в любом месте устроить очень недурной митинг с прениями, голосованием, резолюциями и проч.

Как же это сделать?

Вот:

Идете вы по улице. Навстречу вам идет господин, лицо которого показалось вам симпатичным. Вы останавливаете его и просите спичку. Закуривая, замечаете вскользь:

– Дорогое это нынче удовольствие – спички.

– Да, – приветливо улыбается владелец спичечной коробки.

– Воображаю, сколько они будут стоить, когда немцы явятся в Петроград.

– Что-о? – взвизгивает прохожий. – С чего вы взяли, что немцы придут сюда?

– Конечно! Если принять во внимание, что некоторая часть «безответственных политиков» стремится уронить в глазах всей России Временное Правительство...

– Ваше Временное Правительство буржуазно!

– А я вам говорю – оно единственное может вывести страну из создавшегося положения!

– Ваше правительство – кучка капиталистов! Русский пролетариат...

Теперь, если вы в этот момент оглянетесь, то увидите, что вас уже окружило человек десять, как магнитом, притянутые словами: капиталисты, Временное Правительство, буржуазия, пролетариат...

С этого момента уместно впервые воскликнуть:

– Товарищи!

Это, так сказать, официальное открытие митинга, его легализация в глазах окружающих.

– Товарищи! – громко говорите вы. – Когда наш подгнивший царизм пал и члены Государственной Думы, в полном сознании ответственности момента...

– Неправда! – кричит из-за чьей-то спины подошедший большевик, – ложь!

– Что неправда? Что ложь?!

– Все неправда, товарищи! Пока наша зажиревшая буржуазия не будет раздавлена пятой пролетари...

– Не перебивайте оратора!!

С этого момента вы уже оратор.

Оглянитесь: вас окружает не десяток любопытных прохожих, а человек триста сознательных, пылающих огнем и живой мыслью граждан.

– Прошу слова, – говорит матрос.

Около вас вырастает студент с записной книжкой и карандашом. Он деловито кивает головой и осведомляется с самым озабоченным видом.

– Ваша фамилия? Кузякин? Хорошо. А вы Лимонов? Слово предоставляется товарищу Кузякину.

– Товарищи!! – уверенно говорит Кузякин, будто бы он всю жизнь только и делал, что говорил перед тысячной толпой. – Товарищи! Тут кто-то сказал: «Долой войну»! Так может говорить только враг России. Мы, матросы, никогда не допустим немцев посадить нам нового Вильгельма на шею, и в полном единении с товарищами солдатами...

– Не видно оратора! Пусть встанет на тумбу!..

– Тумбы нет.

– Бери скамейку, которая под воротами. Тащи! Вот так.

– Господин председатель! Запишите и меня оратором.

....

Теперь вы, единолично затеявший и организовавший этот тысячный митинг при пособничестве владельца спичечной коробки, можете спокойно уйти. Митинг плавно и стройно будет протекать и без вас.

Сами собой выйдут из окружающей скамейку тысячной толпы громоподобные ораторы, постучат по собственной груди кулаками, завопят: «Товарищи!» – и уже без вашего участию будут вынесены какие угодно резолюции – вплоть до: «Вся власть Совету грузчиков Калашниковской биржи!»

СЛАВА – ДЫМ

По улице идет знаменитая своими танцами балерина Кшесинская.

Прохожий. – Вот идет знаменитая Кшесинская!

Другой прохожий. – А чем она знаменита?

– Ну как же: тем, что в ее доме жил Ленин.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I. Так было...

... Корабль остановился на расстоянии одного кабельтова от острова и спустил шлюпку, в которую села часть экипажа.

Не успела шлюпка пристать к песчаному берегу, как из пальмового леса показалось несколько десятков нагих дикарей, приближавшихся, очевидно, с самыми мирными намерениями.

И, действительно, когда обе группы – белых моряков и черных дикарей – сошлись, закипела самая оживленная меновая торговля: в обмен на ножи, куски красного кумача, нитки грошовых бус и маленькие зеркальца туземцы наперерыв предлагали слоновую кость, сочные душистые плоды, жареную дичь, шкуры диких зверей и даже слитки золота.

И чаще всего случалось так, что драгоценный слиток или шкура пантеры шли за бутылку плохого рома, нитку бус, за ножик, стоивший несколько пенсов.

II. Так есть...

В Рязани крестьянка запрашивает за гуся 6-8 рублей, но тут же охотно уступает его за 4 фунта сахару.

В Тифлисе индейку, стоящую 12 р., предлагают в обмен на 10 фунтов сахару.

В Челябинске...

В Астрахани...

В Вологде...

И. т. д. – одно и то же.

III. Так будет...

На солнечной стороне Невского проспекта, почти против здания Городской Думы, наблюдалось оживление.

Толпа народа сновала во все стороны, кипела и бурлила как крутой кипяток в котле.

– Барыня! Покаж-ка курицу!.. Что хочешь за нее?

– Муки бы мне. Три фунтика.

– Эва! Это где же я тебе возьму муки, ежели я есть извозчик?

– Ах, ты извозчик! Ну, тем лучше! Отвези ты меня, значит, извозчик, к Покрову, там подождешь часик, потом на 7-ю линию, потом поедем на Николаевский вокзал, – вот тебе за это и будет курица.

– Маловато, барыня. Прибавить надо.

– Ну, что ж я тебе прибавлю, чудак?

– Пару яичек накиньте или соли полфунтика.

– Соли у меня нет. Разве, вот что... Эй, мальчик! У тебя что? Соль? Хочешь, за фунт соли я тебе куриную ногу оторву?

– Извольте, барыня.

– Ну, значит, и хорошо. Таким образом, ты, извозчик, хотя курицу и без ноги получишь, но вместо полуфунта соли – фунт соли.

– Пож-жалте, садитесь! Ну, ты, милая, трогай!..

* * *

– Послушайте... У вас, кажется, стеариновые свечи? Хотите меняться?

– А у вас что?

– Стихи у меня. Сам сочинил... Хорошие.

– Ну вот, тоже, важное кушанье – стихи! Гвоздей нет?

– Откуда же у меня гвозди, если я поэт? Да стихи очень хорошие – возьмите, а? Звучные. За полсвечки – 48 строк «городской лирики».

– Ну вас!

– Стихи-и, стихи-и! Кому нужны хорошие стихи?

– Позвольте представиться: редактор. Покажите ваши стихи... Гм! Мне нравятся. Могу меняться.

– А у вас что?

– Спирт. Хотите за полстакана?

– Не пью. Свечечку бы мне.

– Ага! Это мы сейчас... Эй, ты, свечкопродавец! Хочешь свечу за полстакана спирту?

– Наливай!

– Видите, как замечательно сложилось: вот вам, г. поэт, свеча, мне ваши стихи, а тебе, свечник, – спирт. Пей на здоровье!

* * *

– Мадам! Что можете предложить?

– Хи-хи... Хотите, я поужинаю с вами?

– То-есть, вы меня угощаете ужином?

– Нет, не я вас, а вы меня. Я согласна с вами поужинать за тот флакон духов, который у вас в руках.

– Это я же тебя, значит, и ужином корми, да я же тебе еще и духи отдавай? Ловкая ты, я вижу.

– Ах, какой вы педант!

* * *

– Судя по дощечке на твоей груди, ты доктор? Осмотри меня, голубчик. Чивой-то у меня хрипы, опять же – унутре сверлит и к горлу подкатывает.

– А что дашь?

– Пару резиновых калош. Идет?

– И две коробки спичек. У меня нет.

– Заметано.

– Раздевайся.

* * *

– Ах, какая у вас чудесная индейка!

– Могу меняться, барышня. Что предложите?

– Что же я могу предложить?.. У меня ничего нет. Я – балерина. Могу станцевать.

– Какая фамилия?

– Карсавина.

– Это хорошо. Это очень даже хорошо – Карсавина. Только за целую индейку одних танцев мало. Еще бы что-нибудь. Вы с Шаляпиным знакомы?

– Да. Вот он стоит. А что?

– Вот ежели он будет мне петь, а вы в это время плясать, то я вам на двоих одну индейку пожертвую.

– Что ж делать... Федор Иваныч, согласны?..

– Не в голосе я нынче, да уж индейка больно хороша. Пополам разделим. Гони индейку, старик.

– Стой, стой! Не сразу начинай. Спервоначалу мы народ пораздвинем. Микешка! Ты у меня за пару рябчиков будешь контролером и билетером. Пущай православная публика

тоже слушает. Только это уж, брат, не даром: с кого бери коробку спичек, с кого полено. Первый ряд за четверку табаку идет...

– Послушайте... Но это уж антреприза получается!

– Наплевать! Индейка такая, брат, штука, что за нее многое множество товару снять можно.

* * *

– Что это у вас, сударыня?

– Полное собрание сочинений Шекспира.

– Что просите?

– Четыре куска сахару.

– Извольте. Я вам сейчас сахарок в бумажку заверну.

– Да ты мне в какую бумажку заворачиваешь?!.. Ведь это радужная.

– Не извольте беспокоиться, сударыня – она чистенькая. А оберточной под рукой нет.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

Дурак красному рад.
Народная мудрость.

Один антиквар сказал мне:

– Вы не можете себе представить, до каких размеров дошло сейчас увлечение стариной: все старинное, все, что сделано из фарфора, фаянса или красного дерева, всякое полотно, более или менее удачно и даже неудачно покрытое масляной краской – все это покупатель как бешеный отрывает с руками.

– Откуда же появилось столько знатоков? – спросил я с благоговейным удивлением.

– Знатоков? – он тонко усмехнулся. – Если вы называете знатоком человека, не отличающего Императорского фарфорового завода от Сакса и думающего, что Веджвуд – голландский художник, то теперь этакий знаток сидит на этаком же знатоке и этаким же знатоком погоняет. Хм! Тоже вы скажете: знаток!

Умный человек из всякого пустякового разговора вынесет что-нибудь полезное.

Или, точнее: ловкий человек из всякой устрицы вытянет жемчужину.

Вот моя жемчужина: я решил торговать старинными вещами.

* * *

– Здравствуйте! Это вы публиковали о продаже старинных вещей?

– Да, – печально вздохнул я, глядя на покупателя глазами огорченной газели. – Жалко, знаете ли, расставаться с теми вещами, которые украшали замок моего деда, но... обстоятельства выше нас. И когда кредиторы, мосье, хватают вас за горло, – до старинных ли тут вещей?

– А у вас вещи действительно старинные? – тоном заправского знатока спросил покупатель.

В разрезе с тоном, глаза его бегали по потолку робко и с тоскливым недоумением. Видимо, он побаивался меня, опытного старого антиквара.

– Вы спрашиваете, старинные ли у меня вещи?! Господи помилуй! Стариннее этих вещей, пожалуй, только и будет Дворец Дожей и мюнхенская Пинакотека.

– Что-о?

– Пинакотека. Статуя такая. Найдена Ахероном при раскопках в Элизиуме.

– И все вещи у вас... красного дерева?

– Помилуйте! Дерево до того красное, что невооруженному глазу даже не верится!

– А фарфор у вас есть?

– Я славлюсь своим фарфором, мосье.

– Настоящий?

– Самый настоящий. Красного дерева.

– Фа... фамильный?

– Ну конечно! Кузнецовский. Это вам не какой-нибудь там Императорский фарфоровый завод – безо всякой фамилии! Нет-с, у меня на каждой чашке фамилия: М.С. Кузнецов.

Он поднял на меня робкие испуганные глаза:

– Покажите...

– Извольте видеть: чашка из настоящего, обожженного через двойную закалку, фаянса. Настоящий Кузнецов.

– Старинная?

– Чашка-то? До безумия.

– А чего ж она такая... целенькая? Я видел у знакомого старинные чашки, так у них у всех отбитые ручки.

– А вы, видно, паренек понимающий, – заметил я одобрительным тоном, от которого он расцвел, как роза. – Сейчас видно знатока. Позвольте мне эту чашку, я вам сейчас принесу другую, именно вашего сорта.

Я деликатно взял из его дрожащих рук чашку, бережно понес ее в соседнюю комнату, отбил о край стола ручку и, завернув чашку в китайскую папиросную бумагу, осторожно вынес все это сооружение моему покупателю.

– Извольте видеть! Эта, без ручки, конечно, подороже, но... мне так не хотелось с ней расставаться!. Искупят ли какие-нибудь полтораста рублей горечь разлуки с этим родовым сокровищем?..

– Вы говорите: полтораста?

– Это не я говорю, мосье... Это горе мое говорит... Я бы не отдал ее и за тысячу.

– За полтораста я бы ее взял.

– Еще бы вы ее не взяли! Я думаю. Теперь: как вам понравится эта штукенция?

Я сдернул салфетку с безрупорного граммофона и торжествующе поглядел на покупателя.

– Видели ли вы что-либо подобное?!

– Неужели это красного дерева?

– Вы же видите.

– Но... «оно» черное...

– Фанеровано через огонь. Тройной шерлак. Замечаете, сучок какой? Теперь уже так не делают.

– Старинное?

– Двести лет, мосье. Два столетия, так сказать, пронеслись надо головой этого чудесного ящика. Безрупорный, двухпружинный. Теперь уж так не делают!.. Машина убила индивидуальность мастера. Обратили внимание на ручку?

– Д... да... Обра... тил.

– Настоящая сталь. Двойная закалка! Бессемер. Прабабушки наши, в фижмах, с ног до головы покрытые мушками, вертели эту ручку! Очень фамильная вещь.

– Дорого, я думаю, стоит?

– Для вас? Я знаю, в какие руки он попадает! Восемьсот.

– А... дешевле нельзя?

– Помилуйте! Теперь такой самый ящик – новый – вы в любом магазине купите за полтораста! А что толку?

– Положим, это верно, – задумчиво сказал он. – Заверните. Еще что есть?

– Картинами интересуетесь?

– Старинные?

– О, dolce mio! Пятьсот лет от роду и ни одного седого волоса! Поглядите!!

– Что... это... такое?

– Настоящая олеография!

– Ну, уж и настоящая, – скептически усомнился покупатель. – Теперь столько подделок развелось.

– Только не у меня, мосье! Если это не настоящая олеография – обязуюсь вернуть вам деньги! Sancta mandarina Allegretto! Эта картина украшала стены тронного зала моих предков... Где-то они теперь...

В тяжелом раздумье голова моя опустилась на грудь... Покупатель благоговейно молчал, любуясь «Ночью на Босфоре»...

– Жаль только, что рама не красного дерева.

– А кто вам сказал? Поскоблите позолоту, и на вас глянет самое настоящее дерево! Как говорится: поскоблите русского – получится татарин.

– Сколько стоит?

– Милостивый государь! Если я вам скажу, что это – настоящая олеография, и что рама тоже настоящая, и что художник умер, создав этот уник, совершенно бездетным, то неужели цена в 800 рублей покажется вам высокой?

Он тихо вздохнул:

– Заверните. Что у вас еще есть?

Кажется, что у меня больше ничего не было. Впрочем, нет! На подоконнике лежала какая-то котиковая шапка. Я схватил шапку в руки и, восторженно размахивая ею перед глазами совсем впавшего в гипнотический транс покупателя, бешено заревел:

– С сердцем! С сердцем и печенками отрываю я эту вещь от себя!.. Пер-Гюнто! Эвоэ! Санта-фе де Богота!.. Берите эту шапку, которой и цены нет! В это самой шапке, по легенде нашего замка, Иоанн Грозный пронзил острым жезлом ногу Курбского! Помните?

Князь Курбский от царского гнева бежал
В минуту душевной невзгоды.
Злой чечен, ползя на берег, точит свой кинжал.
А годы проходят, все лучшие годы!

Это не стихи, милостивый государь, а шипучее благородное вино! Настоящий старинный Пушкин! Полторы тысячи за шапку давайте, или...

– Неужели она такая старинная, – вдруг расцвел покупатель. – Вот не подозревал. А я-то купил ее в Москве, в шапочном мага...

– Как, – купили?! Разве это ваша?

– Ну да. Нет, вы серьезно говорите, что она старинная?

– Абсолютно и безусловно.

И пока он, сияющий, расплачивался за чашку, граммофон и олеографию, я стоял перед ним и мучительно терзал себя мыслью:

– Зачем я не вывернул шапку наизнанку перед тем, как показывать? Тогда он бы не узнал ее, толстое дубовое бревно красного дерева!

* * *

Однако, все-таки ничего.

Пока Петроград постепенно сплошь покрывается лесом этого безмозглого красного дерева, под его сенью много умных людей найдут уют, тепло, стол и дом.

УМНЫЕ И ГЛУПЫЕ

Новакович поглядел на меня крайне сочувственно.

– Что это у тебя вид такой... угрюмый?

– С квартирой совсем измучился. Нет квартиры.

Новакович поглядел на меня с откровенным изумлением:

– Чтобы в Петрограде! Да не было бы! Да квартиры! Никогда я этому не поверю.

– А если не веришь, так найди, – горько улыбнулся я.

– Хорошо. Тебе... одну квартиру нужно?

– Десять! Ну и нахал же ты! Нахалом был, нахалом и остался. Ты мне хоть полквартиры найди, и то в ножки поклонюсь.

Он решительно встал с места.

– Едем!

– Куда?!

– Смотреть квартиру. Если она тебе не понравится – скажи прямо. Покажу другую.

– Да у тебя что их – сотня?!.

– Сотня не сотня, но... сколько знакомых, столько и квартир.

– Ну, поедем.

– Подожди, я только позвоню. Центральная? 244-59. Здравствуйте, Михаил Семеныч!.. Что новенького? Уезжаете?!. В Ростов? Квартира ваша, значит, освобождается? Как обещали?! Да вы им не сдавайте квартиры – они жулики. Что? Ну, что ж, что за полгода вперед! Мало ли, какие у них деньги... Может, краденые, а номера в милиции записаны. Наплачетесь потом. Гм... да. А вы почему именно в Ростов едете? Жизнь дешевле? Вздор, вздор! Где же теперь жизнь дешевая? Что? Арбузы по двугривенному? Быть не может! Извозчик за конец – рубль? Ну, извозчики – еще не все... Вы сами понимаете, что главное это – хлеб. Эти ужасные очере... Как нет очередей? Не наврали ли вам?.. Ну, прощайте – ничего не поделаешь. Все-таки, могли бы раньше мне о квартире сообщить, чем сдавать ее каким-то авантюристам!..

Новакович повесил трубку и отошел от телефона, задумчивый.

– Провалилась квартирка? – спросил я.

– Нет, не то. Да и квартира-то, правду сказать, далеко от центра. Нет, я думаю этих фруктов иначе использовать. Ну, едем.

* * *

Когда мы позвонили у чьего-то подъезда, Новакович предупредил:

– Я скажу, что ты мой дядя из Ростова. Молчи и слушай.

– Да зачем же? Неужели без этого нельзя снять квартиру?

– Молчи и слушай. И, пожалуйста, не умиляйся сердцем и не жантильничай. Помни, что человек человеку волк.

Передняя моей будущей квартиры произвела на меня самое выгодное впечатление.

– Барин дома? И барыня дома? Прекрасно. А ну, Агафья, скажи им, что Новакович пришел. Что? Можно войти? Здравствуйте, дорогой дружище! Здравствуйте, Евгения Николаевна. Мы к вам на минуточку. Мой дядя из Ростова – познакомьтесь. Ну, голубчики, – новостей! новостей! Девятьсот тысяч. Уф-ф! Упарился, бежамши к вам... Слышали?

– Что такое? – забеспокоились хозяева дома.

– Неужели ничего не слышали? – удивился Новакович, подталкивая меня локтем.

– Да, да, – неопределенно пробормотал я. – Совершенно невероятные вещи.

– А что такое? Что именно?

– Да, такое, – свеся голову на грудь и, очевидно, не зная, что ему сказать, угрюмо забубнил Новакович. – Такое, что и сказать тяжело.

– Вы нас пугаете!..

– Ничего не поделаешь. Я ваш друг и должен говорить прямо и открыто самые тяжелые вещи.

– Да, – подхватил я. – Лучше сказать, чем... этого... скрыть.

– То-то и оно. Ну-с... так слушайте: хлеб.

– Что – хлеб?

– Хлеба в Петрограде осталось всего на три дня. Об этом я узнал от уполномоченного по управлению хлебной секцией продовольственных запасов рынка внутреннего потребления.

– Вот тебе раз! – ахнули обескураженные хозяева.

– Именно – это раз. А вот вам и два: большевики вооружили рабочих, и через несколько дней начнется поголовная резня буржуев.

– Этого не может быть! – в один голос простонали хозяева.

Новакович оглядел их со снисходительным сожалением.

– Не может быть? А если я имею сведения от уполномоченного по Спасскому району Комитета для резьбы буржуазных и торгово-промышленных слоев населения? Он даже указал срок: 27-е.

– 27-го, в два часа дня, – подсказал я с завидной точностью.

– Совершенно верно. В некоторых районах в два, в некоторых в три с половиной.

Бедные хозяева, закусив нижние губы, молча глядели друг на друга.

– Впрочем, может быть, этого и не случится, – утешил Новакович. – Даже почти наверное.

Хозяева облегченно вздохнули.

– Серь...езно?

– Ну, да! До этого не дойдет. Мне сообщил уполномоченный контрразведочной секции воздушного наблюдения над взрывами, что еще 25-го город будет в 7 местах взорван немецкими агентами. Еще с 9-го заложены в главных частях города 34 ящика с особым взрывчатым веществом –тринитроментолом.

– Что меня больше всего ужасает, – бормотал я, глядя прямо перед собой скорбными глазами, – так это то, что вся работа делается немецкими руками... Все мы знаем, как искусны и точны немцы в таких делах.

– Но ведь в таком случае, – сказал хозяин, робко поглядывая на нас, – из Петрограда нужно бежать без оглядки!

– Легко тебе сказать – бежать, – возразила хозяйка. – А где мы возьмем билеты? Да и куда бежать? Что мы, вообще, знаем? Где спокойно?

– В Ростов езжайте, – равнодушно процедил Новакович. – Вот мой дядя только что оттуда. Говорит, там недурно.

– Недурно? – подхватил я. – Замечательно! Хлеба сколько угодно! Арбузы – рубль сотня. Извозчики – наисовестливейший народ! Не вы от него в подворотню прыгаете, чтобы не платить, а он от вас. «Стану я, говорит, со своего же брата-русского деньги брать! Дайте двугривенный лошадку покормить – мне и довольно». Драматический театр замечательный. Газеты такие, что не оторвешься.

– Но там, говорят, неспокойно? – робко заметил хозяин.

– Конечно, неспокойно! А знаете, почему? Среди ночи вас может остановить милиционер и пристанет к вам с расспросами: «Отчего вы грустный, да, может быть, вас кто-нибудь обидел, да, может быть, вам что-нибудь не нравится, так он дескать заявит по начальству, и все это будет исправлено. Прямо пересаливают в своей нежности. Вот это единственное неудобство и есть.

– Хороший город. Да как же нам поехать, когда все билеты на 9 месяцев вперед распроданы!

– Зачем вы обижаете Новаковича? – тихо начал Новакович, и голос его действительно задрожал от обиды. – Да если бы вам потребовались билеты в Йокогаму – и то Новакович из-под земли достал бы их.

– Новакович! – закричал я, простирая к нему дрожащие руки. – Племянник! Достань им билеты! Неужели ты допустишь, чтобы эти добрые люди погибли тут?!

– Успокойся, дядя, – сказал Новакович, утирая слезу дрожащей рукой. – Я все сделаю: и билеты им в Ростов достану, и – больше того – квартиру их сдам! Подсуну какому-нибудь дураку – пусть его тут разорвет на куски или пусть раньше подохнет с голоду! Едем! Через час ждите меня с билетами, а пока – понемногу укладывайтесь!

* * *

Когда мы вышли, Новакович лукаво поглядел на меня и спросил:

– Подошла квартирка?

– Изумительно! Где бы им только билеты достать, этим дурацким пуганым воронам?

– Едем к Михаилу Семенычу! У него есть билеты.

* * *

– Ф-фу! Как пуля летел к вам! С ужасом думал – не уехали ли?

– Нет, мы завтра едем. А что случилось? У вас очень встревоженное лицо...

– Еще бы не встревоженное! Сейчас собрал точные и подробные справки о вашем этом Ростове.

– Ну и что?

– Волос дыбом! Мозги в потолок! Это не город, а гнездо убийц и грабителей!

– Ну уж и гнездо грабителей...

– Не верите? Дядя! Расскажи!

Я опустил голову и прошептал со слезами в голосе:

– Слишком долго рассказывать... Была семья, были детки... Где все это теперь? Ну пусть бы резали взрослых, а то – что им сделали дети, эти ангелы Божии?..

– А что случилось?

– Увольте меня от подробностей. Так тяжело...

– Погромы, – пришел на помощь Новакович. – Два раза в день – погром!

– На главных улицах – три раза, – подсказал я.

– До того опасно стало показываться на улицах, что извозчики дерут по 50 рублей за конец. Разграбленные магазины закрылись, и в городе голод. Хлеб – 7 руб. фунт! Днепр вышел из берегов и улицы залиты во...

– Дон, – подсказал я.

– Ну, Дон. От этого там не суше.

– Милиция режет тех, кого еще не дорезали большевики.

– Однако, – сказал нерешительно хозяин. – И здесь, в Петрограде, не сладко. Хлеба нет...

– А какой это вам идиот сказал? – всплеснул руками Новакович. – У меня есть знакомый, заведующий центральной станцией секции производства грузовых хлебов, так он за голову хватается! Куда они мне, говорит, столько муки навезли?! И так девать ее некуда! Плачет, бедняга.

– А вот, говорят... большевики собираются выступать...

– Боже, боже! Где вы живете? В городе или деревне?! Неужели вы не слышали о тайном соглашении Правительства с большевиками? Лозунги: «Вся земля помещикам! Да здравствует буржуазия! Война до победного конца, с аннексией Галиции и Познани и контрибуцией в 18 миллиардов марок!»... На днях С.Р. и С.Д. сам распускает себя за ненадобностью. Здорово?

– Здорово-то здорово... А вдруг немцы придут в Петроград?

– Конечно, придут. Но знаете, когда – не раньше 1 июля 1919 года. Мне член И.К.М.У.Ч. говорил. А он знает!

– Кто?

– Член Б.М.С.У.Д.У. Им все известно, с точностью до одной недели.

– Значит, вы советуете оставаться в Петрограде?

– Михаил Семеныч! Да в уме ли вы?! В такие дни – и вдруг ехать в этот жуткий Ростов?!

– А как же... Уже билеты взяты...

– Михаил Семеныч... (в голосе Новаковича задрожали слезы непритворной обиды)... Я, кажется, не давал вам права сомневаться во мне. Где эти билеты? Вот эти? Сколько? Получите чистоганчиком – безо всяких сказок и торгов. А я уж постараюсь какому-нибудь дураку всучить их!..

Едем, дядя!..

* * *

Когда я обнимал Новаковича и тискал его в объятиях, он улучил минутку и шепнул мне на ухо:

– Может, что-нибудь тебе из обстановки нужно? Ты скажи – дешево устрою!

Золотая голова! Я его особенно люблю теперь, в наш нервный век, когда расплодилось столько дураков...

БЕСТОЛОЧЬ

Может быть, все вокруг меня – умные, понимающие люди, и только я один бестолковый.

Предположим.

Но почему же в 1912, в 1913, в 1914 году я не был бестолковым? По крайней мере, я сам не замечал этого... Почему?

Ведь не могло же быть так, что жил-жил себе человек и был рассудительным, толковым... Вдруг в один прекрасный день лопнула внутри какая-то нежная пружинка, и – с треском и шумом ввергнулся человек в пучину бестолковости.

Разберемся.

* * *

Будний день. Подчеркиваю это. Сумерки. Подчеркиваю и это. Тихая, дремлющая Офицерская улица. Это подчеркиваю даже преимущественно.

Бреду по этой улице и вдруг вспоминаю, что мне нужно купить для двух именинниц конфет.

А! Кстати, вот и конфетный магазин. Недоумеваю: чего он тут открылся, в этом дремлющем закоулке Петрограда? Наверное, пустота, и окоченелые от бездействия приказчицы сонно бродят из угла в угол.

Захожу и наталкиваюсь на очередь.

Правда, очередь внутренняя, не выходящая за пределы магазина, но это, пожалуй, еще хуже. Все равно как внутренний нарыв в теле человека. Снаружи все ничего: гладкая кожа, нормальный вид, а внутри идет страшный воспалительный процесс, а внутри накипает и сгущается зловонный гной, который вот-вот отравит исподтишка весь организм.

– Позвольте мне две ко...

– Встаньте в очередь.

– Ах, это очередь? Я не заметил.

– А вы думали, что же это такое? – ехидно спрашивает обгрызенный нуждой чиновник.

– А я думал, что у собравшихся здесь настолько красивые затылки, что все не могут глаз от них отвести: столпились и застыли так в немом восторге.

Одну минуту меня смущала мысль – не бутафорский ли это хвост? Не нанял ли хозяин всю эту толпу для демонстрирования бешеного успеха его конфетных изделий?

Но нет. Публика как публика. Стоят и тупо, уныло ждут своей очереди. Жду и я. Наконец:

– Что вам угодно? – устало спрашивает меня продавщица.

– Две коробки по два фунта шоколада.

– Нельзя.

– Ну, рояль мне дайте.

– Какой рояль?

– Да раз в конфетном магазине нет конфет, так, может быть, рояли есть. Или велосипеды. Дайте со свободным колесом.

– Конфеты есть, но мы больше фунта на человека дать не можем.

– Ну, ничего не поделаешь. Дайте две коробки по фунту.

– Я же вам русским языком говорю, что больше фунта на человека дать не могу.

– О, великий, могучий, свободный русский язык! К счастью, на нем же говорю и я. И вот на этом чудесном языке и говорю: хорошо! В таком случае дайте мне две коробки по фунту.

– На каком же это основании?

– А на таком: вы даете фунт на человека. Так как эти конфеты получат два разных человека – вот, значит, вы по фунту и дайте.

– Мы отпускаем покупателям, а не каким-то там незнакомым людям.

– Я счастлив считать себя вашим знакомым, но, барышня, я только передаточная инстанция: вы мне дайте две коробки по фунту, и я, клянусь вам, не съем из них ни кусочка, а честно передам обе коробки двум здоровым, взрослым, правоспособным женщинам. Неужели вы хотите, чтобы я привел их с собой? Ну зачем вам?

– Вот какой вы, ей-богу, странный.

– Барышня! Будь у меня всего одна именинница, я не был бы странным. Но войдите вы в положение каждой из двух. Вспомните, о, добрая барышня! Ведь и вы были когда-нибудь именинницей! И вас радовало каждое скромное дружеское приношение...

В голосе моем послышалось предательское дрожание.

– Будьте добры не разговаривать!

– Ну, времена! Даже в конфетном магазине нельзя говорить... На улице с большевиками не разговаривай, на столбцах газет не разговаривай, – где же тогда можно разговаривать?.. Барышня! Заклинаю вас: дайте два фунтика!

– Получите фунт и отходите. Не видите разве – очередь.

– Вижу, мерси. Милая барышня! А если я сделаю так: получу этот фунт и встану снова в очередь, как новый человек, этакий homo novus.

– Если я увижу у вас в руках этот фунт, то другого не дам.

– А если я спрячу коробку под пальто?

– Я могу вас по лицу узнать.

– Откажете?

– Откажу.

– Позвольте... А если у меня в кармане борода, синие очки и рыжий парик? Я в углу напялю на себя все это и подойду снова – тогда дадите?

– Да, если вы будете как новый, тогда дам.

– Так-с. Резюмируем все это: для того, чтобы женщина получила в подарок фунт конфет, я или должен привести ее самое, оторвав от гостей и семейных обязанностей, или должен иметь в кармане фальшивую бороду, синие очки и запасную шапку.

– Ишь, черт, разговорчивый! – крякнул кто-то сзади завистливо, с примесью злобы и удивления.

Толпа яростно загудела, зарычала... Так всегда бессмысленная толпа рычит на пророков.

– Еще понятно, если бы, – продолжал я, – конфеты были предметом первой необх... ....

....

Свежий, морозный, уличный воздух охватил меня.

* * *

Вниманию безработных шпиков: «Покупаю фальшивые бороды и черные очки. Явка с черного хода. Адрес, конечно, известен».

НОВАЯ ВЛАСТЬ

У входа в Смольный:

– Стой! Кто идет?! Застрелю!

– Что вы, что вы, господин красногвардеец... Я с самыми мирными намерениями. Мне нужно видеть господина Троцкого, министра иностранных дела.

– Раздевайся!

– Простите, ваше высокородие, господин красногвардеец!.. вот, извольте, – бумажник, часы...

– Осел! Что я – грабитель, что ли? А обыскиваем мы всех приходящих потому, чтобы бомбу не протащили. Очень наши министры этого не обожают.

– Это правильно. Кому охота. Так разрешите пройти, ваше сиятельство?

– Ну, ступай, бог с тобой. Как увидишь этакого чернявенького с бородкой – тут тебе и будет министр.

* * *

– Господин Троцкий? Я к вам с просьбой...

– С просьбой?! Ур-ра! Товарищи министры! Идите сюда все! Смотрите: уже население признало новую власть и обращается к ней за помощью... Садитесь, товарищ. Папиросочку? Чему могу?.. Будьте уверены, что все, что бы вы ни попросили, организованный пролетариат и армия сделают для вас...

– Заграничный паспорт мне нужен...

– Великолепно! Министерство иностранных дел выдаст вам его.

– Только мой здешний паспорт в комиссариате...

– Это пустяки! Товарищ Абрам! Распорядитесь – взвод солдат с примкнутыми штыками, чтобы окружить комиссариат. На помощь взводу – броневик и пару пулеметов. Окружить здание комиссариата бесшумно и.. тово.. Потре-

бовать у них паспорт этого доброго человека!! В случае отказа – приступить к военным действиям!

– А как же мне потом заграничный паспорт получить?

– Это мы сейчас! Товарищ Мирон! Взвод солдат на квартиру чиновника, ведающего выдачей паспортов. Окружить, арестовать, привезти на грузовике в министерство.

– Но там, на паспорте, кажется, нужна подпись старшего чиновника.

– Это плевое дело! Товарищ Агафон! Взвод солдат, пулемет на подкрепление, окружить, арестовать, выставить, доставить, заставить.

– А я вижу, у вас огромная власть.

– Ну как же! Именем народа.

– Один вопрос: не могли ли бы вы также развести меня с женой? Надоела ужас как.

– О, сущие пустяки! Взвод солдат, примкнутые штыки, пулеметы, броневик, колючая провол... Товарищ Филимон, распорядитесь!

– Ну, пойду. Прощайте. Кажется, налево?

– Подождите. Сейчас два взвода красногвардейцев покажут вам дорогу...

ПАРТИЙНОСТЬ

– А вы за какой список в Учредительное голосовали?

– За № 6. Я очень обожаю папиросы под названием «№ 6».

ОДНО К ОДНОМУ

Ночью, на улице.

– Господин, нет ли у вас спичечки?

– Пожалуйста.

– Дайте уж, кстати, и папироску.

– Нате.

– Ах! Они у вас в портсигаре? Дайте уж заодно и портсигар.

– Кар-раул...

– А-а! Зубы на золоте? Вынимайте и зубы!

ГОРОДОВОЙ НА НЕВСКОМ

Бывшему городовому Луке Сапогову жилось неважно. С самого начала революции, когда он прятался на крыше пятиэтажного дома с пулеметом и десятком консервных коробок для пропитания, и до последних дней – Лука чувствовал себя очень неважно.

Дел никаких не было, сбережения растаяли, а дороговизна все росла и ширилась. Одно время Лука собирался даже поступить в большевики, но потом раздумал – беспорядок ему не нравился.

* * *

Май месяц.

Лука Сапогов сидел на корточках перед сундуком и уныло перебирал свою носильную рухлядь: пиджаки с продранными локтями, брюки с протертыми коленками, летнее пальто, совершенно истлевшее, и поддевку – сплошь в заплатах и дырьях.

И вдруг сердце его екнуло: в самом низу сундука он наткнулся на полный наряд городового, – шинель, фуражка, штаны, – все это, спрятанное им как можно тщательнее, – тогда, в те дни, когда он вернулся с крыши...

Грустно оглядел Сапогов эти остатки былого величия – все было новехонькое, крепкое, и, увы, – все это никуда не годилось.

* * *

Июль месяц...

Снова сидел Сапогов перед сундуком на корточках и снова еще печальнее перебирал все эти полуистлевшие тряпки.

Все так износилось, что на улицу неловко показаться...

А! Вот он опять, этот проклятый костюм, – новенький, совсем с иголочки.

Да уж его-то не наденешь, не рискнешь. Выйди-ка на улицу – тебе покажут...

А впрочем... Впрочем, может быть, и не покажут?

Нет, нет!

Сапогов отогнал от себя соблазн и шумно захлопнул крышку сундука.

* * *

Сентябрь месяц...

Подкрадывались холода. И снова продрогший Сапогов перебирал в сундуке полуразваливающуюся рухлядь, и снова рука его нащупала новенькое сукно форменной шинели.

– А пожалуй что, можно и надеть, – мелькнуло у него в голове. – Не убьют же! Ну, помнут маленько, – и то едва ли...

Нет, нет!..

* * *

Ноябрь месяц...

В это холодное дождливое утро Сапогов снова, в сотый раз, открыл заветный сундук.

И – то ли уж очень ему было холодно, то ли он очень осмелел, – но, поколебавшись с минуту, надел Сапогов шинель и фуражку, подпоясался для безопасности шашкой, прицепил кобуру с наганом и – вышел на Невский...

....

– Смотрите, братцы, – городовой!

– Ну чего там врать. Откуда ему взяться?

– Истинный крест! Вот стоит на углу, – шинель, фуражка, шашка – все по форме!

– И вправду! Товарищи! И вправду городовой старого режима! Чудасия. Подойтить ближе, посмотреть...

– Постой, и я! Дозвольте, господа, протиснуться, на городового посмотреть...

– Давно не видел? Ну, гляди: вот он, в натуральный рост.

– А, действительно, в его фигуре есть что-то.

Сбегались отовсюду:

– Братцы! Правда, тут где-то городовой? Покажите, пожалуйста!

Уж большая толпа бурлила и кипела около Сапогова.

По старой привычке Сапогов с достоинством оглянулся и вдруг зыкнул солидно:

– Ну, вы тут! Не скопляйтесь! Осади назад!

Проходивший мимо господин в каракулевой шапке вдруг приостановился, и лицо его приняло умиленное счастливое выражение, – будто бетховенская музыка коснулась его уха:

– Городовой распоряжается! Давненько я не слышал...

Все застыли, зачарованные, загипнотизированные.

– Ты, извозчик! – заорал вдруг Сапогов совершенно машинально. – Пра-в-во! Не знаешь, какой стороны держаться, черт желтоглазый!!!

– Ура, братцы, – завопил извозчик. – Городовой есть. Вот он – тута!

Это было сигналом. Толпа окружила городового, многие жали ему корявую лапу, некоторые плакали.

Взятку ему дайте, – хлопотал кто-то. – Как же так, без взятки, можно? Обязательно – взятку. На, голубчик, бери!

Подошел пьяный. Увидел городового, расплакался.

– Господин городовой! Жажду тебя! Который уже месяц грезил... Хожу пьяный который месяц, и некому меня в участок предоставить. Веди, отец наш!

Его оттолкнул рабочий:

– Ваше благородие, господин городовой! Так же нельзя. Как мы на трубочном заводе допреж работали, действительно, по два с полтиной, то большевики, как сказать, уськают да уськают – повышайте да повышайте... Винти, дескать, вверх! Уськали они, уськали, винтили мы вверх, винтили, до 30 целковых в день навинтили и вдруг – стоп! Лопнул завод, и есть мы теперь на улице. Обратите же ваше такое внимание, господин городовой. Нешто ж можно большевикам давать такую волю, чтобы они уськали? Через кого ж мы теперича голодаем?

– Р-разойдись, – кричал строго и зычно Сапогов. – Как так можно скопляться?!.. Ты, торговка яблуками! Рази можно на Невский вылезать с твоим паршивым товаром! Геть отсюда! П-шла ты, с яблуками!

– Какое такое ты имеешь право меня гнать, – закричала торговка. – Нынче, брат, революция, слобода!

– Чего-о, – зарычал Сапогов, топорща усы. – Это тебе такая слобода, чтобы Невский засаривать? Мы тебе для того слободу дали? А ну, пошла со своими яблуками!

Носком сапога он сбил корзину с тротуара на мостовую.

– Ишь, черт, – ворчала баба, собирая грязные яблоки. – Сказал бы словами, я бы и ушла, а то, вишь ты, ногой, как жеребец, лягается.

– Словами! Нешто вы, дьяволы, слова понимаете? Пока вам по загривку не съездишь – никакого у вас понятия до слов. Вы, военные кавалер, который с консервами, – идите

отсюдова подальше. Что? Иди, иди, – а то я тебе поговорю. Ты кто? Ты дворник? А у тебя как улица подметена? П-шел за метлой! Я вас всех, скотов, чистоте научу.

– Эт-то чего такое? Кого бьют? Вора? Не трожь его, анафема! В участке разберут. Не трожь, гадина, а то я те... Съел! Веди его, братцы. Стой, мотор! Стой, который быстро едущий! Я те покажу! Я твой номер запишу. Чего-о? Совет Рабочих Депутатов? Да хоть там разрабочих. У меня главное – порядок! Дворник! Мети. Ваш паспорт, господин! Не скопляйся, вы, ироды! П-шел, который с папиросами!

* * *

И тут толпа разделилась на две части.

Одна часть в ужасе разбежалась с Невского, растекаясь по более отдаленным улицам и переулкам, крича:

– Шабаш, братцы! Контрреволюция! Городовой белой палкой машет, дворники подметают улицу, торговок с Невского прогнали, извозчиков заставляют правой стороны держаться! Погиб наш Интернационал без аннексий и контрибуций.

А другая часть публики окружила городового Сапогова плотнее, подняла его на руки, и сотня голосов крикнула:

– Братцы! Выберем его заместо правительства! Наше правительство только беспорядок делает, а этот знает, чего хочет!

Тут же выделили из своей среды депутацию.

Подошла робко депутация к Сапогову, бухнулась ему в ноги и закричала в истошный голос:

– Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет. Приинди княжить и володеть нами.

– Ладно, – проворчал в усы Сапогов, втайне польщенный. – Только у меня, главное, чтобы не скопляться!

* * *

Все, что я рассказал выше, конечно, сон. Он приснился мне.

Но мне бы больше хотелось, чтобы он приснился не мне, а всей России, которая тяжелыми сапожищами топчет свободу в грязь...

БИРЖЕВИКИ

– А, здравствуйте, Бучкис. Входите... Замерзли? Сколько градусов?

– 18.

– Ну, хватили! Даю 14.

– Беру 16.

– Заметано. Ну, садитесь в это семисотрублевое кресло, закуривайте эту двухрублевую сигару и говорите, как дела. Ну, что слышно с коломенскими?

– Слушайте! Как вам уже не надоели эти самые дела. Все дела да дела... Неужели у вас нет разговора хоть на полчаса о какой-нибудь высшей материи?..

– А вы знаете... – задумчиво прошептал хозяин, глубоко вздохнув. – Ей-богу, вы правы. Иногда так хочется отойти от этих проклятых дел, подумать о чем-нибудь высшем... Вы знаете, Бучкис, что я больше всего ценю на свете: любовь, природу и искусство.

– И вы совершенно правы... Например, любовь. Кстати, как поживает ваша многоуважаемая Леля?

– Э! – снова вздохнул лирически настроенный хозяин. – Сказать вам правду? Я ей недоволен!

– Изменяет?

– Что значит – изменяет? Если бы изменяла – так это бы ничего. Что это – меня касается, что ли? Это ее касается. Так выходит гораздо хуже! Вы знаете, Бучкис, за что я ею недоволен? Она меня не разоряет!

– Ну? Что значит – не разоряет?

– Понимаете, – скорбно сказал хозяин, – не разоряет! Что это за любовница, которая не разоряет?! В чем же тут шик? Если ты моя любовница, так какое твое должно быть занятие? Разоряй меня! А она – понимаете? – не разоряет. Я уже думаю дать ей отставку... Хотите я вам признаюсь: она мне в этот месяц двухсот рублей не стоила! При моем общественном положении это прямо неудобно. Не разоряет себе и не разоряет.

– Послушайте, – деликатно заметил Бучкис, – а может быть, она вас любит?

– Что это еще за любовь? – брезгливо поморщился хозяин. – Что это за любовь? Что я, развратник, что ли? Нет, это все глупости. По-моему, вы знаете, что человеку должно

быть дороже всего? Природа. Мне больше всего нравятся места в Донецком бассейне. Вы можете себе представить, Бучкис – перед вами степь! И она вся покрыта горками! И на этих горках травы нет! Понимаете? Ни черта нет травы! Просто все эти горки по склонам покрыты черными и желтыми полосками – черными и желтыми! Это прямо-таки замечательно!

– Что тут красивого? Получается не степь, а какая-то полосатая полицейская будка.

– Много вы понимаете! Вы знаете, что такое эти черные полоски? Это пласты угля, вылезшие наружу. Так вы знаете, если такой участочек задешево купить, да произвести изыскания, да устроить пару шахточек, да акционировать эту штуку, да потом выбросить акции на биржу, да пустить слух, что шахты залиты водой, да опять скупить их обратно... Э, что там говорить! Я вам скажу: самое лучшее в мире – это природа-мама.

– Ну, не скажите. Искусство тоже замечательная штука! – тонко заметил Бучкис.

– Кстати, об искусстве! Вы, Бучкис, понимаете что-нибудь в лесе?

– Слава богу! У отца был дровяной склад, так чтобы я не понимал в лесе!

Ну, вот я и хочу спросить вас, как специалиста... Купил я вчера картину, где нарисован лес...

– Ага! Картина большая?

– Вот такой высоты с рамой.

Бучкис задумчиво поджал губы и после некоторого колебания сказал веско:

– Вот такая? Понимаю. Картина стоит 500 рублей.

– Пятьсот?! А вы бы посмотрели, сколько там деревьев. И вы знаете, какие деревья? Дерево к дереву! Отбор. «Пятьсот рублей...». Хорошие пятьсот рублей, если там полдесятины одного леса, не считая двух коров.

– Так она тогда стоит тысячу!..

Бучкис затянулся сигарой, замурлыкал что-то и потом осведомился:

– А, кстати, чья эта картина?

– Что значит – чья? – удивился хозяин, – моя.

Долго молчали, задумчивые, разнеженные тишиной и зимними лиловыми сумерками.

– Что я все о себе да о себе, – спохватился деликатный хозяин. – Расскажите что-нибудь и о своем семействе. Ну, как поживает ваша жена?

– Она нездорова. Позавчера у нее было 38, вчера 39½, а сегодня маленькое падение: уже 37 с половиной.

– Падение? – оживился хозяин. – Так чего же вы держите? Продавайте!

СТРАНА РЕЗОЛЮЦИЙ

... Выяснилось, что преступник был страшным негодяем: он продавал немцам военные планы России, под его предводительством обезумевшие солдаты убивали лучших своих офицеров, и, кроме того, он единолично устроил два взрыва пороховых заводов, от чего погибло около трех тысяч человек.

И, когда следствие изобличило его во всем этом, суд единогласно вынес постановление:

– Смертная казнь.

* * *

Казнь, хотя была и не публичная, но обставили церемонию очень торжественно: кроме палача, его помощника и караула, состоящего из взвода солдат, присутствовал прокурор, два представителя от Смольного Правительства и три – от Совета Крестьянских Депутатов.

Было туманное утро... Преступник, ведомый конвоем из четырех надежных солдат, был совершенно спокоен и даже улыбался – развязно, презрительно и нагло.

Когда преступника возвели на эшафот и прочли приговор, он взмахнул рукой и сказал:

– Прошу слова!

– Нет, – возразил прокурор. – Теперь уже нельзя. Вы могли говорить раньше, на суде.

Но в это время из шеренги солдат, составлявших караул, вышел один солдат и удивленно сказал:

– То есть это почему же нельзя?! Слава богу, у нас не царский режим, чтобы закрывать рты! Сейчас свобода слова. Говорите, товарищ!

– Товарищи! – сказал осужденный. – Знаете ли вы, кто судил меня? Весь суд состоял из мелкобуржуазных капиталистов, инспирированных империалистами союзных держав,

а следователь – я знаю это – тайный кадет и корниловец. Товарищи! Демократия должна сама сказать мощное слово, она должна сказать: прочь руки от творцов и вдохновителей интернаци...

– Правильно! – сказал один конвойный.

– Прошу слова, – воскликнул другой.

– Не перебивайте оратора, – загудели голоса.

– Товарищи! Неужели же вы признаете решение нашего контрреволюционного, антидемократического суда обязательным для вас и...

– Прошу слова! – опять сказал конвойный.

– Говори!

– Товарищи! Что может быть омерзительнее и ужаснее человека, который берется за то, чтобы повесить проповедника и борца за интернационал? И поэтому, товарищи, я предлагаю выразить палачу недоверие.

– Прошу слова, – сказал палач.

– Говори! Пусть говорит товарищ палач.

– Товарищи! Я протестую против огульного осуждения всех палачей, потому что я такой же революционер, как и вы, и, если революционный народ возложил на меня эту печальную обязанность, я обязан перед своею совестью...

– Говорите по существу, – перебил осужденный.

– Я и говорю по существу. И я прошу, даже более того, – требую, товарищи, чтобы вы вынесли резолюцию, которая утвердила бы законность моих действий. Надеюсь, вы понимаете, что лучше лишить жизни одного вредного человека, чем потерять тысячи полезных жиз...

– Я лишаю вас слова, товарищ палач, – перебил осужденный.

– А на каком основании, товарищ взрыватель пороховых заводов?! – запальчиво перебил палач. – Что вы, председатель, что ли?

– Председателя, – зашумели голоса.

– Выберем председателя!

Выборы прошли быстро – в какие-нибудь полчаса. В президиум попал и сам осужденный – в качестве секретаря собрания.

Но тут обнаружился печальный раскол в среде трех членов Совета Рабочих и Солд. Депутатов: один, эсер-меньшевик, требовал немедленного исполнения казни, другой (эсер-ин-

тернационалист) предлагал затребовать у правительства объяснений, а третий (большевик) предлагал освободить осужденного, а на место его повесить палача, как прислужника и агента контрреволюции.

С возражением против третьего мнения выступил барабанщик, но так как он стал с первых же слов говорить не по вопросу, требуя перехода всей земли трудящимся без выкупа, то его лишили слова.

Не по вопросу же, но очень красиво говорил представитель ротного комитета. Он говорил, что революционная армия уже сорганизовалась и что ей уже не страшны никакие немецкие шпионы и никакие взрывы пороховых заводов, а поэтому он от имени своей роты требует вторичного опубликования тайных договоров.

Но председатель вернул прения в настоящее русло, поставив на разрешение два вопроса: 1) о дальнейшей судьбе осужденного 2) о дальнейшей судьбе палача.

Когда выяснилось, что ⅔ голосов – за исполнение приговора суда и только одна треть против, осужденный, взявший на себя кроме секретарских и функции товарища председателя, предложил проверить голосование путем выхода в двери.

Так как дело происходило во дворе тюрьмы, то за отсутствием дверей постановили голосовать выходом в ворота. Голосовал и президиум.

Результаты голосования оказались те же, но когда хватились товарища председателя (он же осужденный), то его не оказалось.

Выяснилось, что он голосовал выходом за ворота впереди всех, но назад в эти ворота не вернулся даже сзади всех.

После недолгого совещания оставшиеся члены президиума постановили вопрос об осужденном снять с очереди и заняться только судьбой палача.

Здесь разногласий почти не было...

Резолюция:

«Вследствие того, что революционный народ добыл себе 28 февраля свободу вовсе не для того, чтобы топтать ее насилиями над свободными гражданами, а также вследствие того, что палач Демочкин упустил переданного ему для исполнения приговора осужденного, собрание постановило заключить Демочкина на три месяца в тюрьму.

Да здравствует самоопределение наций!»

СИЛА ПРИВЫЧКИ

– Почему автор выходит на сцену, когда ему свистят?
– По привычке: он бывший околоточный надзиратель.

ДОБРАЯ ДУША

– В ваш глаз попало насекомое? Я сейчас позову нашего старого профессора.
– Да разве он поможет?
– Может, и нет, но он собирает насекомых.

ЧУДО ПРИРОДЫ

В школе.
– Кто твой отец?
– Я не могу этого сказать… Мне запрещено.
– Но это необходимо!!
Ученик мнется:
– Ну, знаете, папа… он… женщина с бородой на ярмарках.

ГИГИЕНИСТЫ

– Послушайте! Одолжите мне вашей зубочистки.
– Да-а… А вы вернете?

РУССКОЕ…

(Посвящается тысячам и миллионам дураков, ослов, кретинов, остолопов и пр. уважаемых граждан).

– Слыхали?
– А что?
– Ужасная, потрясающая новость: немцы прорвали итальянский фронт и обрушились всей своей силой на Италию!
– Ну вот! Вы, тоже, скажете – «ужасное». При чем же мы тут? То – Италия, то – Россия. Это, браток, нас не касается.

* * *

– Ну, теперь-то ваше сердце должно содрогнуться. Слышали?

– Нет. Я дня три не читал газет. Некогда, знаете. То да се.

– Рига взята!

– Это такой немецкий город?

– Кусок вы собаки! Не немецкий был это город, а наш. А немцы его заняли. Неужели и это не прошибет вашу толстую шкуру?!

– Ругаться-то, знаете, тоже не особенно красиво. При чем тут – прошибет – не прошибет, если я – одно, а Рига – другое. Мало ли у нас городов. Ну, Ригу, скажем, отдали – остается еще Самара или там Мелитополь.

* * *

– Ну, вот вам! Дождались!

– А что?

– Минск и Двинск взяли у нас немцы.

– Теперь? А мне казалось, что они раньше у нас их взяли.

– Казалось? Знаете, говорят: чтоб не казалось – нужно перекреститься. Взял бы я сейчас орясину да перекрестил вас, как следует! Неужели вас не беспокоит, что немцы уже вторглись в Россию?!

– Это что... верст двести от нас?

– Четыреста!!

– Ну вот видите. Чего же загодя беспокоиться.

* * *

– Эй, ты! Собака! Немцы уже в Бологом.

– Ну, где Бологое, где Петроград! Как говорится – где имение, где Днепр!.. Нечего зря и ахать.

* * *

– Караул! Под Петроградом уже стрельба! Идут немцы.

– Не вошли же еще – чего ж там вопить как зарезанному.

* * *

– В Петрограде немцы! Уже взяли Варшавский вокзал!

– Тю на вас! Чего ж там волноваться: Варшавский вокзал от меня на таком расстоянии, что извозчик двадцать рублей дерет.

* * *

– Опомнитесь! Уже стреляют на улице Жуковского!

– То Жуковская, а то Бассейная! Я – на Бассейной. Где имение, где...

– А чтоб ты лопнул!

* * *

– Ваш дом занимают! В квартиру Петяхина уже ворвались и самого Петяхина расстреляли!

– Ну, то квартира Петяхина, а то моя, знаете... И, вообще, – Петяхин хам, взяточник и меня не касается.

* * *

– Ужас! Немцы сейчас расстреляли вашу жену!!

– Ф-фу! От сердца отлегло. Хорошо еще, что не меня... вот была бы штука.

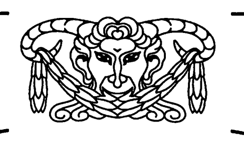
– Б-бац!

– Ой, что это? В меня стреляют? В живот попали. Хорошо еще, что в живот, а то, говорят, в висок если попасть, так – конец! Капут. Ой!.. болит, однако, животишко.

* * *

Надгробная надпись:

Здесь зарыта собака.
Так тебе и надо.



ИЗ ЖУРНАЛА "БАРАБАН" (1918)

в дни содома и гоморры

В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ!

(Монополизация объявлений)

Ввиду того, что так называемый совет так называемых народных так называемых комиссаров запретил всем газетам печатать частные объявления, а коммерческая и трудовая жизнь страны без объявлений немыслима – редакция «Барабана» хочет указать компромиссный выход из этого положения...

Вот:

– Газеты должны подсовывать читателям объявления в тексте так незаметно, чтобы так называемые комиссары не придрались, а объявитель чтобы все-таки мог осведомить почтеннейшую публику, о чем он хочет.

Пример:

ГАЗЕТА «СВЕРЧОК».

Ежедневный орган, выходящий в Петрограде, а не в Москве, как, например, «Русское Слово», которое тоже принимает подписку по адресу: Москва, дом Сытина, годовая плата такая-то.

Передовая.

Большевики, опираясь на штыки несознательных солдат и ружья красногвардейцев, продолжают терроризировать страну. Обыватель поэтому нервничает, и только пилюли

против нервности и малокровия «Танго» (требуйте подпись изобретателя А. Фридкин) – еще кое-как спасают его. Многие граждане просто бегут из Петрограда. Но куда ехать? Разве только на курорт «Будьте здоровы» на берегу Черного моря – чистый воздух, прекрасные виды, курзал, библиотека, симфонический оркестр, за справками: здесь, Морская, 100, Петру Дымкину... Да! Ужасное время мы переживаем!

Телеграммы.

Ростов. – Около Ростова разобрано железнодорожное полотно. Обыкновенное полотно, наоборот, не разобрано, и его можно получать в магазине Чегонадова, Гостиный двор.

Винница. – Произошел взрыв порохового погреба. Чем вызван взрыв, неизвестно. Известно только, что в цирке Чинизелли взрыв аплодисментов вызывает неутомимый Жакомино. По субботам гоуд-волей и рандеву ту Петроград.

Фельетон.

Анатолию Кукушкину понадобилась кухарка. Нацепив на нос очки, купленные у оптика Бурхардта, и усевшись в уютное кресло (Братья Тонет, вход с Невского, большой выбор), наш Анатоль развернул газету «Луч» – с Нового года принимается подписка – и стал читать объявления:

«Кухарка», – читал он, – полубелая, спросить Б. Сампсоневский, 102, кв. 7.

Вошла жена.

– Мы пойдем сегодня в Троицкий театр, где идет «Саломея» с Тамарой в главной роли, билеты можно получать в кассе театра?

– Подожди, я кончу, – сказал Анатоль. – Возьми пока почитай журнал «Новый Сатирикон», объявляющий с Нового года подписку, две ценных премии, рисунки раскрашены в несколько красок, адрес: Невский, 88.

И Анатоль погрузился в чтение газеты:

– «Фотография «Рекорд», – читал он. – Московская, 37, с любовью снимаю детей». Нет, это не то. И зубной

врач М. Ривкин, Ямская, 5 – тоже не то, хотя и золотые коронки, и пломбирование...

Но, пока он читал, к жене приехал на велосипеде «Рудж», шины Дэнлоп, друг дома Николай Усачев, одетый в кашне из магазина Гуляева – перчатки, галстуки, дамское и детское белье – по умер. ценам.

....

Хроника.

На Разъезжей ул. едва не пострадал конторщик Михаил Флякин, ищущий вечерних занятий, знает бухгалтерию, имеет рекомендации. Письменно: Дутов пер., 7.

Чудеса загробного мира. В квартире апт. Крысиса вдруг появились духи. Есть французские и английские. Большой выбор Коти, Герлена, Пивера...

Убийство. Всякий, кто хочет убить время, пусть идет в кавказский погреб «Гулим-Джан».

* * *

Товарищи редакторы газет! Совет народных комиссаров надувает всю Россию! Неужели мы не можем надуть Совет народных комиссаров?!

ПРОГУЛКА ПО ПЕТРОГРАДУ

Вы, конечно, знаете, господа, что нынче без оружия шагу нельзя ступить... И жизнь человеческая стоит копейки три.

Утром жена провожает солидного мужа на прогулку:

– Все взял? Носовой платок, портсигар, револьвер?...

– Взял. Платок надушила?

– Надушила.

– Портсигар папиросами набила?

– Набила.

– Револьвер зарядила?

– А я не знаю, какой сегодня возьмешь! Наган, браунинг?

– Ну вот, с наганом еще таскаться – мне нынче недалеко. Кстати, завтра я на Петроградскую сторону по делу

еду – перемени в пулемете ленту. Да сейчас к браунингу положи запасную обойму – а то вчера не хватило.

– Да ведь кинжал был?

– Ну, на кинжале далеко не уедешь. Так я пошел. Завещание в левом ящике комода. Коле до совершеннолетия – ни копейки, слышишь?

* * *

Через минуту господин – на улице.

– Извозчик, вы свободны?

– Куда?

– На Невский.

– Шашнадцать рублей.

Господин выхватывает револьвер из кармана.

– А это видел? Или пять рублей, или пуля между глаз.

– Эх! – крякает извозчик. – Ну что я тут с одним финским ножом сделаю. Ничего не попишешь – ваш козырь старше: пож-жалте!

Приехав на Невский, господин начинает прогулку.

– Ах, какая интересная дамочка... Сударыня! Разрешите мне выразить вам чувства...

– С умы вы сошли, – испуганно кричит барыня. – Тут мой муж... Ваня, Ваня! Вот этот незнакомый господин ко мне пристает...

– Негодяй! – вскрикивает Ваня и, выхватив револьвер, стреляет в господина.

– Разве так стреляют? – презрительно говорит господин. – Вот как нужно стрелять: бац!

Ваня падает. Господин расшаркивается перед барыней.

– Мадам! Вы свободны. Из вас получается препикантная вдовушка. Не желаете ли проехаться к «Медведю» – помянем покойника. Шофер! Вы свободны?

– Занят.

– Заняты? Ну, мы вас сейчас освободим... Бац!

– Ничего, сударыня, не беспокойтесь. Я сам умею править мотором. Садитесь.

– Вечер-рняя газ-зета!

– Стой, мальчик. Давай газету. Сдачу с пяти рублей... Нет? Ну, как же быть?.. Разве, так... Бац!

* * *

Приехали к «Медведю».

– Есть кабинеты?

– Все заняты.

– Ничего, устроимся. Ведите в кабинет, где народу поменьше. Этот?

Всего двое? Нет, как говорится, того положения, из которого нет выхода.

Бац, бац!

– Очистите, пожалуйста, кабинет, освежите от дыма. Майонез из рябчиков, почки сотэ, крем-д'асперж, котлеты-даньон, груша буриньон, кофе.... ....
....

– Отчего ты ничего не ешь, моя дорогая?.. Грустно? Э-э, вот этих слез я уже не люблю... Что? Мужа жалко? А впрочем, кончим эту историю – мне еще к зубному врачу надо... Бац!!!.. Человек, счет.

* * *

У зубного врача.

– Доктор принимает?

– Принимает. Только очередь есть большая. Семь человек.

– Большая? Ну, это пустяки. Мы ее уменьшим. Где они, эти несчастные?

Бац! Бац! Бац! Бац! Бац!

На выстрелы выбегает зубной врач.

– Какая это свинья моих пациентов перестреляла?! Вы? Как? Лишить меня заработка? Так на ж тебе! Бац!

Господин падает.

– Глаша! Отыщите в кармане этой падали карточку с адресом и отвезите домой. Скажите Сидору, что прием продолжается.

* * *

Возвращение домой.

– Ваш?

– Наш.

– Получайте. Еще тепленький.

– Дышит?

– Какое. У нашего зубного врача рука верная.

– Барыня, барина привезли. Насквозь.

– Допрыгался!

– Надо бы в комиссариат заявить!

– С ума ты сошла! Дура. Ночью во дворе зароем. А то в комиссариате узнают, что умер, – продовольственную карточку отберут!..

ВВЕРХ ОЗВЕРЕНИЯ

– Самый жестокий способ самосуда пришлось видеть мне...

– Какой?

– Поймали на улице какого-то убийцу и заставили его прочесть от начала до конца газету «Правда».

– Звери!!!

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ

– А вы подчиняетесь декрету народных комиссаров об уборке льда и снега?

– Еще не решил. Окончательно этот вопрос думаю решить к июлю.

ВЕЖЛИВОСТЬ

В Смольном:

– А что вам тут нужно, товарищ?

– Будьте любезны сказать мне, не в Смольном ли я нахожусь – в этом Пантеоне ума, революционных доблестей и таланта?

– Да-да. Это Смольный.

– И не имею ли я счастье видеть перед собой многоуважаемого комиссара по производству обысков – блестящего революционного деятеля, рыцаря без страха и упрека?...

– Гм, да. Я комиссар. Садитесь, пожалуйста.

– И не вами ли был написан – очень умно и сжато – этот прекрасный исторический документ, – ордер на производство обыска у гражданина Ватрухина?

– Да-да. Мною, мною.

– И не вы ли прислали ко мне на чудесном грузовом автомобиле десяток молодых, мужественного вида рыцарей-красногвардейцев – сих, поистине, драгоценных жемчужин во фригийском колпаке русской революции?

– Да, я. Это я послал.

– И не по вашим ли точным, кристально ясным и строго деловым распоряжениям действовали эти мужественные исполнители сурового, но прекрасного революционного долга?

– Да-да. По моим распоряжениям.

– Так верните же мне, черт вас подери, мой золотой портсигар, который эти ваши жулики во время обыска у меня стянули!!!

ОБЪЯСНИЛ

– Рѐбе! Откуда известно, что праотец Авраам носил ермолку?

– Осел! Пора было это уже знать! Ведь Бог сказал Аврааму: «иди и скажи народу моему...» Ну? Так разве Авраам пойдет без ермолки?

СМЕШАНИЕ ЯЗЫКОВ

(У портного)

– Я зайду к вам завтра и примерю.

– Ой, пожалуйста, извините, так что завтра магазин закрыт.

– Почему?
– Потому что Сретенье Господне.
– А вам-то что?
– Так что я иду в синагогу слушать нового кантора.

СТРУЖКИ

Цветы и клопы пахнут сильнее всего при умирании.

Физический закон: всякое тело, лишенное поддержки, падает, за исключением женского тела, которое падает – именно приобретя поддержку.



РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ (1917-1918)

в дни содома и гоморры



ПОЛЬ КВАДРАТОВ

I

Всей своей душой я ненавижу Поля Квадратова, но, не могу ничего с ним сделать.

Буквально ничего.

Я думаю, если бы у меня был свой собственный тигр в клетке и была возможность бросить в эту клетку Поля Квадратова, то он и в этой клетке остался бы сидеть, неизменно и нагло благодушный и совершенно не тронутый тигровыми когтями и зубами.

Почему?

Обычно, конечно, тигр должен был бы слопать всякого человека, попавшего к нему в клетку, но если бы этим человеком оказался Поль Квадратов, у тигра обязательно бы нашлась какая-нибудь отговорка: или у него болели бы зубы, или он только вчера поклялся своему тигровому богу перейти в вегетарианство.

Будь у меня возможность швырнуть Поля Квадратова среди океана с корабля в воду – и тут я не уверен, что, приставши к берегу, я не увидел бы причаливающего сбоку верхом на акуле благодушно и нахально улыбающегося Поля Квадратова...

Всякая нормальная, уважающая себя и порядок вещей акула должна бы слопать плавающего в воде человека, но Полю подвернулась бы сумасшедшая, безумная акула – грязный выродок среди тварей этого сорта. Вбросила бы она Поля себе на спину и поплыла бы к берегу, как мирный ялик береговой стражи с таможенным чиновником у руля.

Я не только не могу насолить чем-нибудь этому проклятому Квадратову, я не могу даже вбить в его тупую, самодовольную голову, что ему просто дьявольски, неимоверно везет – и только везет! Больше ничего.

Ни умения нет, ни сообразительности, ни искусства применяться к обстоятельствам, – одно нелепое, неразборчи́вое в выборе объекта своих благодеяний счастье.

Пробовал я несколько раз вовлечь его в азартную игру, надеясь, что он проиграет, и хоть это горе сделает его самодовольную, блистающую счастьем круглую физиономию осмысленнее.

Он всегда лениво и вяло отнекивался:

– Ну, что ты, что ты. Какой же я игрок... я даже и играть не умею.

– Да ведь пойми ты, игра простая: у кого больше очков. Восьмерка и девятка – самое большее. Десятка уже – ноль, понял? Фигуры не считаются – понял?

– Но у меня и денег сейчас нет. Я не захватил...

– Я тебе дам денег – играй! Потом отдашь.

– Ах, как ты мне надоел, – жалобно скулил и мямлил он. – Ну давай свои деньжишки... Только для тебя и играю, а то, вообще, для меня лично игра – скучища смертоносная.

Я давал ему часть своих денег. И мы играли. И он все время открывал или восьмерку, или девятку. И если у него было два, то нужно бы прозакладывать голову, что у партнера – одно очко. И все мы платили ему свои деньги, которые он наигрывал на мои же сто рублей, и при этом он скулил и ныл, что ему скучно и что напрасно мы его заставили играть.

Рассовывая выигранные деньги по карманам и осыпая нас упреками, уходил, будто так и полагалось.

Он никогда ничем не болел, кроме одного случая, когда у него открылась грыжа. Эта болезнь свалилась на него как раз перед тем, как ему нужно было идти на военную службу. И, конечно, его освободили, а он принял это как должное, и только несколько дней ныл и плакал, что, раздеваясь в воинском присутствии, схватил насморк:

– И когда это кончится проклятая война, – плаксиво говорил он. – Такие жертвы, такие мучения... Верите: по дюжине носовых платков в день выходит!

Чувство юмора не было ему знакомо, все это говорилось совершенно серьезно.

Ненавижу я его.

II

Впервые презрение перешло в острую ненависть вот по какому случаю:

– Еду я на Кавказ, – по обыкновению вяло, без всякого выражения, сообщил он.

– Когда? – удивился я.

– Сегодня вечером.

– А-а... Счастливого пути. Билет у тебя железнодорожного общества или казенный?

– А я еще не знаю. Какой найдется на вокзале, – сонно пробормотал он.

Я отшатнулся от него.

– Как?! В такое время, когда билеты расхватываются за месяц, когда в билетных конторах и на вокзалах стоят хвосты в полверсты, ты хочешь купить билет в день отправления?

– Глупости, – лениво поднял он на меня свои дремлющие глаза. – Какие там хвосты... Одни сказки. Приеду минут за сорок до поезда и возьму билет в кассе, как, вообще, нормально.

– Нормально?! – взревел я, разъяренный его самоуверенностью. – Да дело-то в том, что теперь, во время войны, все ненормально! Дело в том, что каким это образом для твоих прекрасных, выразительных, как оловянная пуговица, глаз по щучьему велению будет билет в то время, когда высшие сановники и большие влиятельные люди должны по неделям ждать очереди?!

– Чепуха, – посапывая своим гнусным носом, усмехнулся он. – Как это так, чтоб не было билетов?

–Ну, вот увидишь! Держу с тобой пари, что с вокзала поедешь не солоно хлебавши!

– Пари я держать не хочу, это все глупости, а не выехать сегодня не могу, потому что подогнал все дела – и здесь, и там, на Кавказе, – к сегодняшнему отъезду. Понимаешь? Как же так можно не уехать?

– Микроцефал ты этакий! Слон с головой страуса! Я нарочно поеду с тобой на вокзал, чтобы увидеть разочаро-

вание на твоей лишенной всякого выражения блиновидной физиономии.

– А... Ты, значит, хочешь меня проводить? Вот это мило с твоей стороны. Ты настоящий друг.

Я глядел на него, не будучи в состоянии вымолвить ни слова: я захлебнулся злостью.

...Приехали мы за полчаса до отхода поезда. Около билетных касс уже не было ни души, потому что билеты на отходящий поезд отъезжающие расхватали за месяц.

Поль Квадратов подошел своей медвежьей походкой к тускло светящемуся окошечку и уверенно постучал в него.

– Что вам, – выглянул заспанный кассир.

– Билет первого класса до Кисловодска. На сегодня.

– У меня есть один, кто-то вернул, но только для некурящих.

– Я и не курю, – самодовольно заявил Поль. – Только чтобы нижнее место.

– Да, это случайно оказывается нижнее. Ваше счастье.

– Какое там счастье, – величественно возразил Поль. – Просто железная дорога должна удовлетворять все требования пассажиров. Позвольте билет.

Ужаснее всего, что, отходя от кассы, он даже не позлорадствовал надо мной. Я думаю, он просто забыл о моих словах, а неслыханное чудо с возвращенным кем-то билетом считал за правило.

Прощаясь, обнял меня, поцеловал и заметил снисходительно:

– Ну, вот и спасибо, что проводил. А то я бы тут скучал один.

Будто бы я приехал именно за тем, чтобы развлечь его!

С этого момента ненависть вошла в мое сердце и свила там прочное гнездо.

III

В феврале я чувствовал себя именинником! Поль Квадратов снял у купца Чердыкина подвальное помещение, сырое и неуютное, под артистическое кабаре, а на другой день после заключения контракта городская комиссия запретила Полю открывать в этом помещении какое-либо театральное дело.

Я чувствовал себя именинником, и если что и отравляло мое бодрое настроение, так это то, что и Поль ходил как именинник.

– Чему ты радуешься? – нервно спрашивал я. – Контракт на помещение у тебя с неустойкой, помещение никуда не годится, а ты сияешь как луна.

– Все к лучшему, – томно улыбнулся он. – Дело в том, что мой компаньон, с которым мы хотели открыть кабаре, оказался жуликом. Слава богу, что я не ввязался с ним в дело.

– Да, но теперь на твоей шее оказывается бесполезное помещение!

– А кто тебе сказал, что оно бесполезное? Оно у меня пойдет под склад.

– Под склад чего?

– А я еще, брат, не знаю. Куплю какие-нибудь товары и положу туда.

И на старуху бывает проруха – счастье на этот раз изменило Полю.

В особенности я почувствовал это тогда, когда Поль с дурацки-таинственным видом зазвал меня к себе и с ужимками и подмигиваниями угостил прескверным шампанским какой-то неведомой марки:

– «Тэт-Руж».

– Что это за слякоть? – ядовито спросил я.

– Нет-с, не слякоть. Это, брат, французское шампанское. Ты знаешь, почем я его купил? По 4 рубля бутылка.

– А я думал, по полтиннику. Небось, купил целую дюжину этой дряни?

– Нет, что ты, – промямлил он, поглядывая на меня своими оловянными тусклыми глазами. – Что ты! Я купил три тысячи бутылок.

– Ч... что?! В своем ли ты уме?

– Ну, да. А что я, сумасшедший, что ли? Купил по случаю. И теперь, видишь, мой подвал не гуляет! Хи-хи! Пригодился.

– Да ведь ты навязал себе камень на шею!

– Почему? Пусть полежит винцо. Сделается старое – станет лучше. Тогда его и можно продать подороже.

– Эти помои? Ну, знаешь ли!..

Я был счастлив, будто выиграл двести тысяч.

Это было в феврале. А в сентябре содержатель кафешантана купил у Поля весь склад его шампанского (запасы хорошего дорогого шампанского иссякли во всем городе) за 45 тысяч рублей, по пятнадцати рублей за бутылку. Ему был полный расчет, потому что своим клиентам этот почтенный муж продавал вино из-под полы, сдирая за каждую перелитую в кувшин бутылку по сорока рублей.

Рассказывая мне об этом, Поль Квадратов прибавлял:

– Конечно, я нажил на этом тридцать тысяч, но, скажу тебе откровенно, винные операции мне не по душе. Скучное это дело. Нет, понимаешь ли, удовлетворения.

О, как я его ненавижу... Бог мой, как я его свирепо ненавижу.

IV

День радости! День величайшего торжества: сегодня узнал, что жена Поля Квадратова изменяет ему с нашим общим знакомым, преподавателем английского языка мистером Скуба.

О, сытое, самонадеянное животное! Пусть я подлец, пусть мне нельзя подать руки, пусть я погублю хорошую, чудесную женщину, но я таки сделаю тебя несчастным, я таки повергну тебя в пыль и прах человеческого горя и отчаяния, в тот самый прах, в котором копошимся мы все, несчастные простые смертные.

Ха-ха-ха!

– Поль, – ласково говорю я ему, впиваясь взглядом в его одутловатое безмятежное лицо. – Поль! Я тебя очень люблю и поэтому считаю долгом сказать тебе правду... Ты слышишь меня, Поль?

– Ага. Ну-ну. Спасибо. Я люблю, если правда. Говори.

Тихое, безоблачное, ухмыляющееся лицо...

Проклятая бычачья морда! Над тобой уже занесен молот мясника!

– Поль... Мужайся. Верь мне, что мною руководит только дружба, – говорю я воркующе-задушевным тоном. – Поль! Знай, что твоя жена изменяет тебе! Любит другого! И тому есть доказательства! Все доказательства, понимаешь, черт возьми!

Он с криком бросился на меня, больно сжал меня своими медвежьими лапами (ага! наконец-то!), заревел что-

то нечленораздельное и стал осыпать мое лицо крепкими бестолковыми поцелуями.

– Друг... друг, – бессвязно бормотал он, – спасибо! Ты настоящий друг.

– Что такое? Что с тобой?!

По лицу его текли слезы умиления.

– Если бы ты знал, как ты меня выручил, как развязал руки... Дело в том, что я... как бы это тебе сказать... ну... люблю другую... и у нас уже все было условлено, кроме одного – как мне развязаться с навязшей мне в зубах женой. А теперь ты и это устранил. Нет, право, ты – лучший из друзей!

Он не понимает того взгляда, которым я, безмолвствующий, смотрю на него.

Что я еще могу ему сделать?

У меня в кармане лежит щепотка стрихнина, а у него в буфете стоит бутылка красного вина, к которому он изредка прикладывается.

Конечно, я бы всыпал... Но где у меня гарантия, что сейчас же после этого к нему не придет богатый дядя, не выпьет этого вина и не протянет ноги, завещав своему одутловатому племяннику многотысячное наследство?!

О, если бы я знал наверное, что дядя не придет!..

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕЧАТИ

Заметка Арк. Аверченко

В эти огромные, освещенные радостью Красные дни мой рот кривится одной легкой усмешкой в сторону прошлого.

Вы помните?

Тупой упрямый близорукий деспот подходил к гниющей куче старого дрязга и хлама и, порывшись в облаках удушливой пыли, вынимал первое, что подвертывалось под руку:

– Штюрмера

– Трепова

– Протопопова.

И помельче: обломки и обрезки вонючих сальных свечей – Кульчицкого, Хвостова, Маклакова...

Выбрав, плевал на ладонь, стирал пыль и паутину и выставлял перед собой с важным видом авгура:

– Вот вам новый министр.

И мои губы сейчас непроизвольно кривятся в легкую усмешку, когда я вспоминаю, как благоговейно принималось большинство газет разбирать все pro и contra новоявленного сального огарка:

– «Конечно, новый министр намного прогрессивнее ушедшего, но пока он еще ничего не сделал и ему многое предстоит сделать. Вся мыслящая часть общества с надеждой смотрит на него и ждет, что он не пойдет по тяжкому для общества пути его предшественника. Очень значительны слова нового министра: «Я ничего не имею против Думы»: эти слова дают обществу некоторую надежду на появление новой зари на горизонте исстрадавшейся России».

Иллюстрированные еженедельники печатали статьи с фотографиями: как живет и работает министр Протопопов, «рабочий кабинет министра Трепова» и «министр Хвостов со своей семьей и няней его деток».

А венцом всего этого хамского пресмыкания была сакраментальная фраза из интервью с новым министром (на основании этой фразы делалась тысяча выводов): «Я признаю значение печати и в общем отношусь к ней доброжелательно».

Это «многозначительное» заявление министра оживленно комментировалось в сотнях газетных столбцов.

Русская печать! Это твой большой грех.

Тебя похлопывают поощрительно по плечу и обещают относиться снисходительно – кто обещает? Мелкий мерзавец, вор, продажный хам и царскосельский подлец.

И для этого нужны были сотни столбцов?

Одна фраза для этого нужна была:

– Что? Ты относишься покровительственно к печати? Да плевать хотела на тебя вся огромная русская печать! Кто ты такой, мелкий, продажный царский холоп, чтобы осмелиться похлопывать грязной рукой по плечу русскую печать?!

Лапы прочь, гадина!

Конечно, печать не могла этого сказать вслух. Но подумать это она была обязана.

И должна была вместо глупейших и пошлейших интервью с мелким царским выжлятником угрюмо и жестко молчать.

Большой это грех дореволюционной русской печати. Но теперь не время сердиться на нее за это.

Только легкая усмешка кривит мои губы.

– Хе-хе... Он «относится к печати благожелательно». Подумаешь! Счастье какое.

АНАРХИСТЫ? ИЛИ?

Памфлет Арк. Аверченко

Острым хирургическим ножом холодного анализа вскрою я тот вопрос, который за последнее время висел на устах всего Петрограда, Москвы, Елабуги и Козьмодемьянска.

Я отнюдь не собираюсь унижать анархистского учения или злобно высмеивать его – это было бы нехорошо.

Мне только хочется добросовестно в нем разобраться.

Не буду рыться в анархистских программах – зачем? Постараюсь оперировать фактами.

Говорят:

– Видно птицу по полету.

Скажу:

– Видно анархистов по поступкам.

* * *

Если один гражданин едет в трамвае, а другой гражданин запустил руку ему в карман и вынул оттуда кошелек, придав затем своим ногам быстрое поступательное движение, – что должна сделать свободная Россия с таким быстроногим гражданином?

Она должна отыскать его и, по отобрании похищенного, ввергнуть в узилище.

Все с этим согласны?

Все.

Если два гражданина пришли к третьему гражданину и, пригрозив ему самопалом, унесли принадлежащую этому

третьему кровать с постелью и всем прочим, для спанья уготовленным, – как поступит с двумя постелехитителями свободная Россия?

Ясно: оных татей, догнав и ухватив мощной рукой за шиворот, Россия должна ввергнуть в узилище с приличным случаю увещанием:

– Воры-де вы и станичники. Сидеть вам в тюрьме не пересидеть, каяться-не перекаяться.

Все с этим согласны?

Все.

Теперь: если десять граждан, придя в дом одиннадцатого гражданина и изъяв осла его, или вола его, или слона его, – оных травоядных себе неправедно присвоили,– что сделает с сими татями травоядных свободная Россия?

Ясно: поимка, шиворот, суд, узилище.

Ну, а если явятся двадцать граждан и изъемлют уже не слона у слоновладельца, а отнимут небольшой, величиной со слона, двухэтажный особнячок у особняковладельца?

Что сделает свободная Россия с такими татебаного дела людишками?

Ясно: поимка, шиворот, суд, узилище?

Ан, нет. Вот и выходит неясно. Шиворотом даже и не попахло.

Читатель, ты чувствуешь, как я тут неуклюже споткнулся? Так хорошо, так логично развивалась моя мысль – от кошелька к постели, от постели к слону, от слона к особняку – и вдруг на тебе – на особняке осекся.

– Почему же, – спросит буржуазно настроенный читатель, – эти особняковые похитители не изъяты и не ввергнуты в узилище?

Очень просто. Они заявили:

– Мы анархисты.

И развела перед ними руками свободная Россия:

– Ну, раз анархисты – тогда другое дело.

Действительно, на лбу у них не написано: может быть, они и, действительно, анархисты.

Теперь ведь ни разрешений, ни промысловых свидетельств на право занятия анархизмом не надо. Это раньше, при бюрократическом режиме, было какое-то «для регистрации обществ и союзов присутствие при мин. вн. дел».

Раньше было строже... Приходит этакая компания и заявляет: «Отдайте нам ваш дом – мы анархисты».

– Анархисты? Это что же за кушанье такое? Партия, что ли? – тупо спрашивает хозяин.

– Так точно, партия.

– А у вас свидетельство о легализации партии есть? Вы зарегистрированы в «особом присутствии для регистрации партий, обществ и союзов?»

– Н-нет... – смущенно мямлят анархисты.

– Ну, так вот то-то и оно-то. Ступайте, откуда пришли. Бог подаст. Много вас тут, анархистов, шатается.

И уходили тогда сконфуженные, вспыхнувшие до корней волос анархисты.

Теперь не то время, к черту всякие разрешения и регистрации! Всякий может самоопределяться, сколько влезет.

Ну, вот – и самоопределились.

Сначала заняли особняк Дурново, потом особняк герцога Лейхтенбергского.

Поистине – люди, живущие особняком.

И вот тут-то меня начинают раздирать сомнения: анархисты эти люди или не анархисты?

С одной стороны – как будто, анархисты, даже сам Совет Рабочих и Солд. Депутатов вступил с ними в переговоры «о нецелесообразности их тактики». Выходит, что анархисты – реальная политическая и общественная величина, с которой надлежит считаться.

А с другой стороны – будто, они – не анархисты.

Не буду голословным – приведу официальное газетное сообщение, полностью и целиком подтверждающее это мое сомнение:

«После ухода анархистов в помещение разгромленного особняка прибыли чины судебно-следственной власти, начальник уголовной милиции А.А. Кирпичников, его помощник П.М. Игнатьев, инспектора милиции и местный отряд. При осмотре всей квартиры А.А. Кирпичников пришел к заключению, что в особняке герцога «работали» опытные громилы-взломщики.

Следственными властями, главным образом, было обращено внимание на взлом кассы герцога, где хранились

старинные вещи, табакерки и много бриллиантовых вещей. Все это оказалось похищенным. Кроме того, были взяты опечатанные вещи, еще не разделенные по наследству между наследниками от деда герцога. Обращено было внимание также на разгром винного погреба. Кругом царила неимоверная грязь, валялись пустые бутылки и взломанные замки. П.М. Игнатьев обнаружил небольшой чемодан герцога, в котором лежало одеяло. Как оказалось, в этом чемодане были спрятаны старинные брюссельские кружева, представляющие большую ценность. Кружева анархисты также похитили».

Ну вот: прочтешь это, и уже в душу заползает сомнение: ой, не анархисты они.

Совсем чичиковские сомнения по поводу Плюшкина:

– Ой, баба! Ой, нет.

Что это не баба, а мужчина, доказывает то, что анархисты сильными мужскими руками взломали несгораемую кассу и «взяли» табакерки, а что это «баба», – видно хотя бы из того, что похищены бриллиантовые вещи и брюссельские кружева.

– Ой, баба! Ой, нет.

Зачем, спрошу я, бабе табакерка? На нос она ее себе нацепит, что ли?

А, с другой стороны, зачем мужчине бриллиантовое колье и брюссельские кружева?

Не могу же я думать, что все идеалы и вкусы правоверного анархиста только в том и заключаются, чтобы обшить себе низ брюк брюссельскими кружевами и, нацепив вместо галстука бриллиантовое колье, фланировать по оживленному Невскому, вызывая всеобщее почтительное удивление и восторг.

Значит, и бриллианты, и кружева взяты анархистами не для личных нужд, не для того, чтобы варить из этих овощей себе суп-рассольник, а *исключительно для продажи*.

А раз для продажи, для сбыта – какой же это анархизм?

Но дело не в том. Обращаю внимание товарищей анархистов на следующее: я только сомневаюсь в том, анархисты ли они или нет, а начальник уголовной милиции А.А. Кирпичников даже не сомневается...

Товарищи анархисты! Он, этот буржуй, развязно утверждает, что «в особняке герцога работали опытные громилы-взломщики»!

Товарищи! Он оскорбил вашу партию, партию чистых анархистов, назвав ее громилами и взломщиками. Неужели это допустимо в правовом государстве?!

Но А.А. Кирпичников, конечно, может мне возразить:

– Да какие они анархисты! Они просто... грабители.

Позвольте, товарищ Кирпичников!

Значит, вы Исполнительный комитет С.Р. и С.Д. ставите ни во что?

Если бы эти люди были обыкновенными грабителями, Исполнительный Комитет просто, безо всякого заседания и обсуждения, приказал бы взять их, как обыкновенных грабителей, за шиворот, и ввергнуть в узилище.

Но нет!

Вот что сказал по этому поводу Исполнительный Комитет (цитирую точно газетное сообщение):

«Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов по поводу этого события высказался с достаточной определенностью, считая всякие самовольные захваты частных помещений и частного имущества пагубными для дела революции, а лиц, самовольно учиняющих такие захваты, – ослушниками воли революционного народа и пособниками контрреволюции».

Воображаю, какое громовое впечатление среди анархистов, занявших герцогский особняк, произвело это суровое постановление... Предводитель упал в обморок, многие плакали, а большинство подняли дрожащие руки и дали аннибалову клятву – отныне к чужому не прикасаться.

* * *

Ну, вот... Статья моя уже на исходе, а я так и не выяснил: занятие чужого особняка – анархизм или не анархизм.

Попробуем подойти иначе. То я поднимался вверх, теперь спущусь вниз.

Занятие чужого особняка величиной со слона – анархизм?

Выходит, анархизм.

Увод у слоноволадельца слона величиной с небольшой особняк – анархизм?

Конечно, анархизм. Чем слон хуже особняка?

Перескочим сразу через несколько ступенек – увод вола его, осла его, собаки его – тоже анархизм?

Анархизм.

Унос постели из-под носа постелевладельца? Анархизм?

Вынутие и унос большого кожаного кошелька у трамвайного гражданина – тоже анархизм?

Одни скажут:

– Анархизм.

Другие:

– А черт его знает. Недурно бы свести этого анархиста в комиссариат, да в кордегардию его, да прописать ему ижицу...

Позвольте, позвольте... Тут уж мы с вами совершенно запутались. Одно из двух: или кордегардия, или почтительное преклонение перед самоопределением.

Вот и разберись тут: где кончается партийное выступление и начинается то, что в газетной хронике зовется:

«Еще о трамвайных карманниках».

* * *

А теперь, в конце концов, я говорю совершенно серьезно: не такое сейчас время, чтобы выносить половинчатые решения.

Нужно сказать прямо и определенно, отнюдь не мямля и не топчась на одном месте:

– Громилы? Взломщики? Тогда – в тюрьму их, «безо всяких заседаний и формул осуждения».

– Партийные работники уважаемой партии, имеющей право на самоопределение и спокойную, ничем не стесненную работу? Тогда не нужно вставлять им палок в колеса – пусть открыто, без стеснений, работают на благо нашей дорогой матери – России.

И тогда я сам немедленно же поступлю в анархисты! Да что, в самом деле, хуже я других, что ли? Так же и особняк займу, и вино выпью, и с ног до головы обвешаю себя бриллиантами и брюссельскими кружевами!

Кутить так кутить, черт возьми.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Издания и публикации 1915–1918 гг., вошедшие в данный том, завершают петербургский период творчества Аркадия Аверченко. Созданные во время Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, они зафиксировали резкий переход автора от добродушного юмора с оттенком балагурства – к мрачной, желчной сатире в гротесковых тонах.

В сборниках «Чудеса в решете» (1915) и «Энциклопедический словарь» / Вестник знания «Нового Сатирикона» (1917) еще присутствует «добродушный» Аверченко, его голос слышен в публицистике Февраля, но ближе к Октябрю интонации и акценты смещаются к сарказму, сатирической злости, почти крику отчаяния. Современники утверждали, что душевное равновесие покинуло писателя и в его частной, повседневной жизни. О том, что он «зверел и заикался от негодования», вспоминал сатириконец Аркадий Бухов[1]. Ему вторил сатириконец Ефим Зозуля: «Что стало с Аверченко? Куда девались его спокойствие, благодушие? Он ожесточенно спорил, повторяя все сплетни и клеветы о большевиках, все нелепые выдумки оголтелой буржуазии, нимало не заботясь о логике, о каком бы то ни было

[1] Цит. по: *Киянская О.И., Фельдман Д.М.* Из материалов уголовного дела Аркадия Бухова (1937 год) / Киянская О.И., Фельдман Д.М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-х – 1930-х годов. Портреты и скандалы. М.: ФОРУМ, 2015. С. 373.

смысле»[1]. А сатириконец Василий Князев, поддержавший советскую власть, злословил, что Октябрь разорил Аверченко, поэтому тот «бежал к белым», и во всех его дальнейших произведениях кипели «классовая ненависть» и «классовая жажда мести»[2]. Это поверхностное суждение, и материал, собранный в данном томе, служит тому подтверждением.

Произведения писателя революционных лет – за незначительными исключениями[3] – ранее не переиздавались. Автор не включал их в свои сборники (по причине их сиюминутной злободневности), и они остались неизвестны современному читателю. Между тем это объемная и важная часть наследия Аркадия Аверченко, без которой невозможно понимание и изучение его творчества следующего периода – эмигрантского.

Именно в 1917–1918 гг. началась, к примеру, та словесная дуэль писателя с В.И. Лениным («Дар данайцев», «Десять миллионеров», «Когда мне жарко», «Вся власть – мне», «Моя симпатия и сочувствие Ленину» и проч.), которая продлится несколько лет. В 1921 г. Ленин примет вызов: опубликует в «Правде» (№ 263, 22 ноября) рецензию «Талантливая книжка» на сборник «Дюжина ножей в спину революции», после чего Аверченко постепенно отойдет от политической борьбы.

Писателю придется пожалеть и о своем ироническом отношении к низложенному императору («Манифест Николая II», «Мой разговор с Николаем Романовым», «Новый

---

[1] *Зозуля Е.Д.* Сатириконцы / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Д.В. Неустроева // Русская литература. 2005. № 3. С. 192.

[2] *Седых Иван [В.В. Князев].* «Цемент» «Сатирикона». Из книги воспоминаний о «Сатириконе» и «сатириконцах» // Литературный Ленинград. 1934. 8 июля. № 31. С. 4.

[3] *См.*: Яичница всмятку, или несерьезно о серьезном / Сост. А.П. Ненароков, Р.М. Гайнуллина, В.А. Горный, А.И. Ушаков; предисл. В.В. Журавлева. М.: Британский Бизнес Клуб; Российский независимый институт социальных и национальных проблем, 1992; Аркадий Аверченко в «Новом Сатириконе», 1917–1918 гг.: рассказы и фельетоны / Сост., ред. Н.К. Голейзовский. М.: Кругъ, 1994; *Аверченко Аркадий.* Русское лихолетье глазами «короля смеха» / Сост., подгот. текстов, предисл., примеч. А.Е. Хлебина, В.Д. Миленко. М.: Посев, 2011.

Нестор летописец», «Что я об этом думаю» и проч.). Очень скоро, оказавшись в «белом» Крыму, Аверченко признается друзьям и коллегам, что ему стыдно за карикатуры на императора, напечатанные в «Новом Сатириконе»: «Вот это мой грех.., грех страшный и непростительный... Я же знал нашего Государя, видел его обаятельную светлую улыбку... И я не понимаю, как мог я после этого пропустить такую жуткую гадость в своем “Сатириконе”. <...>. Кто, господа, когда-нибудь будет писать мою биографию, – отметьте, пожалуйста, в главе “Аверченко – писатель”, в главе “Аверченко – гражданин”, в главе “Аверченко – человек”, во всех главах – отметьте, господа, ради Бога, что бедный Аверченко и как писатель, и как гражданин, и как человек, весь вообще Аверченко, жестоко раскаивается»[1].

Открывают публикации революционных лет публицистика, юморески, скетчи, шутки из журнала «Новый Сатирикон» – основной трибуны писателя в то время[2]. Материал размещается в хронологическом порядке и – впервые в настоящем Собрании сочинений – включает популярную рубрику «Почтовый ящик». Последний выпуск этой рубрики вместе с фельетоном «Ростов-на-Дону» и скетчем «Иллюзии» увидел свет в № 18 за 1918 г., на котором завершилась история «Нового Сатирикона». По словам самого Аверченко, большевики закрыли его журнал 18 июля[3].

Далее следуют публикации из журнала «Барабан», выходившего в издательстве «Нового Сатирикона» с апреля 1917 г. по февраль 1918 г. (был также закрыт большевиками). Редактировал журнал известный одесский карика-

---

[1] Цит. по: *Неандер Б.* Памяти Аркадия Аверченко // Возрождение. 1926. 12 марта. № 283.

[2] Аркадий Аверченко с 1913 г. был редактором «Нового Сатирикона». Некоторое время соредактором выступал А.С. Бухов: в 1917 г. – с № 18 (май) по № 42 (ноябрь); № 23 был выпущен за редакторской подписью одного Бухова. В 1918 г. – с № 9 (май) по № 18 (август), т.е. в последние месяцы существования журнала.

[3] См.: *Аверченко А.Т.* Безглазое, безротое лицо / Аверченко А.Т. Собр. соч.: В 13 т. Т. 11. Салат из булавок. М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 360. Подробнее см.: *Хлебина А., Миленко В.* Аркадий Аверченко: беженские и эмигрантские годы (1918–1925). М.: «Дмитрий Сечин», 2013. С. 35–39.

турист М.С. Линский (наст. фам. Шлезингер), с которым Аверченко в октябре 1918 г. окажется в Киеве, столице Украинской державы.

В разделе «Рассказы из других газет и журналов (1917–1918)» собрана публицистика из журналов «Эшафот», «Аргус» и газеты «Свободные мысли». Первый также выходил в издательстве «Нового Сатирикона» под редакцией известного критика П.М. Пильского; в 1917 г. вышло всего три номера.

Виктория Миленко



КОММЕНТАРИИ





Чудеса в решете (1915)

Сборник вышел в свет в Петрограде в конце августа 1915 г. (издание журнала «Новый Сатирикон»). Был переиздан там же в 1918 г. К 10-летней годовщине смерти писателя был выпущен в Париже в приложении к журналу «Иллюстрированная Россия» (*Аркадий Аверченко.* Чудеса в решете: Рассказы (II). — Париж: Библиотека «Иллюстрированной России», 1935).

Печатается по тексту первого издания. Из публикации исключены рассказы «Блины Доди» и «Страшный мальчик», вошедшие в сборник «О маленьких — для больших»[1].

Эхо церкви Феличе

Впервые: Аргус. 1913. № 7.

С. 10. *...во славу форестьера* — Форестьер (*устар.*) — иностранец-путешественник в Италии.

С. 12. *...раскаялся однажды Борджия* — влиятельное семейство Борджиа, особенно на пике своего могущества в XV–XVI вв., имело устоявшуюся репутацию одного из самых преступных олигархических кланов Европы и стало символом разврата, кровожадности и коварства, прикрываемых фальшивым благочестием и лицемерным покаянием.

Пирамида Хеопса

С. 16. *...ехать на Иматру* — Иматра — популярный в Петербурге курорт в Великом княжестве Финляндском, знаменитый своим водопадом. Здоровым климатом, суровой красотой и бурными порожистыми стремнинами Иматра привлекала как ищущих тишины и уединения, так и потенциальных самоубийц.

С. 17. *...столик красного дерева... Марии Антуанетты* — т.е. в стиле неоклассицизма Людовика XVI с добавлением пасторальных мотивов, привнесенных в интерьерный декор его супругой Марией-Антуанеттой.

Американец
Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 27.

Резная работа
Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 19.

Отчаянный человек
Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 8.

С. 37. *...змея-пифон* — в древнегреческой мифологии пифон — полузмея-полудракон, созданный Герой. Опустошал окрестности Дельф. Убит Аполлоном.

Первый анекдот обо мне
Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 15.

С. 38. *...о покойном генерале Драгомирове* — Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905), один из популярнейших русских генералов, крупный военный теоретик, начальник Николаевской академии Генштаба, впоследствии — член Государственного совета. Выделялся независимостью суждений, живостью характера и своеобразным армейским юмором.

С. 39. *Покойный поэт Минаев* — Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835–1889), известнейший русский поэт-сатирик, переводчик, публицист, придерживавшийся либеральных взглядов. Славился эпиграммами и пародиями на литераторов консервативного толка.

Знаток женского сердца
Текст рассказа частично совпадает с диалогами в пьесе «Сердце молодой девушки»[2].

Роковой Воздуходуев
Впервые: Новый Сатирикон. 1915. № 6.

Материнство
Впервые: Новый Сатирикон. 1915. № 10.

Профессионал
Впервые: Новый Сатирикон. 1915. № 11.

Исповедь, которая облегчает
Впервые: Новый Сатирикон. 1915. № 12.

Кустарная работа

Текст рассказа частично совпадает с диалогами из IV явления пьесы «Ольга Николаевна»[3].

Приезжий Сельдяев

С. 84. *Когда кессоны устанавливали* — кессон — специальное ограждающее сооружение, используемое для осушения рабочих поверхностей при производстве подводных работ.

С. 85. *Есть тут одна собака Фриц* — имеется в виду легендарная полицейская собака-ищейка, доберман-пинчер по кличке Треф. Треф способствовал раскрытию более 1500 преступлений.

Чеховианец

Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 28–29 — под названием «Терновый венок. На могилу Чехова».

С. 93. *...велосипедный билет за № 14121* — велосипедисты обязаны были получить в городской управе специальный именной билет на право управления транспортным средством, а также номерной знак, крепившийся к седлу.

С. 93. *«Золотой якорь»* — известный петербургский ресторан «Золотой якорь» на Васильевском острове, любимое место отдыха мелких чиновников и студентов Петербургского университета. Подобный же ресторан имелся и в Москве.

С. 95. *Покойный Тихонов* — Владимир Алексеевич Тихонов (1857–1914) — русский писатель, драматург, публицист консервативного толка.

С. 96. *За графа Бобринскаго* — граф Алексей Алексеевич Бобринский (1800–1868) — крупный хозяйственник, зачинатель сахарной промышленности в России. Получил прозвище «сахарный граф».

С. 96. *За Лапшина* — Василий Андреевич Лапшин (1846–1905) — «спичечный король» дореволюционной России, организовавший несколько крупных фабрик по производству «безопасных шведских спичек», а также целую сеть спичечных лавок по их распространению.

Самоновейшие воспоминания о Чехове

С. 102. *Воспоминания друга покойного — Егудиила Деревянкина,* — возможно, это аллюзия на весьма прихотливые воспоминания о Чехове Максима Горького, ранний псевдоним которого — Иегудиил Хламида.

Плакучая ива

Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 24.

Рассказ о Ниночке Крохиной

Впервые: Новый Сатирикон. 1914. № 21.

Семь часов вечера

Впервые: Новый Сатирикон. 1915. № 14.

С. 116. *...есть у вас такой рассказ* — речь идет о рассказе «Еврейский анекдот»[4].

Из «Вестника знания “Нового Сатирикона”» (1917)

Энциклопедический словарь

Коллективный сборник «Вестник знания “Нового Сатирикона”» вышел в Петрограде в первых числах декабря 1916 г. — как издание журнала «Новый Сатирикон». Годовые подписчики получили его бесплатно, прочие могли приобрести обычным порядком.

Книга состоит из трех частей — каждая с самостоятельной пагинацией и титульным листом: «Оккультные науки», «Энциклопедический словарь» и «Хрестоматия для очень маленьких деточек». Части 1 («Оккультные науки») и 3 («Хрестоматия для очень маленьких деточек») вошли в сборник «Позолоченные пилюли»[5].

В настоящем томе мы помещаем тексты Аверченко из 2-й части — «Энциклопедический словарь».

А

С. 124. **Абрамович Н.** *...Псевд. — Ленский* — Аверченко, видимо, намеренно смешивает двух литераторов: Владимира Яковлевича Абрамовича (1877–1932), поэта и весьма плодовитого прозаика, публиковавшегося под псевдонимом Вл. Ленский, и его брата, Николая Яковлевича Абрамовича (1881–1822), литературного критика с модернистским уклоном, отдававшего предпочтение эпатажной тематике (псевд. Н. Кадмин).

С. 124. **Авалокиташвара** — по верованиям буддистов, это бодхисатва, воплощение сострадания всех будд, божественная сущность, помогающая каждому земному существу достичь нирваны.

С. 124. **Авгитит** — в совр. транскрипции — авгит, породообразующий минерал различных магматических пород, способствует обогащению почвенного слоя окисями железа, кальция, магния и пр.

С. 125. **Австро-Венгрия.** *...генерал Брусилов все равно сделает по-своему* — имеется в виду знаменитый «брусиловский прорыв», в ходе которого летом 1916 г. Юго-Западный фронт под командованием Алексея Алексеевича Брусилова (1855–1926) фактически разгромил 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда, продвинувшись на несколько десятков километров и захватив Буковину и часть Восточной Галиции.

С. 125. **Адамово яблоко...** 1. Южное растение семейства тутовых (маклюра) с крупными декоративными соплодиями, млечный сок которых используется в народной медицине. 2 — Кадык, типично мужской атрибут.

...тимофееву траву – тимофеевка или аржанец — важное кормовое растение семейства мятликовых.

...антонов огонь — 1. Старинное народное название гангрены либо заражения крови. 2. Эрготизм — болезнь, вызванная отравлением алкалоидами спорыньи.

С. 125. **Адъютант** (*франц.*) ... *в переводе — прощай, тетка.* — Во французской транскрипции: adieu, tante.

С. 126. **Азов**, *Влад.* — Псевдоним Владимира Александровича Ашкинази (1873–1941). Писатель, драматург, фельетонист, переводчик. Печатался в «Сатириконе» с 1910 г. В 1926 г. эмигрировал, сотрудничал в парижском «Сатириконе» (1931).

В «Энциклопедическом словаре» курировал буквы **Ж — И**.

С. 126. **Азорские острова** — *названы так по имени собаки — Азор.* — Сегодня не существует единого мнения по этимологии данного названия: наименование цвета (azzurro), имя католической святой (Açor) и даже португальское название ястреба-тетеревятника (как ни странно, тоже — Açor)... В конце концов, чем же собака хуже ястреба? Так что не стоит отбрасывать красивую версию Аркадия Тимофеевича!

С. 126. **Азотистый ангидрит** — *простонародное русское выражение.* — Среди благочестивого крестьянства средней полосы России бытовала и смягченная форма этого просторечия: сесквиоксид азота (N_2O_3).

С. 127. **Альбом** *(римск.) в переводе — свалочный пункт.* — Строго говоря, album (*лат.*) — белый. В Др. Риме так называли публичные доски объявлений, где оставлялись записи для общего сведения. Что касается негативной характеристики домашнего альбома, то это продолжение литературной традиции XIX в., когда он вызывал еще более печальные ассоциации:

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище...
Е. Баратынский.

С. 127. **Амалия** — *...женщина легкого поведения.* — Вероятно, по аналогии с камелией, как, с легкой руки А. Дюма-сына, называли тогда дам полусвета.

С. 127. **Амфитеатров**, Алекс. Валентинович *...почему всегда и живет в Италии.* — Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938), популярный писатель, известный прежде всего острыми публицистическими произведениями и фельетонами, с 1904 был в вынужденной эмиграции, преимущественно в Италии. Вернулся на родину поздней осенью 1916-го, что позволяет отнести время написания данных заметок к лету — началу осени 1916 г.

С. 127. **Анатомический театр** — *театр, делавший в 1905 г. полные сборы.* — Общее количество жертв революции 1905–1907 гг. даже по самым смелым подсчетам не превышало 10 тысяч человек убитыми и ранеными. Современникам первой русской междоусобицы XX в. эта цифра казалась невообразимо чудовищной...

С. 127. **Апельсин** *...Иногда апельсин — взрывчатое* — апельсинами в период Первой русской революции называли самодельные ручные бомбы. См., к примеру, сатиру Саши Черного «Чепуха» (1905):

Разорвался апельсин
У Дворцова моста... —
Где высокий господин
Маленького роста?

С. 128. **Арестант** — *см. Банкир.* — Намек на преступления некоторых скандально известных банкиров и хозяйственников, ставших фигурантами уголовных дел за противозаконную

биржевую деятельность, массовые спекуляции и даже государственную измену: Д.Л. Рубинштейна, И.П. Мануса и др.

С. 128. **Аскольд и Дир** ...*«Мюр и Мерилиз»* — известная торговая галантерейная фирма, основанная в Москве выходцами из Шотландии Эндрю Мюром и Арчибальдом Мерилизом, а также одноименный роскошный магазин. После революции национализирован, теперь там ЦУМ.

Б

С. 129. **Баран** — *см. Онколь.* — Онколь — открытый кредитный счет в банке, обеспеченный предварительно внесенными ценными бумагами или товарами. По всей видимости, имеется в виду повышенная опасность злоупотреблений и махинаций банков с вверенными им ценностями.

С. 129. **Батый** ...*«татарам вход запрещен».* — Бродячие татары-старьевщики, с тележками и мешками, действительно не пользовались симпатией петербургских дворников, стремившихся всячески воспрепятствовать их проникновению во внутренние дворы домов.

С. 130. **Бернарден-де-Сен-Пьер** — Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737–1814) — французский писатель и путешественник, автор сентиментальной повести-притчи «Поль и Виргиния».

...*Петр Савельевич Неуважай-Корыто* — персонаж «Мертвых душ», покойный крепостной помещицы Коробочки.

С. 130. **Бетховен** — *коллега композитора Давингофа.* — Владимир Христофорович Давингоф — композитор и весьма эксцентричный дирижер. Многие мемуаристы (Ю. Олеша, В. Катаев, Л. Утесов) вспоминали его эпатажные концерты в Одессе, где он дирижировал, «сидя верхом на жирной цирковой кобыле». Сопоставление его с Бетховеном вызвано, видимо, известной эксцентричностью поведения великого немецкого композитора.

С. 131. **Бостон** ...*бостонжогло* — Вероятно, аллюзия на «Т-во М. Бостанджогло», одну из крупнейших и старейших табачных фирм в Российской империи.

С. 131. **Браге** (*Тихо-де-Браге*) — Тихо Браге (1546–1601), известный алхимик, астролог и астроном, прославился открытием сверхновых звезд.

С. 131. **Брамапутра** — *и куры, и река.* — 1. Брахмапутра (брама) — декоративно-мясная порода крупных кур с пышным оперением, доходящим до пальцев нижних конечностей. 2. Река, левый приток Ганга.

С. 131. **Брандмауэр** — стена из огнеупорного материала, разделяющая смежные строения или части одного строения в противопожарных целях.

С. 131. **Бра́тина** — декоративный деревянный сосуд округлой формы, во время пиршеств древних славян пускавшийся по кругу, символ единения и братства.

С. 131. **Брокгауз** *...Ходотов для Вильбушевича.* — Николай Николаевич Ходотов (1878–1932), знаменитый артист, премьер Александринки, и Евгений Борисович Вильбушевич (1974–1933), композитор и пианист, более 25 лет выступали дуэтом в жанре мелодекламации.

С. 131. **Бугорчатка** — устаревшее название туберкулеза.

С. 132. **Бурбоны** — бурбонами в России во второй половине XIX в. называли также и офицеров, выслужившихся из нижних чинов, — чаще всего малообразованных, грубых, агрессивных и нетерпимых к инакомыслию.

С. 132. **Бухов** *Аркадий Сергеевич* — с А.С. Буховым (1889–1937), одним их ближайших своих соратников по «Сатирикону», Аверченко дружил и сотрудничал до самой смерти. Эмигрировав после закрытия «Нового Сатирикона» в Литву, в 1927 г. Аркадий Бухов возвращается на родину. Активно участвует в сатирической периодике. Репрессирован.

В «Энциклопедическом словаре» курировал буквы **У** — **V** (ижица).

С. 132. **Бьенстерне-Бьернсон** — Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон (1832–1910) – известный норвежский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии за 1903 г.

... *Брешко-Брешковский* — Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943), плодовитый писатель и яркий представитель желтой журналистики, излюбленный персонаж карикатуристов «Сатирикона».

В

С. 133. **Вавилония.** — *Страна, управлявшаяся в свое время Навуходоносором.* — Навуходоносор II (ок. 634–562 до н.э.), правитель Нововавилонского царства, сын Набопаласара. По мнению ряда известных ученых, в библейском образе Навуходоносора смешались представления о разных царях, то же относится и к упомянутому Аверченко синдрому ликантропии, от которого будто бы страдал Навуходоносор.

С. 133. **Вагнер**, *Рихард ...за нарушение тишины.* — Вагнера часто укоряли за слишком громкую оркестровку. Однажды он не выдержал и, сложив ладони рупором, прокричал в ответ: «Это для того, чтобы меня услышали в Германии!»

С. 133. **Ваза** — *и сосуд, и династия (Густав Ваза). Различаются по долговечности.* —Представители династии Ваза правили в Швеции в течение целого века и почти столько же — в Речи Посполитой.

С. 134. **Вандербильт** — *зажиточный американец.* — Вероятно, имеется в виду Уильям Вандербильт (1849–1920), железнодорожный король и газетный магнат, мультимиллионер.

С. 134. **Варнак** — каторжник, ссыльный. Это слово имело негативно-пренебрежительную коннотацию.

С. 134. **Ведро** — *20 бутылок водки.* — Согласно русской системе мер, ведро состояло из 4-х четвертей, а в каждой четверти было по 5 бутылок водки, каждая емкостью 0,614962 л. А вот винная бутылка имела несколько большую емкость, и ведро было эквивалентно 16 бутылкам вина.

С. 134. **Верста** — *мера длины...* — верста состояла из 500 саженей, или 1500 аршинов, или 24000 вершков. В метрической системе мер это составит ~ 1067 м.

С. 134. **Веселящий газ** — закись азота (N_2O). Название «веселящий газ» возникло из-за легкого опьяняющего эффекта, возникающего при вдыхании этого соединения. В смеси с кислородом может использоваться в качестве наркоза при хирургических операциях.

С. 135. **Воспитательный дом** — специализированное государственное учреждение, организованное при Екатерине II в Москве и СПб. Создан с целью призрения и дальнейшего воспитания за государственный счет незаконнорожденных детей, сирот и подкидышей, а также помощи роженицам. Упразднен после Октябрьской революции за ненадобностью.

Г

С. 135. **Гаага** *...Назван так по имени мирной конференции...* — две Гаагские мирные конференции, состоявшиеся в 1899 и 1907 гг., имели целью ограничить рост вооружений и установить строгий регламент ведения военных действий в случае невозможности решить конфликт мирным способом. Правила ведения войны, закрепленные в их итоговых документах, действуют и поныне.

С. 135. **Габсбургский дом** *...в котором долго не выживают.* — Аверченко оказался провидцем: через 2–3 месяца, в ноябре 1916 г., скончался глава дома Габсбургов император Франц Иосиф I, а еще через два года габсбургская Австро-Венгерская империя рассыпалась.

С. 135. **Гай** ... *Жена его — Гайка — прославилась своим поведением.* — Имеется в виду вторая жена Гая Юлия Цезаря, Помпея Сулла, неосмотрительное поведение которой вызывало так много кривотолков в обществе, что Цезарь счел за благо развестись с ней.

С. 135. **Галоиды или Галогены** — *это, в сущности, одно и то же.* — Совершенно верно: галоиды — архаичное название галогенов, элементов 17-й группы Периодической системы Менделеева.

С. 135. **Гармодий и Аристогитон** — *два афинских юноши, ухлопавшие какого-то Гиппарха.* — Гармодий и Аристогитон, ценой собственных жизней уничтожившие тирана Гиппарха, после установления в Афинах демократии (510 г. до н.э.) стали почитаться как национальные герои. Им ставили бронзовые памятники, чеканили монеты с их изображениями, поэты и писатели воспевали их беспримерный подвиг, в память героев регулярно совершались жертвоприношения и т.д.

Провозвестники политического террора тираноборцы Гармодий и Аристогитон надолго стали символами свободы и демо-

кратии во всем античном мире, да и не только в нем. К слову, знаменитый памятник В. Мухиной «Рабочий и колхозница» во многом сходен по композиции с их парным монументом.

С. 135. **Гватемозин** *...Был повешен испанцами... с целью отделаться от него.* — Последний император ацтеков Куаутемок (Гватемозин) был подвергнут пыткам и повешен, не пожелав выдать Кортесу местонахождение сокровищ покойного императора Монтесумы II.

С. 136. **Гекуба** ... *Мы не говорим: «что тебе Гекуба?», а честно объясняем: жена троянского царя Приама, мама Гектора. Теперь уже умерла.* – Происхождение Гектора и до сего времени остается неясным, – темнит здесь Аверченко, недоговаривает... К тому же, разве Гекуба – только Гекторова мама? А как же Кассандра, а куда делся Парис, первопричина всех тех бед? Да и версий смерти несчастной Гекубы в греческой мифологии существует по меньшей мере пять — не считая той, согласно которой она вовсе не умерла, а обрела вечную жизнь в виде каменного изваяния.

С. 136. **Геродот** *...В России ему неудачно подражал Иловайский.* — Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920) – известный историк и педагог, автор гимназических курсов по русской и мировой истории, основного объекта внимания пародийной «Всеобщей истории, обработанной “Сатириконом”» (1910).

С. 137. **Грегуар** — *парикмахер.* — Парикмахеры, особенно в провинции, обожали переиначивать свои имена и названия собственных заведений на заграничный манер: «Парижский парикмахер Пьер Мусатов из Лондона: Стрижка, брижка и завивка»; «Парикмахер мусью Жорис Панкратов» и т.п.

С. 137. **Грум-Гржимайло** — Григорий Ефимович Грум-Гржимайло (1860–1936), известный путешественник, этнограф и зоолог, участник длительных экспедиций в юго-восточные регионы империи, автор ряда ценных монографий и множества статей в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

С. 137. **Гуревич**, *Исидор* — Исидор Яковлевич Гуревич (1882–1931), писатель-юморист и плодовитый драматург, автор более 40 пьес. В «Сатириконе» печатался с первых лет основания журнала, но лишь эпизодически. Его сотрудничество с «Новым Сатириконом» также было, скорее, спорадическим.

После революции активно сотрудничал в советской сатирической периодике.

В «Энциклопедическом словаре» курировал буквы **Л – Т**.

С. 137. **Гусь** – *разновидность человеческого ребенка, находимого в капусте.* – Речь здесь идет о традиционном рождественском блюде – тушеном гусе с квашеной капустой.

С. 137. **Гяур** – *по-турецки – собака.* – Строго говоря, слово гяур (кяфир) означает – неверный, иноверец, а собака по-турецки будет – köpek. Впрочем, многое здесь зависит от степени толерантности носителя языка.

Д

С. 138. **Давалагири** – *гора в Гималаях.* – Давалагири (Дхаулагири) – гора в составе одноименного массива. В XIX в., вследствие несовершенства измерительных приборов, считалась высочайшей вершиной мира, но затем уступила пальму первенства Джомолунгме и четырем другим гималайским вершинам. Была покорена лишь в 1960 г.

С. 138. **Далила** – *мастерица первой женской парикмахерской.* – Скорее, мужской. Но отрадно отметить, что в современной России существует компания «Далила Стиль» (Dalila Style), занимающаяся постижерным делом: производством натуральных париков, шиньонов и наращиванием волос. Причем клиентам, носящим имя Самсон, обещана немалая скидка.

С. 138. **Данаиды** *...Право, с этими мифами только себя расстраиваешь!..* – Аркадий Тимофеевич не расстраивался бы так сильно, если бы вовремя вспомнил, что по крайней мере одна из данаид, Гипермнестра, ослушалась отца и пощадила своего мужа, прекрасного Линкея. К чему все это в итоге привело – совсем другая история...

С. 138. **Данайский подарок** – *по латыни: timeo Danaos et dona ferentes* – бойся данайцев дары приносящих. – Неясно, отчего автор не использует здесь фразеологизм «дар данайцев», – разве что оттого, что описываемые проказы никак не ложатся на сюжет вергилиевой «Энеиды», источника сей крылатой фразы.

С. 138. ***Дантист*** – *род еврея.* – В те времена более половины петербургских дантистов были евреями. Дело в том,

что получение профессии дантиста, не требовавшей высшего образования (как, впрочем, и фельдшера, помощника провизора, акушерки и некоторых других), давало им и их семьям право жительства в столице и не было связано с необходимостью преодоления жесткой процентной нормы при поступлении в университет.

С. 139. **Двуутробка** — сумчатая крыса, представитель семейства сумчатых, обитает в Южной Америке. Мелкий хищник, характерная особенность — двойной набор репродуктивных органов.

С. 140. **Денатурат** *...Любимый напиток русского народа.* — С началом Первой мировой войны, после введения в Российской империи «сухого закона», резко возросло потребление всякого рода суррогатов алкоголя: политуры, денатурата, аптечных спиртосодержащих настоек, одеколонов и, разумеется, самогона.

Солдатская смекалка пошла еще дальше: защитники отечества мазали толстым слоем гуталина кусок черного хлеба, сверху клали другой кусок и с силой обжимали получившийся бутерброд. Скипидар и прочая жидкая химия впитывались в мякиш, после чего твердые компоненты счищались и намазывались на сапоги, а хлеб употреблялся по назначению. Алкоголя там не было ни грамма, но наркотический эффект — весьма ощутим.

Рецепт этого блюда был прекрасно известен и в советской армии эпохи развитого социализма, там ржаной хлеб с гуталином получил наименование «бутерброд армейский».

С. 140. **Дендриты** — *непереводимо.* — И действительно, понятие «дендриты» в биологии и металлургии или петрологии объединяет разноприродные предметы и явления лишь по общности их морфологических признаков. Что касается перевода, то это производное от слова δένδρον (*греч.*) — дерево.

С. 140. **Деревянное масло** — *вежеталь для бедных.* — Как утверждают справочники, деревянное масло — низший сорт растительного масла, негодный в пищу и предназначенный только для технического использования, а вежеталь — жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ растительного происхождения, служащая для смачивания и очищения волос.

С. 140. **Дипломат** *(греческ.)* — *вызывающий войну.* — Полувеком ранее будущий канцлер Александр Михайлович

Горчаков обмолвился в беседе с канцлером Бисмарком, что все на свете войны были порождены тихими речами дипломатов.

С. 140. **Дым** ...*Сбор получали с «дыма», с дымовой трубы.* — Под «дымом» подразумевалось домохозяйство в целом, вне зависимости от наличия и количества дымовых труб в нем. Часто вместо подымного практиковался поворотный сбор — налог с ворот, т.е. с каждого двора.

Е

С. 141. **Ева** ...*Как известно, ребра не имеют внутри себя, подобно другим костям, мозга...* — Не совсем так. В губчатых структурах ребер мозг, безусловно, присутствует, но ведь ученые неспроста именуют его кос(т)ным...

С. 141. **Евандр** ...*Кто хочет, может и теперь праздновать этот луперкалий. Но лучше не надо лодырничать.* — Дошедшие до нас сведения об этих празднествах невразумительны и противоречивы. Наиболее подробное описание луперкалий имеется у Плутарха, но и это не вносит ясности в их сущность: непонятный обряд, творимый над двумя знатнейшими юношами, толпа обнаженных жрецов, сперва бегающих кругами, а затем лупцующих встречных женщин вымоченными в крови ремнями... Нет, прав Аверченко: не стоит лодырничать подобным образом!

С. 141. **Европа** — *по Гомеру — дочь Финика; была украдена Зевсом...* — Думается, темным человеком был этот Гомер: ну кем может быть дочь финика? В лучшем случае — пальмой! Более обоснованной представляется нам версия Отца истории Геродота, который утверждает, будто Европу, дочь финикийского царя, похитили из Тира некие критяне, доставив ее в Ликию, и делает неожиданный вывод: «...эта женщина, Европа, происходит из Азии и никогда не приходила в ту землю, которая теперь у эллинов называется Европой».

Возникает закономерный вопрос: какие у нас в таком случае основания называть Европу Европой?

С. 141. **Еж** ...*Вставленное в музыкальный ящик, на место вала, может издавать звуки.* — Музыкальный ящик — механический инструмент, источник звука в котором — гребенка из металлических язычков разной величины, выстроенных в определенной последовательности. Рядом с гребенкой

вращается металлический диск или вал с зубцами, задевающими за язычки и извлекающими из них звуки различного тона.

С. 141. ***Елена Прекрасная*** *...убежала с Парисом, популярным скотоводцем того времени.* — Это верно лишь отчасти. К тому времени бывший пастух Парис уже был признан царем Приамом, так что он умыкнул Елену, пребывая в статусе царевича, в ином случае Менелай и не стал бы устраивать в его честь тот злополучный пир.

С. 141. **Елисейские поля** *...где ни одного живого человека не встретишь...* — Элизиум, долина блаженных. В представлении древних — заветная местность на самом краю вселенной, посмертная обитель чистых душ праведников и героев. Прочим смертным по окончании их земного пути приходилось довольствоваться мрачными пейзажами Аида.

С. 141. **Емуранчик** — *животное из отряда грызунов...* — Емуранчик обыкновенный (лат. *Stylodipus telum*), мелкий грызун из семейства тушканчиковых.

И

Строго говоря, данный раздел «Энциклопедического словаря» включает в себя термины на букву **I** (**И** десятеричное).

С. 142. **Ио** — *дочь аргосского царя, ...превращенная ...женой Зевса, Герой, в корову.* — На сей счет в античной мифологии сущая путаница. Кого только не называли отцом злополучной Ио, начиная с речного бога Инаха и заканчивая Гермесом и даже Прометеем! Да и в корову ее превратила, вопреки мнению Брокгауза и Ефрона, вовсе не Гера, а сам Зевс — в попытке защитить предмет своей страсти от праведного гнева законной... В общем, сколько свидетелей — столько и мнений.

С. 142. **Иоанн Безземельный** — *англ. король. Ему принадлежит знаменитая фраза: «куренка, скажем, некуда выпустить».* — Этот незадачливый потомок Плантагенетов, видимо, настолько поиздержался, что, наплевав на рыцарские традиции, умыкнул у Льва Толстого коронную фразу! Похоже, подписав-таки «Великую хартию вольностей», он счел и себя самого свободным от соблюдения восьмой заповеди. Вот они, истинные «Плоды просвещения»!

С. 142. **Иодистоводородная кислота** — *о ней не стоит говорить: дрянь.* — И действительно — дрянь. Одна из самых сильных кислот, очень нестабильна: на свету разлагается, на воздухе — дымит, выделяя едкие удушливые пары, да и чересчур дорога в производстве. Ну ее!

К

С. 143. **Калигула** *...посадил лошадь в сенат; в некоторых странах имеет последователей.* — Возможно, это аллюзия на памятную современникам дуэль эпиграмм, произошедшую между В. Бурениным и А. Кони в связи с назначением последнего членом Сената (ключевые фразы: «...В газетах я прочел, что Кони есть в Сенате» и «...Ведь то прогресс, что нынче Кони, где раньше были лишь ослы!»). Либо это намек на недавно написанную Л. Андреевым сатирическую миниатюру «Конь в Сенате», предназначавшуюся для известного петербургского театра «Кривое зеркало», но встретившую цензурные препоны.

Значительно позже, в эмиграции, Аверченко использовал образ «лошади в сенате» для характеристики «мадам Лениной» (сб. «Двенадцать портретов (В формате “будуар”)»).

Но, возвращаясь к Калигуле, — если бы не Клавдий, исключивший бедное животное из Сената по причине его финансовой несостоятельности, конь Инцинат непременно выбился бы по меньшей мере в консулы.

С. 143. **Камер-юнкер** *...Этим, как известно, славился Пушкин.* — Ну, славился–не славился, но фактически это было повышением сразу на три класса в «Табели о рангах», ведь придворный чин камер-юнкера соответствовал по меньшей мере армейскому полковнику, а из гражданских чинов – статскому советнику. Другое дело, что камер-юнкерство было обременено необходимостью исполнения многочисленных придворных обязанностей, что поэту было совсем не с руки. Добрый приятель Пушкина Соболевский натужно приветствовал его:

Здорово, новый камер-юнкер!
Уж как же ты теперь хорош:
И раззолочен ты, как клюнкер,
И весел, словно медный грош.

С. 143. **Каникулы** — *время, когда члены Государственной Думы не работают.* — Конфликт правительства с Государственной думой, ставившей себе цель добиваться создания ответственных, т.е. подконтрольных ей министерств, длился

почти беспрерывно и в 1915, и в 1916 г. Излюбленным методом разрядки напряженности был роспуск Думы на каникулы, что проделывалось Николаем II под любым предлогом. Отсутствие общественного диалога привело в конце концов к образованию широкой антимонархической коалиции как политических, так и промышленно-финансовых сил, утрате царем контроля над ситуацией в стране и отрешению его от власти.

С. 144. **Каплун** — *птица, не несущая яиц.* — Все верно. Каплун — кастрированный петух, откармливаемый на мясо.

С. 144. **Карикатурист** *(иностр.) — по-русски — человек с замазанным ртом и связанными руками.* — По-видимому, отсылка к известной карикатуре С. Чехонина «Медаль, выбитая в память нового закона о свободе печати» (1905).

С. 144. **Квадриллион** — *тысяча раз тысяча триллионов. Человек, обладающий таким количеством рублей, называется обычно квадрильонером.* — Казалось бы, до чего точная наука математика: десять везде десять, а сто даже в Африке сто. Но в области больших чисел творится полный беспредел. Дело в том, что в настоящее время в мире существуют две системы наименования чисел: «короткая» и «длинная», и все бы ничего, но, к несчастью, одни и те же термины в них могут соответствовать разным числовым значениям. При жизни Аверченко Россия ориентировалась на «длинную» систему, теперь — на «короткую», и это приводит к тому, что его расчеты выглядят некорректно: наш триллион меньше, чем их, на 6 нулей, а квадриллион — на 9! Хорошо хоть, миллиарды одинаковы, но и здесь не без загвоздки: наш миллиард синонимичен и равнозначен биллиону, а вот их биллион — в 1000 раз больше и называется у нас триллионом.

Поэтому математики разных стран предпочитают объясняться друг с другом на языке цифр.

Что же касается «квадрильонеров», то здесь вновь проявляются предикторские способности Аркадия Аверченко: пройдет шесть лет, и счет денег в карманах трудящихся пойдет уже на миллионы, а там и на миллиарды.

С. 144. **Кварта** — единица измерения сыпучих или жидких объемов в англоязычных странах, ~ 0,946 л.

С. 144. **Квинта** — *гвоздь для вешания носа.* — Имеется в виду фразеологизм «Вешать нос на квинту», т.е. пасть духом, утратить надежду.

С. 144. **Керемет** — *божество у черемисов. Может быть формой обращения к возлюбленной: «О, ты, моя керемет!»* — В мифологической традиции черемисов керемет — дух зла, враждебная человеку сущность.

С. 144. **Кинематограф** — *неизвестное иностранное слово.* — Первые опыты примитивных кинематографических сеансов под названием «живая фотография» были предприняты в России еще в 1896 г.

С. 144. **Китайские тени** — точнее, китайский театр теней — вид старинного драматического искусства, возникшей в Китае более 2000 лет назад. Тени от движущихся плоских кукол, управляемых специальными приспособлениями, проецируются на холстяной экран. Действие могло озвучиваться песнями и музыкой. В известном смысле, театр теней предвосхитил появление кинематографа.

С. 145. **Колибри** — *насекомое, водящееся на дамских шляпах.* — В расцвет викторианской эпохи в Англии в особенную моду вошли дамские шляпки, декорированные головками и чучелами экзотических птиц; наиболее востребованными из них в силу яркости и миниатюрности были именно колибри. Чуть позже эта мода распространилась на всю Европу, в том числе и на Россию.

С. 145. **Кордиерит** — *минер. ромб. сист. кремн. ок. м. а. и жел. в пр. св. р. окр.* — Минерал [с кристаллами] ромбической системы, [состав:] кремниевый оксид, марганец, алюминий и железо. Дальнейшее однозначной расшифровке не поддается, т.к. очевидный ее вариант («в просвете — светло-розовой окраски») противоречит фактам.

С. 146. **Курды** — *племя. Любимое развлечение — сидеть на колу.* — Восстания курдских племен под предводительством шейха Абдель-Саляма (1909–1914) и Моллы Селима (1914) были подавлены с чрезмерной жестокостью.

С. 146. **Курций,** *Марк ...Почему Курций вообразил, что он «лучшее сокровище Рима»?* — Будем справедливы: по Титу Ливию, Марк Курций, в полном вооружении и на боевом коне, совершил акт самопожертвования, бросившись в пропасть со словами: «В Риме нет ничего выше оружия и доблести!»

С. 146. **От редактора** ...*редакция словаря отдельным выпуском издаст словарь слов на недостающие буквы* ***ъ, ь, ы***. — Главы «Словаря» на буквы **Ь** и **Ъ**, по всей видимости, войдут в 50-й (дополнительный) том данного Собрания сочинений Аркадия Аверченко *(ред.)*.

Из журнала «Новый Сатирикон» (1917)

Пореволюционный период творчества Аркадия Аверченко отмечен особенно высокой его активностью в «Новом Сатириконе»: стремительный оборот событий требовал немедленного отклика на страницах журнала, пользовавшегося немалым общественным авторитетом во многих социальных слоях России. Обилие публикаций побудило Аркадия Тимофеевича вновь задействовать свой арсенал псевдонимов, воскресив в 1918 г. даже давно почившего в бозе Фому Опискина; аверченковский стиль, безусловно, проявляется и в целом ряде неподписанных вещей. Из числа материалов, помещенных Аверченко в «Новом Сатириконе» анонимно или от имени редакции, мы включили в Собрание сочинений только те, где отражена его гражданская позиция, либо заметки, имеющие характер политической декларации.

Использование псевдонимов и прочие существенные особенности публикаций оговариваются в комментариях особо.

В случаях, когда рассказ был напечатан в сборнике, уже вошедшем в данное Собрание сочинений, причем его текст не имеет существенных разночтений с поздним вариантом, мы оставляли подобные произведения за рамками этого тома:

– «Джиу-джитцу» (НС. 1917. № 2) — вошел в сб. «Шалуны и ротозеи» (1915) (с небольшими сокращениями и под заглавием «Японская борьба»)[6] и в сб. «Рассказы циника» (1925).

– «Костя» (НС. 1917. № 4) — вошел в сб. «Дети» (1922)[7].

– «Канитель» (НС. 1917. № 10) — вошел в сб. «Рассказы циника» (1925)[8].

– «Душистая гвоздика» (НС. 1917. № 37) — вошел в сб. «Дети» (1922), но без посвящения («Посвящаю другу — Изе Кремер»)[9].

– «Молодняк (НС. 1918. № 9) — вошел в сб. «Дети» (1922) под заглавием «Три желудя»[10].

– «Бамбуковое положение» (НС. 1918. № 18) — вошел в сб. «Надгробные плиты» (Дешевая юмористическая библиотека

«Сатирикона», вып. 19) (1911) под заглавием «Спасли газету»[11]. В публикации 1918 г., сообразуясь с новыми обстоятельствами, Аверченко заменил старый эпиграф на более актуальный: «"За сообщение газетами ложных сведений, сеющих панику, газеты будут закрываться". Один из декретов». Кроме того, он дописал к рассказу маленький эпилог: «Коммунальная власть скрежетала зубами...»

По иронии судьбы, это оказалось эпилогом и самому журналу «Новый Сатирикон», закрытому «коммунальной властью» на том же восемнадцатом номере в конце июля — начале августа 1918 г.

Мы нисколько не сомневаемся в эрудиции читательской аудитории, поэтому общеизвестные персонажи и исторические реалии оставлены нами по возможности без комментариев.

Времена

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 1 («Новогодний номер»). Подпись: Волк.

Замечательный дядя. *Рисунок Аркадия Аверченко*

Новый Сатирикон. 1917. № 1.

Ранняя редакция этого рассказа появилась в ж. «Одуванчик» (Харьков, 1902) под заголовком «Уменье жить» (первое из известных на сегодня выступлений Аверченко в печати). В сильно переработанном виде под заглавием «Мой дядя» он вошел также в сборник «Отдых на крапиве» (1924)[12].

Резина

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 3.

К концу 1916 г. уровень потребительских цен повысился по сравнению с предвоенным больше чем в 3 раза, при этом зарплата квалифицированного фабричного рабочего выросла с 50–70 до 300 и более рублей. Для сравнения: розничная цена данного номера «Нового Сатирикона» составляла 25 коп., в то время как № 3 за 1914 г. стоил 15 копеек.

С. 152. *...Почем у вас была там помечена полтавская колбаса с чесноком? — По два пятнадцать* — В «Дневнике москвича» Н.П. Окунева указаны некоторые цены как раз на начало января 1917 г. В частности: колбаса — 2–3 р. фунт, сметана — 1 р. фунт, говядина — 75 коп. фунт. Под Новый год цена бутылки спиртного в ресторане доходила до 100 р., в такую же сумму обходился наем лихача для поездки к «Яру».

Уют пропал... *(Стихотворение в прозе)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 6.

С. 156 — *В очереди на хлеб никто из прислуги стоять не хочет...* — Трудности с поставками хлеба в крупные города начали ощущаться еще со второй половины 1916 г., и несмотря на то, что в декабре 1916 г. во многих городах (в Москве, Воронеже, Харькове и др.) были введены карточки на хлеб, положение со снабжением городского населения продовольствием продолжало ухудшаться.

Один разговор

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 7 («Масленичный номер»).

Искусство давать взаймы *(Moderne)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 8.

С. 160. *Вы встречаете его у «Медведя»...* — Модный ресторан «Медведь», располагавшийся на Б. Конюшенной, удивлял посетителей не только чучелом исполинского медведя с подносом в лапах в вестибюле. Это был первый в Петербурге ресторан, оборудованный настоящим американским баром, где желающим предлагали диковинный напиток под названием «коктейль».

Человек, который нашел себя

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 9.

С. 164. *Научный, глубоко поразительный опыт неядения, показанный знаменитым сирийский голодателем Мак-Чамбок...* — Подобного рода гастролеры нередко развлекали непритязательную публику до революции, но что характерно, тяга к таким увеселениям нисколько не иссякла и в нэповский период. В знаменитую «Чукоккалу» было вклеено объявление 1923 г., восхищавшее Б. Пастернака изысканностью слога и неповторимостью формы. Начиналось оно так: «ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ Северо-Американской Индийской Знаменитости Ясновидящий Оккультист Психолог. Великий поэт мышлитель телепатии и ясновидения не на ограниченное расстояние. Любитель всемирной публики, указатель судьбы, отгадчик чужих мыслей...» и т.д.

Свободная Россия.

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 10.

Листовка, наклеенная на обложку номера журнала от 2 марта 1917 г. Подписано: «Новый Сатирикон», но авторство

Аверченко сомнений не вызывает. Текст набран **алым** шрифтом и заключен в широкую алую рамку.

Прочел с удовольствием (Манифест Николая II)

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11.

Начиная с этого номера и по № 15, журнал выходил под лозунгом «**ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!**»

С. 166. Текст Манифеста Николая II приведен с некоторыми несущественными искажениями. Смысл этой публикации — финальная фраза: «Прочел с удовольствием. *Аркадий Аверченко*», где Аркадию Тимофеевичу принадлежит только подпись...

Мой разговор с Николаем Романовым *(Из воспоминаний)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11.

Этот рассказ можно отнести к жанру альтернативной истории. Как известно, император Николай II благоволил к писателю Аверченко и даже приглашал его в Царское — правда, относительно датировки этого события мнения мемуаристов расходятся. Приглашение решено было отклонить по политическим мотивам, и писатель отказался, сославшись на нездоровье. Повторных предложений не последовало.

С. 173. *...адъютант бывшего царя, граф Чубатов.* — Адъютантов Николая II, носящих эту фамилию, да и вообще графов Чубатовых в природе не существует. В поздней мемуарной статье Н. Брешко-Брешковского в этой связи упоминается другое имя — кн. Михаил Сергеевич Путятин (1861–1938), начальник царскосельского Дворцового управления. Аверченко намеренно вводит в свой беллетризованный мемуар фантом, не желая привлекать общественное внимание к бывшему царедворцу, в то время арестованному и находившемуся в Петропавловке.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11. Подпись: Волк.

С. 176. *...В. Теляковский начал свою покаянную речь артистам...* — Владимир Аркадьевич Теляковский (1860–1924), известный театральный деятель, директор Императорских театров (1901–1917). Оставил любопытные воспоминания и дневники. Что касается сюжета этой зарисовки, то мемуаристы отмечают совсем иные, более позитивные взаимоотношения, складывавшиеся между В. Теляковским и подчиненными ему деятелями театра в 1917 г.

Новые пословицы

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11. Подпись: Медуза Горгона.

В «Пословицах» Аверченко обыгрывает популярные мемы, а также сплетни, бывшие тогда на слуху петербургских обывателей.

К рисункам на странице 12

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11. Подпись: Сатирикон.

С. 178. *А в апреле 1914 года за 4 месяца до войны сатириконцы выпустили специальный «немецкий» номер...* — Не совсем так. «Специальный № “О немцах”» (Новый Сатирикон. 1914. № 12) вышел 20 марта. Аверченко отметился в нем фельетоном «Блестящая статья о немцах», который, однако, не вошел ни в один из последующих сборников.

Постановление

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 11.

Напечатано без подписи, но намеренно вставлено в набор таким образом, что прямо под этим «Постановлением» оказались выходные данные: Редактор А.Т. Аверченко, Издатель — т-во «Н.Сатирикон».

О бывшей цензуре *(Воспоминания)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 12.

С. 185. *Только через три недели поставил на оттиске разрешительную надпись...* — портрет Милюкова появился в № 3 от 12 января, так что момент его запрещения следует отнести не к январю 1917, а к декабрю 1916 г.

С. 185. *...почему не был пропущен этот рисунок.* — Рисунок В. Лебедева с подписью: «Неопытный ездок (съезжая к хвосту): “Послушайте, эта лошадь уже кончается — дайте другую!..”» был помещен в № 23 от 2 июня 1916 г., удачно вклинившись во временно́й промежуток между «двумя хвостами» Министерства внутренних дел. Дело в том, что отставка А.Н. Хвостова, занимавшего пост главы этого министерства, последовала 3 марта 1916 г., а уже 7 июля оно перешло под управление его дяди, А.А. Хвостова, — правда, ненадолго: еще через два месяца в отставку отправили и его.

С. 186. *...А. Радаков придумал напечатать в «Сатириконе» интригующее объявление: в одном номере только букву «Г», а в другом «а», в третьем «л» и т.д., пока не составится целое слово.* — Первоначально подобный ход придумал талантливый

карикатурист и редактор-издатель самого интересного журнала Первой русской революции «Зритель» Юрий Константинович Арцыбушев (1877–1952), который изобрел замечательный рекламный трюк: в первом же выпуске журнала на обороте титульного листа среди рекламных объявлений было оставлено пустое место с интригующей подписью: «Это место занято, см. № 5». То же повторялось и в последующих номерах, а в № 5 с краешку появилась огромная жирная буква **Р** с указанием: см. № 6. В № 6 к ней добавилась буква **Е** с пояснением: см. № 7. Но № 7 лишь добавил читателям любопытства, отослав их к № 8, где ситуация повторилась. В девятом номере, наконец, появилась и третья буква — **В**, и снова с указанием: см. № 10! Читатели гадали в нетерпении, хватит ли у издателя смелости разместить там крамольное слово РЕВОЛЮЦИЯ, за которое, разумеется, журнал был бы немедленно запрещен. Интрига длилась, десятый номер отсылал их к одиннадцатому, тот — к двенадцатому, напряжение росло, цензура пристально наблюдала за развитием ситуации, заткнув за пояс свое veto, и вот, наконец, в № 12 появляется броское объявление: «**РЕВЕЛЬСКИЕ КИЛЬКИ Зернсена**. *Продаются во всех лучших гастрономических магазинах*». Ну а в № 13 никаких килек уже, разумеется, не было.

Этой игрой с цензурой в поддавки Арцыбушев развлекал читателей все лето, сделав «Зритель» одним из самых популярных журналов той эпохи. Правда, просуществовал он после этого недолго, повторив судьбу всех сатирических изданий первой русской вольницы, завершившись на 25-м номере, арестованном прямо в типографии и уничтоженном.

Новый Нестор летописец

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 13.

В фельетоне скомпилированы расхожие и зачастую искаженные представления, бытовавшие в обществе, о личности Николая II и некоторых событиях, сопровождавших его царствование. Они оставлены без комментариев, так же как и общеизвестные либо представляющие узкий интерес исторические реалии.

С. 189. *...я даже хотел стянуть у отца другую его историческую фразу...: «Уберите от меня эту свинью»*. — Эта или подобная ей фраза, точнее, резолюция была начертана Александром III на докладе, касавшемся обвинения директора Департамента полиции Петра Николаевича Дурново (1845–1915) в нарушении экстерриториальности квартиры бразильского

посла, хищении интимных документов и использовании им служебного положения в личных целях.

С. 190.. *Тогда же в первый раз надел шапку Мономаха.* — Церемониал Священного коронования еще со времен Екатерины II предусматривал использование не шапки Мономаха, а Большой Императорской короны весом более 5 фунтов.

С. 190. *...а в горностаевой мантии запутался и чуть не упал.* — Едва ли. Современниками было отмечено лишь одно сходное происшествие: тяжелая цепь ордена Андрея Первозванного расстегнулась и упала, что было сочтено дурным предзнаменованием.

Нет худа без добра

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 13. Подпись: Волк.

Старое и новое.

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 13. Подпись: Медуза Горгона.

Что я об этом думаю

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 14.

С. 198. — *Ну и ладно. Поеду в Ливадию, буду цветочки разводить.* — Снова — дань молве. В предисловии к книге «Отречение Николая II: Воспоминания очевидцев, документы» (1927) Михаил Кольцов, журналист с, мягко говоря, предвзятой точкой зрения, вынужден был признать: «О конце Романовской династии у нас в широких массах господствуют не совсем верные представления. ...что мертвецки пьяный царь подмахнул акт об отречении, как сонный кутила — назойливый ресторанный счет. Что отрекшийся царь после своего исторического шага чуть ли не ковырял в носу и тупо бормотал: поеду в Ливадию сажать цветочки» и т.д.

Новые пословицы

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 14. Подпись: Волк.

Made in Germany *(Последние немецкие изобретения)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 14. Подпись: Медуза Горгона.

С. 201. *Большевика этого немцы засовывают в вагон, вагон запломбировывают и подвозят к границе.* — Пресловутый пломбированный вагон (первый из трех подобных) прибыл в Петроград вечером 3 (16) апреля 1917 г. Из числа известных

большевиков, кроме Ленина с Надеждой Крупской и Инессой Арманд, там находились Сокольников, Зиновьев, Радек, Усиевич и пр., всего около 30 человек.

Дар данайцев

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 15. Подпись: Волк.

С. 202. *Молодец Пляттер!* — Точнее, Платтен. Швейцарский социал-демократ Фридрих Платтен (1883–1942), близкий приятель Ленина, посредник в переговорах между ним и германскими властями при его возвращении в Россию, а также человек, курировавший все это мероприятие.

Свободные одесситы

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 15.

Начиная со следующего номера и по № 34, журнал выходил под лозунгом «Да здравствует демократическая республика!»

С. 203. *Это при Толмачеве было чудо, когда еврей доживал до старости.* — Иван Николаевич Толмачев (1861–1932), градоначальник и генерал-губернатор Одессы в 1907–1914 гг., проводил чрезвычайно жесткую политику в отношении местной прессы и либеральной интеллигенции и, по слухам, был чуть ли не организатором еврейских погромов.

С. 203 *...тут никого нет из Совета Рабочих Депутатов?* — Первое заседание Совета рабочих депутатов Одессы, большинство в котором составляли тогда эсеры и меньшевики, состоялось 6 марта 1917 г. В дальнейшем Советы выступали за коалиционную власть в Одессе и против политики насильственной украинизации города Центральной Радой.

Мое самоопределение *(Автобиографический фельетон)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 17.

С. 209. *И был ли я буржуем, когда, бросив шестидесятирублевое место на Брянском руднике, приехал в Петроград девять лет назад с одиннадцатью рублями в кармане?* — подробнее см.: *Миленко В.Д.* Аркадий Аверченко. — М.: Молодая гвардия, 2007. С. 30–45.

Жуткое

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 17.

С. 211. — *Да какой же Плеханов эсер?! Он эсдек.* — Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) — не просто эсдек, а один из основателей РСДРП и наиболее авторитетный из русских марксистов. После раскола партии на 2-м съезде стал лидером

меньшевиков. Вернувшись в Россию в 1917 г., активно противодействовал тактике большевиков, Октябрьскую революцию встретил негативно.

С. 211. *Этот не стал бы подстрекать народ с балкона к сепаратному миру!!* — Вскоре после Февральской революции особняк прима-балерины Мариинского театра и особы, приближенной к императору, Матильды Феликсовны Кшесинской (1872–1971) сперва был занят революционными солдатами, а затем туда перебрался и ЦК РСДРП(б). Там же разместились и редакции большевистских газет. С балкона особняка шла постоянная пропаганда большевистских лозунгов, с которыми выступали как Ленин, так и другие провозвестники всеобщего мира и всемирной революции — Свердлов, Володарский, Подвойский, Луначарский и т.д. После событий 3–5 июля особняк вновь поступил в распоряжение военных.

С. 213. *Если какие-то проходимцы являются в чужой особняк, занимают его, живут, пьют, едят, а милиция ходит вокруг да около...* — Не только петроградская милиция, но и суд, состоявшийся по иску Кшесинской в мае 1917 г. и закончившийся в ее пользу, оказались бессильными перед несколькими десятками вооруженных красногвардейцев и солдатами автобронедивизиона, размещавшимися на первом этаже особняка.

Как мы это понимаем

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 19.

Этот рассказ возымел некоторое действие на читателей. В № 21 было помещено

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Господин редактор!

Прочтя прекрасный и глубоко прочувствованный фельетон Аркадия Аверченко в № 19 — о министрах, — прилагаем при сем 3 (три) рубля на предмет отпечатания [и] распространения этого фельетона среди министров и членов И[сполнительного] К[омитета] С[овета] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов].

Примите и пр.

Группа сознательных читателей.

Молодой человек на рельсах

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 20.

Со времени написания этого фельетона минуло ровно 100 лет. Трамвай так и остался трамваем, а вот молодой че-

ловек эволюционировал и приобрел автомобиль. И что же изменилось?

Читаем современную хронику происшествий:

– В Нижнем Новгороде молодой человек заехал на трамвайные пути и преградил путь трамваю. Произошло это 13 января на улице Пискунова. Со слов очевидцев, водитель неправильно припарковался, его машина мешала проезду трамваев. Возмущенные пассажиры около 10 минут стучали по машине, чтобы сработала сигнализация, и даже пытались ее подвинуть. Когда водитель пришел, пассажиры начали возмущаться, акцентируя внимание на его водительских навыках и умственном развитии. Ситуация превратилась в настоящий балаган! На протяжении долгого времени никто не мог решить проблему, а транспорт просто стоял на месте.

– Жители Самары стали свидетелями транспортного коллапса в Овраге подпольщиков. Неизвестный мужчина без очевидной причины задерживал движение трамваев. По словам очевидцев, он сквернословил и вставал на рельсы с криками «Дави меня!»

– Новости из Перми. В субботу, 30 мая, в 4 часа утра на Северной дамбе случайные прохожие обнаружили большой железный якорь, лежащий посреди дороги на трамвайных путях. Пользователи соцсетей уверены, что происходящее — традиция выпускников университета Водного транспорта».

И этот перечень можно продолжать. Человек против трамвая...

А может быть, это просто с трамваями у нас что-то не так?

Взбунтовавшиеся рабы

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 21.

С. 224. *На митинг приехал и министр Церетели.* — Ираклий Георгиевич Церетели (1881–1959) — известный политик, видный меньшевик, по отзывам современников, блестящий оратор. Известна его публичная полемика с Ильичом на тему «Есть такая партия!». В указанное время занимал пост министра почт и телеграфов.

С. 225. *Тот Нахамкес, который «верноподданнически» просил, молил о перемене фамилии, и даже что-то повергал к каким-то стопам...* — Овший Моисеевич Нахамкис (Стеклов Юрий Михайлович) (1873–1941), известный социал-демократ, публицист (псевдонимы Ю. Стеклов, Ю. Невзоров и др.). Отличался переменчивым политическим нравом, вследствие чего имел неоднозначную репутацию. После Февраля был назначен ответственным за взаимодействие Петросовета с Временным правительством. По свидетельству начальника разведуправления Генштаба Б.В. Никитина, тогда же похитил коллекцию

марок, принадлежавшую Николаю II. Что касается скандала с верноподданническим прошением, то документальных его следов найти не удалось, но известно, что Нахамкис трижды менял вероисповедание.

Салат из булавок (1)

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 22.

С. 228. *...Андельбаум — Зиновьевым...* — не совсем так: он — Апфельбаум, но это по матери, а по отцу Григория Евсеевича Зиновьева звали — Овсей-Герш Аронович Радомысльский.

Прочие персонажи соответствуют псевдонимам.

Их кокотство

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 23. Подпись: Волк.

С. 231. *Ну как же: Роберт Гримм.* — Роберт Гримм (1881–1958), известный швейцарский публицист и социал-демократ. Пацифист, лидер Циммервальдского движения (см. далее), в мае 1917 г. приезжал в Россию с тайной миссией в надежде подготовить почву для заключения сепаратного мира с Германией, что вызвало громкий дипломатический скандал, закончившийся его высылкой и дискредитацией.

Я приподнимаю завесу

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 23.

Напечатано вслед за предыдущей миниатюрой («Их кокотство»), служившей, видимо, своего рода эпиграфом к этому фельетону.

С. 233. *...по Циммервальду.* — Международная социалистическая конференция, прошедшая в сентябре 1915 г. в швейцарском Циммервальде под председательством Р. Гримма. Российская социал-демократия была представлена там Лениным, Троцким, Зиновьевым и др. ключевыми фигурами. Приняла предложенный Троцким манифест с призывом немедленно начать «борьбу за мир без аннексий и контрибуций» и положила начало Циммервальдскому движению по осуществлению ее решений.

Кроткие городовые

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 24.

Капли крови

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 25.

С. 239. *Лейтенант Шмидт! Я хотел бы, чтобы твоя святая бессмертная душа витала где-нибудь за моим плечом...* —

Шмидт Петр Петрович (1867–1906) — герой Первой русской революции, один из руководителей Ноябрьского вооруженного восстания в Севастополе 11(24) — 15(28) ноября 1905 г. Возглавил восставшие корабли Черноморской эскадры, в момент подавления бунта находился на крейсере «Очаков» вместе с сыном. Был арестован, по приговору закрытого военно-морского суда расстрелян на о. Березань под Очаковом 6 марта 1906 г. Вместе с ним были казнены активные участники восстания Н.Г. Антоненко, А.И. Гладков и С.П. Частник. Рисуя романтический образ Шмидта, Аверченко опускает многие детали расстрела, некоторые художественно преувеличивает и домысливает.

Фельетон, вероятнее всего, стал реакцией на торжественный перенос останков казненных с Березани в Севастополь 8 мая 1917 г. В этой церемонии принимал участие и сын Шмидта, Евгений, который позже, в эмиграции, в мемуарах об отце выскажет те же мысли, что и Аверченко, — о бессмысленной жертве:

«Я смотрел на серебряный гроб, в котором заключались священные полуистлевшие останки, и задыхался от жгучего горя, беспредельного, как море, раскинувшееся у моих ног.

– За что, за что Ты погиб, Отец мой? — смятенно вопрошала душа моя давно отлетевшую великую душу. — Для чего пролилась Твоя бесценная кровь? Ужели для того, чтобы сын Твой видел, как рушатся устои тысячелетнего государства, расшатываемые подлыми руками наемных убийц, растлителей совести народной, как все мерзкое, преступное и продажное душит все честное и высокое, как великая нация сходит с ума и даже не продает, а отдает даром свою родину заклятому историческому врагу, как с каждым днем, с каждой минутой все более и более втаптываются в кровавую грязь те идеи, ради которых Ты пошел на Голгофу?.. Скажи же, скажи, Отец мой!.. Но молчала великая душа» (*Шмидт-Очаковский Е.* Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»): Воспоминания сына. — Прага: Пламя, 1926).

Десять миллионеров

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 26.

Напротив фельетона размещена карикатура Н. Радлова: пролетарии несут транспарант с известным большевистским лозунгом «Долой 10 министров-капиталистов!»

Подпись:

– Послушайте, голубчик, ведь вы же полчаса назад в другой манифестации несли другой плакат с доверием Временному правительству, а теперь...

– Разве? А впрочем, может быть, — я же неграмотный.

С. 243. *Министр юстиции Переверзев...* — Павел Николаевич Переверзев (1871–1944), до революции — известный адвокат, специализировавшийся на политических процессах, после Февраля — министр юстиции во втором (коалиционном) Временном правительстве. Именно по его настоянию было начато расследование о «немецких миллионах» большевиков. После Октября эмигрировал.

С. 243. *Переверзев... метался по всему городу, отыскивая очередную квартиру для очередной партии а.-в. (анархистов-взломщиков)...* — Власти предпринимали неоднократные попытки освобождения вместительной дачи бывшего министра внутренних дел Дурново от незаконных постояльцев, осложнявшиеся тем, что кроме анархистов там располагался еще целый ряд общественных организаций: профсоюз булочников, рабочий клуб «Прогресс» и даже Совет Петроградской рабочей милиции, и всех их нужно было куда-то расселять, что при острой нехватке жилых помещений в Петрограде было огромной проблемой. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после вооруженного налета анархистов на тюрьму «Кресты», когда оттуда под шумок сбежало более 400 уголовников. На следующий день, 19 июня 1917 г., при непосредственном участии Переверзева дача Дурново была взята штурмом.

Подробнее о тех событиях Аркадий Аверченко написал в памфлете «Анархисты? или?» (см. заключительный раздел тома).

История большевиков

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 27.

Номер вышел в свет во второй половине июля, после подавления организованных анархистами и большевиками вооруженных выступлений (т.н. «июльские дни») и разгрома редакции газеты «Правда». Июльские события привели к отставке как министра юстиции П. Переверзева, так и министра внутренних дел и председателя Временного правительства Г. Львова, что вызвало резкое обострение системного кризиса в управлении государством. Новым министром-председателем Вр. правительства становится военный и морской министр эсер А. Керенский.

С. 248. *... слишком подозрительны отношения некоторых из них к охранке: Черномазов, Малиновский.*

– Мирон Ефимович Черномазов (1882–1917), лит. псевдоним Н. Лютеков — известный с.-д. деятель и сексот охранки (агентурные клички: Москвич, Свой), провокатор. В документах Департамента полиции о нем сказано: «Черномазов... — 200 руб. жалованья, бывший член Центрального комитета с.-д. партии [не подтверждено документально]. Был гл. руководителем газ. «Правда» [на самом деле — лишь секретарем редакции газеты и выпускающим редактором (с мая 1913 по февраль 1914 г.)]. Освещает общее положение партии, частью — местной организации». После Февральской революции и обнаружения компрометирующих документов Черномазова заключают под стражу и начинают расследование. В тюрьме он кончает с собой.

– Роман Вацлавович Малиновский (1876–1918) — видный большевик, член ЦК РСДРП(б), лидер социал-демократической фракции в IV Думе. Пользовался особенным доверием и поддержкой В. Ленина. Завербован охранкой около 1910 г., агентурные клички: Портной, Икс. Активно занимался провокаторской деятельностью, после своего разоблачения в 1914 г. эмигрировал в Германию. По возвращении из эмиграции (1918) предстал перед судом и был расстрелян по приговору Верховного трибунала ВЦИК.

Салат из булавок (2)

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 28.

Фельетон продолжает общую линию «революционного оборончества», неизменно проводимую «Сатириконом» в продолжение всего этого года. Например, обложку предыдущего номера украшала карикатура Ре-Ми, изображающая большевистский трибунал над солдатом с георгиевским крестом на груди.

Подпись:

Большевик: «Рядовой Сермягин! Вы обвиняетесь в том, что в ночь на 18 июля в сообществе с преступной организацией, именующей себя Великой Армией Русской Революции, внезапно напали на немецкие войска, отдыхавшие на русской территории, что приводит к ниспровержению существующего строя в Германии...»

С. 253. ...*«Вот они, изменники и предатели России! Лови их, Исполнительный Комитет!» А Комитет положил руки в брюки*... — На обложке этого номера — чудесный шарж А. Радакова — аллегория на классический сюжет «жертвоприношение Авраама».

Подпись:

«БИБЛЕЙСКИЙ СЛУЧАЙ.

Сия аллегорическая картина представляет собой знаменитый библейский сюжет: на жертвеннике вы видите Исаака, сына Авраама. Это — Ленин. Над ним занес карающую руку бывший Переверзев. Из небесных сфер показывается ангел — Исполнительный комитет С.Р. и С.Д., который несколько месяцев эту занесенную руку останавливал... В кустах запуталась рогами овца — кадет. Сия овца и будет заколота».

После июльских событий кадеты потеряли ключевые посты в правительстве и в значительной степени утратили влияние в обществе. Отныне судьбу государства определяло соперничество двух основных сил: умеренных (эсеры и меньшевики) и радикалов (большевики и анархисты), хотя и это деление весьма условно: левые эсеры тяготели к радикалам, а анархо-синдикалисты — к умеренным. Последовавшая вскоре попытка консолидации правых сил во время корниловского выступления вследствие царящего в политических кругах тотального недоверия была обречена на провал.

Новый телеграф

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 28. Подпись: Медуза Горгона.

С. 255. *...министра почт и телеграфов Церетели...* — Сам же Церетели, более всего любивший не министерскую рутину, а митинговые страсти, именовал себя не иначе как «министр русской революции».

Когда мне жарко

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 31.

С. 258. *Винниченко такой же писатель, как и я — однако я не лезу в гетманы и не сочиняю универсалов...* — Владимир (Володимир) Кириллович Винниченко (1880–1951) — активный украинский политический деятель и писатель. Рано ушел в политику, в революцию 1905–1907 гг. — один из организаторов Украинской соц.-дем. рабочей партии (УСДРП). Преследовался властями, жил полулегально. В 1917 г. стал заместителем председателя Украинской Центральной Рады, далее был генеральным секретарем (главой правительства) и министром внутренних дел Украинской Народной республики. Именно Винниченко является автором первых Универсалов (основных, программных политико-правовых актов) Центральной Рады УНР. Во время гражданской войны вел

разнонаправленную политику, поочередно входил в несколько властных структур самых причудливых государственных образований, возникавших в раздираемой междоусобицей стране. При советской власти занял пост зампреда Совнаркома УССР, однако вскоре эмигрировал и осел во Франции, целиком отдавшись литературному и художественному творчеству. Известен как автор социально-фантастических романов и драматург.

Отрыжка

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 33.

С. 261. *Если ты каждую неделю будешь тратить по 500 рублей, это никаких капиталов не хватит!* — Фельетон был написан в конце августа. Вот рыночные цены на тот момент (из «Дневника москвича» Н. Окунева): «Табаку дешевле 25 р. за фунт не найдешь, ресторанный обед стоит не менее 10 р., сахар продают (тайно) по 2–2,5 р. за фунт!» А в сентябре, когда этот рассказ был напечатан, фунт сахара стоил уже 4 р.

Доской по голове

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 35.

С. 266. *Керенский в отчаянии восклицал на московском совещании: — Где же найти мне те огненные, те настоящие слова, которые дошли бы до сердца, до ума русского народа.* — Речь идет о Московском Государственном совещании, проходившем в здании Большого театра 12–15 августа, которое было созвано «в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны». В зале присутствовала вся политическая элита, всего более двух тысяч человек. Современники отмечали несвойственную речам Керенского медлительность, а также нарочитую категоричность в его декларативных заявлениях типа: «...и какие бы кто бы ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее. ...Всякая попытка большевизма найдет предел во мне».

Итоги Госсовещания показали резкое падение популярности опереточного главковерха, в городе поговаривали: «В Большом вчера был бенефис, но не Керенского, а Каледина...»

Как уничтожить дуэли

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 36.

Начиная с этого номера и по № 1 за 1918 г., журнал выходил под лозунгом «Отечество в опасности».

С. 267. *История с колумбовым яйцом мне не особенно нравится... Только яйцо испортил.* — Расхожая история о том, как некто (варианты: Хр. Колумб, архитектор Брунеллески, некий неназванный хитроумец и пр.), желая продемонстрировать, что яйцо можно поставить на плоскость вертикально, не уронив его при этом набок, проделал это следующим образом. Он с силой опустил его на стол, так что скорлупа уплощилась, слегка треснув, но зато яйцо стояло ровно и не падало.

Это выражение употребляется в значении найти нестандартное решение имеющейся проблемы.

Гримасы нашего быта

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 38. Подпись: Волк.

Пустая мельница *(История о деловитом мукомоле)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 38.

С. 275. *Когда я вспоминаю о минувшем демократическом съезде, сочинявшем настоящую народную власть — я смеюсь горьким смехом...* — имеется в виду Всероссийское Демократическое совещание, проходившее 14–22 сентября в Петрограде в Александринском театре и организованное местным Советом рабочих и солдатских депутатов и Всероссийским Советом крестьянских депутатов, — не то в пику августовскому Московскому Государственному совещанию, не то для противодействия консолидирующимся правым, вдохновленным недавним мятежом ген. Корнилова. Состав делегатов — преимущественно эсеры и эсдеки при солидном участии кадетов, что никак не способствовало выработке согласованной позиции. Итогом совещания оказалось создание Предпарламента — очередного нежизнеспособного органа центрального управления с неясными функциями.

С. 276. *Получилось известие о том, что в Аткарском уезде крупные беспорядки и погромы.* — Аткарск здесь взят условно, никаких бунтов там в то время не зафиксировано. А вот позже они действительно начались — сперва в 1918 г., после разгона Учредительного собрания, а потом в 1921-м — в связи с активизацией крестьянских отрядов Антонова.

Недержание слова

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 39.

С. 280. *...милый Николай Степаныч!* — Все же Николай *Семенович* Чхеидзе (1864–1926), популярный в те годы политический деятель, яркий оратор. Социал-демократ, лидер

фракции меньшевиков в IV Государственной думе, после Февраля — председатель Петроградского Совета рабочих депутатов, где он проводил оборонческую политику, противодействуя большевикам, но в конце концов вынужден был уступить председательство Троцкому. Устав от политической свары, еще до Октябрьской революции убыл в Грузию, позднее стал председателем местного Учредительного собрания. С приходом к власти в Грузии большевиков эмигрировал, став главой правительства в изгнании. Покончил самоубийством.

С. 281. *...в соответствии с кинтальскими тезисами...* — Кинтальская международная социалистическая конференция (1916), вторая серия Циммервальдской (1915), прошла в Швейцарии в рамках Циммервальдского движения, лидер которого, Р. Гримм, резко полемизировал с левой фракцией во главе с Лениным по вопросу о необходимости вооруженной борьбы с собственным правительством. Победила компромиссная, умеренная точка зрения — к неудовольствию большевиков, выдвигавших тезис о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую.

Трамвай *(Ценные мысли по пустяковому поводу)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 40.

С. 285. *...городская дума очень великодушно сделала, что в ознаменование завоевания революции дала солдатам право бесплатного проезда. — Что вы!.. Она вопит как зарезанная. Она говорит, что солдаты ее, думу-то, разоряют...* — Приводим заметку из московской «торгово-промышленной» газеты «Коммерсант» от 2 августа 1917 г. Некоторые ее тезисы отражены и в статье Аверченко.

«Дума постановила повысить плату за проезд в трамвае до 18 к. Следовало бы начать не с повышения платы, а с категорического запрещения бесплатного пользования трамваем. Солдаты продолжают переполнять вагоны, следствием чего является не только невозможность занимать места платным пассажирам, но и невольный бесплатный проезд половины пассажиров, и не думающих об уклонении от платежа, но не могущих исполнить это из-за адской тесноты и царящей из-за этого безалаберщины. Чем с легким сердцем добавлять 8 коп., следовало бы на первых порах преобразовать самоё техническое управление трамваем, которое страдает, очевидно, какими-то органическими дефектами». [Текст заметки цитируется по интернет-ресурсу: Проект «1917. Свободная история»]

Нам прислано

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 40. Без подписи, но стилистика заметки не оставляет сомнений: это Аверченко.

Действительно, поразительный документ эпохи дикости и всеобщего озверения: генералов и старших офицеров, всего лишь заподозренных в симпатии к Корнилову, арестовывают и казнят без суда и следствия! Но он запечатлел только самое начало трагедии. Приводим здесь свидетельство очевидца этой позорной расправы, опубликованное в газете «Дело народа» за 6 сентября 1917 г.

Выборгская трагедия *(Письмо солдата)*

Уважаемый товарищ редактор! Сообщаю вам, как очевидец, подробности происшествия в Выборге 29 августа.

У нас, в гор. Выборге, где произошла революция в первые дни без капли крови, где не было ни споров, ни скандала, где мирным путем была сломлена монархия, теперь все пошло обратным путем: на Абосском мосту полилась кровь и обагрила волны залива.

Боже мой, какая картина! Не могу описать, что я в тот день пережил. На моих глазах произошел ужас, от которого даже страшно становится и сильно болит сердце. По постановлению 42 армейского и выборгского гарнизонного комитетов были арестованы 3 генерала и 1 полковник. Они были помещены на главной гауптвахте, около моста. Скопившаяся там небольшая партия солдат стала разрастаться.

Сначала солдаты вели споры, но потом потребовали, чтобы арестованных выдали им на руки, как изменников свободы и родины. Комитетом были приняты меры, чтобы не было расправы; приезжали делегаты на автомобилях, уговаривали и упрашивали товарищей-солдат, но последние не слышали мольбы делегатов и забыли даже то, что они доверились членам совета. Вдруг толпа колыхнулась и ворвалась в помещение гауптвахты.

Арестованных вытаскивают и выволакивают одного за другим, бьют по лицу, по голове и во что придется кулаками, ногами и прикладами. Они все просили помилования, но от товарищей этого не было. Жалко было смотреть, как Васильева генерала тащили волоком по мостовой: он был весь в крови и ничего не просил, только крестился. Тащили и несли их на мост, где бросили в воду. А потом началась буря и даже сведение личных счетов.

Всех пострадало около 12 человек, из них — более невинных, за которых, товарищи, нам совестно. Мы теперь запятнали

себя несмываемым пятном. Я сознаю, что хотели подавить приспешников Корнилова и ослабить их, но так ничего никогда не сделаешь.

Это — позор и срам для нас.

Артил[лерист] выборг[ской] креп[ости]

И. Морозов

Поразительно, что в конце своего письма этот совестливый защитник отечества сожалеет не о том, что озверевшая толпа «товарищей солдат» казнила своих офицеров, а о том, что среди погибших, оказывается, было некоторое количество не виновных в симпатии к Корнилову... Хотелось бы думать, что это просто описка.

Всего же, как сообщает то же «Дело народа», — «во время самосуда убито 22 офицера и пропало без вести около 60. Образована следственная комиссия для расследования обстоятельств самосуда, в состав которой вошли и представители Ц.И.К.»

Я разговариваю с Керенским

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 41.

С. 290. *Вы (какой стыд!) вели даже переговоры с жуликами, занявшими дом герцога Лейхтенберского...* — 5 июня вооруженным отрядом анархистов была захвачена и «конфискована на нужды социализма» типография газеты «Русская воля», располагавшаяся на первом этаже доходного дома, принадлежавшего светлейшему герцогу Николаю Николаевичу Лейхтенбергскому (1868–1928), правнуку Николая I. Однако на переговоры к ним отправился вовсе не Керенский, а делегация Петросовета, — впрочем, безуспешно.

Следующим переговорщиком был командующий Петроградским Военным округом генерал Половцев с парой сотен казаков и ротой Семеновского полка. Растроганные и смущенные таким вниманием к себе анархисты поторопились покинуть захваченное помещение.

С. 290. *...в Донецком бассейне анархия, шахтеры взбесились, не хотят работать, изгоняют хозяев рудников и служащих, диктуя такие условия заработка, что пуд угля будет стоить чуть не сто рублей.* — Что же поделаешь — инфляция. В конце марта Совет донбасских рабочих требовал оплату в размере 3,5 р. за 8-часовой рабочий день, в апреле — повышения ее еще на 35 процентов. Дальнейшими цифрами увеличения шахтерского благосостояния мы не располагаем, но корниловский мятеж, похоже, сильно раззадорил их аппетиты, заодно породив курьезное и недолговечное квазигосударственное образование

под патронатом местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — Горловско-Щербиновскую республику. Дальше пошел парад все более радикализирующихся Советов, завершившийся всеобщей стачкой, парализовавшей экономику всего Донбасса. Ну а там и «Октябрь уж наступил...»

С. 291. *Увидите, как хорошо в присутствии казаков заработает эта наглая, жадная, развращенная вашими же большевиками (ведь это вы допустили их в Россию) банда.* — Аркадий Тимофеевич отчего-то не берет в расчет сентябрьский рейд на Донбасс казачьих полков атамана Каледина, закончившийся, по сути, безрезультатно.

С. 291. *А вы пожали ему руку, и в этот момент раздался характерный всплеск: это впервые в России престиж власти шлепнулся в лужу.* — Очевидцы этого события добавляли анекдотический штрих: когда Керенский протянул руку министерскому швейцару Моисееву, тот как раз придерживал предусмотрительно распахнутую перед ним дверь. Разумеется, в момент рукопожатия дверь по инерции с громким стуком захлопнулась прямо перед носом самого демократичного из министров Временного правительства.

Дипломат из Смольного

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 42.

С. 293. *Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли.* — Известное высказывание Талейрана, перефразировка цитаты из Мольера.

С. 293. *...демократические дипломаты из Смольного института — самые подлинные, настоящие дипломаты. ...Тонкая дипломатическая штучка этот наказ из Смольного!* — Провозгласив 26 октября Декрет о мире, где отменялись все международные союзнические обязательства, взятые на себя Временным правительством, большевики выступили затем с рядом инициатив по «освобождению человечества от ужасов войны и ее последствий», поставив себе задачу «довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации». Эта двуединая задача и стала основой их международной политики, предопределив тактику и стратегию начавшихся вскоре переговоров по «Брестскому миру».

С. 293. *...в дипломатическом наказе, который повезет в Париж «товарищ»...* — в начале октября делегатом от ВЦИК на предстоящую Парижскую конференцию союзников был назначен М. Скобелев (см. далее), который должен был добиваться там

пересмотра международных договоров с целью достижения мира «без аннексий и контрибуций» на основе «права наций на самоопределение».

С. 293. *...дипломату Скобелеву.* — Матвей Иванович Скобелев (1885–1938), один из лидеров социал-демократической фракции в Думе, меньшевик. В 1917 г. был зампредисполкома Петросовета. Во Временном правительстве — министр труда. «Дипломатом» Аверченко назвал его, видимо, еще и потому, что именно Скобелев был назван кандидатом на пост министра иностранных дел на переговорах ВЦИК с Викжелем (см. далее) 1 ноября 1917 г.

С. 296. *А с министром Троцким вы уже сговорились?* — В первом советском правительстве Л. Троцкий занимал пост наркома по иностранным делам.

Предлог для развода; Последовательность; Опасность царизма

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 42. Подпись: Волк.

За гробом матери

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 43 («Траурный номер»)

С. 299. *...какой-то продувной Викжель (это что еще за новое кушанье?)* — Всероссийский исполком союза железнодорожников, руководящий профсоюзный орган работников железнодорожного транспорта. Образован летом 1917 г. После Октября, пользуясь своей властью над всей системой коммуникаций в центральной России и угрожая ее парализацией, предъявил Совнаркому ультиматум, требуя реформы власти, смещения Ленина с поста председателя СНК и образования коалиционного правительства. Ультиматум был отвергнут, и Викжель объявил о признании им Советской власти, но с существенными оговорками. Как неподконтрольная и потенциально опасная общественная организация, Викжель был неудобен новой власти. В январе 1918 г. он был реорганизован в лояльный Совнаркому Викжедор (см. далее), а тот, в свою очередь, — в ЦК профсоюза рабочих и служащих железнодорожного транспорта.

С. 299. *...нейтралитет его выразился в... недопущении правительственных войск к мятежному Петрограду...* — Один из руководителей Викжеля А. Малицкий так объяснял эту двойственность: «Мы не могли встать на сторону Совета Народных Комиссаров, ибо, как я уже имел честь вам доложить, этот СНК не являлся органом правомочным. Но мы не стали

и на сторону Комитета Спасения Родины и Революции, ибо этот комитет ставил своей задачей поддержку павшего правительства [Вр. правительства]».

С. 299. *...история появления «министра иностранных дел» Троцкого у английского посла и ответ посла: «таких я не принимаю».* — К Джорджу Уильяму Бьюкенену (1854–1924), английскому послу, у красных вождей были давние счеты после публикации им сведений о крупной немецкой субсидии большевикам. Троцкий поторопился написать против него гневный памфлет, где возвестил: «Цель настоящей брошюры — содействовать ускорению того момента, когда революционная Россия скажет г. Бьюкенену и его хозяевам: “Потрудитесь убрать ноги со стола!”». Неудивительно, что после прихода большевиков к власти сэр Бьюкенен не выразил горячего желания встретиться с красноречивым наркомом.

С. 299. *...история получения из Государственного банка десяти миллионов рублей.* — Аверченко слегка преувеличил анекдотическую составляющую этой истории, но суть передана верно. Госбанк — учреждение серьезное, оно должно функционировать по строгим правилам, нарушение которых неприемлемо. Это понимали даже большевики: ведь нельзя же запросто, будь ты хоть министр финансов, явиться в банк и потребовать себе денег. Поэтому решено было действовать по уставу: открыть в банке счет, добиться перечисления на него денег и уже потом снять наличные. Переговоры, начатые с руководством Госбанка еще 17 ноября, намеренно затягивались и, несмотря на угрозы и превентивные аресты некоторых членов руководства, ни к чему не привели. 19 ноября представители власти, вооружившись письменным требованием о немедленном перечислении 10 млн рублей «на экстраординарные расходы» Совета народных комиссаров, прибыли, но были огорошены известием о том, что их требование незаконно: банковский счет на Совнарком, как на организацию, не являющуюся юридическим лицом, просто не может быть открыт!

20 ноября ситуация повторилась. К зданию Госбанка под видом демонстрантов были стянуты воинские части, и оно оказалось оцеплено. Несговорчивым чиновникам было вручено предписание Военно-Революционного комитета за подписью Менжинского о немедленном исполнении решения Совнаркома, но снова получен отказ по причине несоответствия документа банковским стандартам и отсутствия там всех необходимых подписей.

История с получением денег завершилась только неделю спустя — после грозной ВЦИКовской резолюции «О борьбе с саботажем чиновников Государственного банка», увольнения большого числа ответственных работников и назначения нового коменданта Госбанка.

Правда, на этот раз сумма, требуемая Советом народных комиссаров, составила уже 25 млн рублей.

С. 300. *Издаст Ленин декрет, что быть Муравьеву французским президентом, — и будет человек президентом.* — Михаил Артемьевич Муравьев (1880–1918) — авантюрист высшей пробы и божьей милостью, в каких только обличьях он не выступал за свою короткую и необыкновенно сумбурную жизнь. Об этом человеке стоит, в порядке исключения, рассказать подробнее.

Военная фортуна была благосклонна к нему. Первым боевым успехом юнкера Муравьева явилось взятие в плен самого генерала Куропаткина, командовавшего на учениях войсками условного противника. Далее случилась русско-японская война, где поручик Муравьев получил тяжелое ранение в голову (злые языки потом поговаривали, что именно оно явилось причиной необыкновенной живости его характера и непредсказуемости поведения). Потом — пять лет за границей — лечение в санаториях и обучение в Парижской военной академии.

В Первую мировую — новые раны, затем унылая преподавательская лямка в Одесской школе прапорщиков. Но грянула революция и звездный его час настал. Он отбывает в столицу, где успешно занимается формированием «батальонов смерти» и даже пары ударных женских батальонов. Вскоре становится начальником охраны Временного правительства.

Даже Октябрь не сломал его карьеры: Муравьев одним из первых среди старого офицерства приходит в Смольный — для служения революционному народу. Пылкий подполковник, обладавший, по отзывам современников, магнетическим влиянием на собеседников, произвел немалое впечатление и на Владимира Ильича, и на Свердлова; его вводят сначала в Военно-Революционный комитет, затем назначают командующим войсками Петроградского Военного округа.

Далее — новый виток его карьеры уже на киевском направлении. Успешно действуя на Южном фронте, войска Муравьева занимают Киев, устроив там с его подачи массовый террор в отношении бывшего офицерства. Потом он с успехом имитировал боевую активность на Румынском фронте, однако неудачно руководил обороной Одесской советской республики, отдав при

отступлении приказ (по счастью, невыполненный) об уничтожении артиллерийским огнем всей центральной части города.

Муравьев прибывает в Москву, где, заподозренный в связях с анархистами, нежданно подвергается аресту, но вскоре опала снята и он получает новое назначение — командовать Восточным фронтом. Едва начав осваиваться на новой должности, Михаил Артемьевич получил известие о жестоком подавлении мятежа левых эсеров — партии, которой он сочувствовал и в которой, по ряду сведений, тайно состоял. Возмущенный Муравьев из солидарности устраивает собственный мятеж, взбунтовав пару полков красноармейцев и отбыв с ними в Симбирск. Там он арестовывает всю верхушку местной советской власти, а попутно и командарма Тухачевского.

Более того, Муравьев назначает себя Главкомом и объявляет войну Германии! Было ли это следствием тяжелого ранения в голову, неизвестно, но новый Главком вдруг принялся отдавать приказы командованию чехословацкого корпуса — т.е. тем, против кого он и был отправлен воевать...

Но последнее слово осталось за Лениным и Троцким. «Известия» опубликовали правительственное заявление возмущенных вождей: «Бывший главнокомандующий на чехословацком фронте, левый эсер Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте». Что интересно, оно появилось в печати уже после смерти мятежного Главкома: вызванного якобы для переговоров в местный исполком Муравьева изрешетил пулями тайно прибывший накануне отряд чекистов и латышских стрелков.

Так и не довелось Михаилу Артемьевичу Муравьеву, вопреки ожиданиям Аркадия Аверченко, стать французским президентом. А жаль.

Вся власть — мне

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 44.

С. 302. *...Крестовников, Коновалов и прочие Рябушинские.* — Представители известных торгово-промышленных династий: Крестовниковы — ткацкие, прядильные, мыловаренные фабрики; Коноваловы — торговля, мануфактурное производство, банковское дело; Рябушинские — банковский бизнес, лесопромышленная, металлообрабатывающая, текстильная промышленность.

С. 303. *Послали к немцам для переговоров какого-то несчастного Шнеура, да и тот оказался жуликом!* — Владимир Константинович Шнеур — авантюрист. Гусарский поручик, вышедший в свое время в отставку из-за некрасивой денежной

истории, предложил свои услуги охранке. Был редактором полуоппозиционной газеты «Военный голос», издававшейся на деньги МВД. За какие-то финансовые махинации и подлог привлечен к судебной ответственности. Сбежал за границу, но продолжал заниматься агентурной работой среди эмигрантов, не прерывая контакта с охранным отделением. С началом войны вернулся в Россию, служил в армии, после Февральской революции выполнял некие секретные поручения в Англии. После Октября по указанию Н. Крыленко Шнеур якобы разработал план захвата штаба ген. Духонина. По заданию того же Крыленко 13 ноября 1917 г. возглавил делегацию, доставившую германскому командованию предложение о немедленном заключении перемирия и начале переговоров «об условиях мирного соглашения», на что был получен положительный ответ.

Вскоре после возвращения Шнеура в Петроград всплыли его прошлые связи с охранкой. Бывшего сексота заключили под стражу, на суде обвинение было доказано, и подсудимого, по одним сведениям, выслали за границу (куда? на каком основании?), по другим — отправили в тюрьму. Далее его следы теряются.

Открыта подписка

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 44 (тематический номер «Новый Сатирикон благодарит большевиков...»).

Эта рекламно-подписочная агитка была помещена от имени редакции, но рука Аверченко здесь чувствуется несомненно.

Последняя елка *(Рождественский рассказ Арк. Аверченко)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 45 («Рождественский номер»).

Персонажи этого фельетона легко поддаются идентификации: художник Р. – Алексей Радаков, поэт Ф. – Александр Флит, секретарша – поэтесса Лидия Лесная. Что же касается его содержания, то некоторые моменты здесь требуют уточнения. Журнал вышел в свет на исходе декабря 1917 г. Тогда почему там фигурируют декреты Совета народных комиссаров, принятые в конце января 1918-го? Дело в том, что процесс принятия некоторых декретов мог занять не один месяц. К примеру, вопрос об издании декрета об отделении церкви от государства был поставлен в Совнаркоме 11 декабря, затем шла выработка его проекта, который был опубликован в конце месяца, став предметом дискуссий. Сам же декрет в окончательном виде был

принят 20 января, вступив в силу с 23-го, после публикации его в правительственной прессе.

С. 308. *Значит, «Исайя, ликуй»?* — Тропарь, исполняемый во время венчания.

С. 309. *...народные комиссары из Смольного для уравнения нашего календаря с западным отменили в этом году Рождество.* — Не совсем так. Действительно, 24 января 1918 г. Совнарком издал «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря», переведя страну с юлианского на григорианское исчисление, но он вступил в силу лишь «по истечении января месяца сего года»; таким образом, 1 февраля 1918 г. стали считать 14, 2 — 15 и т.д. Рождество, соответственно, переехало с 25 декабря на 7 января. Что же касается его отмены, то оно, утеряв официальный статус праздника, продолжало оставаться выходным днем по 1929 г., т.е. до начала перевода рабочего календаря на 6-дневную неделю.

С. 311. *...большевики отделили церковь от государства.* — Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» был принят 20 января 1918 г.

Уменье применяться к обстоятельствам

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 45 («Рождественский номер»).

Почтовый ящик журнала «Новый Сатирикон» (1917)

«Почтовый ящик», традиционная и, пожалуй, самая любимая читателями рубрика «Сатирикона», неизменно присутствовал в журнале, начиная с первых номеров, перейдя туда из доживавшей свои последние месяцы «Стрекозы».

В 1917 г., как и в прежние годы, его вел Аркадий Аверченко, заменяемый на время своего отсутствия в столице кем-либо из ближайших сотрудников, чаще всего Аркадием Буховым. Иногда они делали его совместно: один — Петроград, другой — провинцию.

Здесь, как и в разделе «Почтовый ящик журнала “Новый Сатирикон” (1918)», мы помещаем только тексты, под которыми стоит подпись Аверченко.

С. 324. *Книга Лидии Лесной называется «Аллея причуд», издательство «Прометей». Первое издание распродано. Кажется, печатается второе.* — *Лесная Л.* Аллея Причуд: Сти-

хи. — М.: Прометей, б/г., 600 экз. Второе издание сборника не зафиксировано.

Лидия Валентиновна Лесная (Лидия Озиясовна Шперлинг) (1889–1972) — поэт, драматург, актриса. В 1916–1917 гг. работала секретарем редакции «Нового Сатирикона», была частым гостем на страницах журнала в последние три года его существования.

С. 327. *За царя, за Русь святую*
Стойте грудью вы своей,
И за то казну златую
Я отдам вам — ей-же-ей. —

Пародийное обыгрывание рефрена из «Песни ратника», патриотического сочинения эпохи Крымской войны (П. Булахов — С. Сельский):

За Царя, за Русь Святую
Пойду смело со штыком
И обрадую родную
Я георгевским крестом.

«Песня ратника» входила в репертуар Надежды Плевицкой и была достаточно популярна в народе. Любил ли эту песню сам Н. Ром-нов, неизвестно.

С. 336. ...*небоже* — звательный падеж (вокатив) от архаизма *небога* — бедняк, увечный, несчастный человек.

С. 338. *«Я уверен, что Керенский потому боится арестовать матросов «Петропавловска» (убийц офицеров), что у него кишка тонка».* — 30 августа в Гельсингфорсе четыре офицера дредноута «Петропавловск» были убиты своими же матросами за отказ подписать антикорниловскую резолюцию общего собрания судовой команды.

Александр Федорович Керенский не стал проводить расследования этого преступления, напротив, он счел его вполне соответствующим духу революционной эпохи, провозгласив: «Эти жертвы неизбежны... Необходимо было таким образом прорваться буре народного негодования».

С. 341. ...*безграмотный прапорщик Крыленко сделался российским верховным главнокомандующим...* — Николай Васильевич Крыленко (1885–1938) — советский государственный деятель, видный партиец. К большевикам примкнул до Первой революции, в которой принял активное участие. Неоднократно бывал

под судом, работал в газете «Правда». Отбыв в эмиграцию, сблизился с Лениным, став его доверенным лицом. В Первую мировую войну уклонялся от службы, но в конце концов был мобилизован. Имел незначительный боевой опыт, пребывая в должности офицера связи. После Февральской революции занимался преимущественно агитационной работой в Петербурге. Участвовал в подготовке Октябрьской революции, после победы которой по протекции Ленина был назначен на пост Верховного главнокомандующего взамен смещенного ген. Духонина, однако через четыре месяца вышел в отставку. Далее успешно подвизался на юридическом поприще, заняв в конце концов должность наркома юстиции.

В1930-е активно участвовал в репрессиях, но и сам не удержался на плаву, привлеченный к ответственности по экзотическому делу о «контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов».

Из журнала «Новый Сатирикон»

(1918)

Самое важное

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 1.

С. 346. *Отвечайте: Украина — отдельная республика или автономная часть России?* — Вопрос задан неспроста: именно на то самое время проходился пик борьбы за изменение государственного статуса Украины. Дело в том, что в ноябре 1917 г. Центральная Рада приняла III Универсал — государственный акт, провозглашающий создание Украинской Народной республики в составе федерации свободных народов, но на основе широкой автономии. Так что страна, пусть и формально, продолжала подчиняться Временному правительству и входила в состав бывшей империи на федеративных началах. Но националистические силы развернули кампанию за абсолютный суверенитет, и 9 (22) января был принят IV Универсал, провозглашающий УНР «самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным суверенным государством украинского народа».

С. 347. *...Вы, голубушка, за какой список голосовали в Учредительное? — За второй.* — 12 (25) ноября 1917 г. прошли выборы во Всероссийское Учредительное собрание. При голосовании избиратели не ставили, как сейчас, галочку в нужном месте в общем избирательном бюллетене, а выбирали одну из полученных загодя т.н. «избирательных записок» с партийными

списками (либо вырезали их из общего перечня партий-претендентов), вкладывали в специальный конверт и опускали в урну.

Выборы в Учредительное собрание (а чуть раньше — в Городскую думу) предоставили российским женщинам возможность полноценно реализовать свое избирательное право (к слову, в Великом княжестве Финляндском они получили ее еще в 1906 г.).

А вот вопрос о том, какую из партий представлял список № 2, не имеет однозначного ответа. Дело в том, что в разных избирательных округах списки одних и тех же партий фигурировали под различными номерами. К примеру, в Петроградском столичном избирательном округе большевики проходили под № 4, а в Петроградском губернском — под № 2; там же меньшевики шли под № 3, в Оренбургском — 4, а в Ставропольском — 7. Значение имел не номер списка, а партийная принадлежность входящих туда кандидатов во власть.

В Петроградском столичном избирательном округе список № 2 представлял партию Народной свободы.

Болотные туманы

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 2.

С. 353. *...и вот уже полетели на Малаховом кургане головы ваших благородных офицеров...* — в декабре 1917 г. Малахов курган был местом бессудных массовых расправ революционных матросов с офицерской «гидрой контрреволюции». В числе жертв — начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал М. Каськов, начальник местной школы юнг контр-адмирал А. Александров, командир Севастопольского порта вице-адмирал П. Новицкий и многие другие. Один из случайно уцелевших, лейтенант А.Ф. Ульянин, вспоминал впоследствии: «Никто не думал, что, живя в Севастополе, мы находимся в клетке с кровожадными зверями...»

Опонос или русские в 1918 году *(Охотничья идиллия Арк. Аверченко)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 3 («Идиллический номер»).

С. 355. *Атласский, так называемый, лев.* — Он же берберийский и нубийский, крупнейший и один из красивейших подвидов африканских львов, славился густой темной гривой, заходившей на живот. Широко распространенный в Северной Африке еще в XIX в., в настоящее время полностью истре-

блен. Последний из атласских львов был застрелен в Марокко в 1922 г.

С. 355. — *А это — бизон? ...Проводник наш, кафр...* — Бизоны — обитатели Северной Америки, кафры — Южной Африки. Видимо, этот кафр был долгожителем, завезенным из Африки в Соединенные Штаты еще до отмены рабства...

С. 356. *...шкурой тибетского медведя...* — Тибетский бурый медведь или медведь-пищухоед, крупное животное темно-бурого окраса с белой полосой на груди. Эндемик Тибетского плато, очень редок, охраняется государством.

С. 356. *...карпатского волка...* — один из подвидов серого волка, а названий у него больше, чем псевдонимов у Аверченко или титулов у Николая II: волк обыкновенный, волк европейский, волк евразийский, степной, тибетский, китайский и прочая, прочая, прочая...

Человек! Бутылку сельтерской!

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 8 (апрель).

С. 361. *Иоффе и Карахан мир подмахивали...* — Брестскому мирному договору, подписанному 3 марта 1918 г., предшествовали длительные переговоры, проходившие там же, в Брест-Литовске, в три этапа. Адольф Абрамович Иоффе (1883–1927) возглавлял советскую делегацию на первом этапе, но, считая условия Германии неприемлемыми, категорически отказался от этой чести на третьем, заключительном, когда, собственно, и был подписан Брестский мир. Лев Михайлович Карахан (1889–1937) был активным участником всех трех этапов переговоров, исполнял обязанности секретаря делегации на первом из них.

С. 361. *...кто-то ратифицировал, кто-то что-то лишнее аннексировал, ну и пошло тут разное.* — Брестский мирный договор был ратифицирован на IV Чрезвычайном съезде Советов 15 марта 1918 г. По условиям мирного договора, от России отторгалась огромная территория с населением в 56 миллионов человек, значительная часть которой должна была стать протекторатом Германии.

С. 362. *...вы вступили в войну с Румынией* — имеется в виду вооруженный конфликт, возникший в декабре 1917 г. в связи с оккупацией Румынией Бессарабии. В январе 1918 г. Одесская Народная республика объявляет Румынии войну; в марте Румыния выходит из союза с Антантой и вступает в блок с Германией.

С. 362. *...«право наций на самоопределение, вплоть до полного отделения», а когда они самоопределились да отделились —*

обидно стало. — См. комментарии к рассказу «Самое важное» (Н. Сатирикон. 1918. № 1).

С. 362. *А армия как же? — Да вы ж ее демобилизовали...* — По условиям Брестского мира, России предписывалось демобилизовать свою армию, что и было проделано в несколько этапов в марте 1918 г.

С. 362. *Бывало, румчерод делегирует викжель в искосол, а наштаверх с центроглавком в обиде на викжедор...*

– Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы.

– Викжель — Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников.

– Искосол — Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов 12-й армии Северного фронта.

– Наштаверх — начальник штаба Верховного главнокомандующего.

– Викжедор — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников.

Письмо в редакцию (1)

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 9 (май) («Пасхальный номер»).

С. 363 *...о судьбе капиталов, лежавших в моем сейфе в Сибирском банке...* — Сибирский торговый банк был национализирован по декрету ВЦИК от 14 (27) декабря 1917 г., а 23 января (5 февраля) 1918 г. его акционерный капитал был конфискован в пользу Государственного банка Российской республики.

С. 363. *Вот, пока что, все мои личные убытки от национализации банков.* — В фельетоне «Открытое письмо английской полиции», помещенном в газете «Юг России» (1920. № 64, от 16 июня), Аверченко припомнил и еще одну свою потерю: «Когда большевики насильно захватили в Петербурге власть, они украли из моего сейфа в Сибирском банке 18 золотых монет, по 10 рублей»[13].

Кнут без лошади *(Фельетон одного покойника)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 10 (май). Подпись: Покойный Фома Опискин.

363. *...левые эсеры на своей партийной конференции в Москве объясняли неуспех своей партии... тем, что у левых эсеров нет самостоятельной программы и что нужно обязательно выработать свою программу.* — Не выработать, а изменить. Речь идет о 2-м съезде ЛСДРП, прошедшем в Москве 17–25 апреля

1918 г. Основным вопросом, который там обсуждался, была как раз смена курса партии, обусловленная состоявшимся незадолго до того выходом партии левых эсеров из большинства властных структур и отказом от сотрудничества с большевиками. Более того — на закрытом заседании обсуждалась возможность и необходимость возвращения партии к политике индивидуального террора, что через три месяца и произошло.

Учителя и ученики

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 11 (май) (Специальный номер «О Карле Марксе»). Подпись: Покойный Фома Опискин.

Тонкая политика

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 11 (май) (Специальный номер «О Карле Марксе»). Подпись: Медуза Горгона.

С. 372. *Драматический режиссер-артист Нерадовский* — Сергей Николаевич Нерадовский (1874–?) — актер Александринского театра, театра Литературно-художественного общества, гл. режиссер Ярославского драматического театра им. Волкова, киноартист с дореволюционным стажем.

Моя симпатия и сочувствие Ленину *(Сочувствует — Аркадий Аверченко)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 12 (июнь).

С. 372. *...ну что это за положение такое: «Председатель Советской республики»?* — С 27 октября (9 ноября) 1917 г. Ленин занимал пост председателя Совета народных комиссаров РСФСР, высшего органа государственной власти.

С. 374. *Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. ...Надо пойти посмотреть, что это за картина такая.* — Не совсем так. Имеется в виду ханжонковский фильм «Мисс Мэри»(1918) — драма, поставленная Б. Чайковским по мотивам романа Клода Фаррера «Человек, который убил». Главную женскую роль там играла Нонна Болеславовна Родзевич-Лещинская (1893—1977).

А вот смотреть эту драму Аверченко было бы скучновато: благородный маркиз де Севиньи убивает коварного лорда Арчибальда, спасая от поругания честное имя прекрасной Мэри, словом — «таинственные нити судьбы сплетаются в роковой клубок».

С. 374. *Кстати, господин Ленин, — частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина?* — Призыв не ко времени. Еще совсем недавно Петросовет выпускал грозные

воззвания: «Не прикасайтесь к вину — это яд для нашей свободы!» Некоторые послабления начались значительно позже: в 1921 г. была окончательно легализована торговля вином, а с 1 января 1924 г. разрешили и водку — правда, «рыковку», с усеченным числом градусов.

С. 375 ...*Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.* — По всей видимости, речь идет о переговорах по займу в 40 млн марок, получение которого обуславливалось предоставлением Германии целого ряда выгодных концессий и допуском ее финансовых структур в экономику страны.

С. 376. ..*матросы... требуют реставрации Дыбенки...* — Павел Ефимович Дыбенко (1889–1938), очень деятельный, но не слишком удачливый военачальник, был популярен в армии. После Февраля — председатель Центрального комитета Балтфлота, после Октября — народный комиссар по морским делам. В феврале 1918 г., командуя матросскими соединениями на российско-германском фронте под Нарвой, допустил прорыв линии фронта и повальное бегство подчиненных ему сил, за что был снят со всех постов, арестован и предан суду, так что в описываемый период «реставрации» Дыбенко не произошло. Она случилась позже, он даже снова занял пост наркома по морским делам — правда, в Крымской советской республике, да и то ненадолго. Зато впоследствии Павел Ефимович преуспел в подавлении всякого рода бунтов: махновщины, григорьевщины, Кронштадтского мятежа и Тамбовского крестьянского восстания.

Гроза немцев — Чичерин

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 12 (июнь). Подпись: Медуза Горгона.

С. 376. *Немцы взяли Ростов.* — Точнее, Ростов-на-Дону. 8 мая 1918 г. город был занят частями германского экспедиционного корпуса совместно с казачьими отрядами ген. Краснова.

Русские калифорнийцы

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 13 (июнь) (Специальный номер «ПРОЛЕТКУЛЬТ»).

С. 379. *«Пламя», пролетарский журнал...* — «Пламя» никогда не позиционировало себя как пролетарский журнал. Это был «еженедельный, общедоступный, научно-литературный и художественно-иллюстрированный журнал», издававшийся Петроградским Советом рабочих и красноармейских депутатов

в 1918–1920 гг. и выходивший под редакцией Луначарского. Аверченко, вероятно, смешивает его с другим похожим изданием, выходившим тогда же и там же: «Грядущее». Пролетарский художественно-литературный журнал. Издание «Пролеткульта».

С. 379. *Которые соглашатели и которые корниловцы это не те, что скажем авангард русской революции, который краса и гордость!»* — Это гротеск. В «Пламени» публиковались вполне качественные материалы — проза, стихи, критика, репортажи, его полиграфический уровень был высок, а что касается дизайна, то Луначарскому удалось привлечь к сотрудничеству лучших питерских графиков — С. Чехонина, С. Видберга и пр.

Письмо в редакцию (2)

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 13 (июнь) (Специальный номер «ПРОЛЕТКУЛЬТ»).

С. 381. *...о «Земщине»...* — Монархическая петербургская газета крайне правого толка, издавалась в 1909–1917 гг., последние годы — под редакцией Н. Маркова. Получала регулярные субсидии из фондов МВД. После Февраля запрещена.

С. 381. *Марков II* — Николай Евгеньевич Марков (1866–1945), писатель и публицист, одиозный политический деятель, депутат Государственной думы, ярый монархист, черносотенец, глава «Союза русского народа». Один из самых популярных представителей политической фауны на страницах «Сатирикона» начиная с первых лет издания. Эмигрант. Активно участвовал в пропагандистских печатных органах III Рейха.

От сицилиста через социалиста к сицилисту

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 14 (июнь).

С. 384. *Брешко-Брешковскую носят на руках...* — Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844–1934) была в те времена необычайно популярной фигурой. Еще в молодости она, оставив семью, ушла в революцию, всю жизнь оставаясь верной своему выбору. Начав с увлечения анархизмом П. Кропоткина, радикализировалась, стояла у истоков партии эсеров и Боевой организации Г. Гершуни, пестовала будущих террористов — И. Каляева, Е. Созонова, Б. Савинкова. Много лет провела на каторге и в ссылке, эмигрировала. Вернувшись на родину в Первую революцию, была выдана Азефом, и снова — многолетняя сибирская ссылка. Но популярности она не утратила, и после Февраля спецвагон со знаменитой политкаторжанкой приезжал встречать сам Керенский, в союзе с которым и продолжилась ее борьба за народное счастье.

Брешко-Брешковская стала одним из символов своего времени, был даже снят агитфильм «Бабушка русской революции». Октябрь сильно поправевшая Екатерина Константиновна встретила негативно, но, не преуспев в борьбе с узурпаторами государственной власти, отбыла в эмиграцию.

Слабая голова

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 15 (июль) (Специальный номер «О прекрасной Франции»).

С. 387 *...в Белой Церкви сейчас германские ландштурмисты, как хозяева, гуляют!* — Белая Церковь (Юрьев) — город в 80 км к югу от Киева, был занят германскими войсками в начале марта 1918 г. в полном соответствии с условиями мирного договора, достигнутого в Брест-Литовске между Германией и Австро-Венгрией с одной стороны и правительством Украинской Народной республики — с другой. Ландштурмисты — аналог народного ополчения, вспомогательные тыловые воинские соединения германской армии.

С. 388. *...ни на золототысячнике, ни на персиковых косточках, ни на смородиновом листу...* — аллюзия на повесть «Старосветские помещики» из «Миргорода» Гоголя.

С. 389. *...Ермолай от голодухи сожрал Валетку...* — аллюзия на рассказ «Ермолай и мельничиха» из «Охотничьих рассказов» Тургенева. А Ермолаю можно только посочувствовать — там и есть-то нечего: худовата была легавая...

Граф Брянцев и Терентий Брюкин *(Купальный рассказ)*

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 17 (июль) (Специальный номер — КУПАЛЬНЫЙ в кавычках).

С. 390. *...на латгальском языке.* — Латгальский язык — диалект латышского.

С. 391 *...Я ведь по четвертой категории: одну шестнадцатую хлеба и пять селедок.* — В июне 1918 г. в центральной России карточная система была в очередной раз регламентирована. Население поделили на 4 категории — в основном, по социальному признаку. В 1-ю категорию входили рабочие оборонных предприятий, работники транспорта, металлисты и др.; во 2-ю — прочие рабочие, мелкие служащие, ремесленники, учителя и инвалиды; в 3-ю — административные работники, интеллигенция, а также священнослужители и другие социал-прислужники, и, наконец, к 4-й, самой низшей категории, были отнесены эксплуататоры трудового народа — торговцы, хозяева частных предприятий, бывшие купцы, фабриканты,

крупные чиновники и т.д. Каждая последующая ступенька этой социальной лестницы кратно отличалась от предшествующей как по количеству продуктов, так и по их ассортименту.

В будущем...

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 17 (июль) (Специальный номер — КУПАЛЬНЫЙ в кавычках). Подпись: Покойный Фома.

С. 393. *После Брестского мира у России отрезаны все выходы к морям — Из газетн. передовицы.* — Подобные сообщения имеют такое же отношение к истине, как сенсационные заголовки нынешних интернетовских новостных статей к их содержанию. После Брестского мира Россия теряла не выход к морям, а военное присутствие там. Балтфлот покидал базы, расположенные в Финляндии и Прибалтике, то же касалось и баз Черноморского флота, а также северных морей. В ряде случаев речь шла не только о демилитаризации портов, но и о передаче находившихся там боевых кораблей центральным державам, т.е. Германии и ее союзникам.

При этом не стоит забывать, что главным условием Брестского мирного договора являлась полная демобилизация Российской армии и Военно-морского флота.

Ростов-на-Дону

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 18 (август).

С. 395. *Посчитайте сами: большевики, казаки, опять большевики, белогвардейцы, опять казаки, немцы — да всех разве упомнишь!* — Попробуем восстановить хронологию событий. Отсчет властей начинается в этом перечне со времени после самоубийства ген. Каледина и начала Ледового похода, в результате чего основная масса добровольческих формирований была выведена из города, и 23 февраля 1918 г. Ростов был занят частями Красной армии. Красные продержались в Ростове до 4 мая, а 5 туда вошли части дроздовцев, но, не встречая никакого сопротивления, в городе они надолго не задержались, а проследовали в направлении Новочеркасска. Далее три дня Ростов жил под эфемерной властью Городского самоуправления, пока 8 мая туда не вошли с одной стороны — казаки ат. Краснова, с другой — немецкая 20-я запасная дивизия, дислоцировавшаяся там до окончания Первой мировой войны. Положение в городе теперь контролировала Ростовская Германская комендатура, постепенно сдавая свои полномочия представителям Всевеликого войска донского.

С. 397. *...а почему «Тихий Дон» не поете, щучьи дети?* — Переделанный преподавателем Донской духовной семинарии Гиляревским вариант старой песни «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон» в 1918 г. стал официальным гимном Всевеликого войска донского. Сократившись до трех куплетов и слегка переделанный, он дожил и до настоящего времени, став гимном Ростовской области.

Иллюзии

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 18 (август). Подпись: Медуза Горгона.

С. 398. *...подкрасьте пикончиком...* — Пикон — эссенция, добавляемая в алкогольный напиток.

С. 398. *...легонького барзачку...* — барзак (барсак) — сорт десертного белого вина из одноименного региона Франции; *Мутон Ротшильд* — французское бордосское вино; *Брют Американ* — сорт американского сухого шампанского, *абрикотин, шартрез и кордиаль-медок* — ликеры.

Почтовый ящик журнала «Новый Сатирикон» (1918)

С. 406. *...журнал «Барабан» закрыт без суда и следствия...* — «Барабан» был запрещен цензурой в феврале (начале марта(?)) 1918 г. (см. далее, в разделе «Из журнала “Барабан”»).

С. 408. *Иерониму Ясинскому. — Зайдите в редакцию нашей «Правды».* — Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1931) — литератор широкого профиля с колоритной внешностью былинного сказителя. Имел скверную репутацию сервильного журналиста, а также «сплетника, пасквилянта, соглашателя и лицемера (человека, не верящего ни в одну из исповедуемых им эстетических или идейных доктрин и лишь меняющего маски)». В «Пламени» Ясинский печатался постоянно, блеснув в первом же номере этого журнала программным стихотворением «Отблески пролетарского миросозерцания».

С. 408. *Якову Окуневу. — Будьте внимательнее, товарищ. Опять перепутали.* — Якову Марковичу Окуневу (1882–1932), как одному из провозвестников советской фантастики, вероятно, просто было свойственно пребывать в параллельных реальностях. Но в «Пламени» он, как и Ясинский, печатался, начиная с первого номера.

С. 409. *«Почему не выходит милый «Барабанчик?» — Его закрыла коммуночка без объяснения причиночек.* — см. далее, в разделе «Из журнала “Барабан”».

С. 410. *И, пыль веков от камня отряхнув, / Ногой стихи плохие он напишет.* — Пушкин. «Борис Годунов»:

И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет.

Из журнала «Барабан» (1917)

Журнал возник как дочерняя структура «Нового Сатирикона» на рубеже марта и апреля 1917 г.

В № 12 «Нового Сатирикона» появилось броское объявление: «Вышел в свет и поступил в продажу республиканский журнал сатиры и юмора “Барабан”». Издателем значилось т-во «Новый Сатирикон», редактором был М.С. Линский (Моисей Соломонович Шлезингер (1878–1941)), талантливый журналист и художник, впоследствии редактировавший парижский «журнал политической сатиры» «Бич», в котором сотрудничал и Аверченко.

«Барабан» выходил форматом в четверть «Сатирикона», в составе его сотрудников — сатириконцы А. Бухов, А. Флит, Л. Лесная, А. Радаков, Б. Антоновский, Мисс и пр. Аверченко выступал там не только как писатель, но и как карикатурист. По зубастости «Барабан» нисколько не уступал своему прародителю, да и скомпонован был во многом по его образцу, разве что традиционный сатириконский полемической раздел «Волчьи ягоды» трансформировался там в эпатажный «Пирожки с человеческим мясом». Неудивительно, что, не успев отпраздновать первый год своего существования, он был запрещен как антисоветское издание на № 3 за 1918 г.

Впоследствии, уже в эмиграции, Аверченко вспоминал: «...рабоче-крестьянская власть оказалась проще. Нарисовал я в своем журнале “Барабан” карикатуру на Брест-Литовский мир — хлоп! Так двинули ногой по “Барабану”, что одна зияющая дыра осталась»[14].

Существует и более подробная его версия тех событий:

«Другой мой журнал “Барабан” — был еще раньше закрыт за две карикатуры: радаковскую и мою. На первой — Вильгельм II сыплет золото в жадно подставленные руки Ленина и Троцкого. Подпись: “Единственный тайный договор, который

большевиками не опубликован". На втором рисунке — пергаментный свиток за печатью "Брестский мирный договор". Свиток густо обрызган кровью. Подпись: "Самый прочный в мире договор — скреплен кровью... генерала Скалона". (Как известно, большевистский представитель ген. Скалон не мог вынести позора этого беспримерного мира и тут же, в другой комнате, по подписании мира — застрелился)»[15].

Думается все же, повод для запрещения «Барабана» был иным.

Брестский мирный договор кто только не ругал — и в газетах, и на митингах, не говоря уже о том, что категорически против его заключения выступала чуть ли не половина членов ЦК РКП(б), что привело к настоящему расколу в партии и образованию бухаринского блока «левых коммунистов».

Что касается немецких субсидий большевикам, то эта тема присутствовала в печати начиная с лета 1917 г. и давно уже стала общим местом.

Может быть, цензура обиделась на «кровь генерала Скалона»? Но советской власти была безразлична генеральская кровь, тем более пролитая в знак протеста против ее политики. К тому же, как верно отметила В.Д. Миленко, аверченковская карикатура на переговоры о мире появилась в декабрьском номере «Барабана», а разделались с ним лишь два-три месяца спустя[16].

Нет, советская власть не могла позволить себе тогда подобных проволочек.

По всей видимости, настоящей причиной закрытия журнала была помещенная на обложке № 2 за 1918 г. карикатура Б. Антоновского, изображавшая пронзенных штыками Ленина и Троцкого. Позор Брестского мира, мифические немецкие деньги — все это значения не имело, а вот корчащийся на штыке товарищ Ленин — явный и недвусмысленный призыв к насильственному ниспровержению Советской власти.

К тому же следует напомнить, что еще 27 октября 1917 г. Совнаркомом был принят «Декрет о печати», первый пункт которого гласил: «Закрытию подлежат <...> органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству».

Так что не стоит удивляться, что «Барабан» был запрещен на следующем же номере.

В январе 1918 г. Аркадий Аверченко, чувствуя зыбкость положения «Барабана», пытался всячески поддержать его,

публикуя в «Н. Сатириконе» объявления (по всей видимости, собственного авторства) вроде:

«**Редакция журнала “БАРАБАН”**
почтительнейше просит читать этот замечательный журнал.
Все те, которые будут уклоняться от этой обязательной повинности, объявляются сим декретом — врагами народа и друзьями большевиков.
Журнал “**Барабан**” продается всюду, так что отговорки, дескать, я не мог нигде достать, — совершенно неуместны.
*Ред. журн. “**Барабан**”*» [Новый Сатирикон. 1918. № 2 (январь)]

Или:
«**ОТ РАХИТА, ЭКЗЕМЫ, УНЫНИЯ**
помогает чтение журнал “**Барабан**”.
Присутствие “Барабана” в кармане во время грабежа (конечно, если грабите не вы, а вас) — спасет от всякого ущерба.
Грабители, найдя у вас в кармане “**Барабан**”, начинают его читать, держась за животики, а вы в это время успеваете убежать.
И наконец (поразительное действие!) — журнал “**Барабан**” может служить видом на жительство, а также незаменим для укрепления семейной жизни и при обысках.
Вообще, — что толковать — читайте, и конец.
Издательство». [Новый Сатирикон. 1918. № 3 (февраль)]

Эта рекламная кампания завершилась следующим объявлением:
«Редакция журнала “**Барабан**” извещает читателей, что по распоряжению Комиссариата по делам печати, выход журнала “**Барабан**” впредь до снятия в Петрограде осадного положения запрещен». [Новый Сатирикон. 1918. № 7 (апрель)]

Осадное положение было введено Комитетом обороны Петрограда 21 февраля, причем одновременно с ним была воссоздана и военная цензура (упраздненная годом ранее, в марте 1917 г.), под чей пресс, видимо, и угодил «Барабан». А может быть, он пал жертвой «Революционного трибунала печати», декрет об организации которого был обнародован Совнаркомом 28 января 1918 г. Кроме городского, были созданы и региональные трибуналы печати с обширными полномочиями — от крупных штрафов и конфискации типографий и всего редакционного и личного имущества ответственных

лиц до немалых тюремных сроков. Сам Володарский, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, частенько выступал там в роли государственного обвинителя.

К слову, распоряжением именно этого Комиссариата журнал «Барабан» и был запрещен — и не «впредь до...», а навсегда: *«– Его закрыла коммуночка без объяснения причиночек»,* — как горько пошутил Аркадий Тимофеевич...

Аркадий Аверченко публиковал в «Барабане» свои рассказы весьма активно и под различными псевдонимами. Какие-то его вещи, вероятно, были помещены там анонимно, но атрибуция их — процесс чересчур гадательный. В этот раздел включены только подписные его произведения. В тех случаях, когда возникали обоснованные сомнения в его авторстве, — например, рассказ «Сорокатрехлетний», подписанный: «Авер. Бух.», что можно было бы интерпретировать как «Аверченко, Бухов», если бы не явные стилистические различия, — подобные произведения оставлялись нами за рамками книги.

То же относится и к рассказам, вошедшим в 9-й том данного Собрания сочинений в составе сборника «Синее с золотом» (1917): «Родители первого сорта» (Барабан. 1917. № 21) и «Дама в сером» (Барабан. 1917. № 22)[17].

Роковое сходство

Впервые: Барабан. 1917. № 3. Подпись: Медуза Горгона.

С. 415. *...было 25 февраля... в то время в Александринском театре состоялась премьера «Маскарада».* — 25 февраля 1917 г., в бенефис Ю. Юрьева, в Александринке состоялась надолго запомнившаяся современникам премьера спектакля «Маскарад» в постановке Вс. Мейерхольда и в декорациях А. Головина.

С. 416. *... есть ли на вас крест? — Помилуйте! Три даже. Захочу — всю грудь увешаю.* — Владимир Аркадьевич Теляковский, пребывая в должности директора Императорских театров, не был обделен государственными наградами: имел 3 Владимира, 3 Анны, 3 Станислава (это если принять на веру, что он все же успел выслужить 2-ю степень ордена св. Владимира) плюс значительное количество иностранных орденов. Другое дело, что предписывалось носить лишь высшие степени наличествующих наград, но все равно — ему явно было чем декорировать свой вицмундир.

С. 417. *Где-то теперь твое личико смуглое / Нынче смеется — кому?* — Популярный романс на стихи Н. Некрасова.

Анекдот

Впервые: Барабан. 1917. № 5. Подпись: Волк.

С. 417. *...а называют все — Гессенская.* — «Гессенская муха» — так молва окрестила очень непопулярную в народе императрицу Александру Федоровну — в честь зловредного насекомого, губящего посевы злаковых: на беду, название полевого вредителя отчасти совпадало с ее титулом — принцесса Гессен-Дармштадтская.

Страшный дневник

Впервые: Барабан. 1917. № 6.

С. 417–420. Стихи, приходящие на ум герою этого рассказа — преимущественно отрывки из популярных романсов на стихи известных поэтов, уличные песни, произведения из гимназических пособий и т.д.: городской романс «Закован цепями, я в замке сижу», «Вырыта заступом яма глубокая» И. Никитина, «Лесной царь» И. Геье в пер. В. Жуковского, «Средь шумного бала» А. Толстого, «Элегия» А. Пушкина, «Буря» Н. Некрасова и прочие хрестоматийные вещи.

Анархисты

Впервые: Барабан. 1917. № 6. Подпись: Волк.

Глас вопиющего с трибуны *(Наблюдение Аркадия Аверченко)*

Впервые: Барабан. 1917. № 7.

След от ядра на ноге каторжника

Впервые: Барабан. 1917. № 8.

С. 427. *По ходу этой зазвонистой, развеселой забубенной пьесы, когда выходят бывшие министры с Гришкой во главе...* — возможно, речь здесь идет о поставленной в «Невском фарсе» пьесе В. Рамазанова «Ночные оргии Распутина» («Царский чудотворец»). Впрочем, в питерских театрах легкого жанра в те времена шло множество литературных поделок подобного рода: «Благодать Гришки Распутина» С. Алексина, «Царскосельская грешница» В. Франчича, «Царские грешки» В. Балле и т.д. Но уже к исходу лета 1917 г. вся эта политическая клубничка окончательно приелась даже самой невзыскательной публике, и подобный репертуар перестал давать сборы.

Ракета и будни

Впервые: Барабан. 1917. № 9.

С. 432. *Подпишитесь на Заем Свободы.* — Пятипроцентный «Заем Свободы» выпускался по постановлению Временного

правительства от 27 марта 1917 г. Срок ему был установлен в 49 лет. Встреченный первоначально с немалым энтузиазмом, по мере возрастания инфляции и при полной разбалансировке кредитно-денежной политики «Заем Свободы» утратил инвестиционную привлекательность и залег мертвым грузом в хранилищах Госбанка. Впоследствии, уже при большевиках, облигации младших номиналов, а также купоны от крупнономинальных были использованы в качестве суррогатов денежных знаков, котируясь наравне с кредитными билетами.

«Новый Сатирикон» с самого начала активно включился в кампанию по распространению облигаций, с мая по июль 1917 г. регулярно публикуя полностраничные объявления с подробными условиями займа.

Простое как мычание

Впервые: Барабан. 1917. № 10.

Название рассказа отсылает нас к известному сборнику В. Маяковского. В «Барабане» Владимир Владимирович не печатался, а вот в «Новом Сатириконе» — весьма активно, начиная с 1915 г. и заканчивая весной 1917-го. Более того, в 1916 г. в издании «Нового Сатирикона» должен был выйти сборник поэта. Он дошел до состояния верстки, но «Сатирикон» на этот раз не преуспел в искусстве прохождения цензурных рогаток, а вот М. Горькому это удалось, и книга в несколько измененном составе вышла в его издательстве «Парус» под заглавием «Простое как мычание» (1916).

С. 433. *...на паре караковых приехали,* — т.е. на гнедых с коричневыми подпалинами лошадях.

С. 434. *...за Кларомондой из «Виллы Родэ».* — «Вилла Родэ» — популярное ночное увеселительное заведение в Петербурге, кафешантан с рестораном, который держал бывший главный управляющий Крестовским садом Адольф Родэ. Именно там А. Блок поднес «черную розу в бокале» одной из прекрасных ночных фей — быть может, той же Кларомонде.

История одного наступления

Впервые: Барабан. 1917. № 11.

1 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов под председательством Н. Чхеидзе, А. Керенского, М. Скобелева и при активном участии Нахамкеса, Шляпникова и пр. выпустил знаменитый Приказ № 1, положивший, по мнению множества мемуаристов, начало развалу армии и крушению государственного строя новой России.

Среди пунктов этого приказа был следующий: «4. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов». Таким образом, все командование армией было парализовано, и она фактически поступила под контроль центральных и местных Советов солдатских депутатов.

Министр у анархистов (*Новые сцены из «Ревизора»)*

Впервые: Барабан. 1917. № 12.

Темы захвата особняка М. Кшесинской Аверченко касался и в рассказе «Жуткое» (Новый Сатирикон. 1917. № 17), см. комментарий выше.

С. 439. *Эка бестия Хесин, уже успел пожаловаться. Что, если, в самом деле, он потащит меня в тюрьму?* — В мае 1917 г. адвокат Кшесинской присяжный поверенный Владимир Савельевич Хесин (1867–1948) возбудил судебный иск о выселении из особняка незаконных захватчиков. Суд он выиграл, но вселиться обратно законной владелице не удалось: большевики не спешили исполнять судебное предписание, а после насильственного их выселения здание было тут же занято воинскими подразделениями, прибывшими на подавление июльского мятежа. Ну а вскоре возвращать особняк стало просто некому: 13 июля 1917 г. Матильда Феликсовна навсегда отбывает из Петербурга — сначала на юг, где ждал ее в. кн. Андрей Владимирович, потом в эмиграцию.

В эпоху резолюций; Побасенка

Впервые: Барабан. 1917. № 13. Подпись: Волк.

Город, в котором много дураков

Впервые: Барабан. 1917. № 14. Подпись: Медуза Горгона.

С. 442. *Если бы мы вздумали поместить... имена и фамилии всех петроградских дураков, выявивших свое «национальное дурацкое лицо» 3–5 июля...* — Ну, всех не всех, а главных организаторов беспорядков — пожалуй. Отрядами кронштадтских матросов предводительствовал Федор Федорович Раскольников (1892–1939), вооруженными группами анархистов — Иосиф Соломонович Блейхман (1868–1921), а Ленин, Свердлов, Луначарский и прочие народные трибуны с балкона особняка Кшесинской вдохновляли солдат раздувшегося до размеров дивизии 1-го пулеметного полка на вооруженную борьбу за немедленное свержение Временного правительства и передачу всей власти Советам.

Всего три года

Впервые: Барабан. 1917. № 14.

С. 446. *...чемодан летающий, и во всякую минуту могу разорваться».* — «Чемоданами» тогда называли артиллерийские снаряды крупного калибра.

Ляпкины-Тяпкины или Заключительная сцена «Ревизора»

Впервые: Барабан. 1917. № 15. Подпись: Медуза Горгона.

С. 448. *...Душа Парвус, ...Когда ты провез нас по приказу Вильгельма через Германию...* — Александр Львович Парвус (Гельфанд) (1867–1924), видный деятель мирового социал-демократического движения, вовсе не обеспечивал транзит через Германию вагона с русскими революционерами-ленинцами. Непримиримая многолетняя межфракционная борьба сильно осложнила их взаимоотношения, Ленин даже демонстративно отказался от встречи с ним в Стокгольме, его отзывы о Парвусе были резко негативны, и ни о каком, даже тактическом, официальном взаимодействии не могло быть и речи.

С. 449. *...вследствие агитации Ленина часть наших войск бежала с фронта и почти вся Галиция снова занята немцами!* — Успешное поначалу июньское наступление ген. Корнилова уже в июле, вследствие разложения русской армии, сменилось стремительным отступлением по всему фронту, что привело к значительным территориальным потерям в Галиции и на Украине.

В дни Содома и Гоморры *(Близкое будущее)*

Впервые: Барабан. 1917. № 15.

Сознательное отношение к делу.

Впервые: Барабан. 1917. № 17.

Этот фельетон корреспондируется с рассказом «Новый телеграф» (Новый Сатирикон. 1917. № 28).

С. 456. — *А разве... есть облигации по три рубля?* — Облигации «Займа Свободы» выпускались номиналами в диапазоне от 20 до 25 000 руб. Самыми востребованными были бумаги в 50 и 100 рублей.

Приятный оптический обман; Из будущей истории

Впервые: Барабан. 1917. № 17. Подпись: Волк.

Наши иностранные дела

Впервые: Барабан. 1917. № 18.

С. 459. *Министр Терещенко. Едет извиняться. С поклоном едет.* — Михаил Иванович Терещенко (1886–1956), миллио-

нер и промышленник, бывший министр финансов Временного правительства, занял пост министра иностранных дел в мае 1917 г. Сослуживцы отмечали его «безликость», «излишнюю гибкость» и чрезмерную зависимость от позиции оппонента. Даже его соратник и предшественник на министерском посту В.Д. Набоков сетовал на «отсутствие у него твердых убеждений, продуманного плана, полный дилетантизм в вопросах внешней политики».

Курортный самоучитель *Аркадия Аверченко*

Впервые: Барабан. 1917. № 19.

С. 462. *...начальника станции убивают. ...Это новый русский обычай.* — Обильный поток дезертиров породил беспорядки и насилие на железных дорогах. Например, 30 мая 1917 г. начальник ст. Самодуровка докладывал министру путей сообщения Н.В. Некрасову, что «дезертиры потребовали от него немедленно отправить их поезд, угрожая бросить начальника станции в топку».

В стране пошехонцев *(Как по собственному желанию устроить митинг)*

Впервые: Барабан. 1917. № 20.

Пошехонцы — фольклорный образ невежественных и незадачливых провинциалов, героев развлекательных лубочных изданий начала века вроде «Пошехонцы или веселые рассказы об их медном лбе и замысловатом разуме». — М.: И.Д. Сытин, 1916.

Диалоги персонажей фельетона Аверченко напоминают их пересуды, а сюжет сродни «Истории о том, как пошехонцы встретили в своем городе нового воеводу».

Слава — дым

Впервые: Барабан. 1917. № 20. Подпись: Волк.

Снова и снова не перестаем мы удивляться поразительной прозорливости Аркадия Аверченко.

А ведь тогдашнему читателю подобное предположение о выдающейся роли Владимира Ильича в русской истории казалось отменной шуткой! Но даже Аверченко ни за что бы не поверил, что со временем особняк балерины Кшесинской станет Государственным музеем Великой Октябрьской социалистической революции.

Вторая молодость человечества

Впервые: Барабан. 1917. № 22. Подпись: Медуза Горгона.

С. 470. *Ведь это радужная.* — «Радужными» с середины XIX в. называли государственные кредитные билеты достоинством в 100 рублей за красивую многоцветную окраску оборотной стороны банкноты. Впоследствии дизайн сторублевки кардинально изменился, но прежнее название осталось надолго — наряду с «катенькой».

Красное дерево

Впервые: Барабан. 1917. № 23.

С. 471. *Найдена Ахероном при раскопках в Элизиуме.* — Что же, интересная гипотеза... Теоретически, вода камень точит, и Ахерон мог оказаться в Аиде, просочившись туда в незапамятные времена из Элизиума, а что касается неуместного здесь антропоморфизма, то он вполне объясним поэтическим строем душевной организации героя рассказа.

С. 471. *Кузнецовский. Это вам не какой-нибудь там Императорский фарфоровый завод...* — Штучные работы Императорского фарфорового завода были несравненно выше по статусу, качеству и цене, чем массовая продукция товарищества М.С. Кузнецова, на долю которой приходилось до 2/3 всего фарфорового производства в России.

С. 473. — *Настоящая олеография!* — Вид литографской печати, имитирующий масляную живопись. В те времена широко использовался для качественного репродуцирования картин, икон и т.п.

Умные и глупые

Впервые: Барабан. 1917. № 24.

С. 475. *...не жантильничай* — не жеманься, не кокетничай.

С. 476. *...через несколько дней начнется поголовная резня буржуев. ...Он даже указал срок: 27-е.*— Рассказ написан в сентябре — начале октября 1917 г., еще до Октябрьской революции. В который раз сказывается здесь пророческий дар Аркадия Тимофеевича — всего-то на два дня и ошибся!

С. 477. *25-го город будет в 7 местах взорван немецкими агентами.* — На этот раз — в самую точку: именно 25 октября была уничтожена законная государственная власть в России. Ну а версию о «немецких агентах» мы оставим на совести Аркадия Аверченко.

Бестолочь

Впервые: Барабан. 1917. № 25.

Нормированное распределение продуктов было объявлено в Петрограде еще в 1916 г., когда в связи с продовольственным кризисом были введены карточки на хлеб. При новой власти положение осложнилось еще более, и карточная система распространилась на крупы, сахар, яйца, мясо, масло и т.д. К концу года к строго нормируемым продуктам были отнесены и кондитерские изделия, так что Аркадию Тимофеевичу еще повезло, что с него не потребовали карточку на конфеты.

Новая власть

Впервые: Барабан. 1917. № 26. Подпись: Покойный Фома.

С. 483. *...господина Троцкого, министра иностранных дел.* — Лев Давыдович Троцкий занимал пост народного комиссара по иностранным делам с октября 1917 до весны 1918 г., когда он, по инициативе Ленина, был назначен комиссаром по военным, а затем и по морским делам.

Партийность; Одно к одному

Впервые: Барабан. 1917. № 26. Подпись: Волк.

С. 484. *— А вы за какой список в Учредительное собрание голосовали? — За № 6.* — см. комментарий к рассказу «Самое важное» (Новый Сатирикон. 1918. № 1).

В Петроградском столичном избирательном округе в списке № 6 фигурировали Украинская социал-демократическая рабочая партия, Украинская партия эсеров и Еврейская социалистическая рабочая партия.

Городовой на Невском

Впервые: Барабан. 1917. № 26. Подпись: Медуза Горгона.

С. 486. *Вот стоит на углу, — шинель, фуражка, шашка — все по форме!* — Городовой в полном форменном облачении представлял собой весьма колоритную фигуру, недаром же население именовало их «фараонами». Черная шинель, черный суконный мундир и такие же шаровары с красным кантом, мерлушковая шапка с блестящей никелированной лентой и гербом города. На плечах поверх черных с красной каймой погон — длинные толстые красные витые шнуры, на груди — сияющая бляха с личным номером, на поясе с одной стороны — солдатская пехотная шашка, с другой — кобура с наганом российской фабрикации. Плюс костяной свисток на красном шнуре, а столичным городовым полагались еще

белые нитяные перчатки и деревянный жезл для регулировки транспортного движения.

Биржевики

Впервые: Барабан. 1917. № 26.

С. 489. *...что слышно с коломенскими,* — т.е. акциями Общества Коломенского машиностроительного завода (капитализация более 10 млн рублей).

Страна резолюций.

Впервые: Барабан. 1917. № 27.

С. 491. *...он единолично устроил два взрыва пороховых заводов, отчего погибло около трех тысяч человек.* — Отсылка к недавней катастрофе — серии взрывов на Казанском пороховом заводе. 14 августа 1917 г. по неустановленной точно причине возник небольшой пожар на пристанционном военном складе. Вместо того чтобы немедленно затушить его, персонал разбежался, и огонь добрался до Казанского артиллерийского склада. Начали рваться штабеля снарядов. Разлетаясь, они детонировали, взрывая жилые дома и заводские строения. Часть снарядов долетела до Казанского порохового завода, вызвав пожар, завершившийся серией сильнейших взрывов, разрушивших до основания здание завода и все прилегающие сооружения. Казанская катастрофа обошлась казне более чем в 10 млн рублей, но, к счастью, счет жертв шел не на тысячи, а лишь на десятки пострадавших.

Сила привычки

Впервые: Барабан. 1917. № 27. Подпись: Ф.О.

Добрая душа; Чудо природы; Гигиенисты

Впервые: Барабан. 1917. № 27. Подпись: А.

Русское...

Впервые: Барабан. 1917. № 28.

С. 495. — *Рига взята!* — 20 августа (3 сентября) 1917 г. германские войска, применив тактику обстрела позиций противника снарядами с боевыми отравляющими химическими веществами, овладели Ригой, захватив значительное количество трофеев.

С. 495 — *Минск и Двинск взяли у нас немцы.* — Не совсем так. Эти города действительно были заняты германскими войсками, но значительно позже и без всяких боевых действий —

в зимнее перемирие накануне подписания Брестского мирного договора: Минск — в конце февраля, а Двинск (Даугавпилс) — в начале марта 1918 г.

Из журнала «Барабан» (1918)

В борьбе обретешь ты право свое! *(Монополизация объявлений)*

Впервые: Барабан. 1917. № 1.

С. 499. *...так называемый совет так называемых народных так называемых комиссаров запретил всем газетам печатать частные объявления.* — В ноябре 1917 г. Совнарком издал «Декрет о введении государственной монополии на объявления», гласящий:

«1) Печатание за плату объявлений в периодических изданиях печати, равно в сборниках и афишах, а также сдача объявлений в киоски, конторы и т.п. учреждения объявляются монополией государства <...>

За напечатание объявлений не имеющие на это право издания закрываются».

Прогулка по Петрограду

Впервые: Барабан. 1917. № 2.

Верх озверения

Впервые: Барабан. 1917. № 2. Подпись: Волк.

Рассудительный; Вежливость

Впервые: Барабан. 1917. № 3.

С. 504. — *А вы подчиняетесь декрету народных комиссаров об уборке льда и снега?* — 21 декабря 1917 г. был принят разработанный тов. Подвойским декрет «О всеобщей повинности по очистке снега в Петрограде и на Петроградском железнодорожном узле», вступивший в действие на следующий же день. А Владимир Ильич Ленин в заботе об интеллигенции добавил к нему разъясняющий параграф: «В первую голову привлекаются к всеобщей трудовой повинности лица, не занятые производительным трудом».

Объяснил; Смешение языков; Стружки

Впервые: Барабан. 1917. № 3. Подпись: Ф.

Рассказы из других газет и журналов (1917–1918)

Поль Квадратов

Впервые: Аргус. 1917. № 2.

«Аргус», ежемесячный иллюстрированный художественный и литературный журнал, выходил с 1913 по январь 1918 г. Редактировал его писатель Василий Александрович Регинин (1883–1952), известный бульварный журналист. Аверченко дебютировал там в № 7 за 1913 г. рассказом «Эхо церкви Феличе», проиллюстрированным Ре-Ми.

Но главным достоинством этого номера была обложка с цветным прорезным портретом Аркадия Тимофеевича, предназначенным для своеобразной инсталляции: его, как разъяснялось в подробной инструкции, следовало свернуть в трубочку и вставить в прилагавшийся к журналу картонный диск, имитирующий поля шляпы. Получившаяся в итоге цилиндрическая композиция с нелепо торчащими ушами создавала, как заверяло издательство, «полную иллюзию лица популярного писателя-юмориста».

С. *«Тэт-Руж»* — мифическая марка вина. Аллюзия на продукцию известной фирмы «Американский дом бриллиантов ТЭТа», занимавшейся торговлей имитациями бриллиантовых украшений.

Благожелательное отношение к печати

Впервые: Свободные мысли. 1917. № 1.

Как было заявлено в первом номере за 1917 г., «Свободные мысли» — это «политическая, общественная и литературная газета, закрытая царским правительством в 1908 [1911] г.». Выходила она крайне нерегулярно начиная с 7 марта 1917 г. под редакцией известного сатирика Ильи Марковича Василевского (Не-Буквы) (1882–1938) в издании редактируемого им «Журнала Журналов». Закрылась осенью 1917 г. В 1918 г. была возобновлена в Киеве, а в 1920–1921 гг. — в Париже. И. Василевский привлекал Аверченко к сотрудничеству на всех этапах существования газеты.

С. *— Штюрмера, — Трепова, — Протопопова… — Кульчицкого, Хвостова, Маклакова* — Персонажи фельетона — ключевые министры царского правительства:

– Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917), председатель Совета министров.

– Александр Федорович Трепов (1862–1928), сменил Штюрмера на посту председателя Совета министров.

– Александр Дмитриевич Протопопов (1966–1918), министр вн. дел с 1916 г.

– Николай Константинович Кульчицкий (1856–1925), министр народного просвещения с 1916 г.

– Николай Алексеевич Маклаков (1871–1918), министр вн. дел с 1913 г.

– Хвостов — либо Алексей Николаевич Хвостов (1972–1918), министр вн. дел с 1915 г., либо Александр Алексеевич Хвостов (1857–1922), министр вн. дел с 1916 г. Вероятнее всего, речь идет все же о первом из них, имевшем на редкость скверную репутацию. Во всяком случае, второго Хвостова даже большевики не нашли за что расстрелять. Так он и умер своей смертью — один из немногих фигурантов этого перечня обреченных.

С. *...мелким царским выжлятником.* — Выжлятник — специальный человек либо егерь, приставленный к своре охотничьих собак.

Анархисты? или?

Впервые: Эшафот. 1917. № 1.

Журнал «Эшафот» начал издаваться, как и «Барабан», в качестве дочерней структуры «Нового Сатирикона» с июня 1917 г. Редактор Петр Мосеевич Пильский (1879–1941) позиционировал его так: «Эшафот. Орган памфлетов. Он будет выходить в дни именин Глупости и Бесчестия».

«Эшафот» № 1 вышел в эффектной радаковской обложке и с пафосной передовицей Пильского:

От редакции

С Эшафота, где столько раз презренная рука была занесена над главой Мудрости и Благородства, пусть потекут теперь слезы униженного малодушия и кровь изменников святыне Свободы!

Здесь будут гильотинированы политические шулеры и проходимцы и еще те олухи, которые из всех частей человеческой и грамматической речи знают только «притяжательное» (о, дичайшее из слов!) — «мое»:

– Моя власть!

– Моя воля!

– Мое мнение!

Религия наша — религия Святого Гнева.

Нож — рабству и глупости, трусости и лжи, этим овечьим добродетелям вчерашнего дня: да будет же в могилу его вбит обгорелый осиновый кол!

Наша вера — в сильную Россию среди народов Свободного Мира.

Презренье — колебаниям!

Наша война — демагогии!

Проклятье — всякой диктатуре!

Мы — свободны!

И мы не хотим ни иронии, ни лукавства, — ибо мы не забавляемся, а враждуем.

Так будем же до конца искренни, но и до конца беспощадны!

Сложно сказать, оттолкнул ли Аверченко от дальнейшего участия в журнале избыточный пафос памфлетов Пильского или тот стал проводить чересчур самостоятельную редакционную политику, но рассказ «Анархисты? или?» оказался единственным его произведением, появившимся на страницах «Эшафота». А вскоре и сам этот «орган памфлетов» захирел и сгинул на третьем номере.

С. *...начальник уголовной милиции А.А. Кирпичников, его помощник П.М. Игнатьев.* — Аркадий Аркадьевич Кирпичников (1882–1921), бывший следователь по особо важным делам, заняв в марте 1916 г. пост начальника Петроградской сыскной полиции, сумел сохранить его и при Временном правительстве, и даже, с некоторыми модификациями и под эгидой наркомата по внутренним делам, при большевиках; пытался хоть что-то сделать для восстановления уничтоженных архивов и сохранения кадров бывшей уголовно-сыскной службы. А вот ближайшему его соратнику Петру Михайловичу Игнатьеву (1880 — не ранее 1923) не повезло: после подавления июльского мятежа он лично руководил арестами и Троцкого, и Луначарского, что сильно осложнило возможность его послеоктябрьской карьеры.

Михаил Гоголин

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 6. О маленьких — для больших. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 338, 359.

[2] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 8. Чудаки на подмостках. — М.: «Дмитрий Сечин», 2013. С. 57.

[3] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 8. Чудаки на подмостках. — М.: «Дмитрий Сечин», 2013. С. 26.

[4] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. Веселые устрицы. — М.: «Дмитрий Сечин», 2012. С. 345.

[5] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 9. Позолоченные пилюли. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 287, 304.

[6] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 6. О маленьких — для больших. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 280.

[7] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 12. Рай на Земле. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 214.

[8] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 13. Рассказы циника. — М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 243.

[9] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 12. Рай на Земле. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 193.

[10] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 12. Рай на Земле. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 186.

[11] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 3. Круги по воде. — М.: «Дмитрий Сечин», 2012. С. 47.

[12] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 13. Рассказы циника. — М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 135.

[13] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 11. Салат из булавок. — М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 344.

[14] *Аверченко А.Т.* Две власти (золотопогонники и рабоче-крестьянская) / Аверченко А.Т. Собрание сочинений: В 13 т. Т. 11. Салат из булавок. — М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 522).

[15] *Аверченко А.Т.* Безглазое, безротое лицо / Аверченко А.Т. Собрание сочинений: В 13 т. Т. 11. Салат из булавок. — М.: «Дмитрий Сечин», 2015. С. 360–361.

[16] *Хлебина А.Е., Миленко В.Д.* Аркадий Аверченко: беженские и эмигрантские годы (1918–1925). — М.: «Дмитрий Сечин», 2013. С. 26.

[17] *Аверченко А.Т.* Собрание сочинений: В 13 т. Т. 9. Позолоченные пилюли. — М.: «Дмитрий Сечин», 2014. С. 190, 151.



Содержание

Чудеса в решете (1915)

Из «Вестника знания “Нового Сатирикона”» (1917)

Из журнала «Новый Сатирикон» (1917)

Из журнала «Барабан» (1917)

Из журнала «Барабан» (1918)

Рассказы из других газет и журналов (1917-1918)

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 10

В ДНИ СОДОМА И ГОМОРРЫ

Редактор *М.Ю. Гоголин*
Художественный редактор *И.А. Шиляев*
Технический редактор *Е.Ю. Дроздова*
Корректоры *Н.А. Тихоновская, Т.В. Смирнова*

Подписано в печать 10.11.17.
Гарнитура «Petersburg». Формат 84×108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 1000 экз. Заказ № ВЗК-05644-17.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. +7 910 432-77-09
www.d-sechin.ru
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
E-mail: order@gipp.kirov.ru



Издательство «Дмитрий Сечин» осуществляет выпуск 13-томного собрания сочинений Аркадия Тимофеевича Аверченко

В 2012–2017 гг. вышли из печати

Том 1. Весёлые устрицы. Рассказы 1908–1910 гг.
Том 2. Зайчики на стене. Рассказы 1910–1911 гг.
Том 3. Круги по воде. Рассказы 1911–1912 гг.
Том 4. Чёрным по белому. Рассказы 1912–1913 гг.
Том 5. Сорные травы. Рассказы 1914–1915 гг.
Том 6. О маленьких — для больших. Рассказы 1915–1916 гг.
Том 7. Чёртова дюжина. Пьесы и монологи. 1911–1913 гг.
Том 8. Чудаки на подмостках. Пьесы и инсценировки 1914–1924 гг.
Том 9. Позолоченные пилюли. Рассказы 1916–1917 гг. Подходцев и двое других. Повесть.
Том 10. В дни Содома и Гоморры
Том 11. Салат из булавок. Рассказы из газет и журналов 1918–1921 гг.
Том 12. Рай на земле. Рассказы 1920–1923 гг.
Том 13. Рассказы циника. Рассказы 1923–1925 гг. Шутка мецената. Роман.

В 2018 г. планируются к изданию

Том 14. (Дополнительный). Люди и страсти. Рассказы из журнала «Сатирикон» 1908–1909 гг., не вошедшие в сборники.

